ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[4] 2008

РОМАН БЕЛЬГИЙСКОГО ПИСАТЕЛЯ ТОМАСА ГУНЦИГА “КУРУ“ / СТИХИ АРГЕНТИНСКОГО ПОЭТА РОБЕРТО ХУАРРОСА / “ПРИЗНАНИЯ ТУРИСТА“ КРИСТОФА РАНСМАЙРА В РУБРИКЕ “CARTE BLANCHE“ / “ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА“: СТАТЬЯ АЛЕКСАНДРЫ ЛЕШНЕВСКОЙ “ТРИ “ГРАНДЕ”

Основан в 1891 году

[4]
2008

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Томас Гунциг *Куру*. Роман. Перевод с французского и вступление Нины Хотинской

110 Роберто Хуаррос *Стихи*. Перевод с испанского и вступление Эсмиры Серовой

Дебют

117 Шон Макбрайд *Зелень. Трава. Благодать*. Роман. [Окончание.] Перевод с английского Никиты Михайлина

Carte blanche

229 Кристоф Рансмайр *Признания туриста*. Допрос. Перевод с немецкого Н. Федоровой

Трибуна переводчика: Вглубь одной повести

283 Александра Лешневская *Три "Гранде"*

Среди книг

292 Михаил Визель *О пользе различений*. А. Ермонский *Перевод как исповедь*

БиблиофИЛ

299 *По материалам зарубежной прессы*. Подготовили А. Лешневская, И. Мокин

Авторы номера

302

© "Иностранная литература", 2008

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

И. о. главного
редактора

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская
заведующая отделом критики и публицистики

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
А. Н. Словесный
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

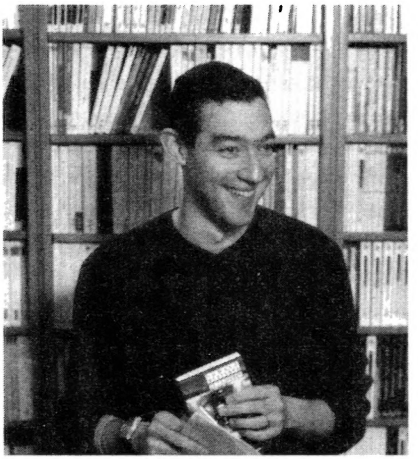
Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Н. В. Елисеева
А. Ю. Лешневская
И. В. Мокин
К. Я. Старосельская
М. Н. Томашевская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации
и Фонда Первого Президента России Б. Н. Ельцина

Томас Гунциг



Куру

Роман

Перевод с французского и вступление Нины Хотинской

Бельгиец Томас Гунциг, безусловно, один из самых талантливых и самобытных франкоязычных писателей нового поколения. Уже его первые сборники новелл были отмечены критикой, а роман-антиутопия "Смерть билингвы" и сборник "Самый маленький на свете зоопарк" принесли настоящее признание. Критики назвали Гунцига "младшим братом Равалека" и "внучатым племянником Кафки". Кстати, по собственному признанию Гунцига, Кафка — его любимый писатель. Он называет еще одно имя, несомненно входящее в его "литературную родословную": Борис Виан. Прозу Гунцига отличает та же буйная фантазия, очень похожий черный юмор, его мир так же *абсурдно реален* — но этот сегодняшний мир болен куда тяжелее, чем полвека назад, и диагноз Гунцига, увы, безнадежнее.

В новом романе "Куру" (2005) нет юношеской эпатажности, присущей ранним, откровенно "черным" рассказам писателя и еще довольно сильной в первом его романе, зато сохранились и усовершенствовались лучшие черты его прозы: безжалостный мрачноватый юмор и своеобразный стиль, богатый на неизбитые метафоры, особый, словно через слегка искривленную призму, взгляд на вполне реальный и узнаваемый современный мир.

Гунциг любит давать своим произведениям затейливые названия, порой на первый взгляд не связанные с содержанием. Мало кому известное слово *куру* — это название редкой экзотической болезни мозга, ныне почти исчезнувшей, "так как ритуальное поедание человеческого мозга встречается крайне редко". Болезнь, поражающая только практикующих людоедов? Метафорический диагноз "людоедской сути" современного общества?

© Au Diable Vauvert, 2005
© Нина Хотинская, Перевод и вступление, 2008
Роман выйдет в издательстве "Ультра. Культура".

"Мало кто из писателей рискнет вывести в одном романе так много невероятных персонажей сразу", — пишет о "Куру" один из критиков. Да, в своеобразии героям Гунцига не откажешь. Но при этом что-то очень знакомое угадывается в каждом из них — кивок в сторону то левой прессы, то гламурно-глянцевого журнала, ироничный поклон властителю дум Уэльбеку или не менее ироничный реверанс Жан-Кристофу Гранже. Своих героев автор помещает в Берлин, сумрачный и депрессивный (а каким еще может быть город, отмеченный печатью социалистического прошлого?), где происходит демонстрация антиглобалистов по поводу саммита "Большой восьмерки". Демонстрация, конечно же, кончается пшиком. А герои Гунцига, "невероятные", пародийные, почти карикатурные, каждый со своим недугом, в этом антураже выглядят средоточием симптомов "новой детской болезни" (и почему бы не назвать ее коротким словечком *куру*?), которая, похоже, не на шутку поразила молодежь конца тысячелетия: пожары, докатившиеся сегодня от традиционно бунтарской Франции до испокон веков мирной Дании — тому доказательство. Гунциг сумел, как это мало кому удавалось, уловить и отразить в уморительном и жутковатом, гротескном без ерничества и серьезном без нравоучительности романе дух своего времени.

Посвящается Ханне

RIPPER. Mandrake. Mandrake, have you ever wondered why I drink only distilled water, or rain water, and only pure grain alcohol?

MANDRAKE. Well, it did occur to me, Jack, yes.

RIPPER. Have you ever heard of a thing called fluoridation? Fluoridation of water?

MANDRAKE. Ah, yes, I have heard of that, Jack. Yes.

RIPPER. Well, do you know what it is?

MANDRAKE. No. No, I don't know what it is. No.

RIPPER. Do you realize that fluoridation is the most monstrously conceived and dangerous communist plot we have ever had to face?

Window in the office is shot through by automatic weapons fire.

STANLEY KUBRICK *Dr Strangelove*[1]

Для многих из нас "битва в Сиэтле" была, как это называют некоторые, "осознанием", однако же ведьмы назвали бы ее "актом магии".

СТАРХОУК *Женщины, магия и политика*

1. РИППЕР. Мандрейк, Мандрейк, ты никогда не задумывался, почему я пью только дистиллированную или дождевую воду и только чистый спирт?
МАНДРЕЙК. Признаюсь, да, мне приходил в голову этот вопрос, Джек.
РИППЕР. Ты когда-нибудь слышал о такой штуке, как фторирование? Фторирование воды?
МАНДРЕЙК. Да, Джек, я слышал об этом. Да.
РИППЕР. А знаешь ли ты, что это такое?
МАНДРЕЙК. Нет, я не знаю, что это такое. Нет.
РИППЕР. Можешь ли ты представить себе, что фторирование – это самый опасный и коварно задуманный коммунистический заговор, с которым мы когда-либо имели дело?

Автоматная очередь разносит вдребезги окно кабинета.

СТЕНЛИ КУБРИК *Доктор Стрейнджлав* (*англ.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Когда сделан наконец выбор гетеросексуального объекта, гомосексуальные наклонности не уничтожаются и не подавляются, как можно было бы предположить, а просто, не будучи востребованы сексуальной целью, находят иное применение.

Фрейд *Случай президента Шребера*

Куру — заболевание нервной системы группы подострых губкообразных псевдоэнцефалитов, вызываемое прионом. <...> Лечение неизвестно. Куру почти не встречается в наши дни, так как ритуальное поедание человеческого мозга практикуется крайне редко.

Большой медицинский словарь "Ларусс"

Часть первая

1. Насекомых наповал

С семнадцати лет у Фреда водились в голове мухи. Они кружили, жужжали, садились где попало, и порой их было так много, что ему казалось, будто в височных долях головного мозга работают мощные соковыжималки. Бывало и полегче — летали, но всего одна-две, в малом количестве они мешали не больше, чем приглушенный звук плохо настроенного радиоприемника.

Когда, вскоре после смерти матери, зловредные насекомые появились впервые, Фред счел за лучшее никому о них не говорить. Не такой он был дурак, чтобы не знать, чем это грозит: отец отправит его лечиться, придется подолгу торчать в кабинетах, отвечая на вопросы, с позволения сказать, врачей, которые будут слушать, кивать, пичкать его анксиолитиками, впаривая, будто это витамин С, и в конце концов сеансами групповой терапии и курсами лечения в клинике выскребут из его головы мозги, как выскребают ложкой мякоть спелой дыни.

Короче говоря, эти мухи были для Фреда "его фишкой, о которой не стоит распространяться, а жить с ней вполне можно". Ничего страшного, он знал, что есть люди, и немаленькие люди, между прочим, живущие с проблемами покруче его. Знал он, к примеру, что Никсон весь свой президентский срок беседовал с божественным голосом с Меркурия, знал, что Берлиоз долго питал нездоровое пристрастие к фекалиям, и знал или по крайней мере слышал, что сам Папа Римский считал себя новым воплощением святого Иоанна, автора Апокалипсиса. К тому же со временем Фред сообразил, отчего размножаются эти мухи. Когда он спокойно сидел дома, покуривая в тишине косяки, или часами беседуя по телефону с друзьями о Жиле Делёзе, или слушая музыку, или тупо пялясь в телевизор, они не подавали признаков жизни, как будто прятались от зимней стужи. Но когда по той или иной причине, к примеру в разговоре с отцом, ему доставалось за то, что он, мол, не ищет работу, в его-то годы не стоит на собственных ногах, живет на ежемесяч-

ную подачку, не имеющую ничего общего с заработной платой, и даже палец о палец не ударит, а он был вынужден сидеть в до омерзения банальной гостиной и слушать, как этот придурок из правых выливает на него всю свою убогую философию предпринимателя восьмидесятых годов, вот тогда мухи вылетали из щелок и норок взбудораженными жужжащими стаями, облепляли все изнутри, откладывали яички, и ему приходилось, вернувшись домой, совать голову под кран и держать под холодной струей, пока не заноет макушка.

2. *Телевизионные картинки*

Фред жил изо дня в день, почти ничего не делая. Странные, какие-то дряблые дни он проводил в своей квартире, где термостат всегда был отлажен на +20° по Цельсию; начинались они поздно, после того как он долго без удовольствия валялся в постели, проходили в чтении трактатов по философии и политологии и попытках хоть что-нибудь понять: он вроде бы и улавливал смысл, но в то же время прочитанное распирало ему мозги избытком концептов и референций.

Что является неотъемлемой принадлежностью истинных наук, наук самоценных, иными словами, что составляет идею науки? То, что имеет целью доказать логика, чтобы мы могли оценить по этому критерию, соответствуют ли существующие эмпирические науки этой идее, или в какой мере они к ней приближаются и в чем вступают с ней в противоречие. Гуссерль и феноменология наносили множество мелких царапин его центральной нервной системе.

Выборка из потока составляет филиативный резерв в цепи значимого; но, с другой стороны, размыкание цепей дает переменную задолженность связи, которая ориентирует и направляет потоки. Делёз неизменно рождал в нем подспудную тревогу.

Жертва приобретает, таким образом, суть в высшей степени радикальную и парадоксальную. Это жертва не во имя чего-то или кого-то, и одновременно в каком-то смысле это жертва во имя всех и вся. В каком-то сущностном смысле эта жертва приносится во имя ничего, если под ничем понимать небытие. От Паточки, который представлялся ему убиенным дальним родственником, тоже, увы, возникало ощущение, будто он заблудился в тумане на холодной пустоши.

Таким образом, множество заговоров в пользу установленного порядка переплетаются и вступают в борьбу повсюду, что влечет все большее наслоение систем и вопросов или действий, содержащихся в тайне, и процесс их быстрой интеграции во все области экономики, политики, культуры. Это хотя бы было понятно и нравилось ему больше. Но кое-кто из его приятелей относились к "Обществу зрелища"[1] со смутным недоверием, что мешало ему воодушевиться.

Еще в эти дряблые дни в своей квартире при +20° по Цельсию Фред смотрел телевизор, полеживал на сероватом диване из "Икеи", закинув

1. Книга французского эссеиста и кинорежиссера Ги Дебора (1931–1994), оказавшего большое влияние на революционные события 1968 года во Франции.

одну ногу на подлокотник, а другой постукивая по полу с ритмичностью метронома; взгляд его был неподвижен, мухи редки.

3. *Телефонный звонок, окно, аппетит*

Социальный универсум Фреда состоял из пяти человек, ни одним больше, ни одним меньше, и каждый занимал строго определенное место в маленьком самолетике его жизни. Он, Фред, был, разумеется, за штурвалом, а вторым пилотом при нем состояла его подруга Кристин. Механиком был друг Пьер, а стюардом друг Поль. На командно-диспетчерском пункте вечно доставал указаниями курса, открывал или не открывал воздушный коридор, давал или не давал разрешение на взлет и посадку тот самый, мать его, предприниматель восьмидесятых, приходившийся ему отцом. И наконец, единственной пассажиркой, удобно устроившейся в салоне первого класса, за обедом, поданным на лиможском фарфоре, закутанной в пеньюар из натурального шелка, устремившей взгляд к туманно-облачному горизонту, была кузина Фреда Катрин.

Подругу Кристин нельзя было назвать дурнушкой, но лицом она почему-то всегда напоминала Фреду козлика. Было что-то такое то ли в форме ее подбородка, то ли в темных кудряшках, а может быть, во всей повадке, или во взгляде, или в голосе. Он сам не знал. Зато знал точно, что именно из-за этой козлиной ассоциации его не могли с ней связывать никакие отношения, кроме чисто дружеских. Нет, у них было подобие романа в выпускном классе. Они даже однажды переспали, но и только. Со временем все как-то само собой слиняло, точно дешевая футболка от слишком частой стирки, и вскоре от их романа осталось что-то вроде старой севшей тряпки. Дружба, возникшая следом, оказалась не в пример прочнее и долговечнее. Кристин была умнее его и тверже в убеждениях. Вот она-то одолела Маркса, Прудона, Ленина, Розу Люксембург, Вирилио[1] и иже с ними и входила во множество обществ, ассоциаций и групп, где дискутировали и рефлексировали: "Attac", "Amnesty", "Gral", AGC. Она была из богатой семьи, ужас до чего богатой: в этой семье спали на простынях от Дольче и Габбана, покрывали кровати мехом выдры, ездили на лимузине, потреблявшем двадцать литров элитного бензина в городе, имели горничную и дом на Корсике с бассейном. Кристин от такого количества денег и создаваемой ими атмосферы воротило с души. Свою семейку она в конце концов послала подальше и могла сблевать от одного вида чековой книжки или кредитной карточки, потому что слишком хорошо знала, где корень зла и откуда берется вся вонючая мерзость, которая, по ее словам, заполонила мир с незапамятных времен.

Фред, сидя дома, думал, бог весть почему, о своей подруге Кристин, видел перед собой ее козье лицо и вспоминал, как десять лет назад, в ту единственную ночь, что они провели вместе, услышал от нее, лежавшей с полузакрытыми глазами, ошеломляющее множество откровений о ее к нему чувствах: она любила его, любила всегда, готова была принадлежать ему на веки вечные, хотела тысячу лет провести, прильнув к нему, прижавшись озябшим котенком. Тогда Фред пожалел, что все эти признания де-

1. Французский философ, культуролог и урбанист (р. 1932).

лает не его кузина. Он зажмурился и попытался представить себе Катрин, но голос Кристин сбивал картинку, он повернулся к ней, она была похожа на португальскую пастушку, узревшую видение, и он попросил ее замолчать. Девушка вздрогнула так, будто ей плюнули прямо в глаза; а потом прошло время, и они стали друзьями. Это было больше десяти лет назад.

Фред встал, полуголый, в одних легких найковских шортах, и подошел к окну. Он посмотрел на крыши, голова была совершенно пуста, разве что одна какая-нибудь мушка сидела где-то в дальнем уголке, немного хотелось есть, но он не знал, чего ему хочется, пожалуй, чего-нибудь соленого. Он полез в холодильник, но там осталось только масло и заветренный огурец, который он сразу выбросил. Тут ожил телефон. Звонила Кристин.

4. F*ilio de puta*[1]

– Включи телевизор, – сказала Кристин, – потом перезвони мне. – И повесила трубку.

Фред снова улегся на диван из "Икеи". Подумал, что, наверно, зря выбросил огурец, можно было сделать себе салат или хотя бы освежающую маску для лица, и включил телевизор. Он попал сначала на какой-то немецкий сериал, полицейский с усталым лицом говорил иммигранту-турку: "Я знаю, что это сделал ты. Мой тебе совет: скажи мне все, что знаешь, вот увидишь, самому полегчает". Иммигрант-турок мотал головой. На другом канале потрясно сложенная молодая арабка пела в микрофон: "Это для тебя, это для меня, мы здесь вдвоем с тобой, мы вдали от зоны, жизнь моя, все для тебя..." Фред посмотрел немного. Подумал об этой девушке: интересно, что она делает, когда не снимается в клипах, есть ли у нее мужик, и в какой квартире она живет, наверно, в шикарной, и разгуливает ли дома нагишом, потом он вспомнил о Кристин и переключил канал. На этот раз он попал именно на то, что, надо полагать, смотрела она.

Судя по маленькой цветной аббревиатуре в правом верхнем углу экрана, шли кадры выпуска новостей. Веселого было мало: показывали демонстрацию, обернувшуюся побоищем. Толпы людей – многие прятали лица под масками с прорезями для глаз – схлестнулись с толпами полицейских в черном. Съемка была не блеск, типа любительской, ручной камерой, изображение раскачивалось во все стороны, снимавший злоупотреблял крупным планом, но понять, что происходит, все-таки можно. Диктор за кадром бубнил свои комментарии традиционно бесстрастным голосом на одной ноте: "Первые группы демонстрантов появились рано утром и собрались у главного входа в запретную зону. Настрой представителей оппозиции, съехавшихся со всей Европы, поначалу довольно мирный, очень быстро стал агрессивным, и события приняли куда более драматический оборот, чем ожидалось. Провокаторы, вооруженные дубинками, булыжниками и "коктейлями Молотова", в течение нескольких часов атаковали полицейских, прежде чем те, по приказу министра, перешли в наступление. Эти кадры, снятые любительской камерой, дают представление о крайней жестокости столкновений..." На экране пятеро полицейских до-

1. Шлюхин сын (*исп.*).

гнали толстую девушку в футболке и повалили ее на землю. Поодаль несколько парней опрокинули крошечный красный "фиат".

Теперь Фреду хотелось есть по-настоящему. Он опять пошел в кухню, открыл все шкафчики и нашел-таки полупустой пакет чипсов, начатый неделю назад, когда к нему заходил Пьер. С набитым ртом он снова улегся на диван. Картинка на экране сменилась, показывали полицейский грузовик в окружении трех десятков демонстрантов. Вдруг изображение закачалось. Раздался истошный вопль: "No, no, no, filio de puta! No!" Изображение остановилось на крупном плане распластанного тела. Снова пошли те же кадры, на сей раз рапидом. Белый кружок обозначил высунувшуюся из грузовика руку с нацеленным на толпу стволом. Фред прикончил чипсы и принялся читать состав съеденного. Во второй раз за день ожил телефон.

5. Я *артист*

Фред был совсем не готов услышать голос отца. Обычно, когда он знал, что предстоит разговор, ему удавалось обойтись минимальным ущербом для своей бедной головы, залив нервную систему силиконом: этот простой прием, выработанный много лет назад, состоял в том, чтобы, уставившись неподвижным взглядом в стенку, много-много раз повторить про себя: "Спокойно, спокойно", — и его эмоции мало-помалу застывали в силиконе, подобно насекомым в янтаре. Но сегодня Фред был застигнут врасплох, и мухи вылетели стаями из самых темных уголков его мозга; их было столько, что лишь ценой колоссальных усилий он смог сосредоточиться и маломальски понять, чего этот чертов глава предприятия второй зоны вообще от него хочет. У отца был голос человека, чье здоровое дыхание пахнет мятой, который трижды в неделю ходит в тренажерный зал, ездит в "БМВ" и состоит в дружеских отношениях со своим банкиром. И этот гнусный голос талдычил: "Ты меня слушаешь, а? Ты слушаешь меня?", пока Фред не сказал, что да, слушает, в чем дело? Если можно, короче, у него сегодня работы невпроворот. В трубке послышался замороженный смешок, и отец спросил, почему так много денег снято с банковского счета, который он открыл на его имя, и с какой стати ему понадобилось четырежды за один день покупать маску для подводного плавания, пару ласт и дыхательную трубку.

Фред этого не выносил: отец, прыщ гнойный, чей набор генов представлялся ему более далеким от его собственного, чем, скажем, опоссума, считал себя вправе контролировать его жизнь под тем предлогом, что давал ему ежемесячное содержание, куда меньшее, кстати, чем средняя зарплата служащего. Он ответил, что отцу его не понять, он делает что хочет, хочет — покупает четыре раза за день маску, ласты и трубку, мало ли зачем, в кухне под раковину сложить, четыре маски, восемь ласт и четыре трубки, это его личное дело, он артист, он видит ближнюю, среднюю и дальнюю перспективу своего творчества, для которого ему было необходимо — и не один раз, а несколько — купить принадлежности для подводного плавания.

Тут Фред осознал, что повысил голос, чего делать не следовало. Под конец он почти перешел на крик. Когда он умолк, сто миллиардов мух бились в тесном пространстве его черепной коробки, и у него едва хватило соображения одернуть себя, потому что он сделал большую глупость: нельзя было кричать на отца, отцу крик все равно что оплеуха.

– Никогда, – сказал отец, – не смей на меня кричать. Понял? Никогда.

Теперь он заговорил голосом пиночетовского палача из Чили – мальчишкой Фред ужасно боялся этого голоса.

– Я только хотел сказать, что...

Чилиец оборвал его на полуслове:

– Если это будет продолжаться, на мои деньги можешь больше не рассчитывать: Так и знай.

– Я только хотел сказать, что... – повторил Фред.

– Это я хотел тебе кое-что сказать. Сегодня к ужину придет твоя кузина. Думаю, ей будет приятно, если ты тоже будешь.

– Я только хотел сказать, что...

– Так до вечера?

– До вечера.

6. *Хреновые дела*

На сборы он потратил уйму времени. Сразу после звонка отца сел на кровать лицом к стене и много-много раз повторил: "Спокойно, спокойно", в надежде заморозить два миллиона мух, оголтело жужжавших за глазницами. Это не помогло: его ведь застигли врасплох, с профилактическими мерами он опоздал, оставались паллиативы. Надо было хотя бы выглядеть человеком, у которого все хорошо, нет никаких проблем и жизнь похожа на каникулы в Кран-Монтане[1] в начале сезона, когда лыжные трассы еще в отличном состоянии. Он принял душ, побрился, щедро обрызгался лосьоном и облачился в самую чистую одежду, какую смог найти в шкафу: брюки от двойки, купленной два года назад по случаю чьей-то свадьбы, черные, чистый хлопок, покрой Армани, и куртку от адидасовского тренировочного костюма "Grand Sport", происхождение которого он даже не мог вспомнить. Выпил бутылку минеральной воды "Вальвер", отлил, выпил еще бутылку и снова отлил. Полезная вещь, выводит токсины; мухи никуда не делись, но малость успокоились. Он набрал номер "говорящих часов": "Точное время пятнадцать часов двадцать четыре минуты двадцать секунд". Четко, определенно, без сучка без задоринки, телефонная девка работала на совесть, стерва, Фред ей так и сказал: "Стерва, стерва". Он возбуждался, называя эту суперпрофессионалку стервой, ее голос в точности походил на голос его кузины, Фред ей так и сказал: "Я люблю тебя, люблю до безумия, ты такая классная, я другой такой не знаю, из тебя бы вышла модель, ты обалденно пахнешь, ты зашибись как говоришь, у тебя потрясная кожа, ухоженная-преухоженная, я всегда хотел с тобой переспать". От выпитой воды ныл мочевой пузырь, было странное ощущение, словно какой-то инженер-ядерщик запустил атомную электростанцию мощностью в две сотни гигаватт у него между ног, он подрочил, было пятнадцать часов двадцать восемь минут, точное время, ему стало лучше, он это чувствовал, ужин пройдет хорошо, он и это чувствовал.

1. Популярный горный курорт в Швейцарии.

7. *Катрин*

Катрин только недавно узнала разницу между словами "геморроидальный" и "пирамидальный", но, когда это произошло (благодаря чтению специального летнего выпуска "Космополитена", содержавшего подборку "Роды: о чем вам никогда не расскажут подруги" и статью-игру-тест на тему кельтского гороскопа), жизнь ее в корне переменилась. Во-первых, она пришла к убеждению, что никогда не обзаведется детьми, что вся эта чушь насчет материнского инстинкта не имеет к ней отношения, а тошнота, растяжки, пигментные пятна, варикоз, отеки и конечно же геморроидальные узлы навсегда останутся вне сферы ее интересов. Черт побери! Она великолепно сложена, запросто влезает в тридцать шестой размер, имеет суперскую грудь, которая заставила бы Ньютона пересмотреть законы тяготения (хрен ему, а не тяготение!), идеально плоский живот и попку, достойную занять место в нью-йоркском музее "Метрополитен" рядом с тициановской Венерой на выставке, посвященной анатомическому совершенству в истории искусства. Черт побери! Она знала, что это тело даровано ей высшей силой, знала, что ее ждет необыкновенная судьба, что ей уготована роль в событиях, которые преобразят природу мироздания, что она предназначена для чего-то, недоступного пониманию большинства простых смертных, и что однажды к ней придет признание (эту сцену она рисовала себе в сумерках, на краю дамбы, открытой всем ветрам, где старуха с пергаментным лицом откроет ей некое древнее пророчество, связанное с соотношением объема бедер и талии, попки и сисек...).

Из того же номера "Космополитена" она узнала (произведя довольно сложный расчет, включавший дату ее рождения, даты рождения родителей и опросник на хитрых карточках, которые надо было вырезать), что ее дерево — Тополь, камень — Оникс, животное — Кролик. Выводы из всего этого были туманны, что-то о гибкости, глубине ума и страстности натуры. Катрин это устроило, ей вполне подходили и гибкость, и глубина, и страстность, в результате она еще больше укрепилась в убеждении насчет своей судьбы и решила поближе познакомиться с кельтской астрологией. Она одолела единственную имевшуюся книгу на эту тему, написанную неким Эдвардом К. Купером (он же был автором статьи), и нашла в ней массу библиографических отсылок к труду, озаглавленному "Black Mind and Reverse World"[1], в юнговской традиции, опубликованному в Нью-Йорке в 1954 году и переведенному на французский под названием "Откройте ваше внутреннее *я*: новые пути магии". Катрин "чудом, буквально чудом" отыскала эту книгу у одного букиниста, внимательно проштудировала ее и приступила, запершись в своей девичьей спальне и запалив вокруг себя три свечи, к первым в своей жизни обрядам, призванным повысить ее психоэнергетический потенциал. Разумеется, заклинания ничего не дали. Ничего удивительного на этом этапе: накопление психоэнергетики — долгий, сложный и усеянный терниями путь, на котором великие учителя прошлого (Лакдар Айюм, тибетский монах, посвященный в тайный язык свитков исти-

1. "Черный разум и перевернутый мир" (*англ.*).

ны, Мерлин, белый маг Северных земель, турок Гойюб Аль Окан, умерший на дыбе, но не выдавший своих тайн) расстались с жизнью. Катрин не опустила рук, Оникс давал ей терпение, а Кролик упорство. Жизнь шла своим чередом, она ждала, когда пробьет ее час, а пока вырезала все интересные фрагменты из прочитанного и подшивала их в кожаную папочку от Луи Вюиттона.

В остальном ее жизнь была подобна движущейся дорожке, мягкой и пушистой, на безукоризненно смазанных подшипниках. Окончив школу и сдав экзамены, она записалась на факультет современной филологии, но долго не проучилась. Ничего интересного там не было, она-то хотела слушать про Коэльо, Кришнамурти, Скотта Пека и Халила Джебрана, а ей долдонили про "Песнь о Роланде" и "Роман о Розе". Катрин бросила филологию и, решив, что находится "в экзистенциальном туннеле, соединяющем две стадии жизни", обратилась к рунам, которые сообщили следующее: "Заблуждение — Буря — Чудесный Промысел". Она обратилась к И-цзину (для очистки совести), который ответил тридцать первой гексаграммой, означающей Шу, Внутреннюю Истину. Вняв откровениям, которые показались ей согласующимися друг с другом, а также уговорам подружки, она записалась в частную школу, довольно дорогую, занятия в которой велись на английском языке и (как обещала учебная программа, напечатанная на глянцевой бумаге и проиллюстрированная фотографиями аудиторий со студентами, сплошь стройными, загорелыми и жизнерадостными) исключительно преподавателями "международного уровня". Катрин выбрала курс "Management and European administration"[1] (другой курс на выбор был "Management and European Trading"[2]), накупила без малого на тысячу евро специальной литературы по менеджменту и управлению и сложила все тома в книжный шкаф, ощущая неприятный холодок при мысли, что их когда-нибудь придется открыть.

На семинаре по биржевым сделкам онлайн она познакомилась с Фабио Либери; он был итальянец, родом из Милана, где его семья владела обувной фабрикой, основанной в 1923 году и ставшей в наши дни компанией "Либери—Милан—Париж—Нью-Йорк—Токио". Фабио обладал всем, что для Катрин составляло понятие "высокий класс": у него была царственная посадка головы, безупречного покроя костюмы, которые он носил с завидной непринужденностью, и "мерседес SLK kompressor" с цветным GPS-приемником и аудиосистемой мощности, абсолютно несоразмерной салону автомобиля. "Как звезду к звезде влечет" (метафора принадлежала Фабио и очень нравилась Катрин), их сразу потянуло друг к другу. Они болтали, пересмеивались, встречались в парке элитной школы и как две капли воды походили на жизнерадостных студентов с фотографий в учебной программе.

Оба знали: *что-то* должно произойти. Это было видно по их глазам, слышно в их разговорах, в общем, от них так и шибало сексом. Дома Катрин не вылезала из-под душа; она провела полдня в институте красоты и вышла оттуда загорелой, эпилированной, отшелушенной и наманикюренной. Фабио смотрелся в зеркало нагишом, слушал в машине Джеймса Брауна и находил, что выглядит великолепно, царственно, Мартином Ши-

1. "Менеджмент и европейское управление" (*англ.*).
2. "Менеджмент и европейская торговля" (*англ.*).

ном и Эросом Рамазотти в одном флаконе. В первый раз он проводил Катрин домой и поцеловал почти совершенным поцелуем, которому лишь чуть-чуть мешали ремень безопасности и Джеймс Браун, громогласно приказывавший им встать. Во второй раз проводила его она и оказалась у него дома: шикарный лофт, диваны из альпака, сплошь итальянский дизайн, кое-где разбавленный Старком, огромный постер фотографии "Sie Kommen" Хельмута Ньютона и серия полароидных снимков Араки, подписанных черным маркером, в рамках над камином. Катрин никогда еще не чувствовала такого возбуждения, она дышала как испуганная птичка: пиф! пиф! пиф! пиф! Так бы и съела Фабио живьем. Они оказались на альпаковом диване, и все телесные указатели давали парню зеленую улицу: расширенные зрачки, приоткрытый рот, проводящая по волосам рука, нога, закинутая на ногу и тотчас вновь соскользнувшая на пол. Будь при них третьим Десмонд Моррис[1], он описал бы эту сцену как классический случай. Фабио наклонился к ней, от него пахло эспрессо, туалетной водой "Аква ди Джио" от Армани и стиральным порошком — чудо, да и только. Он поцеловал ее, голова закружилась и стала легкой, чувственный элемент Оникса вспыхнул, и пламя охватило все тело. Ее рука легла на бедро Фабио, скользнула между ног. Фабио издал звук — "хмпф!", — Катрин восприняла это как поощрение, расстегнула ширинку, просунула руку внутрь и ловко ухватила твердый, как ножка стола, член. Звук повторился — "хмпф, хмпф!", — Фабио перестал ее целовать, выгнулся, сморщился, и что-то теплое брызнуло между пальцами Катрин. Слегка удивившись, она убрала руку. Фабио смотрел на нее, досадливо хмурясь.

— Прости, мне очень жаль, никогда со мной такого не случалось, — сказал он.

Она вытерла руку об альпаковый диван и подумала, что все произошло неправильно, что студенты из глянцевой программы элитной школы должны часами заниматься любовью у камина, под невесть откуда взявшимися шелковыми покровами, которые колышутся, лаская им спины. Потом она мысленно подсчитала, во сколько обошелся ей институт красоты, и настроение у нее испортилось окончательно. Она справилась с собой, сказала: "Ничего, бывает", хотя вовсе так не думала. Поцеловала Фабио в щеку, он посмотрел на нее глазами бездомного щенка, попавшего в питомник, и сказал:

— Я тебя люблю, я такой, как ты, никогда не встречал.

Катрин сочла, что это очень мило и что эта фраза, говорившая о ее исключительности, возможно, является еще одним указанием на существование пророчества и пресловутую избранность.

Это было три года назад, а потом они с Фабио поженились. Иной раз задумываясь, она не могла толком объяснить, как это вышло. Помнилось только, что после того катастрофического в сексуальном плане вечера они продолжали встречаться. Катрин бросила школу после первой экзаменационной сессии, Фабио учился дальше. Они вместе ходили в кино, в рестораны, он водил Катрин в шикарные места, где подвыпившие короли тусовки угощали ее шампанским, увез ее на каникулы в Тоскану, на фамильную виллу, возил в Рим, в Нью-Йорк, в Берлин на сезонные показы мод, но все-

1. Десмонд Моррис (р. 1928) — британский зоолог, проводящий в своих популярных книгах параллели между животными и человеком.

гда, всегда между ними и подлинным счастьем стояло это несвоевременное семяизвержение, белесыми кляксами пятнавшее их идиллический горизонт. Секс был у них поначалу источником неловкости, о которой ни он, ни она не решались говорить вслух. А потом секс просто исчез из их жизни, рассосался мало-помалу, оставив разве что едва заметную красноту в памяти Катрин, точно след от давнего и долго заживавшего воспаления.

8. Не *мытьем, так катаньем*

Было темным-темно, когда Фред сел в машину. И дождь пошел, и ветер разыгрался, и похолодало — а заливали-то, что уже почти весна. Прогноз погоды — одна лажа, и ему это действовало на нервы. Холера. В машине скверно пахло, что-то протухло под сиденьем, не иначе. Он нагнулся посмотреть, но на ковриках было навалено столько хлама, что фиг разглядишь. Вдобавок лампочка на потолке не зажигалась, и вообще, почти все, что валялось на полу, могло протухнуть. Холера. Он изгваздал брюки покроя Армани, изгваздал адидасовскую куртку "Grand Sport", и руки провоняли дерьмовой тухлятиной из недр машины. Холера и холера. Плевать он на это хотел, то-то взбесится предприниматель восьмидесятых, мать его за ногу, когда сын явится — грязный, как свинья, и воняющий тухлятиной — в его квартиру, такую же допотопную, как и дерьмовую, на пятом этаже фешенебельного дома, архитектор которого возвел пошлые буржуазные ценности в ранг эстетического эталона. При мысли о жутких фикусах в холле, мимо которых придется пройти, Фреда аж трясло. Он включил радио. Пшшшшш, пшшшшшшш, поймал Баха и чуть не сблевал. Поймал Селин Дион и чуть не сблевал. Поймал Паскаля Обиспо и чуть не сблевал. Поймал "Frankie Goes to Hollywood" и опять чуть не сблевал. Пищевод наполнился кислым желудочным соком. Пшшшшшшш, поймал группу "Kiss", представил себе язык солиста, тяжелые черные сапоги, грим, оставил песню и тронулся с места.

Он ехал и думал о попке своей кузины. У нее была невероятная попка, другой такой Фред в жизни не видел, золотое число, наверное, послужило эталоном при разработке этой попки в хромосомном таинстве ее генома. Он всегда диву давался, как простое скопление жировых тканей, мышечных волокон и кожных покровов могло вызывать у него такую эрекцию. От мысли о том, что паршивый итальяшка, шестерка при продажных шкурах в Европарламенте, может каждый вечер ее разглядывать, ему хотелось рвать и метать. В такие минуты он особенно остро чувствовал, как несправедлива к нему жизнь: это ли не доказательство, что жизнь вообще — куча вонючего дерьма, беззаконная, безжалостная, бессовестная, сволочная, произвольно выбирающая, кому век вековать в дерьме, а кому наслаждаться попкой его кузины хоть всю ночь напролет. Черт. Черт. Черт. Мухи снова зароились в голове. Очень не вовремя. Он уже почти приехал. Нашел место прямо перед домом, припарковался, бам! — передом, бам! — задом, втискиваться между двумя машинами он никогда не умел, особенно в таком состоянии. Посидел немного за рулем, надо было успокоиться, сладить с потоотделением, кровяным давлением, сердцебиением и мухами, которые гудели как оглашенные. Шшшшшшшшшшшш, шшшшшшшшшшшш, "Kiss" умолк, и какие-то подростки обсуждали в эфире сексуальные про-

блемы, тоска зеленая, шшшшшшшшшш, шшшшшшшшшш, он поймал дебаты двух придурков, которые спорили разом о биоэтике, европейской политике и стабильном развитии.

Первый придурок:

"Если бы власти, правительства, а также некоторые непосредственно задействованные участники процесса, например административные советы университетских общежитий, поняли всю важность переговоров, ведущихся в данный момент в Европарламенте об основах экспертной оценки, то, возможно, пришло бы наконец время для стремительного роста массового самосознания, которого ждет весь мир".

Второй придурок:

"Извините, но я не могу позволить вам подобных заявлений. Вы знаете не хуже меня, что цифры, фигурирующие в экспертной оценке, особенно те, что касаются политики здравоохранения, неоднократно пересматривались, в частности, аппаратом госсекретаря, которому было представлено на рассмотрение досье..."

Первый придурок:

"Я это знаю. Разумеется. Тем не менее порядок величины таков, каков он есть".

Второй придурок:

"Куда мы идем? Нет, все-таки куда мы идем?"

Снова первый придурок:

"Я вас не перебивал. Я дал вам высказаться".

И опять второй придурок:

"Есть вещи, которых я не могу допустить..."

Фред выключил радио. Две буровые установки в комплексе с бетономешалками долбили ему виски. Он вышел из машины, припаркована она была из рук вон плохо, далеко от тротуара и немного наискось. Достало, как же его все достало... Он должен, должен взять себя в руки. Нагнувшись, он взглянул на себя в зеркальце заднего вида — вылитый Дональд Плезанс в сериале "Пятница, 13-е", в тот момент, когда он узнаёт, что Джейсон вернулся... Фред выпрямился, глубоко вздохнул и направился к дому отца.

Он сделал несколько дыхательных упражнений в подъезде, потом еще в лифте. Стало получше — не фонтан, но все-таки получше. У двери он зажмурился, поискал в памяти что-нибудь приятное, и первой вспомнилась ночь, проведенная когда-то с Кристин; он удивился, найдя это воспоминание по разряду приятных, потому что особенно приятным оно не было, всякий раз, когда ему вспоминалась та ночь, он думал, что мог бы, наверное, попросить Кристин сделать ему минет. Не попросил, а жаль. Никто никогда не делал Фреду минет, и ему всегда хотелось узнать, каково это. Настоящий минет.

9. *Семейственность*

Уже когда Фред взялся за ручку двери отцовской квартиры, четкая, словно бритвой вырезанная картинка возникла в его сознании. Сейчас он увидит Катрин, она сидит на сером диване, поджав под себя ноги на

манер копенгагенской Русалочки, на ней ансамбль "New-York sportswear" (джинсы тридцать шестого размера, фирменные кроссовки, белая водолазка на голое тело). Он увидит Фабио, тот стоит у отцовской колонки с дисками, притворяясь, будто ему интересно это скопище допотопных записей (а может, и вправду интересно, подумалось Фреду, ничего удивительного), а напротив него отец, пытающийся привлечь внимание Фабио пересказом самых гнусных пассажей из "Эко"[1]. Фред знал, что все будет именно так, это он уже проходил полмиллиона раз, он точно знал, как итальяшка протянет ему руку для пожатия, гаденько так, как министр домработнице во время освещаемого прессой визита в центр социальной помощи. Он точно знал, как обреченно, с толикой брезгливости посмотрит на него отец, как его, Фреда, глаза — паршивой овцы, полудурка, ничегошеньки не способного сделать со своей жизнью, похожей на кучу навоза для удобрения сада, — будут прикованы к попке Катрин, фокусу его мироздания, горизонту его событий, альфе и омеге, божественному присутствию, откровению.

Когда отец открыл ему дверь, он, несмотря на мух, на ком в горле, на съежившееся от стресса — возможно, даже необратимо — хозяйство в штанах, понял: что-то неладно.

— Это ты? — сказал отец. — Хорошо.

Фреду это "хорошо" не понравилось. И мина отца не понравилась, и все остальное тоже не понравилось, когда минуту спустя он увидел Катрин и Фабио, оба и не думали смеяться, не думали улыбаться и сидели, уставившись на пыльные листья фикуса так, будто в них крылась их горькая участь.

— Твоей кузине нехорошо, — сказал отец.

— Надо было вызвать "скорую", — отозвался Фабио.

— Я в порядке! В порядке! — крикнула кузина, держась за живот.

— Но тебя вырвало! — возразил отец.

— Да еще с кровью! — подхватил Фабио.

Отец повернулся к Фреду и, понизив голос, продолжал:

— Это началось сразу, как только они приехали, у нее заболел живот. Она пошла в туалет и долго там сидела, а когда вышла, ее вырвало, прямо здесь, у фикуса. Она села и сказала, что не может встать.

Фред взглянул на свою кузину — вау! — она смотрелась настоящей секс-бомбой. Джинсов на ней не было, и белой водолазки на голое тело тоже, а были юбка и топик, из-под которого выглядывала бретелька лифчика. Ее цвет лица говорил о наличии абонемента в турбосолярий, где меняют лампы ежемесячно, — чудесный смуглый тон, усмиренный ланкомовским кремом "uv-экстрем". Бледность, результат дурноты, сделала его слегка охряным, с этакой терракотовой ноткой, которая ему нравилась. Он подошел, пожал руку Фабио и поцеловал кузину.

— Я очень рада, — сказала она, — давно тебя не видела.

— Полтора года.

— Полтора года. Так долго!

Новый спазм согнул кузину пополам. "Ммм", — промычала она, потом выпрямилась, взгляд ее помутился от боли, но она продолжала го-

1. Одна из самых популярных деловых газет во Франции.

ворить. Фреду показалось, что это такая игра: "я-больна-но-не-показываю-вида-что-мне-больно-и-одновременно-даю-понять-что-больно-ужасно-но-я-сильная". Это действовало Фреду на нервы и все равно выглядело трогательно.

— Полтора года назад все было проще, — вздохнула Катрин. — Мне бы воды стаканчик.

По взмаху руки Фабио стакан воды материализовался в руке Катрин.

— Ну, а ты что поделываешь? По-прежнему занят диссертацией? — спросила она.

У Фреда сжалось сердце, когда перед его мысленным взором встали три странички с планом, отдыхавшие в одном из ящиков платяного шкафа.

— Да, по-прежнему...

Со стороны отца донесся вздох, и Фред понял, что остаток вечера ожидается более классическим. Ну и плевать, он сел рядом с кузиной, мухи притихли, ему было хорошо.

Отец разогрел ужин из ресторана — навороченные блюда, доставленные в судках из нержавейки и разложенные затем по тарелкам. Он попросил разрешения — мол, не возражает ли кто, — включить новости: из-за демонстраций. Фабио не возражал, Фреду было по фигу, у Катрин болел живот. Отец повернул телевизор к столу, Фабио сел на стуле боком, чтобы видеть экран, и очень старался не закапать соусом брюки.

"...гибель нескольких демонстрантов от пуль, кто открыл огонь, пока выясняется. Среди погибших двое французов, двадцати восьми и тридцати трех лет; они пришли, как и все остальные, заявить протест против того, что здесь называют 'рыночной логикой глобализации'..."

— А что они предлагают? — спросил Фабио, вытирая салфеткой пятнышко возле ширинки.

На экране еще раз-другой прошли те же кадры, что показывали днем: толпа в панике бежала врассыпную, люди в касках молотили дубинками всех, кто попадался им под руку, толстая девушка сидела на краю тротуара, утирая капающую из носа кровь, растерянного вида фигуры окружили неподвижное тело. Фабио и отец не отрывали глаз от телевизора. Катрин встала и положила руку Фреду на плечо.

— Здесь слишком жарко. Я выйду на террасу, пойдешь со мной?

Терраса была небольшая, с бетонным полом, узкая и длинная, на ней помещались три белых пластиковых стула и такой же столик. У балюстрады стоял глиняный горшок, до половины наполненный землей, в которой, похоже, ничего никогда не росло. Невысохшая лужица бурой воды в углу напоминала о прошедшем днем дожде. Свежий ветерок задувал то с одной, то с другой стороны, и город сверху выглядел недурно.

— Как же мне нехорошо. Честное слово, — вздохнула Катрин, садясь. Фред сел рядом. Она открыла рот, словно хотела сказать еще что-то, но закрыла, ничего не сказав.

— Что? — спросил Фред.

Она ответила не сразу, устремив странно затуманенный взгляд на горизонт, за крыши домов.

— Со мной такие вещи происходят, Фред...

– Да?

– Странные вещи. Вот ты когда в последний раз занимался любовью?

Фред прокашлялся и нахмурил брови, вспоминая.

– Я спросить-то не об этом хочу. Я о другом, ты... Сколько это у тебя продолжается, прежде чем ты?.. Ну, понимаешь?..

Фред опять нахмурил брови, но Катрин продолжила так быстро, что ответить он не успел.

– Знаешь, по-моему, у Фабио с этим проблема... Мы пытались поначалу, но он никогда не мог удержаться. Даже чуть-чуть... Все кончалось прежде, чем он меня...

– Неприятно, – посочувствовал Фред.

– А потом его достало, что я все время об этом говорю. В общем, мы и пытаться перестали. Избегали проблемы...

Фред счел за лучшее не высказывать вслух, что вся эта история представляется ему чудовищным недоразумением. Такая изумительная попка, и ею, оказывается, даже некому заняться...

– Слушай, со мной происходят такие вещи, честное слово... Как бы тебе объяснить... У меня нет менструаций, вот уже два месяца, и так болит, просто ужас.

– Ты беременна?

– Ну, с этого я и начала: купила тест на беременность.

– Результат?

– Положительный!

– Так, значит, ты беременна? – спросил Фред и даже слегка выпрямился на стуле.

– Подожди. Я показалась моему гинекологу. Он классный. Принимал роды у всех моих кузин... В общем, он меня осмотрел, взял анализ крови и сделал ультразвуковое исследование.

– И что?

– И ничего. У меня ничего нет. Естественно, и быть не может. С проблемой Фабио неоткуда ничему взяться...

– Ну а твоя-то проблема тогда в чем? Задержка, боли?..

– Представь себе, гинеколог позвонил мне вчера. У него был такой странный голос. Как у человека, который увидел, что в его саду приземлился НЛО, ну вот, и он сказал, что получил результаты из лаборатории. Ну, анализ крови.

– С ним что-то не так?

– Это анализ беременной женщины на третьем месяце. Настоящий гормональный фейерверк. Он так и сказал: "гормональный фейерверк".

Катрин наклонилась вперед.

– Мне так плохо... Что же это со мной происходит...

Она заплакала, тихо, с короткими тоненькими всхлипами.

– Мне страшно, Фред. Такие вещи происходят...

– Но что? Что происходит?

– Такие вещи... Пострашнее даже, чем эти результаты анализа, пострашнее, чем мои схватки, *по-настоящему* страшные вещи.

– Чем страшные?

— Вот, посмотри, например, и скажи, ты что-нибудь понимаешь, и, по-твоему, это не страшно?...

Она показала пальцем на глиняный горшок в углу террасы.

— Ну и что? — не понял Фред.

Горшок оторвался от пола, приподнялся на несколько сантиметров и завис, неподвижный, жутковатый, безмолвный, точно маленький бумажный монгольфьер в ожидании указаний пилота.

10. *Жизнь в паре*

Кристин проснулась и инстинктивно протянула руку, чтобы дотронуться до спящего Пьера. Это было первым ее движением каждое утро, вот уже три года, с тех пор как они жили вместе: протянуть руку, ощутить пальцами кожу — и вставали на место разбегающиеся с утра мысли, забывались вчерашние дурные сны... будто смазывали клеем частички ее личности, которые иначе бы осыпались, и она от этого осыпания стала бы такой, какой была прежде: склонной к унынию, к тревоге, к мигреням и агрессивности, короче говоря, склонной к занудству. За эти годы Пьер ее, как ей казалось, умиротворил. Он укрепил ее хорошие стороны, скруглил ее острые углы, дал ей понять, что секс может быть не только перепихоном со случайными знакомыми, встреченными на собраниях всяких там комитетов, заставил взглянуть новыми глазами на собственные лицо и тело, убедил, что они могут внушать любовь и желание, одним словом, он раскрыл ее, освободил, окрылил. И оттого к любви, которую она к нему испытывала, безусловно примешивалась — хоть она и опасалась этого чувства в отношениях — благодарность. Кристин же, со своей стороны, стала для Пьера болеутоляющим. Его боли никуда не делись, да и не могли, при том, кем он был и какой жил жизнью, никуда деться, эти мучительные боли, от которых и сейчас он порой просыпался среди ночи и плакал горючими слезами, но они уменьшились и возникали реже, что было уже неплохо. В общем и целом, их чета была удачным союзом слегка двинутых, поскрипывающим, но надежным механизмом, этаким швейцарским ножом, который мог послужить и для облегчения их повседневного быта, и для амортизации ударных волн его и ее страданий.

Когда рука Кристин встретила пустоту, разочарование, словно лопнувший пузырек, неприятно защекотало пищевод, и она села в постели. Красные электронные цифры будильника показывали девять часов. Сквозь ветви старого каштана просвечивало белесое небо. Она встала, голая, накинула купальный халат, валявшийся в изножье кровати, и вышла из спальни. Ей хватило секунды, чтобы обойти крошечную квартирку и остановиться в недоумении посреди гостиной. Что же случилось? Она выдохнула — ничего страшного, конечно же, ничего, он просто вышел за хлебом, или за сигаретами, или за газетой, надо же прочесть подробности о демонстрации против "Большой восьмерки", той самой, что обернулась побоищем. Она взяла мобильник и набрала номер Пьера. Звонок раздался в кухне — он забыл свой телефон на столе. Кристин скрипнула зубами от досады. Она приняла душ, оделась, вымыла вчерашнюю посуду, убрала в футляры разбросанные диски. Когда

она вернулась в спальню застелить постель, будильник показывал десять сорок пять. Тут она забеспокоилась всерьез. Может, Пьер все-таки говорил ей, что у него есть какие-то дела сегодня утром? Нет, точно не говорил. С ним что-то случилось, когда он вышел за хлебом или сигаретами? У нее мелькнула мысль позвонить в полицию, но звонок в полицию был бы почти такой же гнусностью, как звонок в гестапо: мол, поздравляю с успешной облавой. Да и все равно, случись что, бумажник при нем, значит, ей бы сообщили. Хотя могли сообщить и родителям Пьера, а те, больные на голову, и не подумали бы сообщить ей. Она изо всех сил сохраняла спокойствие. Выйти или остаться дома? Она села, машинально взяла валявшуюся рядом вчерашнюю газету, пробежала глазами первую страницу — статью о полицейских зверствах с фотографией горящей машины, отложила газету, не читалось. Нет, конечно же, ничего не могло случиться, и что она так встревожилась? Пьер, наверное, встретил по дороге знакомого, они пошли выпить кофе, он, если разговорится, совершенно не замечает времени, сейчас наверняка с пеной у рта рассуждает о крахе "Энрона"[1], военно-нефтяном лобби, теориях Лео Страусса о государственных тайнах и его влиянии на Вулфовица[2]... Ну да, конечно.

Кристин посмотрела на часы, оказалось, что уже за полдень, все-таки слишком долго его нет. Она решила позвонить родителям Пьера.

К телефону подошла его мать.

— Центр исследований, — сказал ее голос в трубке.

Тон был сухой, Кристин всегда с трудом его переносила и как могла избегала разговоров с ней. Ей казалось, что больше пяти минут общения с этой женщиной могут иметь если и не совсем необратимые, то уж точно неприятные последствия для психики. Она поколебалась, уже жалея, что позвонила.

— Я хотела вас спросить, вы не в курсе, где Пьер?

— Знаете, Кристин, Пьер уже самостоятельный мальчик. Он живет своей жизнью, как позволяет ему его энергетика и велят душа и совесть. Если он решил уйти, не надо ему препятствовать.

Кристин захотелось шваркнуть телефон о стену, но она вдохнула и выдохнула.

— Он вовсе не решил от меня уйти, он просто не пришел домой, и я беспокоюсь...

— У таких людей, как Пьер, есть предназначение. Не забывайте об этом, Кристин, лучшее, что вы можете, — это помогать ему жить сообразно с этим предназначением.

— Спасибо, я подумаю над вашими словами.

Кристин никуда не пошла. Особых дел у нее не было, и она сидела дома, будто бы просматривая планы статей для комитетских газет. Тщательно перемыла посуду, понаблюдала в окно за двумя дроздами, которые дрались из-за хлебных крошек. Ей подумалось, что паршиво быть одной, что неплохо бы иметь ребенка, будь у нее малыш, она пошла бы

1. Крах крупнейшей американской энергетической компании "Энрон" в 2001 году стал одним из самых громких финансовых скандалов в истории.
2. Влиятельный Пол Вулфовиц, бывший заместитель министра обороны США, президент Всемирного банка в 2005–2007 гг., был учеником американского философа и политолога Лео Страусса.

с ним на прогулку, потом смотрела бы, как он спит, и день прошел бы незаметно. Увы, ребенка у нее быть не могло, во всяком случае от Пьера, из-за его "проблемы", из-за его больных на голову родителей. Когда она думала обо всем этом, о генетике, ей становилось скверно, тошно и жгло в желудке; ну почему, почему ей надо было влюбиться именно в Пьера? Почему не в кого-нибудь более "нормального" происхождения? Она позвонила Фреду, тот, по своему обыкновению, дремал; он поговорил с ней о вечере, проведенном у отца, о своей кузине, которой "нездоровилось", о том, как ужасно происшедшее во время демонстрации, о своем желании "что-то делать", в смысле что-то более конкретное, чем расклейка афиш и компиляция статей теоретиков антиглобализма. Она согласилась, сказала, что это надо будет обмозговать, в комитетах, в группах, в обществах, они непременно что-нибудь придумают. О том, что Пьер пропал, она ему не сказала, постыдилась, что ли, из-за своей тревоги показаться бедной овечкой, замороченной ценностями патриархального общества. Вдобавок сама на себя разозлилась за этот стыд, почувствовала неловкость, перестала слушать, что говорил ей Фред, зачем-то вспомнила, как влюбилась в него много лет назад, а он ее оттолкнул. Она наскоро попрощалась и первой повесила трубку.

Наступил вечер, стемнело. Разболелась голова, и Кристин приняла таблетку аспирина; ей больше ничего не хотелось, она машинально поела рису, сбрызнув его оливковым маслом и чуть-чуть посолив, невкусно, ну и ладно. Легла в кровать, паршиво было ложиться одной, мобильник положила рядом на тумбочку, попыталась ни о чем не думать, получилось, и она уснула.

Когда Пьер сел на кровать, было четыре часа утра. Он гладил ее по волосам. Она привстала и увидела, какими странными глазами он на нее смотрит, глазами приговоренного к смерти.

— Все пройдет, — сказал он. — Все пройдет.

Кристин поняла не сразу.

11. Трудное детство

Пьер знал, что его родители — люди больные, шалые, двинутые и опасные. Он знал это почти всю жизнь, знал с тех пор, как начал понимать, кто он, каким образом появился на свет и, главное, ставкой в какой игре могла стать его жизнь. Пьер был зачат в открытом море, на яхте, дрейфующей в нейтральных водах, где волны высоки и неспешны, а законы едва ли весомее массы фитопланктона. Хозяином яхты был один француз, который сделал состояние на оптическом волокне задолго до своей, как он это позже назвал, "встречи с потусторонним", до "межзвездного пути", на котором некий "внеземной и высший разум" передал ему послание для человечества. В общем и целом это послание посредством довольно-таки искусного набора аргументов приводило к выводу, что лучшим свершением во имя спасения цивилизации будет перетрахать максимальное количество девушек, желательно высоких блондинок, но и маленькие брюнетки тоже годились. Как ни странно, эта байка убедила немало народу, по большей части это было, конечно, отребье, неприкаянные души, мятущиеся подростки, завязавшие нарко-

маны, невротики, но попадались и люди, которых, казалось бы, ничто не предрасполагало к вере в теорию "послания истинных людей переродившемуся миру", – служащие, чиновники, ученые.

Родители Пьера были как раз из таких: отпрыски провинциальной буржуазии, оба со средним образованием – у него за спиной финансовый коллеж, у нее государственные курсы машинописи. Эти двое встретились в силу целого ряда совпадений, приведших и его и ее на собрание маоистского комитета, где ни ему ни ей нечего было делать. Они разговорились и покинули собрание вместе, когда девица лет двадцати, не больше, толкала речь о грядущем ниспровержении культовых фигур капитализма. Будущая как бы мать Пьера подвернула ногу, споткнувшись о кипу листовок, призывавших к поддержке бастующих рабочих завода "Мишлен", и его будущий как бы отец вызвался проводить ее домой. Девушка не возражала; жила она в миленькой двухуровневой квартирке, грязноватой, правда, но миленькой. Будущий как бы отец Пьера сказал ей, что она красивая, он сказал ей это, держа ладонь у нее на затылке и запустив пальцы в волосы, и произнес эти слова "особым" голосом, на тон ниже своего обычного тембра. Все это для будущего как бы отца Пьера было Большой Игрой, набором в совершенстве отработанных приемов, благодаря которому он поимел – "уже" – десятка полтора девушек и мог похвастать тем, что среди них не было ни одной уродины. Тактика, сработавшая с пятнадцатью предыдущими, сработала и с будущей как бы матерью Пьера. И отменно, надо сказать, сработала. Так сработала, что на другой день, едва успев расстаться, они созвонились, договорились о свидании, встретились и снова занялись любовью, познав при этом такие вершины блаженства, до каких и он и она добирались нечасто. Они стали встречаться постоянно, надавали друг другу обещаний, поселились вместе в грязноватой двухуровневой квартирке и устраивали там вечеринки, на которых все сношались со всеми, такое было время, но это ничуть не умаляло их чистой и незамутненной взаимной любви.

Вместе они открыли Кришнамурти и индийскую философию, уехали в Кералу и полгода прожили в ашраме, медитируя и вовсю сношаясь с другими парами – англичанами, немцами, американцами и французами, тоже приехавшими в эти места за душевным покоем, недостижимым на Западе. Вернувшись, они задались вопросом: что поможет им сохранить капитал мудрости, приобретенный на субконтиненте? Они участвовали в практикумах rebirth[1], во время которых заново пережили травму рождения, дабы освободиться от нее, и в яновских[2] уик-эндах, когда, облачившись в белые кимоно, кричали во всю силу легких; жили в юнговских обителях в Бретани, где постигли силу, заключенную в великих кельтских мифах; приняли посвящение в холистический массаж, разучивали мантры, рисовали мандалы на шелке, курили травку в количествах, выходящих за пределы разумного, сношались, сношались и снова сношались, слушали серийное эхо Стива Райха, спорили до хрипоты о понятии сознания в опусах Тимоти Лири, прочли "Космического змея", "Путешествие в Икстлан", "Непроторенную дорогу", и, наконец, с подачи

1. Второе рождение (*англ.*).
2. Американский психотерапевт Артур Янов лечил так называемым "первородным криком"; прославился в основном тем, что его пациентом был Джон Леннон.

одного типа, увивавшегося за будущей как бы матерью Пьера, приобщились к книге "Посланник звезд", написанной бывшим специалистом по оптическому волокну и опубликованной за счет автора.

Это стало для них откровением. Они загорелись идеей "хромосомной диссеминации", замыслом "экспериментальной зоны Гайя", теорией "непреходящего характера жизненных сил". Они побывали на встрече со специалистом, который снял для этого случая в районе Хасбрука банкетный зал в ресторане. Им был оказан незабываемый прием, горячий и восторженный, и после искрометной лекции, продолжавшейся два с лишним часа, они лично познакомились с человеком, который коренным образом изменил их жизнь.

Специалист по оптическому волокну переоделся в просторный костюм, покрой которого был навеян одеяниями ацтекских жрецов периода Теотилмакан. Он пригласил их сесть рядом и, поглаживая волосы будущей как бы матери Пьера, предложил влиться в его общину. Они согласились, съехали из грязноватой двухуровневой квартирки и поселились, подобно полусотне своих предшественников, в большом поместье в департаменте Вар, которое, как и все обращенные, именовали не иначе как "святилищем". Отныне и впредь оно стало их домом. Время свое они делили между общественно полезным трудом, медитацией и сеансами траха со специалистом. Их энтузиазм и преданность идее оценили: вскоре они вошли в круг избранных, номенклатуру общины, и в этом качестве, а также, возможно, потому, что будущая как бы мать Пьера оказалась одной из лучших блондинок в послужном списке специалиста, были избраны новыми Адамом и Евой программы клонирования человека.

Программа клонирования человека была самым грандиозным из планов общины. Планом, успех которого открыл бы ей двери всемирного признания. Были затрачены годы поисков, попыток и опытов, порой мучительных; эти годы будущая как бы мать Пьера и его будущий как бы отец прожили в тесноте и сырости на яхте специалиста; то были годы надежды, но и годы отчаяния, порой годы одиночества посреди нейтральных вод. А потом однажды — никто толком так и не понял, каким образом — мать Пьера забеременела Пьером, эмбрионом-клоном его отца, и то была биотехнологическая победа первостепенной важности.

Как ни странно, СМИ проявили весьма умеренный интерес к событию, коим, безусловно, являлось рождение первого клона человека, а научный мир, надо полагать, из своеобразной ревности не отнесся всерьез ни к самому феномену, ни к условиям, в которых стал возможен этот подвиг. Прошли годы, мир изменился, а с ним изменилось и сознание людей. То, что пленяло умы в послании специалиста по оптическому волокну, выглядело теперь в лучшем случае допотопным курьезом, а то и вовсе идиотизмом. Община, в лучшие времена насчитывавшая несколько сотен членов, сократилась до нескольких десятков. Пришлось продать и яхту, и поместье в Варе, удовольствоваться скромным коттеджем на одну семью, который переоборудовали и нарекли "Центром психологических и философских исследований человеческой жизни". Там-то, в атмосфере, проникнутой ностальгией по безвозвратно ушедшему времени и надеждой на новый взлет, год от года все менее вероятный, и вырос Пьер, подопытная свинка, диковина, предмет гордости, сын-клон и потому ничей, научно-техническое достижение общины и потому всеобщий сын.

Казалось бы, само рождение Пьера было колоссальным успехом, но, увы, в глубинах его существа, в непостижимых тайнах хромосом, в сложном процессе кодировки белков, обеспечивающих работу организма, имелись мельчайшие сбои, отклоненьица на атомном уровне, рибонуклеиновые сдвиги на волосок, последствия которых, однако, для мальчика, а затем молодого человека оказались пагубными. Пьер был аллергиком. Он страдал аллергией буквально на все. Это был беспрецедентный случай, своего рода медицинский рекорд, жизнь Пьера была сплошным адом, худшим из всех возможных. Пьер страдал аллергией на стиральные порошки, на кондиционеры и практически на все шампуни. Он страдал аллергией на цветочную пыльцу, на укусы комаров, пчел, ос и блох, на шерсть всех животных и перья всех птиц, за исключением колибри и какаду. На все масла, особенно на арахисовое, почти на все фрукты — на клубнику, естественно, но также на яблоки, помидоры, мандарины, дыни, арбузы, киви, сливы и гранаты. Менее острая, но все же аллергия была у него на животные белки, хлор, пенициллин, синтетический сахар и, наконец, на аспирин. Вот так, и ничего нельзя было с этим поделать, Пьеру, хочешь не хочешь, приходилось мириться с тем фактом, что жизнь его напоминала прогулку по минному полю. Стал он от этого не трусливым, но осторожным, не желчным, но решительным. Это повлияло также на его восприятие жизни, опасности и безопасности, добра и зла, любви и ненависти, друзей и просто окружающих. Мир, понял он, находится в состоянии войны. В нем есть войска и оккупанты, сопротивление и коллаборационизм, бои идут не на жизнь, а на смерть, и это не игрушки. Пьер выбрал, на чьей стороне воевать, вынужден был выбрать, по крайней мере так ему казалось.

И настал день, когда выбранный лагерь напомнил ему о себе.

12. *Post-coitum*[1]

Фред вернулся домой в привычной тоске, которая липла репьем всякий раз, когда он расставался с кузиной. О причине этой тоски он лишь догадывался — она коренилась где-то на феромональном уровне. Это была тоска не экзистенциальная, а чисто биологическая: все его тело жаждало внедриться в организм кузины, проникнуть в него и овладеть им на всю возможную длину, выплеснуть в него толчками максимальное количество спермы — и все его тело испытывало разочарование, оставшись наедине с собой, со своим желанием, со своей длиной и своим количеством, все это, понятное дело, начинало в нем закисать, образуя коросту депрессии, которая застила ему свет и портила жизнь.

Он разделся донага и лег. Уже засыпая, подвел итог вечера. Проделав свой фокус, Катрин расплакалась. Фред почувствовал себя неловко на террасе с рыдающей кузиной, при наличии в гостиной папаши и итальяшки. Вот будь он с ней наедине, тогда бы точно что-нибудь сделал, а не сидел бы пнем на стуле, бормоча ей в утешение откровенные глупости. Он сказал ей:

1. После соития (*лат.*).

– Тебе, наверно, надо показаться кому-нибудь, ну, врачу, специалисту...

– Специалисту? В какой области? – так и взвилась она, стукнув по ляжкам сжатыми кулачками, каждый не больше мандарина. – Если я расскажу об этом врачу, как пить дать дойдет до спецслужб, меня быстренько изымут из обращения, и я закончу свои дни в какой-нибудь военной лаборатории.

– Как в "Секретных материалах"? – спросил Фред, зная, что это очередная глупость.

– Точно, – ответила она.

Потом они просто сидели молча, город вымок под дождем и выглядел так себе, стемнело, водяная морось поднималась от тротуаров и стояла легкой дымкой вокруг фонарей.

Фред спал уже два часа, когда зазвонил телефон. Он привстал на локте и, порывшись в куче скомканной одежды, извлек мобильник.

– Фред, это Кристин.

– Я сплю. Который час?

– Эээ, двадцать минут пятого, извини, что разбудила, но я правда по важному делу... Приезжай сейчас же, можешь?

– Сейчас? Но...

– Я же говорю, важное дело, я хочу сказать, очень серьезное... Это касается Пьера. Слушай, я не хочу по телефону, мне правда очень-очень нужно, чтобы ты сейчас приехал, пожалуйста.

– Ладно, приеду. Буду через четверть часа. Свари кофе.

– Постой, еще одно, по дороге надо заехать за Полем.

– За Полем? – Фред сел. – Он вернулся?

– Да, уже больше месяца здесь, я только что ему звонила, он ждет тебя.

– Это действительно так важно?

– Да.

Фред хотел спать, его знобило, глаза словно залили соляной кислотой, и меньше всего ему хотелось видеть Поля. Во всяком случае не сейчас, не в таких обстоятельствах, лучше бы подождать еще немного, тогда бы он нашел что ему сказать, чтобы прояснить ситуацию, чтобы вывести их дружбу из тупика, в который она зашла после того окаянного дня три года назад. Он натянул толстый свитер с высоким воротом, надел куртку, фыркнул, взглянув в прихожей на свою физиономию зомби в зеркале.

Тот окаянный день три года назад был вообще-то чудесным солнечным днем. Светило шпарило не по сезону с самого рассвета, а на закате было красным и горячим, как стеклокерамическая конфорка, включенная на максимальный нагрев. Для Фреда в его тогдашнем состоянии это солнце было хуже ада. Помнится, Поль зазвал его тогда на вечеринку к своему приятелю, тот праздновал годовщину свадьбы. К его приходу Поль уже изрядно набрался, Фред застал его лежащим частью на груде подушечек с африканским узором, частью на какой-то девице, которой он рассказывал, как в один прекрасный день собственноручно истребит всю президентскую рать Белого дома. Девица, похоже, план Поля одобряла. Поль познакомил Фреда с виновниками торжества; при-

ятель, праздновавший годовщину свадьбы, был низенький и большеголовый, его жена, словно отлитая с той же матрицы, тоже низенькая и большеголовая, оба очень бледные, и оба по степени расширенности зрачков приближались к лемурам. Поль что-то спросил у лемура-самца, и тот достал из кармана пластиковый пакетик с белыми таблетками.

– На. Это для гостей, – сказал он, протягивая одну Фреду.

Фред взял таблетку, он и не знал толком, что́ это, ЛСД, экстази, героин, какая разница, потом он посидел немного с Полем. Тут к Полю подошла лемуриха-самка и принялась объяснять, что ее кузина, приехавшая черт ее знает откуда, ждет в кафе, мол, надо за ней подъехать. Поль поинтересовался, каким боком его касается эта приезжая кузина; лемуриха занудила, мол, "не может он отказать ей с Жаном, за ним должок"; Поль как будто что-то вспомнил, кивнул и спросил Фреда, "нельзя ли взять его машину, а то у него барахлит коробка передач". Фред ничего не имел против, ему было хорошо от принятой таблетки, полный кайф, только в мозжечке постукивало. Они с Фредом ушли вместе, доехали до кафе и нашли там кузину лемурихи. Фреду помнилось, что она тоже была маленькая и большеголовая, с круглыми глазами и челкой, закрывавшей брови, а зрачки у нее тоже были огромные, в общем и ее можно было смело причислить к семейству лемуров. Они с Полем и девушкой сели в машину, Фреду все еще было хорошо от таблетки, она понравилась его нейромедиаторам. Он вел машину, было жарко, и вот тутто у него и вырвались слова, после которых все пошло наперекосяк, слова, превратившие клевый денек в сущее мучение. Он сказал:

– Ну и жарища! Кондиционер бы сюда.

Кузина лемурихи откинула челку назад, обнажив выпуклый, неприятный какой-то лобик. И заявила:

– Кондиционированный воздух – это рак озонового слоя. Из-за таких придурков, как ты, наши дети будут жить в мире без атмосферы.

Фред попытался было ответить:

– Да я просто так сказал, мне наср...

Но девушка не дала ему договорить и завизжала:

– "ПРОСТО ТАК" НИЧЕГО НЕ БЫВАЕТ. СЛОВА – НОСИТЕЛИ ИДЕЙ, ВОТ ИЗ-ЗА ТАКИХ ИДЕЙ, КАК У ТЕБЯ, ТАК ПЛОХИ ДЕЛА В МИРЕ. ВЕЗДЕ ФАШИСТВУЮЩИЕ ПРИДУРКИ, ВЕЗДЕ, НА КАЖДОМ УГЛУ. А ЕСЛИ БЫ ТВОЕЙ МАМОЧКЕ БЫЛО ЖАРКО, ТЫ ОТПРАВИЛ БЫ ЕВРЕЙСКИХ ДЕТЕЙ В ГАЗОВУЮ КАМЕРУ, ЧТОБЫ ЕЙ ПОЛЕГЧАЛО...

Поль с переднего сиденья обернулся к кузине-лемурихе и заговорил тоном психолога, ведущего переговоры с невменяемым:

– Послушай, день такой хороший, мы едем на вечеринку, мой друг сказал, не подумав, он извиняется. Здесь нет любителей кондиционированного воздуха, здесь все сортируют бытовые отходы и делают все возможное для того, чтобы мир, который мы оставим будущим поколениям, был...

Но девушка и не думала униматься:

– АХХХХ ВОТ КАК? АХХХХ ВОТ КАК? А ЭТА МАШИНА, СКОЛЬКО, ПО-ТВОЕМУ, ЛЮДЕЙ ОНА УБИВАЕТ? ИЗ-ЗА БЕНЗИНА, НА КОТОРОМ ТЫ ЕЗДИШЬ, ПРОЦВЕТАЕТ РАБСТВО В БИРМАНСКИХ ДЕРЕВНЯХ, ИЗ-ЗА РЕЗИНЫ НА ТВОИХ КОЛЕСАХ ЗАДЫХАЮТСЯ

ТРУЩОБЫ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ, И Я УВЕРЕНА, ЧТО ТЫ ДАЖЕ НЕ ЗНАЕШЬ, СКОЛЬКО ЛИТРОВ ВОДЫ РАСХОДУЕШЬ НА АВТОМОЙКЕ!

Фреду стало тревожно, когда она упомянула Южную Америку, он знал, что на эту тему Поль шутить не любит. Очень не любит.

– Останови, – сказал Поль.

Фред припарковал машину. Поль встал на колени на своем сиденье, теперь он смотрел девушке в лицо.

– Ты была в Южной Америке?

– Я читала, – надув губы, буркнула девушка.

– Читала, значит? Читала про Пиночета, про Соединенные Штаты, про контрас, про военные хунты и прочую муру? Да?

– ЧТО-ЧТО? ТЫ ХОЧЕШЬ СКАЗАТЬ, ЧТО ВСЕ ЛОЖЬ? ТЫ...

Это вышло само собой. Увесистая затрещина с хлопком взорвавшейся петарды обрушилась на щеку лемурихи в этот солнечный день.

– Я не говорю, что ложь, это все чистая правда, вот, посмотри...

Поль задрал футболку и показал длинный шрам, розоватой змеей протянувшийся от левого бедра к правому соску, от которого остался лишь странной формы бугорок.

– Это памятка из Колумбии, от семнадцатилетнего мальчишки, которому и еще трем тысячам таких же платило ЦРУ, чтобы они проводили зачистки и нагоняли страху на жителей деревень в юго-восточном регионе. Знаешь, что они делают, если деревня на подозрении?

Кузина-лемуриха ничего не ответила, она испуганно смотрела на Поля и потирала щеку. Поль продолжал:

– Знаешь, что они там делают с женщинами, знаешь, что я видел?

Она помотала головой:

– Нет, но...

– Вылезай из машины, – приказал Поль.

Фред чувствовал, что дело пахнет керосином, он не знал, вмешаться ему или подождать, вообще-то ему было хорошо, действующее вещество таблетки продолжало гладить его нейромедиаторы по шерстке. Кузина-лемуриха вышла из машины, Поль тоже.

– Ты говоришь, что слова – носители идей, а сама несешь черт-те что. Ты рассуждаешь о Южной Америке, а сама знать не знаешь, что такое Южная Америка. Когда солдаты приходят в деревню, они выстраивают женщин, детей, стариков у стены и прошивают всех из пулемета, в живых оставляют только молодых мужчин, способных воевать. Знаешь почему?

– Нет.

– Потому что эти парни, солдаты, любят войну, это смысл их жизни, они не хотят уничтожить врагов на корню, наоборот, они сами создают себе врагов, да позлее, поопаснее. Ты это знала?

– Нет, но я не...

Хлоп! – прозвучала еще одна затрещина, девушка упала. Хватит, решил Фред и вышел из машины. А Поль продолжал:

– Южная Америка – это не континент, Южная Америка – это кусок ада, всплывший из преисподней.

– Гад, придурок, фашист! – выкрикнула девушка.

И тогда совершенно спокойно, будто всю жизнь только этим и занимался, Поль ударил ее ногой в лицо. Голова девушки стукнулась о левую заднюю дверцу, и кузина-лемуриха беззвучно, как осенний лист на ковер осенних листьев, упала на тротуар. Поль снова занес ногу, но Фред удержал его.

— Перестань, не надо, перестань.

— Ладно, только в машину я ее не пущу.

— Оставим ее здесь, у нее есть телефон, позвонит, кто-нибудь еще за ней приедет, поехали отсюда.

— Южная Америка — это ад, знаешь, женщин они не всегда убивают, еще увозят молодых крестьянок-девушек и продают их в Саудовскую Аравию. Я рассказывал тебе про Карлу?

— Да.

— Знаешь, я ведь ее любил.

— Знаю.

— У нее были... глаза, такие... Когда она просыпалась утром, всегда улыбалась.

— Хорошая девчонка, — кивнул Фред.

— Потрясная.

Они сели в машину и поехали, но на вечеринку не вернулись. Действие таблетки пошло на спад, и Фред постепенно осознавал всю чудовищность происшедшего. Ему было нехорошо, не по себе, он и раньше знал, ему говорили, что Поль совсем без тормозов, но одно дело знать, а другое — увидеть своими глазами. После этого случая Фред больше не звонил Полю. Тот несколько раз оставлял ему сообщения, он не отвечал, старался не пересекаться с ним на вечеринках, даже когда их устраивала Кристин, а встретив его однажды случайно в торговом центре, сделал вид, будто не заметил. Фред уже доехал до нужной улицы, впереди метрах в десяти темная фигура помахала ему рукой: Поль ждал его у подъезда.

13. *Старые друзья*

Поль сел в машину рядом с ним; по его лицу Фред понял, что его звонок Кристин тоже разбудил. От него пахло причудливой смесью лосьона для бритья, табака и травки. После того случая с кузиной-лемурихой он потолстел, волосы стали короче и подернулись серым на висках. Фред мимоходом задумался, как, собственно, может прожить три года буйный псих. Кристин говорила, что он снова был в Южной Америке и провел несколько месяцев на границе Гондураса и Панамы, пытаясь наладить связи с группировкой местных индейцев под предводительством французских экологов, проповедовавших возвращение к ортодоксальному вегетарианству. Целый год о нем ничего не было слышно, а потом Кристин получила мейл: Поль сообщал, что лежит в больнице в Парамарибо с воспалением конца, и просил прислать немного денег, чтобы заплатить за лечение.

— Она сказала тебе, что случилось? — нарушил Поль молчание.

— Сказала, что дело важное и что это касается Пьера.

— Я больше не могу, так больно, когда отливаю, сил никаких нет, мне даже прописали какое-то местное обезболивающее. Но только раз в два дня, не чаще. Так что стараюсь поменьше пить.

— Как тебя угораздило подцепить заразу?

— Купался в речке, какая-то малюсенькая рыбешка возьми да и заплыви мне в уретру и икры там наметала. Мальки кормятся тем, что есть.

— Вот жуть-то.

— Паразитизм, как в либеральном обществе: ничтожное меньшинство выживает за счет организма, в котором поселилось.

— Хороший образ, — кивнул Фред, чувствуя, как в голове просыпаются мухи.

Открыла им Кристин, вид у нее был совершенно измученный.

— Спасибо, что пришли.

Она впустила их. Пьер сидел за столом в гостиной и, хмуря брови, листал смятые страницы ежедневника. Он поднял голову.

— Хотите что-нибудь выпить?

Фред и Поль сели. У всех были красные от недосыпа глаза. Кристин, прислонившись к книжному шкафу, молча курила. Пьер откашлялся и заговорил.

— Вы уж извините, что сорвал вас среди ночи, но дело действительно очень важное, мне нужен ответ сейчас. Я вам все объясню, только имейте в виду, вы, конечно, можете отказаться. Единственная просьба — не распространяться о том, что я вам скажу.

Они кивнули. Фреду очень не нравился серьезный тон Пьера. Это напоминало ему об отце, действовало на нервы, и мухи оживились в голове. А Пьер продолжал:

— Я полагаю, вы все видели по телевизору демонстрацию в Италии.

— Дерьмо да и только, — отозвался Поль.

— Ага, дерьмо да и только.

— А ведь все было очень хорошо организовано. Планировалась мирная демонстрация. Массовая, но мирная. Организаторы предусмотрели даже собственную службу охраны порядка, договорились с полицией о периметре и маршруте шествия, ничего не должно было случиться.

— Как всегда, нашлись идиоты, которые все похерили... — сказал Фред, из-за жужжания мух с трудом слыша собственные слова.

— Среди этих идиотов, которые все похерили, не было ни одного демонстранта, — отозвался Пьер, спокойно сворачивая косяк.

— Кто же тогда? — спросил Поль.

— А ты откуда знаешь? — подхватил Фред, отвлекаясь от своего внутричерепного гудения.

Пьер помедлил, словно раздумывал, стоит ли отвечать, затянулся косяком.

— Уже почти пять лет я сотрудничаю с людьми, которые знают все о театре военных действий — я имею в виду нашу войну против механизмов глобализации.

— Война — это слишком сильно сказано, — вставил Фред.

— Нет, именно война. Идут бои, и убитые есть, с каждым днем все больше.

— Я сам их немало видел, — подтвердил Поль.

— И, как во всякой войне, у каждой стороны есть разведка, двойные агенты, саботажники, предатели... целая клика готовит поля будущих сражений.

— Так это на них ты уже пять лет работаешь? — догадался Поль.

— Да, то есть те, на кого я работаю, это, скажем так, независимая группа, что-то вроде агентства, которое собирает максимум информации в чистом виде, почерпнутой отовсюду: из официальных правительственных коммюнике, из газет, из Интернета в самом широком диапазоне — от сайта Всемирного банка до странички коллекционера, сдвинутого на изображениях кокер-спаниелей, который тоже имеет свое мнение по поводу того, как решить проблему долгов третьего мира.

— Ничего себе объемчик, — заметил Фред.

— Колоссальный. Все хранится на четырех заполненных до отказа жестких дисках, это бесценный информационный центр для всех, кого интересует будущее планеты.

— А при чем тут мы и эта демонстрация с побоищем?

— Сейчас объясню. Люди, на которых я работаю, очень педантичны. Группа состоит из немцев, это бывшие студенты-леваки. Создал всю эту подпольную сеть человек по имени Генрих Мюллер, он прошел огонь и воду, бывал на демонстрациях куда более кровавых, чем та, что мы видели, а уж полицейских знает как облупленных со всеми их штучками еще со времен Западной Германии, после такого поневоле будешь осторожничать... Поэтому они действуют через посредников.

— Через тебя, например.

— Например. Но есть вещи, с которыми мне одному не справиться.

— И поэтому ты будишь нас среди ночи.

— Именно.

— Объясни толком.

— Через несколько месяцев состоится новый саммит "Большой восьмерки". На этот раз в Берлине. Мы уже начинаем подготовку, и нужны люди на месте: наблюдать, фотографировать, снимать, собирать улики. Вот в этом-то вы и можете мне помочь...

Конца разговора Фред не услышал. Он ушел в ванную, сто миллиардов мух ослепили его и превратили голову в миксер, перемалывающий вишневые косточки. Он уткнулся лбом в стену душевой кабинки и попытался мысленно поставить заслон от мух, но в этот ночной час его внутренние резервы оказались, увы, невелики.

14. *Мастер и Джонсон*

Катрин вернулась домой после ужина у дяди. Фабио не задавал ей вопросов ни о ее долгой беседе с Фредом на террасе, ни о недомогании. Оно и лучше, ей не хотелось говорить с ним об этом, в глубине души она чувствовала, что тут такие дела, которых ему не понять.

Пока они ехали, боль в животе мало-помалу отпустила, и она расслабилась. Из стереосистемы лилась ненавязчивая классическая музыка в исполнении кларнета, и город за двойными стеклами "мерседеса" казался рекламным роликом паршивого рома. Оба ничего не говорили, и это повисшее между ними молчание напоминало гроб — последнее пристани-

ще всех мечтаний, которыми Катрин могла тешить себя насчет их с Фабио любви. Она смотрела на разматывающуюся из-под колес ленту дороги, их дороги к их дому, но боковым зрением видела профиль Фабио. Она уже сама не знала, красив ли он, ей бросались в глаза неприятные черточки: вяловатая челюсть, темные волоски, пучком торчавшие из носа, сухая кожа в уголках губ. Он раздражал ее, раздражал, господи, до чего же он ее раздражал! Он ни черта не понимал в жизни, в мировом порядке, в космическом равновесии, в музыке сфер. Он не знал, что такое душа и что такое тело. Он просто не чувствовал нити, натянутой между реальностью и неощутимым миром энергий. Он раздражал ее, и все же от мысли, что она может его потерять, ей становилось грустно, еще грустнее, чем от мысли, что она никуда от него не денется до конца своих дней. И все эти грустные мысли, и гроб, и волосы в носу — все вместе подступило к горлу, стало в нем комком, вырвалось тоненьким всхлипом, и она заплакала.

Она не видела, но почувствовала, как Фабио повернулся к ней, почувствовала, как он уставился на нее, рыдающую. Она прекрасно знала, что́ он думает, он думал, что она вечно всем недовольна, что она чересчур мудреная, нервная, думал, что он бессилен помочь. На светофоре загорелся красный, машина остановилась. Слева из ярко освещенной витрины магазина медицинского оборудования в салон лился белый пронзительный свет. Катрин почувствовала, как на ее бедро легла рука, и чуть не вздрогнула. Этот жест был явным отклонением от нормы. До сих пор Фабио никогда не делал ничего подобного. Нет, он был с ней ласков, но у него просто не было такого рода благосклонных рефлексов. Они проехали еще немного, приглушенные вздохи струнного квартета из авторадио были, как в кино, аккомпанементом грусти Катрин.

Наконец они добрались. Фабио молча съехал по пандусу подземного гаража. Только в лифте он сказал:

— Все пройдет, вот увидишь... Все пройдет.

Катрин не поняла, он ведь был не в курсе ее проблем. Тем не менее она ответила:

— Конечно, я уверена, это просто полоса такая.

Фабио кивнул:

— Да, просто полоса такая.

Когда они вошли в квартиру, Фабио встал у окна и задумчиво вперился в темноту. Катрин разделась, накинула пеньюар из натурального шелка, купленный в каком-то калифорнийском отеле, пошла в туалет, потом в ванную. В зеркале отразилось ее усталое, немного грустное лицо. Это подействовало угнетающе, появилось чувство, будто ее жизнь остановилась, будто она — вчерашний волосок, плавающий в наполненной ванне. Она начала чистить зубы и спиной ощутила, что Фабио стоит сзади. Подняв глаза, она увидела его в зеркале. Голого. Он подошел вплотную, поцеловал ее в затылок, стал ласкать груди и живот. У Катрин закружилась голова, она проглотила немного зубной пасты с мятным вкусом, которую еще держала во рту, горло неприятно обожгло. Фабио задрал пеньюар из натурального шелка и пристроил свой член между ее ляжек. Она раздвинула ноги, нагнулась — и вдруг почувствовала стекающие по ляжкам три теплые струйки. В зеркале она увидела, как Фабио, кусая губы, содрогнулся в последний раз. Он отпустил, почти оттолкнул ее и сел на край ванны.

— Не получается. Я не понимаю, в чем дело. Не получается.

Катрин подошла и села рядом.

– Это оттого, что ты слишком любишь меня, из-за этого...

– Нет! Это здесь ни при чем. Так было всегда. Проблема в другом. Идем, я тебе кое-что покажу.

Она прошла следом за Фабио в спальню, где он достал из ящика стола стопку каких-то бумажек.

– Один мой клиент, немец, дал мне эти материалы.

Катрин посмотрела на листки. Ксерокопии, притом скверного качества. Текст был переведен с немецкого, судя по всему, непрофессионалом: "Повысьте вашу сексуальную эффективность". Это был заголовок.

Она стала читать дальше: "Нет удовлетворения с твоей женой? Ты имеешь с сексом проблемы? Для этих проблем клиника Хайнца – Natural solution for sex[1] – к вашим услугам".

– Что это? – спросила Катрин.

– Послушай, так продолжаться не может. Я все время об этом думаю... о том, что у меня не получается... э-э... сдержаться. Никогда не получалось. Ни с тобой, ни с другими... Надо смотреть правде в лицо... есть проблема... Я хочу ее решить.

– И ты думаешь, что это – решение?

– Похоже на то. Мой клиент сказал, что в Германии у них превосходная репутация. Действительно помогают и гарантируют соблюдение тайны.

– Это в Германии?

– Частная клиника в Берлине. Я звонил туда, для нас забронировано место на середину октября.

– Но это же через месяц!

Фабио сел рядом с ней. От него чуть-чуть попахивало спиртным. Половой орган свисал между ног, как сморщенная сосиска. Он сидел, низко склонив голову, и, казалось, обращался к нему.

– Ну и что? Возьму несколько дней отпуска, я уже год работаю без продыха. У тебя, по-моему, тоже ничего не намечено?

– Верно, ничего. Ну хорошо, через месяц...

Отвечая, она машинально провела рукой по животу. Ей показалось, что там, внутри, что-то шевельнулось. Странное было ощущение. И ночь была странная: встреча с кузеном, потом этот облом с Фабио... Это была ночь совпадения, ночь, когда энергии переплелись, как волосы Афродиты, выходящей из пены морской. Ей подумалось, что это красиво – быть в центре их клубка. Страшновато, но красиво. Она погладила затылок Фабио.

– У тебя ледяные руки, – сказал он.

Энергии, мелькнуло у нее в голове. Это энергии студят меня...

15. *Ура! Каникулы!*

После совещания, ставшего для мух у него в голове чудовищным возбудителем, Фред провел несколько дней дома, в тишине и покое – так он лечился.

1. Естественное решение для секса (*англ.*).

Дни, проведенные в тишине и покое, мало чем отличались от других дней: он отключил телефон, поздно вставал, поздно ложился, покуривал травку, смотрел телевизор, ничего толком не видя, ел что попадалось под руку и читал, сидя в туалете, рекламные предложения, которыми агенты из близлежащих супермаркетов набивали его почтовый ящик: телятина рубленая — скампи — цыплята — шесть бутылок "Кот-дю-Люберон" — кофе —... Он сам не знал почему, но это здорово успокаивало — читать и видеть на картинках рубленую телятину, скампи, цыплят, бутылки и кофе.

После трех или четырех дней такого щадящего режима он почувствовал себя настолько лучше, что смог выйти за свежим хлебом. Вернувшись, принял ванну с лавандовым маслом. Стало еще лучше. Он съел хлеб, просто так, без ничего, после этого почувствовал, что готов, и включил телефон.

На автоответчике было несколько сообщений. Два или три раза пыталась дозвониться Кристин насчет билетов на самолет в Берлин.

— Мы с Пьером и Полем поедем покупать их в четверг. Если ты присоединишься к нам, можем получить скидку на группу. Позвони мне.

Отец тоже оставил сообщение: тоном судебного исполнителя он просил перезвонить как можно скорее. И наконец, кузина Катрин тоже пыталась ему дозвониться и пропела в трубку своим сладко-мелодичным голоском:

— Привет, Фред. Я только хотела сказать, что рада была с тобой повидаться. Хорошо поговорить с человеком, который умеет слушать. Созвонимся, целую тебя.

Она его целует, вот здорово! Фред прослушал сообщение еще раз или два и только после этого стер.

Он открыл окна, чтобы впустить немного свежего воздуха, перемыл посуду, вытер ее и расставил по местам. Под раковиной он нашел бутылку моющего средства "Мистер Проппер — утренняя роса", оставшуюся, вероятно, от прежнего жильца, и затеял генеральную уборку квартиры. Через час сквозняк выдул из квартиры застоявшийся воздух, а сомнительные запахи исчезли в густом облаке синтетических ароматов. В каком порядке делать дела дальше? Наверно, начать с билета на самолет. Он позвонил Кристин, та сказала, что билеты уже куплены, за него она заплатила, он ей деньги потом вернет.

— Надо встретиться, все обговорить. Где жить, с кем связаться на месте и прочее...

Фред молчал, и она добавила:

— Понимаешь, для Пьера это правда очень важно. И для нас тоже, это наш долг, наш вклад в то, что сейчас с таким трудом строится. Но для Пьера это еще больше. Для Пьера это вся его жизнь.

— Я знаю, — ответил Фред.

— Поль будет у нас сегодня во второй половине дня. Хорошо бы ты тоже пришел.

— Приду.

Потом он позвонил кузине, не дозвонился и оставил сообщение:

— Надеюсь, ты в порядке. Я уверен, что все у тебя наладится, и живот, и все эти дела, я уверен, что ничего страшного нет.

Повесив трубку, он сообразил, что надо было добавить что-нибудь типа "привет Фабио", но потом решил: ну и ладно, обойдется, в гробу он этого придурка Фабио видал! Его ждали дела, у него была назначена встреча, он пошел одеваться, настроение было хуже некуда, хотелось делать революцию.

Часть вторая

1. King of the impossible (Gordon's alive!)[1]

Пьер и Кристин уже две недели как находились в Берлине, надо было "все обговорить" с местными "студентами" из подпольной сети. Фред с Полем сидели в самолете, Поль спал, Фред был не в духе. На его взгляд, все это попахивало неорганизованностью, которая раздражала. До отъезда они вчетвером собирались раз десять, и каждый раз Фред надеялся лучше понять, чего от него ждут, но каждый раз то, что всем казалось ясным, для него оставалось мутным, как прокисшее вино. Даже сейчас, когда маленький аэробус А-280 пошел на снижение над аэропортом Берлин-Тегель, Фред не знал толком, чего от него ждали. Он мысленно суммировал то, в чем был уверен:

* Большущая демонстрация состоится дней через десять.

* По утверждению бывших студентов-леваков (Фред прикинул, что самому молодому из студентов где-то под пятьдесят), полиция — или отдельные элементы полицейской структуры — попытается, как это было в Италии, проникнув в ряды демонстрантов, устроить побоище с целью их дискредитировать (или ответить на кровопролитие арестами, или обысками, или конфискациями, или и тем и другим и третьим, в этом у Фреда уже не было уверенности...).

* Пьеру (как он познакомился с этими студентами — бог весть, сам он на этот счет упорно темнил) было поручено снимать и записывать демонстрацию "изнутри", дабы разоблачить происки полиции и показать звериный оскал капитализма.

* Поль, Фред и, разумеется, Кристин должны ему всячески в этом помогать.

Вот и все, что он знал, маловато, право слово, и он спрашивал себя, почему, зная так мало, он согласился отправиться с ними, и сам себе отвечал, что Пьер, Поль и Кристин — его единственные друзья, а друзей нельзя бросать, когда ты им нужен. Вот так, этот ответ его успокаивал, получалось, что у него есть принципы, ну, один по крайней мере есть. Один принцип, уже неплохо. И все же, когда он поворачивал голову к иллюминатору, у которого спал Поль, и понимал, до какой степени ему неприятен этот тип, которого он мысленно называл не иначе как "опасным психом", в нем просыпалась крупица здравого смысла, слабо освещая дальний уголок сознания, и становилось ясно, что летит он в этом

1. Строчка песни "Flash" из альбома "Flash Gordon" группы "Queen".

самолете в город, которого не знает и знать не хочет, навстречу событию, которое ему на фиг не нужно, не столько из весьма расплывчатых соображений дурацкого принципа слепой дружбы, сколько из еще более туманных соображений, связанных с образом отца-тирана и с существованием на свете совершенной пары ягодиц некой кузины, в которую он отчаянно влюблен. Наверное, героический подвиг, который он вполне мог бы совершить в ближайшие дни, разрешил бы хоть отчасти эти проблемы, ведь герою наплевать на образ отца, наплевать и растереть, ведь герой схватит кузинины ягодицы и слопает их, как две дольки апельсина.

Стюардесса авиакомпании "Люфтганза" ростом метр восемьдесят пять сказала ему по-английски, что Полю следует привести спинку кресла в вертикальное положение и пристегнуть ремень. Фред потряс Поля за плечо, тот недовольно заворчал, на какую-то секунду Фреду показалось, что он сейчас вскочит и закатит скандал, но ничего такого не произошло. Самолет слегка завибрировал, проходя через толстый слой облаков. Внизу поплыли немецкие поля, следом знаменитая сеть автострад и, наконец, серые крыши берлинского пригорода. Был ноябрь, там и сям виднелись большие пятна инея. Металлический голос пилота сообщил информацию для пассажиров, в том числе температуру воздуха за бортом: минус три градуса.

Фред стиснул зубы.

Он не выносил холода.

2. *Ближе к звездам*

Месяц прошел спокойно. Только подташнивало все время, а так ничего. Если бы не тревожило отсутствие месячных, Катрин могла бы сказать, что все вошло в колею. Фабио она почти не видела — он хотел поработать с максимальной отдачей до поездки в Берлин — и решила, что за это время попытается "восстановиться", найти "ориентиры", обрести "точку опоры". Она сбалансировала свое питание, исключив молочные продукты и мясо, и попробовала пищевую добавку "Омега-3". Ей стало намного лучше. Еще чуть-чуть тянуло где-то в области паха, небольшая невралгия наверно, это не очень мешало жить.

Спокойно-то спокойно, но при определенных условиях: Катрин нельзя было нервничать. Она слишком хорошо помнила тот вечер у дяди, когда, незадолго до прихода Фреда, сильнейшая и беспредметная тревога вдруг захлестнула ее и погнала прямиком в туалет, где ее вырвало тремя кровавыми струйками. Катрин также заметила, что от близости самшита и ивы у нее начинается мигрень, а от свинца темнеет в глазах. Еще ей пришлось убрать в шкаф золотое кольцо, очень красивое, из двух переплетенных колечек, подаренное ей Фабио несколько лет назад. Жаль. Зная все это и соблюдая осторожность, она добилась желаемого: стало лучше. Она больше не пыталась двигать предметы на расстоянии, уж очень было страшно, ей казалось, что, развивая в себе этот дар, она дразнит некие силы, которые выше ее понимания. Следуя совету, вычитанному в книге про обуздание космотеллурических энергий, она стала принимать ванны с вербеной для успокоения раскрывшихся

чакр и убедилась в их действенности: настроение заметно повысилось. В общем, за месяц ей стало лучше, и Катрин приступила к сборам в Берлин. Она купила путеводитель "Большой уик-энд в Берлине", полистала его и пришла к выводу, что Берлин — это уже не лежащая в руинах столица Третьего Рейха. Немцы, кажется, принимали кредитные карточки, а квартал Ку-Дамм был как раз таким кварталом, ради которого ей стоило посетить город. Единственное, что портило картину, — средняя температура для ноября: всего девять градусов. Катрин полдня перебирала свой гардероб, наконец, выбрав, разложила на кровати три прекрасных свитера из чистой овечьей шерсти в осенних тонах и замечательное пальто на теплой подкладке, купленное в бутике Дри Ван Нотена в Антверпене. Она долго смотрела на все это, а затем позвонила Фабио на мобильный.

— Там будет холодина, а мне совершенно нечего надеть. То есть ничего приличного.

— Делай что хочешь. Я сейчас не могу говорить, у меня совещание.

Катрин хотела было позвонить кому-нибудь из подруг, чтобы пойти по магазинам вместе, но передумала. События последних месяцев как бы изолировали ее. Ничего, пойдет одна.

Причесываясь в ванной, она думала о Фабио, о том, как он ее раздражает, о том, как она его любит, о том, какое это было бы счастье, если бы поездка в Берлин и лечение в клинике пошли на пользу их браку. И потом, она так давно не занималась любовью. В последнее время ей случалось ловить себя на мыслях то об одном, то о другом из своих бывших. О маленьком греке, с которым она познакомилась на каникулах и который ее "трахал", другого слова не подберешь, три часа без остановки, еще об одном блондинчике, неказистом, но оказавшемся гением орального секса. Эти мысли ее возбуждали, и в то же время от них становилось грустно. Ей хотелось снова испытать это. С Фабио. Если возможно.

Глядя в зеркало, Катрин нашла себя красивой, но бледной. Цвет лица был как у девушки из рекламы йогурта с бифидокультурами. Она наклонилась, чтобы рассмотреть себя поближе, и поморщилась: на лице вскочил прыщ. На самой середине подбородка. Такого с ней не случалось лет с четырнадцати. Катрин выдавила его ногтями и вскрикнула. Было ужасно больно. Она замазала шрамик тональным кремом. Надо же, перед самым Берлином, как некстати. Она вызвала такси и спустилась подождать его у подъезда. Было пасмурно, почти темно, осенний дождик растекался лужами по тротуарам. Ей показалось, что на улице чудовищно жарко, совсем не ноябрьская температура. Она огляделась, люди были одеты по-зимнему — куртки, сапоги, шарфы, зонтики.

Чудаки, ей-богу, подумалось ей. Сказали им, что осень, и будь хоть тридцать градусов тепла, они кутаются... Она сняла плащ и свитер, засунула, скомкав, в сумку. Осталась в одной футболке, но ей все равно было жарко. Она даже почувствовала испарину над верхней губой. Провела там пальцем. Ах черт! Это шла кровь носом. Она достала носовой платок и вытерлась, открыла коробочку румян от Шанель, посмотрелась в зеркальце. Кровь остановилась. Остался только ободок из темных корочек по контуру ноздрей. Все-таки было очень жарко. Подъехало такси. Катрин села. Шофер был здоровенный детина, смуглый, с

черной бородой. Ибрагим Эль-Хадж, как гласила прикрепленная к сиденью табличка. Дышать было нечем. В нагретой машине пахло чем-то, напомнившим ей чай с кардамоном. Она открыла окно.

— А вы, я смотрю, не мерзлявая, — бросил шофер, взглянув на нее в зеркальце заднего вида.

Катрин не ответила. Ну почему таксисты всегда с ней заговаривают? Снова посмотрелась в зеркальце: с прыщом и запекшейся кровью она выглядела вправду скверно. Запах в машине был стойкий и неотвязный. Катрин едва не поймала себя на расистской мысли. К горлу подступала тошнота.

— С вами все в порядке, вы уверены? — спросил шофер.

— Все хорошо. Спасибо.

Такси остановилось у магазина, в котором Катрин любила бывать.

— Все обойдется, вот увидите, — сказал шофер, когда она расплачивалась. Вид у него был встревоженный.

Катрин вошла в магазин и поморщилась, обнаружив, что кондиционеры не работают. Мало того! Ей показалось, что еще и отопление включили. К ней уже спешила продавщица.

— Добрый день, могу я вам помочь?

Она была высокая, вся в черном, с явно крашеными золотистыми волосами. Похожая на кельтскую ведьму, которая может обернуться прекрасной девушкой, но все равно останется ведьмой по сути. Катрин она не понравилась.

— Нет-нет. Я просто посмотрю.

Ведьма ретировалась, и Катрин направилась в торговый зал. Жара была чудовищная, и в магазине тоже пахло кардамоном.

Только бы не вырвало. Хоть бы не здесь, твердила Катрин про себя, пытаясь сосредоточиться на одежде.

Когда она рассматривала длинное бархатное пальто от Аззедина Алайя, ведьма снова заговорила с ней:

— Оно великолепно. А вы обратили внимание, как переливается ткань при движении?

Катрин вздрогнула. Запах был в пять раз сильнее, чем в такси. Она чувствовала, что футболка на спине промокла от пота. Говорливая продавщица теребила висевший у нее на шее серебряный кулончик. Катрин разглядела покачивающуюся вещицу: дельфин. Ей вспомнилось, что она читала когда-то в книге о космогонических тайнах Атлантиды: дельфин был символом исчезнувшего континента и стал впоследствии опознавательным знаком атлантов. Она посмотрела на продавщицу: конечно, никакая это не ведьма, надо же быть такой дурой! Это атлантка. Атланты, человекоподобные существа, которые могли бы царствовать на Земле вместо людей. Катрин попятилась.

— Не думаю, что оно мне подойдет. Я... я пойду.

Продавщица заулыбалась.

— Если желаете, подберем вам что-нибудь другое. Мы получили жилеты от Кашарель... Вам нехорошо?

Да, ей было нехорошо. Жара стала невыносимой, и так же невыносим был запах кардамона. Снова пошла носом кровь, большие темные капли расплывались кляксами на футболке и на девственно чистых плитках пола. Внутренний голос кричал ей, что надо взять себя в руки:

она в обычном магазине, разговаривает с обычной продавщицей, занята обычным делом – покупкой пальто. Но другой голос кричал еще громче, что происходит что-то совсем не обычное, что она в опасности и должна бежать отсюда как можно скорее.

– Отойдите. Не приближайтесь ко мне!

Продавщица застыла на месте.

– Что вы, уверяю вас, я...

Катрин быстро пятилась к выходу.

3. *Жилищный кризис*

Кристин и Пьер поселились в крошечной квартирке: всего две комнаты с душем и общим туалетом на лестничной площадке.

– Жить придется скученно, – сказала Кристин.

Квартирка находилась в доме из гарантированно чистого бетона послевоенной постройки, возведенного на месте завода по производству железных котелков, в который попала бомба в 1944 году. В 1996-м он был продан некой старухе, уроженке Богом забытой деревни в Восточной Германии, каким-то чудом разбогатевшей; она превратила его в доходный дом, разгородив этажи на множество одинаково убогих квартирок. Фред, войдя, сразу отметил странный запах – смесь капусты, сосисок, пота, дыма от травки и геля для душа с ароматом манго. Из единственного окна, выходившего на улицу (другое смотрело на задний двор, где высилась куча пустых ящиков), была видна торчавшая над крышами антенна телебашни на Александерплац.

Фред с Полем едва успели поставить сумки в угол, как Кристин завела нудную речь на тему "организации".

– Места здесь мало. На таком пространстве мы будем сталкиваться лбами, если сразу не установим четкие правила. Вот, например, как будем мыться? Котел у здешнего водонагревателя крошечный, едва хватает на один душ. Потом надо ждать полчаса, пока емкость снова наполнится. Ну вот, я подумала, что нам лучше разделиться на две группы, утреннюю и вечернюю. Насчет продуктов мы решили, что проще всего будет покупать в складчину...

Речь затягивалась. Пьер подумал, что Кристин становится первостатейной занудой. Возможно, из-за бремени ответственности. Все это время Пьер рассматривал этикетку на бутылке со средством для мытья посуды так внимательно, будто надеялся прочесть на ней ответ на основополагающий вопрос. Фреду хотелось есть, свет за окном почему-то ассоциировался с могилой тевтонского рыцаря. Но хуже гнилого климата, хуже квартиры-клоповника и даже бытовых заморочек, о которых так пространно толковала Кристин, действовало ему на нервы другое: он все меньше и меньше понимал, что, собственно, здесь делает. Он покосился на Поля, тот смотрел на Кристин, покусывая губу. Кристин завершила свой инструктаж ударной нотой о чистоте общего туалета, проблематичной из-за жившего этажом ниже хорватского музыканта. Повисла пауза, Пьер отложил средство для мытья посуды и взял бутылку жавелевой воды.

– Ну, а мы? – спросил Поль.

— Встречаемся с ними завтра, — ответил Пьер.

— С немцами? Студентами? С которыми ты работаешь, ты о них?

Пьер отчего-то замялся.

— Да. — Он помолчал, внимательно изучая бутылку с жавелевой водой, потом поднял голову и добавил: — Я должен объяснить вам кое-какие вещи. Может, пойдем что-нибудь выпьем?

— Неплохо бы и что-нибудь съесть, — вставил Фред.

— Отличная мысль.

Они вышли. Сыпал мокрый, тающий на лету снег. Фред втянул голову в плечи. Они пересекли улицу, зашли в пустое кафе, заняли столик у окна. Со стен афиши туристических агентств приглашали посетить Испанию. К ним подошел здоровенный бородач в пуловере, и Пьер по-английски сделал заказ на всех: пиво и сосиски. Поль от пива отказался.

— Я стараюсь пить по минимуму. Из-за уретры. С этой заразой, которую я подцепил, так чертовски больно писать, что... Ну, мы тебя слушаем. Что ты хотел нам сказать про твоих друзей-студентов, про этого Генриха Мюллера, например? — перешел Поль к делу.

— Они мне не друзья. Это люди, чьи убеждения я разделяю, люди, ради которых я готов всем рискнуть, но не друзья.

— Ладно, ладно, — перебил его Поль. — Извини, но ты напустил такого туману...

— Жить захочешь — напустишь. Я не сказал вам всего с самого начала исключительно из соображений безопасности.

— Ты нам не доверяешь. Боишься что ли, думаешь, мы побежим в полицию?

— Да.

Поль вздрогнул, как от удара наотмашь по лицу.

— Ты за кого нас держишь?

Пьер вымученно улыбнулся:

— Вы мои друзья, но прежде всего вы — люди. Во всей истории войн сколько нашлось таких — среди самых отважных, — что сумели сохранить молчание? Вы даже не представляете, на что они способны и какими методами выбивают показания.

— Кто — они? Что с нами сделают? Что ты несешь, я не понимаю. Европа — это тебе не Колумбия. Или ты из тех параноиков, которым повсюду мерещатся заговоры?

Пьер ответил еще одной вымученной улыбкой. Фреда это уже начинало раздражать.

— Поль, я знаю, где ты побывал и сколько всякого видел, знаю, что тебе приходилось жарко, и в этом, конечно же, твоя сила. Из всех нас ты единственный смотрел в лицо смерти, но...

— Ты это все к чему?

Принесли пиво, следом сосиски, залитые чем-то красным, скорее всего томатным соусом.

— Через неделю здесь, в этом городе, состоится саммит "Большой восьмерки". Вы видели плакаты, читали граффити. Правительство выделило колоссальные средства на обеспечение безопасности, полицейские будут на каждом углу, даже военных задействуют. Уж так они боятся, что им подпортят праздник, что обратились за помощью к Соединенным Штатам, и те шлют подкрепление. На одно это у них вы-

летят миллионы евро. А вы знаете, что два месяца назад поступило распоряжение отремонтировать около тысячи квадратных метров подвалов в двух шагах от Рейхстага? Эти подвалы в свое время использовались спецслужбами Рейха. На прошлой неделе три десятка головорезов из отряда особого назначения обложили одну шестидесятиметровую квартиру. В ней были две девушки и парень, сотрудники одной экологической газеты. Они готовили статью о проникновении трансгенных культур на поля. Их отвезли в эти подвалы и продержали там три дня, после чего отпустили. Какой-то высокий чин пригрозил им расправой, если они вздумают рассказывать, что там было. Одна из девушек сейчас прячется у немцев, на которых я работаю, у того самого Генриха Мюллера, от него я и узнал обо всем. Она говорит, что видела камеры, оборудованные по назначению, десятки камер, пыточные инструменты в полной готовности, людей в штатском с безумными лицами — это не были ни полицейские, ни военные, и вид у них был такой, будто они готовились к празднику. Ребят накачали уж не знаю какой дрянью, эта девушка даже не помнит, что с ней делали, она запомнила только, что эти сволочи рисовали ей свастики на груди и на мягком месте...

Пьер вдруг начал краснеть, стал красным, как соус на сосисках, закашлялся, из глаз покатились слезы. Он открывал рот, пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха, но не мог. Кристин вскочила и подхватила его под мышки.

— Черт! Помогите мне! Надо вколоть ему лекарство!

— Да что с ним? — в полной панике заорал Фред.

— Аллергическая реакция! Наверное, что-то было в соусе!

4. *Ласковый рассвет*

Фабио тронул ее за плечо.

— Катрин?

Она проснулась уже почти час назад, но открывать глаза не спешила. Явь стала для нее местом, где хотелось бывать как можно реже.

— Катрин?

Фабио лежал за ее спиной и тихонько говорил в самое ухо.

— Катрин, уже девять часов. Если ты хочешь пойти что-то купить, сейчас самое время...

Она все это знала. Она знала, что они в Берлине, в роскошном отеле "Вестин Гранд". Знала, что на улице ужасная погода и постоянные сумерки с тех пор, как они приехали два дня назад. Два дня ей казалось, будто в этой стране наступила ядерная зима. Фабио, который все организовал заранее, уже пришлось внести коррективы в свою программу. Из-за нее, это правда... Но почему он решил, что у нее есть желание осматривать этот город? Она измучена, нездорова, на нее ополчились неведомые силы, хоть бы знать за что... Спать, ей хотелось спать сутки напролет. Не хотелось быть в Берлине, не хотелось проходить десятидневный курс лечения в клинике Хайнца из-за проблем Фабио и совсем-совсем не хотелось идти по магазинам. Ей хотелось, чтобы ее оставили одну.

— Катрин.

От него тоже пахло кардамоном. Как от продавщицы в магазине, которую она — что такое на нее нашло? — приняла за атлантку. Если атланты и вправду существуют, а это еще вопрос, то они уж наверно не продавцы, а президенты и директора банков. Ну и ладно... Перед отъездом, вместо того чтобы укладывать чемодан, Катрин полдня рылась в научных книгах, искала, что бы мог значить этот запах кардамона, мерещившийся ей повсюду. Почему-то она была уверена, что это ключ ко всему, что с ней происходит. Но почти ничего не нашла. Само растение упоминалось в книге под названием "Магия белая, магия черная — современные оккультные силы". Автор посвятил целую главу провансальским колдунам в Средневековье, когда, утверждал он, душистые и пряные растения, такие, как "помет дьявола" или кардамон, уроженец Индии, завезенный в Европу святым Элегуром, крестоносцем-сатанистом, использовались для лечения мозолей на ногах. Немного же она накопала.

— Катри... — начал Фабио.

— Да! Я знаю! Уже девять часов!

Катрин села в постели. Окинула взглядом спальню: немецкий шик, холодный дизайн и благородные материалы. Вздохнула.

— Не трогай меня еще четверть часа. Дай проснуться.

— Ладно, не торопись. В конце концов, мы отдыхаем...

Фабио тоже встал. Войдя в ванную, Катрин услышала, как он включает телевизор.

Она встала, голая, перед большим зеркалом, вделанным в стену, облицованную темной плиткой. Грудь у нее определенно подросла, животик, кажется, тоже слегка округлился, но в этом она не была уверена. Прыщ, обнаруженный в день приступа, никуда не делся, стал желто-красным, и дотрагиваться до него было больно, как до острия гвоздя.

Она встала под обжигающие струи и зажмурилась. Горячая вода ее успокаивала. В голове прояснилось. Она выдавила на ладонь немного ланкомовского геля для душа, купленного в аэропорту: "Трезор" — персик, ананас, бергамот, роза, ирис, гелиотроп, жасмин, сандал, мускус, ваниль. От всего этого прибавилось сил. Ей надоело быть усталой, надоело бояться. Надоело себя жалеть. Черт побери! Она же была самой красивой в лицее, она была богиней в глазах полтысячи парней, не меньше, она была создана для Жизни и для Любви. Она всегда это знала. Вот только подзабыла в последнее время, но теперь, благодаря активным началам, содержавшимся в дорогом мыле, вспомнила.

— Не надо мне было бороться с этим. Не надо было всего на свете бояться. Надо было хотя бы попробовать.

Эта мысль, кристальная в своей очевидности, пришла сама собой, когда она намыливалась. Она отдастся на волю всего этого, доверится живущим в ней силам, доверится энергиям, оргону, эфиру или как там это называется, не важно, она отдастся на волю. Сегодня у нее назначена встреча с судьбой.

Катрин выключила воду и вышла из-под душа. Ванную наполнил густой туман с ланкомовским ароматом. Катрин села на край ванны и огляделась в поисках какого-нибудь предмета. Ее выбор пал на большую мыльницу из цельного камня. Она сосредоточилась, нахмурила брови, и мыльница приподнялась на несколько сантиметров. Катрин поняла, как это действует, и тихонько поводила ее вправо-влево. Потом для про-

бы заставила пролететь через всю ванную, и мыльница послушно села ей на руку. Она улыбнулась. Сердце часто билось, было еще немного страшно, но самочувствие намного улучшилось.

Она встала, ей вдруг захотелось навести красоту. А потом прошвырнуться по магазинам.

5. *Желчный пузырь*

Официант, тот самый бородатый толстяк в пуловере, помог донести Пьера до квартиры. Его уложили на кровать; он был в полуобморочном состоянии, цвет лица из ярко-красного стал густо-синим. Кристин метнулась в ванную и принесла шприц, наполненный желтоватой жидкостью.

— Надо его раздеть. Он насквозь мокрый, еще, чего доброго, бронхит схватит, — сказала она.

За дело принялись все, и меньше чем за полминуты Пьер оказался на кровати в чем мать родила.

— Ach Scheise![1] — выругался толстый немец в пуловере.

— Вот дерьмо! — выругался Поль.

— Вот дерьмо! — выругался Фред.

— Да перестаньте вы! Знаете же, что он не такой, как все, — нахмурилась Кристин, втыкая иглу в ляжку Пьера.

— Но... что это за хреновина, вот... — пробормотал Фред и показал на голый пах. — Как будто...

— Как будто рот...

— Mein Gott. I return to work![2] — рявкнул немец и поспешно вышел, разразившись непереводимой тирадой на родном языке.

— Чудеса генетики, — усмехнулась Кристин. — Вдобавок ко всем... аллергическим реакциям еще и это. Его ведь трясли как грушу в утробе, оттого, наверно, все и разладилось.

Пьер застонал. С почти материнской нежностью Кристин утерла ему лоб.

— Но что он делает этим... ртом? — спросил Фред, не сводя глаз с розоватого отверстия на животе Пьера.

— Да ничего. Что им можно делать? Лишний орган, ненужный. Там внутри есть зуб и что-то вроде языка... Вот и все. Отверстие ни с чем не сообщается, это просто полость сантиметров в десять, совершенно ненужная. Совершенно!

Она заплакала. Женские слезы Фред переносил очень плохо. Даже Полю как будто стало не по себе.

Пьер начал приходить в себя, закашлялся и открыл один глаз.

— Мне надо попить, — произнес он сдавленным голосом.

Кристин умчалась в кухню за водой.

— Как ты? — спросил Поль.

— Ничего. Мне не привыкать, — ответил Пьер, через силу улыбнувшись.

1. Дерьмо! (*нем.*)
2. Боже мой (*нем*). Я возвращаюсь на работу! (*англ.*)

— Эта штука у тебя на животе — с ума сойти! — вырвалось у Фреда.

Пьер прикрыл глаза, словно от внезапной острой боли.

— Дипломат из тебя классный, — усмехнулся он. — Что поделаешь, у всех свои заморочки, правда?

— Э-э... да, — согласился Фред, впервые задавшись вопросом, знает ли Пьер про его мух в голове.

Вдруг в одну секунду Пьер стал белым, как кусок мела.

— О, черт, — простонал он, с трудом встал и бросился в туалет, едва не сбив с ног Кристин, возвращавшуюся со стаканом воды. Было слышно, как его рвало в туалете, повисло довольно долгое молчание, которое никто не осмеливался нарушить, потом Пьер вернулся, бледный, голый, и рот на его животе, казалось, обиженно кривился.

— Мне надо поспать. Это от укола. Извините. Меня от этого всегда выворачивает, — проговорил он медленно, старательно произнося слова непослушным языком. — Да, завтра мы встречаемся с Генрихом Мюллером, в семь утра, он ранняя птица. Я только хотел вас предупредить... этот человек много читал и думал о сути нашего общества. Он сделал выводы, которые могут показаться вам... странными. Но не забывайте, кто он такой... Не забывайте, что если кто и знает правду о нашем мире, то это Генрих Мюллер.

— Сгораю от нетерпения, — ухмыльнулся Поль.

Пьер метнул на него уничтожающий взгляд.

— Никогда не язви в его присутствии! Уверяю тебя! Ты просто не понимаешь...

Поль пожал плечами.

— Там будет видно. Тебе и правда надо поспать. Паршиво выглядишь.

Фред с Полем устроились на ночь в комнате поменьше, рядом с ванной. Кристин положила на пол большой матрас и принесла две жесткие подушки с дивана.

— Сойдет? — спросила она.

Поль улыбнулся:

— Бывало и похуже.

Фред не мог сказать того же о себе. Он долго лежал в темноте, глядя на пятно света на потолке от уличного фонаря, и никак не мог уснуть. Из кафе напротив доносились пьяные голоса, и перед глазами возникла красная ряха бородатого официанта. Потом вдруг представилось нечто совсем неприличное: как этот человек предается содомскому греху с кузиной, и эта картина была сигналом о неустойчивости его психики. Ну почему он не способен обуздать свое воображение, почему не в состоянии думать о кузине "нормально"? Вообразить ее голой — почему бы нет? Но только нормально вообразить. Он немного озяб и подозревал, что отопление работает еле-еле. Лежавший рядом Поль без конца ворочался, впуская под одеяло холодный воздух.

— Я подыхаю от жажды, — вдруг сказал он. — Так хочу пить, что спать не могу.

— Надо все-таки пить хоть немного. Сколько ты уже?..

— Двенадцать часов.

— Это, наверно, нехорошо. Для почек. Ты их посадишь на фиг...

Поль не ответил. Вдруг он встал, ушел куда-то, вернулся с бутылкой воды и выпил ее залпом.

— Сдохну я от этого. Завтра будет мука адская.

Спал Фред плохо.

6. В *зазеркалье*

Когда Кристин пришла их будить, Фреду показалось, будто он только что уснул.

— Ребята, уже шесть, ехать нам на другой конец города, у нас меньше часа.

У Фреда во рту стоял гадкий вкус от вчерашних сосисок. Поль рядом с ним и не думал просыпаться. Он не шевелился и дышал едва слышно. Фред потряс его за плечо, но без толку.

— Может, принести стакан воды? Когда я был в лагере скаутов...

Поль вскочил как подброшенный.

— Не надо воды! Только не надо воды! Я всю ночь терпел и хочу продержаться еще час или два. Черт!

Даже не позавтракав, они поспешно покинули квартирку. На лестнице им встретился хорватский музыкант, возвращавшийся с работы. Выглядел он бледным, скукоженным, смертельно усталым.

— Он разгружает контейнеры шесть ночей в неделю. Контейнеры с железом. Этот парень получил первую премию консерватории, и вот все, что может предложить ему Европа... — сказал Пьер, сам еще зеленоватый. — Мы ведь боремся и за него тоже, — добавил он уже на улице, ссутулившись от холода.

Фред не видел связи, ему хотелось кофе и было без разницы, кто там разгружает контейнеры — музыканты или учителя кендо, однофигственно. Шел снег, сыпал странными маленькими снежинками, твердыми и острыми, как осколки стекла, тротуары покрылись тонким слоем белизны. Очень давно, наверно со времен учебы, Фред не вставал так рано и не смешивался с толпой трудового люда. Непривычно было видеть вокруг заспанные лица — лица людей, для которых этот утренний ад, смесь ледяного ветра и душной сутолоки, был повседневной жизнью, и он чувствовал себя среди них едва ли не самозванцем.

Вслед за Пьером они нырнули в метро. Толпа стала еще гуще. Из репродукторов лились эстрадные мелодии, а на экранах два татуированных латиноамериканца с мускулами штангистов переругивались под музыку в окружении десятка девиц.

Кристин бросила несколько евро в щель автомата, и он выдал им какую-то розоватую сдобу — завтрак. Подъехал битком набитый поезд.

— Видели? — Пьер показал на окно их вагона, где красовался ряд наклеек с лозунгами на английском языке: "Save the Earth, Stop G8, The world is for everybody, Save your life, say no!"[1]

— Мы не одни... — заключил Пьер. — Это надо помнить.

1. "Спасите Землю, Стоп 'Большой восьмерке', Мир для всех, Спаси свою жизнь, скажи нет!"(*англ.*)

У Фреда возникло странное ощущение, что его друг как будто сам себя подбадривает. Возможно, из-за тусклого света в вагоне, под которым лица становились цвета мяса на прилавке, Пьер выглядел как в воду опущенным, чего раньше Фред за ним не замечал.

Поезд мчался от станции к станции, и вагон наполнялся сверх всяких мыслимых пределов. Внутри образовался какой-то человеческий сгусток, в котором руки и ноги так затейливо переплелись, что всё вместе напоминало довольно дурацкую современную скульптуру. Наконец Пьер сказал:

— На следующей выходим.

Фред отчаянно заработал локтями, чтобы выбраться, и оказался вместе с остальными на пустой платформе.

— Мы на самом юге города. Здесь мало кто работает. Большинство едут в центр. В этой дыре встретишь разве что безработных да беженцев из Восточной Европы, они хоронятся по жутким углам, боятся, как бы не выдворили из страны...

Преувеличивал ли Пьер, Фред не знал, но когда они вышли из метро, снаружи их ожидал подлинный пейзаж после битвы: серые дома, щербатые улицы, на которых там и сям были припаркованы грязные, непонятных моделей машины. Снег по-прежнему шел. Тонкий слой белизны покрывал все, точно сахарная глазурь на сомнительной свежести пироге.

— Не очень-то здесь красиво, — хмыкнул Поль.

— Вам никто и не говорил, что вы едете на курорт, — с широкой улыбкой ответила ему Кристин.

Они шли несколько минут, достаточно, чтобы Фред почувствовал, как эта атмосфера начинает его угнетать, и наконец Пьер, указав на многоквартирный дом — четыре этажа над наполовину размонтированным гаражом, — бросил им:

— Сюда. Здесь живет Генрих Мюллер.

7. В *отличной форме*

Было далеко за полдень. После сорока восьми часов кошмарной погоды с ветром и мокрым снегом удивительное солнце выглянуло в прореху меж облаков. Белый резкий свет засиял в молочном небе, и Катрин смотрела на него, слегка щуря глаза. Она находила, что столь внезапное проявление великого солярного начала имеет в данный конкретный момент особый смысл. Это хрустальное солнце было как бы иллюстрацией к озарению, посетившему ее нынче утром в ванной отеля, благодаря активным началам, содержавшимся в ланкомовском аромате. Это было как одобрение, как веха на ее пути, поставленная силами, связующими — через нее — один мир с другим.

Насчет связи одного мира с другим она не была уверена на сто процентов, но это казалось ей наиболее вероятным с учетом того, что она прочла в книге об Ури Геллере[1]. Ладно, не суть, главное — что она их принимала, эти силы, что она была их вектором: так мать, даруя жизнь,

1. Ури Геллер (р. 1946) — израильский медиум, человек с уникальными паранормальными способностями.

не обязательно при этом постигает тайну зарождения новой жизни, вместилищем которой она является, но уже — и навсегда — любит будущего ребенка. Кстати, это могло иметь отношение к результатам анализов, полученным от гинеколога. Наверно. Не важно. Там будет видно.

Катрин надела довольно короткую бархатную юбку, белые чулки от Прада и замшевые сапожки, которые нашла вчера на Фридрихштрассе. Прелесть что за сапожки. Эти сапожки великолепно смотрелись с ансамблем курточка-футболка, тоже от Прада. Гиперсексуально. Она это знала. Шофер такси, турок, который вез их в клинику, всю дорогу пялился на нее в зеркальце заднего вида. И в отеле тоже на нее пялились, два мужика на ресепшене даже трепаться перестали, когда она проходила мимо, и она чувствовала на себе их взгляды. Такие липкие взгляды. Гиперсексуально. Посмотревшись в зеркало не далее как утром, она поняла, что снова в полной боевой готовности. От прыща, вскочившего на подбородке несколько дней назад, осталось только крошечное розоватое пятнышко, которое она легко скрыла корректирующим карандашом, а ее лицо, волосы, зубы, кожа прямо-таки сияли здоровьем. Как в рекламе Дома Шанель.

Врач что-то говорил им, уже довольно долго. Фабио сидел рядом с ней в кресле, прямой как кол. Он ее раздражал, но был красив, никуда не денешься. Она чувствовала огромную пустоту у него внутри, и ощущение этой пустоты было странным, но не сказать чтобы неприятным. Во всяком случае, оно было ново. Такой красивый и такой пустой Фабио представлялся ей чем-то вроде породистой собачки. А может быть, даже и не породистой. Но собачки точно. Он держал ее за руку, и она погладила его ладонь. Он на мгновение оторвал взгляд от доктора и посмотрел на нее. Она улыбнулась ему. Славная собачка.

Кабинет главврача и основателя клиники доктора Хайнца был обставлен со всем вкусом, какой только способен предложить современный мебельный каталог. Дерево и кожа, компьютер, экранная заставка которого демонстрировала сменяющие друг друга семейные фотографии — всего с полсотни, — сделанные в каком-то шикарном месте, похожем на испанский клубный отель. Три больших окна выходили в ухоженный сад клиники: аллеи — надо думать, они были хороши весной, в цвету, — несколько покрытых инеем берез, в ветвях которых преломлялся яркий солнечный свет, стайка дроздов, клевавших мерзлую землю в поисках хоть какой-нибудь пищи.

Доктор Хайнц, мужчина лет шестидесяти, был лысый, маленького роста, до того холеный, что казался лакированным, да и цвета был светлого дуба. Одет неброско, в серый костюм с однотонным галстуком антрацитового цвета, на пальце обручальное кольцо. Французским он владел в совершенстве. Пока Фабио излагал свою проблему, доктор делал записи в блокноте, кивая с таким видом, будто ему уже ясно, о чем идет речь.

— Может быть, ваша супруга, Катрин, хочет что-нибудь добавить? — спросил он, повернувшись к ней.

Услышав свое имя, Катрин оторвала взгляд от черных птиц за окном. Улыбнулась, ей было хорошо, она чувствовала себя гиперсексуальной, в гармонии с планетами, космическим излучением, теллурическими вибрациями и всем прочим. Она выдала свою коронную улыбку, маркировка "гранд-шарм 100 %".

— Нет. Мне нечего вам сказать. Если я могу чем-то помочь моему мужу... помочь вам, помочь моему мужу, будьте уверены...

Врач улыбнулся.

— Преждевременная эякуляция, знаете ли, — это одна из величайших загадок в современной сексологии. Существует почти бесконечное множество сексуальных расстройств, более или менее экзотических, как у мужчины, так и у женщины. Импотенция и фригидность имеют массу разновидностей... Все это более или менее легко лечится. Но преждевременная эякуляция, видите ли, этот... недуг... весьма распространенный... так вот, он поддается лечению плохо, он так привязчив, что почти срастается с человеком, понимаете, подобно ракушкам на скалах...

Доктор выдержал паузу. Ему явно понравилась собственная метафора. Он почесал лысину и заговорил снова:

— Ваш вопрос, стало быть: "Доктор, а как отодрать ракушки от скалы?" Верно?

Фабио смущенно кашлянул. Катрин сжала его руку.

— Э-э. Да, — сказал он.

— Я долго размышлял и работал над этой проблемой. Я осмотрел — о-ля-ля! — сотни преждевременно эякулирующих, и... Это было непросто, скажу я вам, ох уж эти люди, они настолько обременены моралью, что немудрено прослыть посланником Люцифера, когда работаешь с такой деликатной темой, как секс...

Доктор снова помолчал, ожидая их реакции на слово "Люцифер". Не дождавшись, он продолжил:

— Короче говоря, я осматривал всех этих мужчин, я задавал им все возможные вопросы, я предлагал заняться сексом с партнершей и наблюдал их попытки, уж извините, плачевные. Я подключал им электроды к голове, вот сюда и сюда. — Он показал несколько точек на своей лысине. — Я исследовал их мозг магнитно-резонансным томографом, слушал биение сердца, вычерчивал температурные кривые, я копал настолько глубоко, насколько позволяли достижения медицины, и знаете что?

— Нет, — сказал Фабио, ёрзая от смущения.

— Ничего не нашел! Nicht! С точки зрения биологии — nicht! Тогда я, помнится, сказал себе: "Herr doktor Heinz, scheise, тебе не найти решения". Я был повержен, но в то же время чувствовал, что стою у самой двери, понимаете, нет, вы не представляете себе. Я чувствовал себя как Эйнштейн накануне открытия этой, как ее там, теории общей относительности. Был повержен, но в предвкушении. А потом меня осенило, однажды ночью, моя жена тогда вернулась очень поздно, она ходила на концерт с подругой. Малер, душераздирающие симфонии. Жена легла рядом со мной, она почувствовала, что я проснулся, и сказала что-то вроде: "Малер — в нем вся немецкая душа". И вот тут-то я понял! Я открыл дверь! Общая относительность секса! Доктор Хайнц — Эйнштейн эякуляции!

На последних словах доктор встал. Катрин подумала, что его речь, пожалуй, чересчур затянулась, и разгладила складочку на юбке, ожидая продолжения.

— Я... Я не совсем понимаю, — сказал Фабио.

Доктор улыбнулся. Зубы у него были отменные. Наверняка он удалял зубной камень раз в месяц.

— Я искал здесь, — доктор потрогал себя между ног, — искал здесь, — он ткнул пальцем в висок. — Но я не искал там.

Он произнес это, указав на какую-то точку над своей головой. Помедлил и, прочитав, как ему казалось, вопрос в затравленных глазах Фабио, продолжил:

— Душа! Душа! Вот где это происходит, — с нажимом произнес он, тыча пальцем все в ту же точку над головой.

Взгляд Фабио сделался немного стеклянным, как у человека, впервые увидевшего тапира. Он долго мялся и наконец спросил:

— Но практически... Я хочу сказать, насчет лечения... Для меня?..

Доктор сел и как будто погрузился в созерцание разводов на ценном дереве своего письменного стола.

— Выход — в диссоциации, — сказал он негромко, — в разъединении. Ваша душа — скала, и что-то приросло к ней, да так накрепко, что вы, возможно, считаете это что-то частью своей души... Ничего подобного. Это что-то портит вам жизнь, это что-то отдаляет вас от вашей супруги, это что-то точит вас мало-помалу. Стало быть, наша задача — отделить это что-то от вашей души.

— Ну и как же вы будете меня отделять?

Доктор кивнул. У Катрин создалось впечатление, что он долго готовил сюрприз и вот сейчас наконец его преподнесет. Он снял трубку телефона, стоявшего на столе, и сказал несколько слов по-немецки. Спустя минуту в дверь постучали.

— Ja! — отозвался доктор.

В кабинет вошли молодой человек и девушка. Оба высокие, светловолосые, красивые; их лица, казалось, сошли с картин в жанре социалистического реализма.

— Познакомьтесь, это Биргер и Роза. Мои ассистенты. Вам обоим предстоит провести с ними некоторое время.

Биргер шагнул к Фабио и протянул ему руку.

— Очень рад, господин Либери. Эту неделю вами буду заниматься я, позвольте показать вам клинику.

Фабио встал, вид у него был как у маленького мальчика, которого привели на анализ крови и он ужасно боится. Он смотрел то на доктора Хайнца, то на Катрин, словно надеясь на их помощь. Доктор улыбнулся ему:

— Не забудьте. Диссоциация. Доверьтесь мне.

Биргер повел Фабио к выходу. Роза подошла и пожала руку Катрин. Она приветливо улыбалась, и Катрин улыбнулась ей в ответ. Она была прелестна, она была сногсшибательно красива, и от нее восхитительно пахло кардамоном.

8. Вся *правда*

Дверь им открыла совсем молоденькая девушка. Слегка зеленоватая с лица — так выглядят те, кто много курит, много пьет и плохо спит. При виде Пьера она чуть заметно улыбнулась ему и впустила всех четверых. Место оказалось аккурат такое, каких Фред терпеть не мог: здесь было холодно, грязно, пахло затхлостью и мочой. Обои на стенах не переклеивали го-

дов с шестидесятых, там и сям их прикрывали афиши — одна приглашала на панк-концерт, другая призывала к поддержке Альенде. Самая свежая сообщала о всеобщей забастовке профсоюза "Солидарность".

— Я знаю, ты думаешь, что они могли бы хоть иногда убираться, — сказала Кристин, будто прочитав его мысли. — Тебе бы надо постараться изжить в себе мелкобуржуазные рефлексы, будешь счастливее, точно.

Фред пожал плечами. Зеленоватая девушка обернулась к лестнице и крикнула:

— Генрих! Генрих!

Наверху послышались шаги, потом звук передвигаемой мебели. Что-то мягкое упало на пол. Кто-то выругался, непонятно, на каком языке.

— Ja! Ja! Komm![1]

— Можно, — сказала зеленоватая девушка. — Поднимайтесь. Отдайте ему это, ладно? — Она сунула Пьеру в руки коробочку пастилок от кашля. — Он простыл.

Они поднялись по скрипучей лестнице. На подоконниках медленно загибались какие-то запыленные растения. Дверь в кабинет была открыта настежь. Генрих Мюллер на четвереньках собирал с пола землю и осколки цветочного горшка в пластиковый мешок. Он поднялся, когда они вошли, и с минуту смотрел на них, словно не понимая, что делают посторонние в его кабинете, потом к нему как будто вернулась память.

Генрих Мюллер был высокий и до жути худой. Он выглядел старше своих лет. Этот старческий вид и худоба делали его похожим на останки Тутмоса IV, которые Фред видел в Британском музее, когда ездил с классом в Лондон. С той лишь разницей, что кожа у Тутмоса была цвета поджаренного хлеба, а у Генриха Мюллера напоминала скорее куриную грудку, приближающуюся к лимиту срока хранения. Он вытер руки о велюровые штаны, висевшие на нем мешком.

— Добрый день, Пьер, здравствуй, Кристин. Вы мне представите ваших друзей?

Пьер представил. Генрих кивнул и жестом пригласил их сесть на продавленный диван, покрытый чем-то похожим на старый марокканский ковер, облепленный собачьей шерстью. Убрав ворох газет, под которыми скрывался стул, он сел напротив.

— Вот, Мика велела тебе передать, — сказал Пьер, протягивая ему пастилки от кашля.

— Спасибо. Славная она все-таки девочка. Как подумаю, что с ней могли сделать там...

Фред вспомнил, что рассказывал Пьер накануне про трех молодых людей, которых арестовала полиция. Генрих откашлялся — казалось, что-то толкается, постукивая, у него в легких. Он сунул в рот пастилку и заговорил:

— Я вам очень признателен за помощь, которую вы окажете нашей... маленькой организации. Наша сила в таких людях, как вы, готовых поделиться с нами своей молодостью. Мы, знаете ли, не так слабы, как кажется, у нас сеть, имеются активисты и сочувствующие, и потом... Знаете ли, они не так сильны... Есть в них это... самодовольство, оно делает

1. Да! Да! Входите! (*нем.*)

их уязвимыми. Им и в голову не придет, что клика стариков вроде меня, даже с помощью горстки отважных молодых людей, способна ставить им палки в колеса...

Поль вдруг встал. Бледный, как простыня. На лбу, у корней волос, выступила капелька пота.

– Туалет? – спросил он.

Генрих Мюллер посмотрел на него слегка удивленно. Потом показал, куда идти, и Поль, двигаясь как автомат, вышел из комнаты.

– Ваш друг болен?

Кристин поведала ему об инфекции мочевыводящих путей, которую Поль подцепил в Гондурасе. Не успела она закончить, как из туалета донесся протяжный вой раненого зверя. Затем послышались сдавленные рыдания.

– Бедный мальчик, – покачал головой Генрих Мюллер.

Через несколько долгих минут Поль вернулся, его била дрожь, зубы были стиснуты. Он сел на диван и, словно боль навела его на размышления, спросил:

– Извините, но я так и не понял, кого вы имеете в виду, когда говорите "они", да и когда вы говорите "мы", тоже не совсем ясно. И потом, страна эта мне что-то не нравится, холод собачий, я чувствую, у меня уже начинается ангина, в моем состоянии мне только этого не хватало, ни поесть здесь толком, ни поспать, а уж туалеты, если все похожи на ваш, – таких засранных я в жизни не видал... Но это все детали, господин Мюллер, я только хотел узнать, чего вы от нас ждете.

Задав свой вопрос, он уселся поглубже и откинулся на спинку дивана. Пьер беспокойно ерзал, было видно, что ему не по себе. Кристин внимательно рассматривала ноготь на своем большом пальце. Генрих Мюллер кивнул, и в легких у него снова что-то толкнулось и стукнуло.

– Вы правы, молодой человек, никогда нельзя допускать неясности, что ж, я постараюсь быть елико возможно внятным. Тогда, надеюсь, вы останетесь хоть ненадолго с нами. Итак, позвольте, я вам кое-что покажу.

Генрих Мюллер встал, подошел к большому железному шкафу и распахнул обе дверцы. Внутри стояли два допотопных компьютера, от которых тянулись многочисленные провода.

– Информация, документация, осведомленность. Вот главное в нашей работе. "Мы" – это понятие растяжимое: это и Пьер, и Кристин, и Мика, которую вы видели внизу, и кое-кто из ее друзей. Это и мои старые друзья, очень старые, со времен стены, люди, которые давно поняли, что нам нечего ждать от русских и уж тем паче от Америки с Европой. Это рабочие, домохозяйки, учителя, шоферы-дальнобойщики, да мало ли кто, просто люди, которые "чуют", что от них скрыто что-то важное. Им многое недоговаривают, ими манипулируют. А сегодня "мы" – это еще и тысячи людей, которые посещают наш сайт в Интернете и начинают думать, а зачастую и помогать нам.

– А "они"?

Генрих Мюллер аккуратно закрыл шкаф и снова сел напротив них.

– "Они"... "они"... Это, наверно, как и мы, тоже понятие растяжимое... Они стоят за правительствами, за крупными промышленными группировками, за СМИ, они творят мир по своему желанию и в своих

интересах. Некоторые их организации почти не скрываются, взять хотя бы "Skulls and Bones"[1] или "Богемский клуб"[2] в Соединенных Штатах, это наднациональные ассоциации, они контролируют ООН, "Большую восьмерку", Всемирный банк, Валютный фонд; это и сверхсекретные ассоциации, например, трехсторонняя комиссия или Бильдербергская группа. Это люди могущественные, и что такое совесть, им неведомо, уж поверьте мне. Для них не писаны законы...

— Могущественные, говорите? — перебил его Поль. — А как же они позволяют вам иметь сайт в Интернете?

Генрих Мюллер улыбнулся.

— Они-то могущественные, а мы хитрее будем. Наш сайт размещен на сервере, который находится на буровой платформе, расположенной в нейтральных водах недалеко от Англии. Там, в затерянном уголке на побережье, обосновался один эксцентричный миллиардер. Свой уголок он называет Зеландией, подступы к нему заминированы, да еще он нанял для охраны целую шайку вооруженных до зубов анархистов. Не знаю, долго ли он продержится, но пока это нас выручает...

Поль смотрел в пустоту с каким-то странным выражением на лице.

— Да наизусть я знаю все эти бредни параноиков, — сказал он. — Не сосчитать, сколько встречал молодых бедолаг, которые в это непоколебимо верили. Сколько задвинутых на конспирации: повсюду им мерещится рука бог весть какой тайной организации, а то еще суют вам под нос особым образом сложенную пятидолларовую бумажку, мол, там виден профиль рептилии или горящая башня Всемирного торгового центра. Я даже знал одну девицу, которая была убеждена, что Телепузики и Покемоны — это векторы посланий на уровне подсознания для психологического программирования детей.

— Я понимаю ваш скептицизм, Поль, человеку свойственно сомневаться. Но в том-то и дело, что морочить голову — это тоже их прием. Они сами распространяют несуразные слухи, чтобы уже было не разобраться, где ложь, а где правда.

Поль пожал плечами.

— Чего бы я все-таки хотел, так это хотя бы одного доказательства.

Генрих Мюллер закашлялся и сплюнул в платок. Посмотрел в него, нахмурился и только после этого ответил:

— Доказательства. Что ж, ладно. У тебя научный склад ума, я таких уважаю.

С этими словами Генрих Мюллер встал и вышел из комнаты. С лестницы донесся его голос:

— Мика! Мика! Komm!

Он вернулся вместе с девушкой, которая выглядела все так же скверно.

— Мика — вот тебе и доказательство.

— Не понял, — сказал Поль.

— Мика пришла к нам с той стороны баррикад. До недавнего времени Мика была одной из "них". Она может вам кое-что рассказать. Правда, Мика?

1. "Skulls & Bones" ("Черепа и кости") — секретное общество избранных выпускников Йельского университета. Членом этого общества, состоящего из 800 посвященных, является Джордж Буш-младший.
2. Частный закрытый мужской клуб искусств в Сан-Франциско.

Девушка почесала лоб у корней волос, где от выдавленных прыщиков корочкой запеклась кровь.

— Правда. Не люблю я об этом вспоминать, но... Пусть люди знают... — Она почесала макушку.

И тут, не успела Мика начать, как мобильный телефон Кристин залился экзотической трелью.

— Алло... Да... Да, он здесь... Передаю ему трубку.

Она повернулась к Фреду, вид у нее был расстроенный.

— Фред, это твой отец. Он хочет с тобой поговорить.

9. *Отвержение отца по Фрейду и Лакану*

Фред почувствовал, как у него в голове взмыли разом полмиллиарда мух. Пытаясь сохранить спокойствие, он взял протянутый Кристин мобильник и на какую-то секунду понадеялся ввести папашу в заблуждение серьезным тоном этакого банкира, открывающего кредитную линию, но его "алло" вышло похожим на звук, с каким спелый плод шлепается на каменный пол. Сквозь шипение помех — качество международной телефонной связи оставляло желать лучшего — и жужжание полумиллиарда мух Фред услышал голос отца с его до боли знакомыми интонациями главы, мать его, предприятия второй зоны.

— Я два дня не могу до тебя дозвониться. Хорошо еще, что у меня был телефон твоей приятельницы, как ее, Кристель, черт возьми...

— Подожди, позволь, секундочку, я на совещании. Сейчас выйду. Не клади трубку... — промямлил Фред. Пьер, Поль, Кристин, Мика и Генрих Мюллер смотрели на него с жалостью. Он встал и выбежал из кабинета на лестницу. Присел на ступеньку у подоконника, на котором загибались запыленные растения, откашлялся и со всем спокойствием, на какое только был способен, снова приложил телефон к уху. — Да, вот, я тебя слушаю. Извини, у нас столько работы, — сказал он.

За тысячу с лишним километров раздался громовой хохот отца — и тут же резко оборвался.

— Работа! Работа! Звонок на мобильный стоит дорого, так что нет времени выслушивать твои враки. Помолчи лучше. Слушай! Значит так, три дня назад мне позвонил твой домовладелец, он очень встревожен, потому что ему не заплачено за этот месяц, а твоя соседка снизу пожаловалась, что у нее течет с потолка, от тебя. И поди ж ты, как на грех натекло на ее пианино, и от воды разбухла какая-то там деревянная деталь. В общем, ей это стоило бешеных денег. Я надеюсь, ты застрахован?

— Застрахован. Но... Я думал... — Фред видел перед собой жухлые листочки растения на фоне берлинского неба. Он сам чувствовал себя таким же листочком. А отец продолжал:

— Он даже не знает, застрахован ли! Ну конечно! Нет, как это может быть? Ладно, это еще не самое скверное. Слушай! Вторые ключи у меня, и я сказал домовладельцу, что приду выясню вместе со слесарем-водопроводчиком. Мне пришлось отменить совещание. Да-да, у меня совещания настоящие, не с какими-то там Кристель и иже с ними...

— Кристин...

— Какая разница! Короче говоря, прихожу я в назначенный час. Водопроводчик уже там, араб, заметь, очень славный. Заходим, ну и срач у тебя, даже перед отъездом "по делам", ишь ты, не подумал убраться... Представь, у араба было такое лицо, что мне стало стыдно. Да, стыдно. Водопроводчик сразу разобрался, откуда течет, из ванной, а все дело в колонке. Похоже, ты не знал, что эти штуки надо выключать, когда уезжаешь надолго? Не знал, да? Ты вообще ни черта не знаешь! Видел бы ты, во что превратилась твоя ванная, а кто будет платить за ремонт? Уж не я, поверь!

Фред зажмурился и мысленно увидел затопленную ванную. Он открыл рот, но не смог выдавить из себя ни звука.

— Молчишь? Конечно! — продолжал отец. — Понятное дело, сказать-то нечего. Ну так я скажу, что и это еще не все! Когда этот араб-водопроводчик снял с колонки кожух, знаешь, что он нашел?

Фред прикусил щеку изнутри и зажмурился так крепко, как только мог. Он знал, что нашлось за кожухом колонки. А отца было не остановить:

— Он нашел пакетик с белыми таблетками. Я ему говорю: "Смотрите-ка, аспирин. Но с какой стати Фред засунул аспирин за колонку?" И вижу, этот араб, этот водопроводчик, мнется, жмется и наконец выдает мне вот что: "Мсье, это не аспирин, это экстази". Я знаю, что такое экстази, не вчера родился, телевизор смотрю, видел передачи про эти вещи. Я водопроводчика спрашиваю: "Вы уверены?", и он отвечает, что да, потому что один его родственник приторговывает этим делом и его хотел втянуть, но он, араб, предпочитает слесарить. Короче! Не знаю, зачем я тебе все это рассказываю, не знаю, зачем трачу время на такой долгий разговор с тобой по телефону. Так вот, в твою учебу я больше не верю, в твою диссертацию тоже и впредь не намерен давать тебе деньги на наркотики. Ты долго водил меня за нос, но теперь с этим покончено. С сегодняшнего дня ты не получишь от меня ни гроша! Я тебя больше не содержу! Ты хочешь мне что-нибудь сказать?

Фред с отчаянием посмотрел на больное растение и помотал головой.

— Нет, я... Ладно... Понятно.

Он услышал вздох отца:

— Да, ты и постоять за себя никогда не умел. Пока, Фред.

Сухой щелчок возвестил о том, что отец повесил трубку. Фред встал, у него дрожали руки, мухи в голове летали как оглашенные. Он порылся в карманах. Там осталась бумажка в пятьдесят евро и немного мелочи. По его подсчетам, была еще сотня евро на банковском счету. К горлу подступила неодолимая тошнота, и тут приоткрылась дверь. Из кабинета высунулась голова Кристин:

— Ну что, ты идешь? Мика будет рассказывать про свои дела.

Она посмотрела на Фреда.

— Что с тобой? Ты такой бледный.

— Все нормально, — ответил Фред.

10. *Время вишен*

Ей было трудно выразить словами, что случилось, это пришло не сразу, постепенно, в несколько дней, как лунная фаза, и у Катрин было такое

ощущение, будто ее сердце осыпали чудесными золотыми блестками. Поначалу она была просто рада видеть Розу, когда та приходила утром, и снова встречаться с ней после обеда, потом возникло новое чувство. Чувство немного пугающее, но не сказать чтобы неприятное: она скучала по Розе, когда ее не было рядом. Еще немного спустя к этому прибавилась новая эмоциональная составляющая, как очередной слой теста поверх других слоев пирога: теперь в присутствии Розы у Катрин появлялась надежда на "что-то", что неминуемо должно было произойти. Это возникало помимо ее воли, но ощущалось остро, как жар от пламени в камине рождественским вечером, и, казалось, усиливало то, что родилось в ней с самого начала. На что было надеяться? Она сама толком не знала. Это "что-то" было похоже на распахнутые ставни после долгой ночи, когда вдруг видишь первые солнечные лучи на золоте и серебре озерной глади. Именно так формулировала для себя Катрин: озерная гладь, золото и серебро. И в конце концов от этой надежды на "что-то" ей чуть ли не стихи захотелось писать. Хоть одно стихотворение, она даже знала, как его назовет: "Золото и серебро озерной глади". Она записала название на чистой страничке своего ежедневника от Луи Вюиттона.

Однажды Катрин вышла из клиники и отправилась на прогулку по Берлину. Одна. Из-за лечения она уже бог знает сколько времени не видела Фабио. "Лучше не надо", — сказала ей Роза. Таксист высадил ее там, где она попросила, на Фридрихштрассе у пересечения с Кроненштрассе. Холод стоял смертный, как перед концом света. Она забрела в берлинскую "Галери Лафайетт", обошла все шикарные бутики: Кристиан Лакруа, Ив Сен-Лоран, Кензо. Купила бальзам для губ от Шисейдо, попробовала духи от Ланкастера с восточно-цитрусовым ароматом, который ей не подошел. Хотела было купить новинку от Кларенс для рук, но передумала, бесцельно побродила между секциями Биотерм и Шанель со странным чувством, будто она в аквариуме и смотрит на мир сквозь толстое стекло. Этажом выше ей вдруг вздумалось купить рубашку от Версаче для Фабио. О своей покупке она почти сразу пожалела. Потом, толком не зная зачем, купила в бутике Агнес б. симпатичную черную футболку с рукавами три четверти размера М. Попросила подарочную упаковку, продавщица не поняла, она объяснила еще раз, помогая себе жестами, и получила картонную коробку с бантом. То, что надо! Она сделает подарок Розе. Вернувшись к себе, она попробовала бальзам для губ, прелесть что такое, рот как шелковый, она суперкрасива, она гиперсексуальна, она словно крупный спелый плод, словно большой цветок, полностью раскрывший лепестки в преддверии лета.

11. *Все, что вы всегда хотели знать*

Это началось, когда они возвращались от Генриха Мюллера: Кристин с Пьером крупно повздорили. Фред подумал, что это не бывает с бухты-барахты, с такой хрени, как цена билетов на метро, видно, червячок завелся в паре Кристин — Пьер уже довольно давно. Правда, когда они вышли от Генриха, все уже были на взводе, возможно, из-за того, что рассказала Мика, возможно, из-за немецкой зимы с ее хроническим отсутствием света, которое уже действовало им на нервы, а возможно, из-

за впервые пришедшего понимания, что до демонстрации рукой подать и что дело не обещает быть легким. А Фреда, конечно же, добил телефонный звонок отца. Черт! На что теперь жить? Пятьдесят евро! Придется одалживаться у Кристин, то-то идиотский вид у него будет. А потом, когда он вернется, на что жить? Неужели придется работать? Черт! Фред представлял себе, как он в бумажной шапочке подает гамбургеры в "Макдоналдсе". От этой картины аж мурашки по спине побежали. Черт! У него, в конце концов, университетский диплом! Ну, то есть... почти...

В общем, все уже были не в духе, выходя от Генриха, все на нервах, начиная с Поля, который — это видели все — по-прежнему мучился от своей болезни мочевыводящих путей и загадочно молчал все время, пока Мика рассказывала. Слегка ошалевшие, они вышли на промороженный воздух и направились к станции метро. Пьер достал несколько евро, чтобы купить билет в автомате, и тут Кристин вдруг завелась с полоборота, ни дать ни взять "Ямаха", и такая же дерганая, что было полной неожиданностью для всех:

— ДА ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ! ТЫ ПЛАТИШЬ ДВА ЕВРО ШЕСТЬДЕСЯТ КАЖДЫЙ РАЗ, КАК МЫ САДИМСЯ В МЕТРО. ОЧУМЕТЬ! УЖЕ КОТОРУЮ НЕДЕЛЮ МЫ ЗДЕСЬ, А ТЫ ЕЩЕ НЕ ПОНЯЛ, ЧТО ЕСТЬ БИЛЕТЫ НА ДЕНЬ ЗА ПЯТЬ ЕВРО И ЕСТЬ НА "КОРОТКУЮ ПОЕЗДКУ" ЗА ЕВРО ВОСЕМЬДЕСЯТ! С УМА СОЙТИ, МЫ ТОЛЬКО ВЧЕРА ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛИ, А ТЫ КАК БУДТО НИЧЕГО НЕ СЛЫШАЛ! НЕТ, ЭТО ЧЕРТ ЗНАЕТ ЧТО! КАКОЙ ИДИОТ!

Пьер начал краснеть, попытался улыбнуться, но не вышло, жалкая гримаса прилипла к его багровому лицу. После этого он дважды громко чихнул, и Фред взмолился про себя: только бы не случился опять приступ аллергии. Поль удивленно поднял бровь, потом покачал головой так, будто получил подтверждение чему-то, что давно знал. Поодаль на платформе три молодых немца хихикали, поглядывая в их сторону. Пьер наконец выговорил:

— Ну ладно, ладно! Не надо так нервничать! Да что с тобой?

— Со мной ничего. Мне осточертело жить с людьми, которые не знают счета деньгам. Я устала.

Фреду захотелось спросить, входит ли он в число "этих людей", и еще — не объясняется ли реакция Кристин буржуазным прошлым, отмыть которое так же трудно, как известку с подошв. Больше никто ничего не сказал. Фред думал, что придется, никуда не денешься, просить у нее пятьдесят евро. Они молча дождались поезда, сели, вышли на Папештрассе, сделали пересадку на кольцевую. Сгустившаяся атмосфера в компании, помноженная на атмосферу грязно-черного предзимнего Берлина, давала результат в высшей степени депрессивный. Вдали Фред видел блестящий купол Рейхстага, а еще дальше маячила антенна телебашни на высоте триста шестьдесят пять метров. И всюду, куда ни глянь, подъемные краны. Берлин — город подъемных кранов. В тумане все это напоминало Парк Юрского периода.

У Фреда так и стояло перед глазами зеленоватое лицо Мики, когда она рассказывала свои не укладывающиеся в голове истории. Выключив телефон, он вернулся ко всей компании в кабинет Генриха. На душе было скверно, после разговора с отцом он чувствовал себя приговорен-

ным к казни, дальнейшая жизнь представлялась пластиковым мешком, наполненным разрозненными частями пазла. Мика сидела в уголке, прислонившись спиной к книжному шкафу, и внимательно рассматривала свои ногти. Генрих встал и погладил ее по волосам.

– Давай, Мика. Расскажи им.

Девушка вздохнула, сунула руку в карман и, достав листок папиросной бумаги, немного табака и немного травки, принялась сворачивать косяк. Потом вдруг коротко хихикнула ни с того ни с сего и прервала свое занятие. Фреду подумалось, что она с явным приветом.

– Ладно, расскажу, мне полезно попрактиковаться во французском. А поверят мне или нет – это меня не колышет.

Она доделала косяк, лизнув бумагу языком, закурила и, сощурив глаза, начала:

– В это замешано много народу. Много, куда больше, чем думают. Есть люди, которые задействованы и всё знают, есть – которые задействованы, но знают только кое-что, есть и такие, которые не задействованы, но знают, что есть люди, которые задействованы, и еще есть... всякие другие. Вроде вас...

– Вот это, я понимаю, ясность, – отозвался Поль, к которому малопомалу возвращались краски.

– Ладно, постараюсь выразиться яснее. Это заговор. Заговор против свободы, против человечества.

Поль насмешливо фыркнул:

– Ну прямо...

Мика пожала плечами.

– Можете смеяться, мне наплевать, можете верить, можете не верить, и на это мне тоже наплевать. Я упражняюсь во французском... Так вот, это заговор, и я про него знаю, потому что я была задействована, а до меня мои родители тоже были задействованы...

– Валяй, Мика, рассказывай нам свою биографию. Обожаю сказки, – хмыкнул Поль, но Мика его как будто не слышала.

– А моих родителей приобщили их родители. Членами группировки многие становятся по принципу наследственности. Чтобы было проще, я буду называть эту группировку "Иллюминати".

Фред посмотрел на Поля – тот закатил глаза.

– А как еще? Я хочу сказать, как еще становились... "Иллюминати"? – спросила Кристин.

– Если вы управляете крупным банком, если вы имеете вес в судебной власти, если вы министр, если вы держатель контрольного пакета акций промышленных комплексов, если вы известный киноактер, то есть шанс, что с вами свяжется агент...

Договорить она не успела, Поль опять перебил ее:

– Черт возьми, вот за что я не люблю этих сказочников! Вечно напустят туману. Поди пойми, кто есть кто и чего они хотят, заговорщики эти!

– Хватит! Помолчи и дай ей сказать или выйди!

Это встал Генрих. Он говорил не повышая тона, но на диво властно. Поль поднял бровь и примолк. Мика продолжила:

– Он прав. Никогда не знаешь точно, кто они. Есть люди, про которых известно наверняка, и другие, про которых можно только догады-

ваться: среди них были Уолт Дисней и Ширли Темпл, среди них нынешний президент США, английский премьер-министр, многие королевские семьи – Ганноверы, Габсбурги. Но вообще их тысячи, и у них очень, очень сильная организация. Если вы в состоянии поверить хоть чему-нибудь из того, что я говорю, поверьте вот этому: чтобы так организовать, как это делают они, выборы, государственные перевороты, банкротства, чтобы так влиять на мировую экономику, нужно иметь действительно сильную организацию...

Мика сделала паузу, затянулась.

– Чего они хотят? Очень просто, ответ написан черным по белому на каждом долларе, выпускаемом федеральным казначейством: *Novus Seculorum*, нового мирового порядка. И в этом новом порядке таким людям, как вы и я, делать будет нечего, кроме как сгинуть.

Мика пустила косяк по кругу. Поль затянулся и передал его Кристин.

– У них есть методы на все случаи: чтобы нас прослушивать, чтобы нами манипулировать и чтобы нам... размягчать мозги... но вот тут это становится... это может показаться немного... бредом...

Она замялась, повернулась к Генриху.

– Давай же! Продолжай, – велел он.

Мика пожала плечами.

– Ладно. Так вот, почему, думаете, я упомянула Уолта Диснея – да потому что он, а за ним и крупные продюсерские компании вроде "Тачстоун" и "Мирамакс" так и норовят напичкать свои фильмы кадрами, действующими на уровне подсознания, которые направлены на... э... программирование зрителя: возьмите "Фантазию" – весь этот длинный фильм направлен на программирование детей. Иной раз их специалисты не знают меры, и это в конце концов бросается в глаза, как, например, голая девушка в "Бернарде и Бьянке" или появление слова "секс" в "Короле Льве". Все эти приемы программирования были разработаны врачами Освенцима, в первую очередь Менгеле, эти врачи работали на тех, о ком я вам рассказываю, а потом были в массовом порядке переселены в Соединенные Штаты в результате операции "Пейпер Клип"...

Фред уже начал скучать. Чтобы изобразить интерес, он переспросил:

– Пейпер Клип?

Ему ответила Кристин:

– Так называется операция американских спецслужб: они помогли покинуть Германию многим бывшим нацистам и попутно прихватили самых перспективных ученых, взять хоть фон Брауна, который строил для Гитлера ракеты V-2, а потом стал отцом американских космических программ, создав "Сатурн" и "Юпитер".

Мика кивнула:

– Неплохо, кто-то здесь даже историю знает...

– А дальше? – вдруг заинтересовался Поль.

– У них, – продолжала Мика, – столько всего... Я занималась программой контроля психики... Это основа основ... Они систематизировали этот проект, ему давали разные названия: "проект-монарх", "Дельта-программирование" или еще "МК-ультра", над этим проектом работал мой отец, его полное название "Manufacturing Killers Utilizing Lethal

Tradecraft Requiring Assassinations"[1]... Тимоти Маквэй, террорист из Оклахома-Сити, Эрик Харрис и Дилан Клебольд, два недоумка из лицея "Колумбин", или еще Дэвид Кореш, ну тот, чокнутый из Вако, — это все неудачные опыты программы контроля психики... Сегодня все эти программы вышли на новый виток, для них разработана сложнейшая техника, о которой мало кто знает. Например, я уверена, что вы никогда не слышали о проекте Хаарп.

— Точно, — подтвердил Поль.

— Ну вот, а он ведь даже не засекречен, "High Frequency Auroral Active Research Program", программа высокочастотных активных авроральных исследований, целые гектары антенн посреди Аляски. Они посылают волны в ионосферу на очень высоких частотах или на очень низких, по выбору... Их возможности... огромны, можно влиять на климат в том или ином регионе, создавать помехи связи и... влиять на поведение людей тоже... Параллельно с этим проектом разрабатывается другой, он более секретный, но его последствия еще очевиднее... "чемтрейлс", вам это что-нибудь говорит?

Все покачали головой. Мика невесело усмехнулась.

— Специальные самолеты летают каждый день над самыми уязвимыми регионами планеты: над Европой, Америкой, над горячими точками... и распыляют химическое вещество, оно состоит в основном из алюминиевого микроволокна и образует "клауд сидинг", что-то вроде экрана-отражателя, который многократно увеличивает силу волн...

Повисла бесконечно долгая пауза, пока Мика глубоко затягивалась вернувшимся к ней косяком.

— Мои родители... Я там выросла... Меня обучали, посвящали... Хотели выдать замуж за одного типа, он там большая шишка, свинья свиньей, потому я и сделала ноги. Я такого насмотрелась, даже не буду вам рассказывать, как-нибудь в другой раз...

— Ты совсем вымоталась, Мика. Тебе надо поспать, — сказал Генрих тихо и очень ласково.

— Я всю ночь работала... Ты прав.

Девушка встала, слегка пошатываясь. Генрих улыбнулся ей. Она вышла, шаги прошаркали вниз по лестнице.

— Вот так, — Генрих повернулся к Полю, — убедился?

Поль помолчал немного, потом выпалил:

— А вы-то почему ей верите?

Генрих вдруг выругался по-немецки и вскочил:

— Закоренелый скептик! "Чемтрейлс" и микроволны уже оказали на тебя действие. Вот ты и не веришь больше ничему... А я ей верю...

— Но это такой бред, что... — попытался перебить его начинавший злиться Поль.

— Хватит! — нахмурился Генрих и взял с письменного стала какую-то фотографию. — Я ей верю, потому что знал ее родителей, и знай я тогда все это о них, не дошел бы до такой жизни!

1. Цепочка английских слов, означающая "производство убийц с использованием летальных методик для заказных убийств"; по звучанию пародирует названия торговых марок.

Поль взял фотографию, которую Генрих протягивал ему. Фред вытянул шею, чтобы посмотреть. Очень красивая белокурая девушка стояла в картинной позе на фоне цветастой занавески.

— Это моя жена! — выкрикнул Генрих. — Они убили ее!

— Но как... — начал Поль.

— Я видел, как они ее убивали! Все видел! Я видел ее глаза, когда она умирала!

Больше Генрих Мюллер ничего не сказал. Он попытался еще что-то добавить, но не смог — заплакал. Плач был странный, короткими тоненькими всхлипами и почти без слез. Только в глазах что-то блестело. Плача, он снова закашлялся. Кашель был гулкий, словно из глубокой пещеры под ребрами. Пьер встал, подхватил его под локоть, усадил. Генрих сделал жест рукой, означавший, похоже, просьбу, чтобы его оставили одного. Во всяком случае, Кристин скомандовала:

— Уходим!

Перед тем как уйти, Поль подошел к немцу и по-братски положил ему руку на плечо:

— Я тоже потерял дорогого человека. Ее звали Карла. Это было на другой войне.

Генрих кивнул. Они ушли. Кристин с Пьером поцапались, потом ехали в метро. Когда уже подъезжали к своей станции, Фред понял, что ему хочется есть, хочется чего-нибудь немецкого, свиную ножку, например, и чтобы с картошкой... Будь у него побольше денег, он сейчас же отправился бы искать ресторан. Никто, кажется, не подумал купить чего-нибудь на ужин, и настроение у него окончательно испортилось: Поль молчит как пень, Кристин и Пьер дуются... Черт! В голове проснулись мухи, вечерок ожидался веселый.

Позже, когда Поль рядом с ним уже дрых без задних ног, ему вспомнились слезы старого немца. Тягостное зрелище являл этот угрюмый старик, плачущий над разбитой жизнью. Тягостно было думать об этом, тягостно и страшно, Фред чувствовал, что и он запросто может кончить так же — стариком, плачущим в одиночестве в четырех стенах. С этими мыслями он в конце концов и уснул.

12. I*n paradisum*[1]

Сколько прошло времени с тех пор, как они пришли в клинику доктора Хайнца? Три дня? Неделя? Больше? Катрин не смогла бы ответить на этот вопрос. Она знала, что прошло сколько-то ночей после того, как Фабио ушел с Биргером, а она последовала за Розой, чтобы та показала ей ее "палату". Роза, Роза, Роза, Роза, Роза, Роза... Как шло этой девушке ее имя. Роза, Роза, Роза, Роза... Этот запах кардамона от ее кожи был ориентиром, точкой схода, знаком, поданным той великой системой сил, в которую вписывалась Катрин. Роза, Роза, Роза, Роза: ее волосы — светлые лозы виноградные, ее лицо — жемчужина неоправленная, тени Черного Леса отражаются в ее глазах, а рот ее — два шелковых лепестка. Роза, Роза, Роза, Роза...

1. В раю (*лат.*).

Катрин любила вспоминать их самый первый день. Роза показала ей, как работают душ, телевизор и мини-бар. Ее голос мог бы петь Lieder[1], у Катрин от него кружилась голова: ее влекло к девушке. К девушке — ее, всегда любившую только мужчин. Наверно, случись это раньше, подобное открытие она бы скрыла от себя самой и, разозлившись, спустила бы его в клоаку подсознания. Теперь же она чувствовала себя красивой, гиперсексуальной, в отличной форме, в полной гармонии с потаенными силами мироздания. И это желание она теперь принимала как подарок.

В тот первый день Катрин сказала Розе, что не вполне понимает, почему ее присутствие необходимо для лечения Фабио. Это было под вечер, в небе алое перемешалось с черным, окрасив сумерки в цвета сказок братьев Гримм. Роза сказала тогда, что ей понятен вопрос Катрин, но она недостаточно компетентна, ответить может только доктор Хайнц. Она как ассистентка знала только, что диссоциативное лечение преждевременной эякуляции предусматривает присутствие и мужчины и женщины для некоторых "упражнений". Катрин очень хотелось спросить, что это будут за "упражнения", но волнение, которое вызывала в ней близость Розы, сделало ее на диво сдержанной, почти робкой.

В один из вечеров они ужинали вдвоем в полупустой столовой клиники. На другом конце зала — кафельные стены и отчаянно яркое неоновое освещение — Катрин увидела Фабио с Биргером. Он слегка напугал ее, этот Биргер. Слишком высокий, красавец, здоровяк — всего в нем было слишком. Фабио выглядел таким... маленьким рядом с ним. Ей не удалось расслышать, о чем у них шел разговор, но, судя по их лицам, они обсуждали что-то ужасно серьезное. Биргер жестикулировал указательным пальцем, Фабио кивал. Встретив взгляд Катрин, он слабо улыбнулся и едва заметно помахал ей рукой. Биргер обернулся, увидев Катрин, нахмурился и продолжил прерванную речь. Еще несколько столиков занимали пары: старик и старушка молча пили кофе, поодаль пожилой мужчина и девушка, наверно его дочь, задумчиво изучали меню, особым разнообразием не отличавшееся.

Так проходили дни, сладкие и розовые, похожие на сахарные хлопья. Роза говорила, что надо отвлечься, расслабиться, что именно это "лучше всего послужит ей" в момент диссоциации.

Катрин, краснея, все же решилась подарить Розе футболку от Агнес б., и Роза поблагодарила, сказав, что она "прелесть". Роза расспрашивала о ее вкусах, о любимых магазинах, о том, какие ей нравятся книги, какие фильмы. Не раз Катрин хотелось открыть душу, рассказать Розе о своей посреднической роли в космотеллурических силах и обнаружившихся в связи с этим способностях. Но снова эта нежданная робость, какая-то ребяческая стыдливость, смешанная с чувством вины и страхом — вдруг Розе не понравится? — мешали ей, и она молчала.

Роза, со своей стороны, понемногу открывалась ей. Однажды вечером, когда они лежали вместе на кровати Катрин, поставив диск "Неспящие в Сиэтле" на DVD и тарелку с сосисками "Кнаки" марки "Herta" на журнальный столик, Роза разоткровенничалась о своих родителях.

1. Песни (*нем.*).

Ее мать была, сказала она, уроженкой города Лодзи, это в Польше. На закате коммунизма она приехала в Восточную Германию на тренировочные сборы по фигурному катанию. Ей было тогда лет пятнадцать, не больше, совсем молоденькая. Там она встретила молодого человека, очень красивого, очень серьезного, он работал каменщиком, но сменил стройку на кабинет в штази, госбезопасности бывшей ГДР, потому что был умным и упертым, а в то время только на такой службе можно было сделать карьеру.

Рассказывая все это, Роза смотрела на тарелку с сосисками, и в глазах ее была печаль. Ее мать не умерла и не уехала. Она просто исчезла. Розе было четыре года, и немецкая зима превратила в льдинки ее детские слезы. Она помнила, как метался и горевал отец, помнила их крошечную квартирку, запах мазута, мамины платья, которые так и висели в шкафу, точно призраки. Ее боль никуда не делась, она видоизменилась и осталась чем-то вроде острой косточки в сердце, с которой пришлось научиться жить. В ту пору отец все реже бывал дома, мало спал, ей запомнился огонек ярости и безумия, загоревшийся тогда в его глазах, он больше не ходил на работу в штази, а потом и вовсе ушел из полиции и вернулся на стройку. У него были неприятности, из полиции не уходят просто так, какие-то люди шастали вокруг их дома, расспрашивали соседей. Даже за ней, Розой, увязывались, провожали до школы. Как-то раз остановилась машина, вышли двое мужчин, отняли у нее ранец и обыскали. После этого случая отец вступил в подпольную организацию. Потом была странная пора, до жути тревожная, когда они жили в полулегальной типографии. Отец непрерывно что-то писал. Это были письма на иностранном языке, только много позже Роза опознала в нем английский. Ему тоже приходили письма, их приносили прямо в типографию. Ей запомнилось, как отец говорил, что "будет нечто", а потом пала стена. Это был такой невообразимый праздник, она увидела улыбку отца и обнаружила, что он немыслимо красив. Но что-то случилось, что — она не знала. По вечерам отец с кем-то ругался по телефону, он говорил по-английски, все чаще где-то пропадал, а если и бывал дома, то всегда с какими-то людьми, теперь это были немцы, моложе его, бородатые и длинноволосые. Для маленькой девочки это была не жизнь, отец пристроил ее к родственникам друзей, "очень славным", и снова ушел в подполье, а дочку навещал раз или два в месяц, водил ее в кафе-мороженое или в зоопарк.

— Я мало что понимала тогда. Я жила у милейших людей, которые заботились обо мне как о родной дочери, ходила в школу, училась на "отлично", у меня были друзья, но эта косточка в сердце, это исчезновение... Она исчезла — ничего хуже быть не может... Умерла — это еще куда ни шло, это понятно... Уехала, сбежала, бросила — это тоже понятно... Но исчезла — это как черная дыра... И потом, отец — я видела его так редко, это было все равно что... все равно что он тоже исчезал. Ты понимаешь?

Катрин кивнула. На экране Том Хэнкс встретился с Мэг Райан на верхушке Эмпайр-стейт-билдинг, поцелуем пахло за десять километров. Роза лежала на кровати, томно изогнувшись, словно русалка на песчаной отмели. Заметив взгляд Катрин, она улыбнулась:

— Тебе ведь тоже хочется что-то мне рассказать, правда?

Катрин почувствовала, что краснеет, растерявшись, замешкалась на долю секунды. Увидев ее смятение, Роза протянула руку и погладила ее по щеке.

– Что такое, прекрасная Катрин? Ты хочешь что-то сказать? У тебя есть секрет?

Катрин показалось, будто земля разверзлась под ней и она падает. Она наклонилась, и лучезарное лицо Розы оказалось так близко, что на нее повеяло его теплом. Катрин приблизилась еще и осторожно поцеловала Розины губы. Она ощутила сначала соленый вкус сосисок "Кнаки", а потом, когда язык Розы встретился с ее языком, – сладость слюны из меда и цветочного нектара.

13. *In tenebris*[1]

После этого поцелуя Роза оставила Катрин на кровати, пылающую, хмельную, почти в прострации, наедине с плывущим по экрану логотипом DVD "Pioneer". Насколько помнилось Катрин, ничего не было сказано. Молчание и поспешный уход Розы, последовавшие за поцелуем, стали для нее едва ли не первым опытом душевной смуты. Она не спала в эту ночь, разве что чуть-чуть, урывками. Пыталась посмотреть телевизор, но, кроме "Евроньюс", где показывали одни и те же кадры: вертолеты "Апач", сбрасывающие бомбы на какую-то иракскую деревню, – по всем каналам шли эротические фильмы, окончательно повергшие в смятение ее бедную душу.

Ей удалось заснуть только на рассвете, когда за стенами клиники Хайнца уже нарастал гомон просыпающегося города. Звонок телефона ворвался в бредовый сон. Глаза не хотели открываться, она сняла трубку на ощупь:

– Алло?

– Это Роза. Я тебя разбудила?

Катрин села. С пол-литра адреналина разом выплеснулось в ее нервную систему.

– Нет, нет. Я...

– Соберись, пожалуйста, побыстрее. Доктор Хайнц хочет тебя видеть через четверть часа. Кажется, он считает, что твой муж готов к диссоциации...

– Да... Через четверть часа.

– Вот и хорошо. Пока.

Роза повесила трубку. Катрин была сама не своя, то ли она перестала что-либо понимать в людях, то ли ее втянули в игру с чересчур сложными, не для ее ума, правилами. Или, может быть, Розе на нее глубоко плевать. Последняя гипотеза была худшей из всех. Ей представился крошечный щенок, заблудившийся в лесу. Равнодушие – кратчайший путь к смерти. Катрин села на край кровати, и ей вдруг отчаянно захотелось снова лечь и уснуть, а Роза, Биргер, доктор Хайнц и Фабио пусть "диссоциируют" без нее, к черту, какое ей в конце концов дело до эякуляции мужа.

1. Впотьмах (*лат.*).

— Боже мой, — произнесла она вслух. — Я так люблю Розу. Я от этого с ума сойду.

С этими словами она укусила себя за руку. Распускаться нельзя. Кто полюбит жалкую развалину, это абсолютно невозможно. Она ни за что не станет развалиной.

— Все пройдет, все пройдет, — успокоила себя Катрин и встала.

Она наскоро приняла душ, который помог отогнать неприятные мысли. Вышла из палаты и направилась по безлюдным коридорам клиники Хайнца в кабинет доктора.

Когда она вошла, все уже были там и молча ожидали: Биргер, особенно статный сегодня, весь из прямых углов. Рядом с ним сидел Фабио, немного бледный. Доктор Хайнц листал толстую историю болезни под внимательным взглядом Розы. При виде Катрин Фабио просиял, точно ребенок, заждавшийся маму в детском саду. Он не встал и ничего не сказал, похоже было, что получил инструкции на этот счет. К ней подошел Биргер:

— Вам с ним лучше пока не разговаривать.

— Но... Это...

— Доверьтесь нам, — с нажимом произнес Биргер и вернулся к Фабио, оставив Катрин в одиночестве посреди просторного кабинета. Прошла долгая минута, прежде чем доктор поднял голову:

— Что ж, все собрались. Я попрошу Биргера проводить господина Либери. Мы придем следом.

Биргер хлопнул Фабио по плечу, тот встал и вышел, глядя на свои ботинки. Катрин осталась одна с доктором и Розой. Она, как ни старалась, не могла отвести глаз от молодой женщины, которую вчера поцеловала. Эта мягкая красота, эта детская белокурость, это лицо, которое свело бы с ума Леонардо да Винчи...

— То, что сейчас произойдет, чрезвычайно важно. Это решающий момент лечения, при котором необходимо ваше присутствие, однако я попросил бы вас не вмешиваться. Ни в коем случае. Договорились?

— Да, конечно. Но что сейчас будет?

Доктор встал и отдал историю болезни Розе.

— Идемте. Я вам объясню по дороге.

Они покинули кабинет и через маленькую железную дверь вышли на бетонную лестницу. Поднимаясь, Катрин краем глаза косилась на доктора, все такого же холеного, словно лакированного. Вблизи было видно, что его лысину покрывает серый пушок. Он говорил слегка напряженным голосом, как человек, готовящийся к сложной операции:

— Часто полагают, что у животных секс служит исключительно для размножения... Это в корне неверно. Сексуальное насилие встречается почти у всех видов, размножающихся половым путем, и так же, как у человека, зачастую связано с борьбой за власть. А стало быть, с агрессией и смертью. Вам понятно?

Катрин нахмурилась:

— Да, но я не вижу связи с проблемами Фабио.

— Ну разумеется... — Доктор кивнул.

Лестница кончилась, он открыл еще одну такую же железную дверь. Они вошли в какую-то темную комнату. Три окна в глубине были задернуты тяжелыми шторами.

— Я вот что хочу сказать: мы должны мириться с тем, что в нашей душе порой возникают самые разнообразные импульсы. Это естественно, мы живые, у нас это происходит так же, как у крупных приматов, хищников, собак, насекомых... В большинстве своем эти импульсы совершенно безобидны, они проплывают крошечными серебряными рыбками в мутной реке, проносятся молниями, и мы спешим о них забыть, а между тем именно благодаря им могли бы узнать, кто мы и чего хотим. Таким образом, река наша мелеет. Мы утрачиваем смысл жизни... Вы знакомы с работами Магнуса Хиршфельда?

Катрин села в кресло. Этот доктор начинал ее раздражать своими донельзя заумными речами. А Роза-то! Черт побери! Стоит рядом и молчит.

Какая... дрянь! Это Катрин подумала про себя, а вслух сказала:

— Я не понимаю, о чем вы говорите, и не знаю, кто такой Магнус Хиршфельд.

— Хиршфельд — отец современной сексологии. В начале двадцатого века он впервые непредвзято посмотрел на сексуальные отношения. Он открыл первый центр сексологии здесь, в Берлине, и основал первое периодическое издание на эту тему: "Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen"[1]. Великий человек! В двадцать шестом году он организовал первый конгресс сексологов: International Congress for Sex Research[2], а в двадцать восьмом создал "Всемирную лигу за сексуальную реформу". Он много размышлял об этом, много писал, какая красота — позитивистская таксономия в основе эндокринологического бихевиоризма и поведенческая депатологизация столь распространенного явления, как гомосексуализм... Если бы вы читали по-немецки, я бы дал вам мой экземпляр монографии "Die Tranvestiten", которую он опубликовал в тысяча девятьсот десятом году...

— Послушайте, я ничего не понимаю. И не вижу смысла в вашей лекции о... медицине.

— В самом деле, извините меня. Я привел вас сюда, чтобы вы могли посмотреть. Вам это тоже пойдет на пользу.

Доктор подошел к одному из окон и отдернул штору. По ту сторону толстого стекла находилось помещение, очень похожее на операционную: огромная круглая лампа, излучавшая холодный свет, и прямо под ней стол, покрытый темно-зеленой клеенкой. Голые белые стены. Катрин понадобилось несколько секунд, чтобы поверить своим глазам. Увиденное было настолько неожиданно, что ее мозг сработал не сразу. На операционном столе сидел Фабио. Биргер стоял над ним и массировал ему плечи. Губы Биргера шевелились, он что-то говорил, но отсюда, из-за толстого стекла, Катрин не могла ничего услышать.

— Он помогает вашему мужу расслабиться, — сказал доктор.

— Но они же... голые! — вырвалось у Катрин, вдруг осознавшей, на что она, собственно, смотрит.

— Разумеется. А минут через десять они займутся любовью.

Катрин уставилась на доктора в полной уверенности, что он сошел с ума. К ней подошла Роза.

1. "Ежегодное обозрение для людей нетрадиционной сексуальной ориентации" (*нем.*).
2. Международный конгресс по сексуальным исследованиям (*англ.*).

— Все правильно, ты потрясена, это противоречит твоему воспитанию, твоим ценностям, понятиям о браке, о сексе и прочем. Но это и есть диссоциация. Ты увидишь, работает здорово.

Катрин почувствовала, как рука Розы сжала ее ладонь, и вздрогнула. Она почувствовала, как нечто, всю жизнь задавленное в ней, воспарило в ее внутреннем эфире с легкостью экзотической бабочки. Большая теплая волна захлестнула ее, и она, не противясь, позволила своим пальцам переплестись с пальцами молодой женщины.

В операционной Биргер наклонился и припал поцелуем к плечу Фабио; тот остался недвижим, словно в столбняке. Катрин хотела зажмуриться, но не смогла, завороженная движениями рук и губ немца, ласкавшего тело ее мужа.

Часть третья

1. Трещина в паре

Мика связалась с ними через несколько дней. До демонстрации оставалось меньше недели, погода смахивала на черный прилив в Баренцевом море. Мутный, болотисто-мокрый свет стоял с одиннадцати часов до трех. Остальное время было темно. Фары машин да витрины были практически единственными источниками фотонов, освещавших Берлин. Удрученный этой картиной климатического бездолья, Пьер заявил, что теперь понимает, почему именно в Германии родился экспрессионизм. Кристин огрызнулась на него, сказав, что экспрессионизм родился как реакция на ужасы Первой мировой войны и прообраз ужасов Второй. Пьер было заспорил, мол, не всегда рождение художественных течений впрямую определяется социополитическим контекстом, но Кристин отмахнулась: пусть сначала пересмотрит "Носферату" Мурнау, а потом попробует ей доказать без хохмачества, что это не одна из гениальнейших интуиций о будущей глубинной сущности нацизма. Пьер больше ничего не сказал. Закрылся в спальне и полдня не выходил: якобы опять аллергическая реакция на очередное моющее средство.

Мика должна была приехать от Генриха с двумя видеокамерами — чтобы они могли заснять во время демонстрации зверства полицейских, если таковые будут иметь место. Ожидая ее, все маялись от безделья. Поль смотрел бильярд на канале "Евроспорт", Кристин перечитывала старый номер "Монд дипломатик", время от времени подчеркивая заинтересовавшие ее пассажи.

Фред немного тревожился за Пьера, он помнил тот кошмарный приступ после сосисок с томатным соусом и чувствовал, что второго такого не вынесет. Он зашел к Пьеру, тот сидел на кровати в одних трусах и что-то печатал на своем ноутбуке. Тонкая струйка слюны стекала по его боку из лишнего рта. Рот был закрыт, будто спал. Фреду подумалось, что это все-таки омерзительное зрелище. Пьер заметил его взгляд и прикрылся простыней.

— Как ты? — спросил Фред и показал на его живот, где, по его представлению, были сосредоточены муки Пьера от приступа аллергии на моющее средство.

— Ничего. Проходит. Вот, решил пока поработать немного. Здесь поспокойнее.

Фред догадался, что "поспокойнее" означало "подальше от Кристин".

— Она вся на нервах, — сказал он. — Столько надо организовать...

— Мы все на нервах! Весь мир на нервах! Посмотри-ка сюда!

Он повернул экран ноутбука к Фреду. Это была главная страница сайта "Индимедиа Франс".

— Антипутинская демонстрация в Дании. Готовился официальный визит, и порядка сотни демонстрантов собрались недалеко от отеля, где занимал номер какой-то русский министр. Мирная демонстрация. Даже стекол не били, так, свистели да держали плакаты с лозунгами, осуждающими войну в Чечне и уничтожение сибирской тундры из-за эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. И знаешь, что было?

— Нет.

— На них наехала полиция, датская полиция, полиция "демократического" государства. Они применили газ CS, вот так, без предупреждения, и гранаты, и еще такую хрень, которая взрывается резиновыми пульками во все стороны. Полицейские называют ее "рассеивающее баллистическое устройство". Весь их арсенал оружия "пониженной летальности" — умора, да и только.

— Ну, хотя бы никто больше не стреляет по толпе, — сказал Фред: выслушивать длинную лекцию от Пьера ему не хотелось. Он ведь просто зашел его проведать. Но Пьер нахмурился:

— Как же! С этой пакостью они запросто обходят международное законодательство! Дерьмо самое настоящее, и убивает больше народу, чем пули! Ты не помнишь операцию русской полиции, когда в Москве захватили заложников в опере? Сто двадцать девять погибших... В Копенгагене один парень лишился глаза, и одна девушка может проститься с печенью. Вот что такое газ CS. Думаешь, они здесь им не воспользуются? Вот увидишь. Думаешь, посовестятся применить и другие свои штучки?..

— Какие штучки? — спросил Фред, до сих пор ему и в голову не приходило, что участие в антиглобалистской демонстрации может оказаться опасным.

— Послушай, старина, ты хоть понимаешь, что они нас панически боятся, что мы представляем угрозу, какой либерализм не знал с семнадцатого года? Против них сейчас объединяются все: металлурги, студенты, женские движения, крестьянство, неправительственные организации, мелкие радикалы-голодранцы, домохозяйки, не желающие кормить своих детей мясом на антибиотиках... Мы сильны, потому что не рвемся к власти и потому что нас всякой твари по паре. Нет лидера, которого они могли бы купить, мы для них хуже всего, как раковая опухоль...

— Так ты думаешь, это дело опасное? — опять спросил Фред, не вполне понимая, о чем толкует Пьер.

— Если рак подцепишь — тут или он тебя, или ты его. Люди готовы оттяпать от себя кусок, лишь бы опухоль не развивалась. Вот и с нами

так же. Они пойдут на все... На все, но не теряя лица, вот почему они впаривают, будто их оружие не убивает. А газ CS — еще не самое худшее. Уже несколько месяцев специальные люди разрабатывают black programmes[1], их бюджет прикрывают покупкой оборудования для фильтрационных полей Калифорнии. Они уже испытывали всевозможную пакость на узниках Гуантанамо и базы Канеохе-Бей. Лазер, звуковое оружие, микроволны... Я уверен, что теперь подопытными свинками станем мы. Надо будет все это показать... Если люди это увидят, если они увидят, как демонстранты корчатся на земле с налитыми кровью глазами, может, тогда задумаются об истинной природе общества...

Его перебил голос Кристин, звавшей из гостиной:

— Пьер, Мика пришла. Она покажет нам, как работают камеры.

Пьер закатил глаза.

— Иди. Скажи, что я сейчас выйду.

Фред вернулся в гостиную, голова его была полна устрашающих картин, ему уже виделось, как он выхаркивает на берлинский тротуар свои легкие. Мика сегодня была в кожаной мини-юбке. Против всяких ожиданий у него зашевелилось в штанах.

Пьер вышел вскоре после него, в джинсах и шерстяном свитере, надетом на голое тело. От одного его вида у Фреда все зачесалось. Мика с ленцой — мол, все знаю, видала-перевидала — объяснила, как работают два крошечных аппаратика, показала батарейки, модуль Fire Wire, спросила Пьера, Windows у него или OS X. А Фред все думал, как же он раньше не заметил, до чего она потрясно сложена. Лицо так себе, бледненькое, видно, от недосыпа и бесчисленных косяков, которые она наверняка курила с Генрихом, но фигурка — зашибись. Миниатюрная девичья фигурка, даже на взгляд крепенькая, точно теннисный мячик. Фред подсел поближе к ней, пока она говорила, он чувствовал ее тепло, запах пота и травки. Попытался даже сострить, сказал что-то вроде "если постараемся, сможем послать копию фильма в Канны". Шутка вышла не самая удачная, никто не оценил и не откликнулся. Кроме Мики — она сказала "ну да, конечно", пожав плечами. Фред задался вопросом, спит ли она с Генрихом, и решил, что это вполне возможно.

Неслышно пришел вечер, ледяной и черный, как немецкая подлодка. Мика давно закончила инструктаж, но уходить не спешила. Она достала из холодильника оставшиеся бутылки пива и запросто осушила их одну за другой. Немного опьянела и теперь говорила без умолку.

— Сегодня же! Сегодня же прекратите пользоваться мобильными телефонами. По мобильным телефонам они вас найдут как пить дать. А еще на банкнотах есть электронные микрочипы, по ним вас тоже могут засечь. Единственный выход — заворачивать их в фольгу...

Кристин давно уже не слушала и снова уткнулась в "Монд дипломатик", Пьер ушел в спальню. Поль уснул под "Евроспорт". Только Фред остался в зеленоватом свете кухни. Фреду очень хотелось коснуться лица Мики, из-за этого он нервничал, чувствовал сухость во рту и совершенно не слышал, что она ему говорила. А она хоть бы что — продолжала:

1. Черные программы (*англ.*).

— Я понимаю, это бред. Понимаю, что таким людям, как ты, трудно в это поверить. Но доказательств столько... — Она помолчала, вроде бы задумалась, потом встала и подошла вплотную к Фреду. Расстегнула и спустила до бедер свою кожаную юбочку. Под ней были лиловые трусики, их она тоже приспустила до самого лобка.

— Смотри! — сказала она.

Фред посмотрел. Живот был гладкий и розовый, под ним курчавились волосы.

— Ну, видишь? Это, по-твоему, не доказательство? — показала она на розоватый шрамик под волосами.

Фред не знал, что она имела в виду. Он знал другое: что у него снова зашевелилось в штанах и что ему хочется зарыться в эти волосы носом.

— Они называют это оккультной хирургией, это делают всем детям-иллюминати в седьмой день рождения. Разрезают тебе лобок и зашивают внутрь камешек, маленький кусочек хрусталя, он якобы защитит от алюминиевого микроволокна, которое распыляют чемтрейлс. Хрусталик должен находиться на полпути между краем подвздошной кости, точкой прохождения жизненной энергии от нижней части тела к верхней, и крестцом. Крестец, по-латыни сакрум, сакральная кость, в древности именно ее дарили богам, когда приносили в жертву животных, а хирурги-иллюминати считают ее границей между материальным миром и миром духовным. Эти мерзавцы режут по живому, чтобы ты хорошенько почувствовал, как энергия камня вливается в твою нервную систему. Тебе семь лет, и твои родители собственноручно ведут тебя на пытку! Может, думаешь, я сочиняю, думаешь, мне нравится это рассказывать? Может, думаешь, я сама себя порезала? Может, думаешь, я бы не хотела быть обыкновенной девушкой, как все, без дерьмового прошлого, от которого мне не отмыться до самой смерти?

От волнения усилился ее немецкий акцент, и конец тирады Фред понял плохо. Однако хватило одной секунды, чтобы его мозг расшифровал послание, а внутренний голос шепнул, что девушка в черной мини-юбочке, показавшая свой лобок, наверное, нуждается в утешении. Фред протянул руки, привлек ее к себе и припал поцелуем к месту, раненному оккультной хирургией Иллюминати. Девушка тоненько пискнула, точь-в-точь как хомячок, которого обожгли прикуривателем, отпрянула и мигом натянула юбочку.

— Сдурел, что ли? Я тебе толкую о таких важных вещах, а ты чуть ли не член вынимаешь. Ты, значит, ничего не понял про нашу борьбу?

Фред остолбенел. Мухи в его голове залетали и зажужжали как в худшие времена. От этого урагана мух он едва не свалился со стула. Мика допила остатки теплого пива из последней бутылки, надела брошенную в угол лыжную куртку и ушла, сокрушенно качая головой, словно дивясь беспределу мерзости человеческой. Фред так и сидел как пень. Мысль выброситься из окна пришла ему в голову с грохотом и светом, словно поезд в ночи. Пришла и ушла, и он сказал себе, что, если повезет, можно геройски погибнуть на демонстрации.

Эта мысль тоже ушла, как до нее мысль о самоубийстве, и он остался один на один с уверенностью, что потрахаться ему не светит до конца жизни.

Катрин покинула клинику Хайнца и уже неделю ждала Фабио в отеле "Вестин Гранд", в том же номере, который они занимали по приезде в Берлин. Чудесный номер с видом на город, мини-баром, гипоаллергенными подушками, room service, вай-фай-подключением для компьютера и ванной из мрамора и хрома. Да и место удачнее не придумаешь — угол Фридрихштрассе и Унтер-ден-Линден. Захоти Катрин, она могла бы через полторы-две минуты оказаться в лучших магазинах города. Но Катрин не хочет. В голове у нее полный кавардак. Почему Фабио не звонит? Какого черта он торчит в клинике Хайнца, если, по словам самого доктора, диссоциация состоялась? Что у него с Биргером? Черт побери, этот тип трахнул Фабио! У нее на глазах! А вдруг Фабио понравилось? Вдруг он просто не решается ей сказать... И другие вопросы теснятся в мысленном кавардаке Катрин: почему ей совсем не хочется видеть Фабио? Вот это серьезный вопрос. Они как-никак женаты. Она должна бы хотеть его видеть. Хоть немного... Но нет... Ей только чуточку любопытно — так, увидев на обочине дороги трупик диковинного насекомого, останавливаешься на секунду посмотреть.

Да, полный кавардак в голове у Катрин, лежащей в данный момент нагишом на гипоаллергенной кровати в номере отеля "Вестин Гранд", — а между тем уже час дня. Не вспомнить, сколько часов она лежит, уставившись в девственную белизну потолка. Только одно по-настоящему интересует ее, один образ всплывает в сердце с упорством пробки: Роза.

В который раз Катрин вспоминает последний день в клинике Хайнца и делает вывод, что именно в тот день в ее голове воцарился кавардак. Вернее сказать, в тот день кавардак воцарился вновь, и она почувствовала себя такой же потерянной, какой была до отъезда в Берлин, когда ей казалось, будто она беременна, когда был невыносим запах кардамона, когда постоянно было жарко, когда она обнаружила, что́ может вытворять с окружающими предметами. Перед глазами Катрин с кавардаком в голове встает картина диссоциации мужа, и она чувствует, так явственно, словно это происходит сейчас, теплую ладонь Розы в своей руке. Ей помнится, что произошло потом. Как она была близка к шоковому состоянию, как Роза проводила ее в палату и сказала, что теперь все будет хорошо, что это нормально, диссоциация и должна переживаться как резкий разрыв со здравым смыслом... Катрин вспоминает, как она долго плакала на кровати. Роза крепко обняла ее и так же долго гладила по волосам, приговаривая: "Чшшш, чшшш, все пройдет. Поплачь... Станет легче..." Катрин вспоминает, что она повернула голову, приблизила лицо к лицу Розы и увидела, как оно красиво, и поцеловала его долгим поцелуем. Роза не противилась. Даже когда Катрин стала гладить ее грудь под свитером из кашемира и овечьей шерсти, она не противилась. Катрин вспоминает, что они в конце концов уснули обнявшись, что, когда она проснулась, Роза еще спала, и она смотрела на нее, спящую, и пыталась представить, каким невеселым было ее детство. Потерять мать, жить с отцом в подполье. У Катрин комок подступал к горлу, она так хотела сделать Розу счастливой. Она тогда почувствовала: это в ее силах, и за считаные секунды

перед ее глазами предстала целая череда картин счастья, по колориту напоминавших рекламу домика для Барби: Роза и Катрин в закатный час удят рыбу на американском озере, Роза и Катрин на горных лыжах в Альпах, Роза и Катрин у камина в шале, шампанское и жемчуга, Роза и Катрин смотрят на Лос-Анджелес из огромного окна своего пентхауса.

Потом Роза проснулась. Она улыбнулась Катрин и вызвала такси, которое отвезло ее в отель. Сюда, где неделю назад ей казалось, что она сходит с ума. А Катрин была так уверена в их любви, взаимной любви, что даже не попросила Розу позвонить, не сказала, что позвонит ей, она была просто уверена, что они увидятся сегодня же вечером и будут счастливы. Навсегда.

Это было неделю назад. Никто так и не позвонил, ни Роза, ни Фабио. За эту неделю Катрин миллион раз обзывала себя дурой. Обзывать себя дурой, глядя в потолок, оказалось вредно. Она уже чувствовала, что все странности начинаются сызнова. Болел живот, потяжелели груди, было жарко. Она, конечно, пыталась сама дозвониться в клинику Хайнца, но ни секретарь на телефоне, ни сам доктор Хайнц, с которым она потребовала ее соединить, не пожелали дать ей координаты Розы. Эскулап тупо повторял малопонятные фразы, в которых как будто красным маркером было выделено слово "деонтология". А потом и вовсе бросил трубку, сказав, что Роза в отпуске "на несколько месяцев" и что заезжать в клинику ни к чему.

Итак, Катрин лежит и смотрит в потолок с кавардаком в голове и неотвязным чувством, что она — брошенная капризным ребенком игрушка, как вдруг ей на ум приходит нечто совершенно очевидное: она найдет Розу. Не важно как, но найдет. Она отрывает взгляд от потолка и садится на кровати. Да, она найдет ее, легко — то, что происходит в ней вот уже несколько месяцев, наконец пригодится.

Катрин извлекает из недр сумки свою кожаную папочку от Вюиттона и делает нечто совсем для ее ума новое: пытается понять, чем все эти клочки бумаги могут быть ей полезны. Она заказывает в номер салат и приступает к сортировке. За пять лет накопилось много всевозможных бумажек: записи, вырезки из "Элль" о китайской нумерологии, статьи из "Космополитена" о пищевом рационе друидов, ксерокопии страниц из книг, которые она брала в библиотеке. Катрин, в свое время неспособная сосредоточиться на лекциях по макроэкономике больше чем на минуту, мобилизует все свои умственные способности и пытается действовать методично: находит писчую бумагу с эмблемой отеля "Вестин Гранд" и делает выписки. Ест салат, не замечая вкуса. За окнами темно, тройные стекла не пропускают ни малейшего шума. Она словно в аквариуме.

Около одиннадцати в ее мозгу забрезжило решение, около часу она пришла к выводу, что решение должно быть комбинированным. Наконец к трем, с тяжелой головой, но в лихорадочном возбуждении, Катрин наметила все этапы процесса, который поможет ей отыскать Розу. Ей понадобится инвентарь: освященные церковные свечи, мел, линейка, рулетка, различные травы, в том числе загадочный "пасторский жезл", зерна пшеницы, цветы барвинка, черная курица, ни разу не снесшая яйца, и яблоко.

Раздобыть все это будет непросто. От усталости ей даже кажется, что и вовсе невозможно, особенно черную курицу. Она старается не поддаться унынию и решает поспать хоть несколько часов.

Спит она десять часов кряду. Сном выключенного механизма. Почти мертвым сном. И просыпается готовая сразиться с целым миром. Ей потребуются силы. Надо поесть. По звонку ей приносят хлеб, фрукты и сыр. Она спрашивает у юноши в ливрее, где здесь поблизости хороший книжный магазин. Юноша рекомендует книжный супермаркет в торговом центре на Фридрихштрассе и советует пойти туда сегодня или завтра, не позже.

— Почему? — спрашивает Катрин.

Юноше, кажется, смешно, что Катрин не в курсе.

— Послезавтра начнется саммит "Большой восьмерки". Будет колоссальная демонстрация. А здесь вы как в глазу циклона.

— Вот как? А что же, собственно, здесь происходит?

Юноша вот-вот прыснет, но правила не позволяют ему глумиться над клиентами.

— Так здесь он и состоится, саммит. Соберутся главы "Большой восьмерки". Здесь, в конференц-залах на втором этаже. Да и номера для большинства участников забронированы в этом отеле. Через два дня нас будут охранять не хуже Пентагона.

— Вот как...

Катрин без разницы.

А зря.

3. *Мелкие житейские трудности*

Когда накануне демонстрации Пьер объявил, что им надо снова ехать к Генриху Мюллеру, Фред думал, что хлопнется в обморок. В обморок он все-таки не хлопнулся, но все мухи, какие были у него в голове, казалось, одновременно запустили миллион своих моторчиков. Он был уверен, что Мика все рассказала старику, может быть, даже что-то присочинила. И он теперь будет выглядеть идиотом. В очередной раз. Как в глазах отца. Как в глазах кузины (что, кстати, она поделывает, интересно?). Как в глазах друзей. Нет... Нет... Это уже мания. Но чувствовал он себя идиотом, точно. Сам не смог бы сказать почему, но это было яснее ясного.

Он чувствовал себя идиотом.

И чтобы не выглядеть вовсе законченным идиотом, он ничего не сказал и отправился вместе со всеми в дом старого туберкулезника, полный решимости выдержать его взгляд.

Чтобы выглядеть не таким идиотом, каким он себя чувствовал.

По дороге они задержались на большой площади перед Народным домом — этот уродливый прыщ остался в наследство от эпохи коммунизма. Изрядная часть будущих демонстрантов собралась здесь. Многие предпочли бы Бранденбургские ворота, но полиция решительно воспротивилась, и власти скрепя сердце позволили только установить несколько палаток, представляющих "антиглобалистские движения". Все это было весьма расплывчато. Никто не по-

нял, как пройти сложную процедуру для получения места. Никто даже толком не понял, разрешена демонстрация или нет и всерьез ли говорил мэр по телевидению о маршруте (круговом, если брать в целом, от Дворца Республики до трущоб района SE-36) или это была дурная шутка.

Поскольку ясности не было, не было и порядка, палатки ставили вплотную друг к другу, так что ко многим было невозможно подойти, разве что перелезать через соседние. Здесь собрались все, кто в этом мире имел причины не любить капитализм: непросыхающие сапатисты[1], французы из "межгалактического поселения", борцы с трансгенами, представители левых партий всех мастей из Швеции, Греции, Финляндии, Австралии и Швейцарии. Бразильцы из Рабочей партии, боливийцы из MAS[2], эквадорский Пачакутик[3] вносили экзотическую нотку. Марксисты-ленинцы искали места, где наклеить афиши, и обменивались переписанными дисками, троцкисты дисциплинированно раздавали листовки с воззваниями против Олимпийских игр. Антиядерщики собирали подписи под петицией против транспортировки радиоактивной продукции по суше и по морю, до поры сомневающиеся синдикалисты всем скопом, не жалея сил, поддерживали огонь в жаровнях. Английские наследники "Reclaim the Street" и американцы из "Direct Action Network" вместе пытались разобраться, как подключается допотопная стереосистема к проигрывателю mp3, итальянские активисты из социальных центров, "Tutti Bianche" ("Невидимые"), недобро косились на своих соотечественников из "Refundazione Communista" — они уже успели сцепиться, и дело едва не кончилось потасовкой. Испанцы из "Movimenta Resistencia Global" тщетно искали, где бы запарковать "сеат-универсал". Гринписовцы роскошествовали в гигантской палатке, оснащенной плазменным телевизором, который показывал документальные съемки героических подвигов в открытом море. Были здесь также всевозможные движения геев и лесбиянок (девица из "Act up" ругалась с каким-то русским, из-за чего — Фред так и не понял), горстка молодежи из "United Students Against Sweatshop" разыгрывала спектакль, изображая китайчат, вручную вышивающих на куртках эмблемы "Найк". Деятели из "Attac" рвали горло в мегафон, сообщая, что "собрание начнется через десять минут", на них с любопытством поглядывали человек десять членов международного крестьянского союза "Via Campesina". Где-то поодаль из целого ряда громкоговорителей, подключенных к аккумулятору грузовика, лились звуки "Флейты Пана" Атагуальпы Юпанки[4]. Фред, Поль, Кристин и Пьер встали в очередь к прилавку, где пекли блинчики; пекари из группы ВИЧ-положительных буквально разрывались от наплыва желающих, усугубленного стычкой между членами Европейской лиги анархистов и голландскими маоистами из-за лишней порции шоколадного соуса.

1. Сапатистская освободительная армия — экстремистская организация в Мексике, названная по имени мексиканского революционера Эмилиано Сапаты.
2. MAS — Movimiento al Socialismo — Движение к социализму (*исп.*) — левая партия в Боливии.
3. Индейское движение в Эквадоре.
4. Атагуальпа Юпанки (1908–1992) — аргентинский композитор.

Когда подошла их очередь, Поль от блинчика отказался (захочется пить, а значит, придется писать). Фред, у которого не осталось даже мелочи, сказал, что он не голоден, Пьер же, страдавший аллергией на яйца, знал, что блинное тесто может его убить. В итоге блинчик взяла только Кристин.

— Какова демонстрация силы, — сказал Пьер, глядя на черную от толпы площадь.

Все закивали, а он добавил:

— Хоть бы все обошлось благополучно.

— Не обойдется, — бросил Поль, посмотрев вверх на бело-зеленый полицейский вертолет, нарезавший над ними круги. — Не может это обойтись благополучно. Мы на пороге великого противостояния. Люди против себе подобных. Мы будем бороться за выживание.

Все опять закивали, даже Фред, чтобы не выглядеть идиотом. Но последняя реплика его окончательно пришибла. Блинчик был доеден, и они направились к Александерплац, в метро.

Пока они шли к дому Генриха Мюллера, Фред повторял про себя как заклинание: "Хоть бы не было Мики, хоть бы не было Мики, хоть бы не было Мики..."

Мика открыла им дверь. Она сменила кожаную юбочку на старый свитер, который был велик ей размеров на сто, не иначе с Генрихова плеча, и замызганные джинсы. Фреду показалось, что она смотрит на него с презрением. Он под шумок спрятался за спину Поля.

Генрих ждал их в большой пустой комнате на первом этаже, куда, еле передвигая ноги, проводила их Мика. В комнате сильно пахло ментолом и веяло теплом от двух маленьких электрических радиаторов. Это было почти приятно. Посередине стоял, занимая большую часть комнаты, огромный черный ящик, похожий на гроб.

— Это у него кессон сенсорной изоляции, — объяснила Мика. — Три часа каждый день. Он плавает в солевом растворе, нагретом до тридцати семи градусов. От этого ему легче дышится и лучше думается. Он всегда начинает с этой процедуры перед тем как сесть писать.

В третий раз за день все дружно закивали. Фреда начала не на шутку раздражать эта компания, кивающая по любому поводу. И еще он подумал: что же, интересно, этот старый псих может писать?

Мика подошла и трижды осторожно постучала по поверхности кессона. Внутри кто-то завозился, надолго раскашлялся, потом раздался голос: "Ja, ja..." Мика открыла дверцу-люк спереди. Оттуда вывалился Генрих, совершенно голый. Фред не смог удержаться — попятился. Со слипшимися от соленой воды волосами, длинным белым телом, похожим на гнилой березовый сук, и печальным лицом глубоководного существа старик выглядел жутковато.

Мика подала ему полотенце, потом махровый халат. Теперь Фред был уверен — старый хрыч точно с ней спит. Он закусил щеку изнутри, силясь отогнать чудовищные картины, которые рисовало услужливое воображение. Генрих пригласил их в кабинет. Мика вошла следом с двумя радиаторами и включила их у кресла, в которое он сел.

— Ну как, вы готовы? — спросил Генрих.

Кристин закивала:

— Камеры у нас, батарейки заряжены. Еще возьмем с собой цифровой фотоаппарат. Мы замеряли температуру, были сейчас у Народного дома. Все как будто спокойно...

— Над площадью кружат вертолеты, — добавил Поль.

Тут закивал Генрих:

— Они фотографируют. Засекают наших...

— Пока еще не очень ощущается присутствие полиции... — сказал Пьер. — Я думаю, они займут позиции к вечеру.

Генрих улыбнулся и показал на план Берлина:

— Они уже повсюду. Мы сопоставили сведения. Мобилизована почти вся немецкая полиция, сейчас они ждут в различных участках и в казармах на периферии. По всей вероятности, руководить действиями будут военные, но нам не удалось узнать, сколько их. Зато мы знаем, что два самолета, больших самолета, тайно прибыли сегодня ночью в Темпельхоф с англичанами и американцами из спецслужб на борту. Теми самыми, что развлекались в Афганистане, в Сомали и в Ираке. Один наш друг работает в службе багажа, он сказал, что видел, как выгружали что-то громоздкое и тяжелое. Все это установят сегодня ночью.

— Я же говорил — будет война, — выпалил Поль.

Генрих кивнул и, выдвинув ящик стола, достал пакетик с какими-то белыми таблетками.

— Наш последний и решительный бой. Возьмите это. Если вас арестуют, проглотите одну.

Никто, казалось, даже не удивился, и только Фред задал вопрос:

— Что это?

Ему ответила Мика:

— Цианистый калий. Я сама его делаю, из проявителя. Всему научишься, если растешь в семье Иллюминати.

— Но это же яд, — пробормотал Фред, ничего не понимая.

— Сильнейший яд. Через несколько минут остановка сердца и смерть.

Фред не верил своим ушам:

— Вы хотите, чтобы мы... покончили с собой, если нас арестуют?

За его спиной вздохнула Кристин:

— Послушай, Фред...

— Я не понимаю... Почему мы должны...

Тут заговорил Генрих, мягко, словно пытался объяснить азы термодинамики шестилетнему ребенку:

— Послушай, тебе ведь уже сказали, ты думаешь, будто живешь в демократическом государстве и у тебя есть права, но это ложь. Никаких прав у тебя нет, если тебя арестуют, то будут допрашивать такими методами, что ты все скажешь. Выдашь как миленький мое имя и мой адрес, тогда они придут за мной и, если я не успею проглотить эту таблетку, впрыснут мне пентотал прямо в спинной мозг и дадут электрический разряд в тестикулы. Я выдам всех, они уничтожат нашу сеть, десятки ключевых фигур будут ликвидированы...

— Это война, — вставил Пьер. — Самая настоящая война.

И Фред почувствовал: начинается.

Он почувствовал себя идиотом.

Выйдя на улицу, Катрин убедилась, что официант из отеля не соврал: демонстрация в самом деле ожидалась, и неслабая. Во всяком случае так, похоже, считали полицейские, которых тут были уже десятки — они устанавливали кордоны и парковали где только можно свои бронированные машины. Катрин подумала, что политика ни к чему хорошему не ведет, и порадовалась про себя, что никогда ею особенно не интересовалась.

Она пробралась сквозь скопище людей в форме, улыбнулась в ответ на улыбку двухметрового великана, который носил по две сразу тяжеленные рогатки, и направилась прямиком к книжному магазину. Там ей потребовался час (и помощь подрабатывающего студента, который чуть из ботинок не выпрыгнул, разыскивая для нее двуязычный ботанический словарь), чтобы выяснить, что "пасторский жезл" — это многолетнее растение, весьма распространенное в Средиземноморском бассейне, и что в наши дни ботаники предпочитают именовать его асфоделью. Она достала свою папочку и записала название. А потом задумалась, где же ей сегодня, в замороженном Берлине, раздобыть растение из Средиземноморского бассейна. Определенно это будет непросто. Она тут же написала два столбца. Слева то, что легко достать, — мел, линейка, рулетка, зерна пшеницы (можно купить биомюсли) и яблоко. Справа то, с чем будет потруднее: освященные церковные свечи, цветы барвинка, черная курица, да еще непременно чтобы ни разу не снеслась. Катрин опять задумалась на секунду, а потом заметила, что юноша студент поглядывает на нее краем глаза. Она улыбнулась и заложила прядь волос за ухо, в точности как это делала Мэг Райан в фильме "Вам письмо". И направилась к нему.

— Мне нужны кое-какие вещи, но я, право, не знаю, как их достать. Вы не могли бы мне помочь? — с этими словами она порылась в бумажнике и достала платиновую карту "Виза". — Я вам, разумеется, заплачу.

Студенту было лет двадцать, не больше. Шрамики от давних прыщей и бегающие глазки говорили о том, что в плане девушек жизнь его не баловала. Он молчал, явно раздираемый внутренним конфликтом.

— Я хорошо заплачу, — добавила Катрин, чтобы заставить его решиться.

Студент посмотрел на карту "Виза" и ответил на нетвердом французском:

— Ладно, скажите, чем я могу помочь.

Катрин показала ему "трудный" список. Он нахмурился, подумал.

— Это возможно, но мне придется взять отгул.

— Я заплачу, — повторила она, чтобы дать ему последний толчок.

Он скрылся куда-то ненадолго и вернулся в толстой темно-синей лыжной куртке.

— Порядок. Пошли, если хотите.

Парня звали Густаф, он работал в торговом центре, чтобы платить за съемную квартиру на паях со студентами художественного училища. Он начал было жаловаться на трудную жизнь молодого уроженца Восточной Германии в воссоединенной стране, но Катрин быстро вернула его к теме.

— Вы сказали, что знаете, как все это достать.

Они стояли на Фридрихштрассе, от Бранденбургских ворот веяло ледяным сквозняком, и терять время Катрин не хотелось.

— Да, извините. За растениями — это нам надо к травнику.

— К травнику! Неужели они еще сохранились?

— Ну да. Вы не представляете, сколько людей больше не верят в медицину и лечатся другими способами. Так что эти кустари процветают.

Катрин пошла за Густафом. Они сели в метро и вышли в незнакомом ей районе, тихом и вполне буржуазном.

— Альтернативная медицина — это удовольствие не для пролетариев, — сказал студент, заметив удивление на лице Катрин.

Нужный магазинчик, хозяйками которого оказались две пожилые элегантные дамы, располагался на первом этаже огромного дома, похоже, им и принадлежавшего. Густаф, успевший записать название асфодели по-немецки, показал его одной из хозяек. Старушка достала несколько сухих веточек из большой стеклянной банки. С цветами барвинка было еще проще, их продавали в бумажных пакетиках на вес. Катрин пометила галочками два ингредиента в своем списке. Оставались церковные свечи и черная курица.

— Свечи — легко. Насчет курицы я подумаю.

Густаф и Катрин опять сели в метро, ехали долго, с пересадкой, потом шли по бесконечно длинной улице и оказались перед современной церковью из красного кирпича.

— Здесь хороший священник. Зимой дает приют бездомным. Только ему тоже надо отстегнуть.

Священник, коротышка с гладким лицом, не спросил, зачем высокой блондинке понадобилось пять освященных церковных свечей. Более того, ему, похоже, было на это плевать с высокой колокольни. Он достал пять свечей из ящичка, осенил их крестным знамением, что-то пробормотал на латыни и потребовал пятнадцать евро.

— А курица?

— Это надо в табор. Там есть куры.

— В табор?

— К цыганам. Мэр отвел им пустырь недалеко отсюда.

Катрин смертельно устала, проголодалась, у нее болели ноги и, что хуже всего, ей хотелось в туалет. Она сжала кулаки и сказала себе, что уже через час будет в отеле и сможет начать.

— Пошли.

Густаф спросил, нельзя ли взять такси, а то на метро добраться до цыган сложно. Катрин и сама была рада посидеть хоть немного. Густаф поймал такси, шофер поморщился, услышав, куда надо ехать.

— И для чего вам все это? — спросил студент, когда они сели.

— Для маски красоты, — ответила Катрин, которой меньше всего хотелось распространяться на эту тему.

Густаф пожал плечами.

— Да ладно, мое дело маленькое. Сколько вы мне отстегнете?

Катрин предложила двести пятьдесят евро, и он согласился без разговоров.

День уже клонился к вечеру, когда они добрались до цыганского табора. Он представлял собой скопище машин и фургонов, заросших по

самые оси сорной травой, с черными от грязи стеклами. Народу было немного, только несколько мужчин со смутно угрожающим видом уставились на такси. Густаф попросил шофера подождать. Катрин, начавшая врубаться в систему, сунула ему в руку двадцатиевровую банкноту.

Цыганский пустырь был окружен рукавами автострады, и казалось, будто здесь постоянно гремит гром. Приходилось почти кричать, чтобы быть услышанным. Густаф толкнул Катрин локтем в бок и показал на несколько худосочных кур, ковырявшихся в земле у груды автомобильных шин. Студент сам подошел к мужчинам, которые не сводили с него глаз, и сказал им несколько слов по-немецки. Те переглянулись, один проговорил что-то непонятно на каком языке, все рассмеялись и хором ответили Густафу, который возмущенно вытаращил глаза.

— Они говорят, что курица, какая вам нужна, стоит сто евро.

— Я согласна!

— Но вас же дурят! Это грабеж средь бела дня! Вы уж извините, зря я...

— У меня нет времени искать другую курицу. Скажи им, что я согласна, только курица должна быть черная и чтобы никогда не неслась. Это важно.

Густаф скрепя сердце перевел. Один из мужчин, кивнув, ушел в один из фургонов и вскоре вышел с черной курицей в руках.

— Как я могу быть уверена, что эта курица никогда не неслась?

Густаф перевел вопрос. Цыган кивнул, как бы признавая законность сомнения. Он перевернул курицу кверху задом и засунул туда палец.

— Он говорит, что не нащупал там яиц. Говорит, что это доказательство и что вы можете сами попробовать, если хотите.

Цыган, широко улыбаясь, поднес ей курицу, словно это был бокал мартини.

— Ладно, ладно. Я верю.

Катрин выложила сто евро, взяла курицу и села в такси.

— Едем обратно в отель. Я дам тебе еще пятьдесят евро, если ты купишь все, что осталось в списке, и принесешь мне в номер.

— Яблоко, линейку, мел и пшеничные зерна?

— Да.

— Договорились.

Когда такси подъехало к отелю, Катрин убедилась, что полиция времени даром не теряла. Это был уже не отель, а укрепленный замок. Огромные лимузины — очевидно, прибывших делегаций — стояли посреди дороги, и в их сверкающих боках отражались огни витрин Фридрихштрассе. Журналисты были уже тут как тут, и на улице, и в холле, где царила весьма напряженная атмосфера, позволившая Катрин спокойно пройти к себе с курицей — никто не обратил на нее внимания. В номере она выпустила пернатую, которая сразу же оставила ряд белых отметин на ковре и стала клевать ворс в тщетных поисках еды. Катрин пошла в ванную, приняла душ и вымыла голову. Заказывать ужин в номер, пока по нему разгуливала курица, пожалуй, не стоило. Она съела орешки из мини-бара и крошечную шоколадку, оставленную горничной на подушке. В дверь постучали, это пришел Густаф с пакетом из торгового центра.

В пакете было, кажется, все что нужно. Катрин поблагодарила студента, но он не спешил уходить. Как будто ждал чего-то.

– В чем дело? – спросила она.

– Может, встретимся как-нибудь?

Катрин посмотрела на него внимательнее. Ей подумалось, что парнишке с массой комплексов сказать такое было равносильно подвигу. Он оказался смелее, чем она думала.

– Я замужем, – ответила она и показала обручальное кольцо. Хоть для чего-то оно пригодилось.

Студент ушел, изобразив на лице выражение, позаимствованное из "Страданий юного Вертера". Катрин осталась одна с травами, свечами и курицей, которая ковыляла по номеру, встревоженно квохча.

Итак, теперь у нее было все необходимое, чтобы определить местонахождение Розы.

5. *Результат налицо*

До сих пор весь практический опыт Катрин в магии и гаданиях сводился к математическим выкладкам, предлагаемым в разделе "Нумерология" журнала "Элль". Она знала, что есть и другие способы получения ответов на ее вопросы, способы, конечно, посложнее, зато гораздо более действенные. Рецепт одного из них она и нашла в своей вюиттоновской папочке.

Рецепт этот был почерпнут из "Иероглифической книги Гермеса", факсимильную копию которой Катрин отыскала в одной эзотерической книжной лавке. Это был якобы перевод с греческого, говорилось в книге по большей части о "влиянии Юноны на урожай и исцеление болезней", но одна глава была посвящена гаданию. Неизвестный автор начинал с красочного описания мира демонов и указывал "тридцать два пути света", дающие возможность быть услышанными тем или иным из "проклятых созданий мира тьмы". Стиль изложения Катрин сочла "бездарным и невнятным", особенно в том, что касалось мер предосторожности, но она не стала заморачиваться. Согласно автору, "лучшим пособником всякому, кто желает отыскать пропавшего", был некий Элифас Леви Шаэд Небирос, занимавший в инфернальной иерархии не самую почтенную должность, называвшуюся так: "бригадный генерал и главный смотритель, командующий второго легиона". Что это могло означать, Катрин не вполне поняла, но найти пропавшего – это было именно то, что ей требовалось.

В точности выполняя указания, она приглушила свет и разделась донага "в знак почтения и покорности при обращении к высшим силам". Потом она сдвинула стол в угол и поставила стул, телевизор вместе с тумбочкой и журнальный столик на кровать, расчистив середину комнаты: это свободное место ей понадобится.

Мелом с помощью линейки и рулетки она начертила на ковре пентаграмму – очень удачно, на ее взгляд. Потом поплевала на каждую свечу, повторяя при этом фразу: "Maion y ezpares retragammation oryoam irion esytion existion eryona onera brasim moyn messias soter emanuel

saboot adonay te adoro et invoco", у нее аж зубы заныли от этой тарабарщины, напомнившей давние уроки испанского.

Свечи она укрепила на подставках для стаканов, которые нашлись в мини-баре, и зажгла. Окинув взглядом плоды своих трудов, осталась довольна: от пентаграммы и горящих свечей в приглушенном свете так и шибало магией. Она достала из сумки веточки асфодели и пакетик с цветами барвинка, и высыпав все это в пепельницу, поставила ее в середину пентаграммы. Разрезала яблоко пополам и извлекла семечки: их надо было положить в рот и выплюнуть (опять!) одну за другой в пепельницу, повторяя: "Элифас Леви Шаэд Небирос, властелин всех мятежных духов, будь благосклонен к мольбе моей, с которой я взываю к твоему Повелителю. Явись мне без гнева и без дурного запаха".

Теперь Катрин оставалось сделать самое трудное. Она оглянулась, ища глазами курицу, и после недолгих поисков обнаружила ее спящей за большим шкафом. Катрин подивилась, увидев своими глазами, до чего животные чувствительны к убыванию света, и пришла к выводу, что природа все-таки умно устроена. Протянув руку, она схватила курицу за крыло. Курица издала встревоженно-вопросительное "кооооо?", но почти не трепыхалась, когда Катрин тащила ее в центр пятиконечной звезды.

Катрин заранее развинтила свой станок "Жилетт Винус" и вынула бритву. Теперь она взяла ее с края кровати и крепко зажала между большим и указательным пальцами. Беда была в том, что Катрин совсем не имела опыта по убийству животных. Убивать ей случалось разве что мух. Она стиснула зубы — только не медлить, это надо сделать быстро, как пластырь отодрать. Левой рукой зажав курицу под мышкой, она запрокинула ей голову и одним махом перерезала шею. Тело курицы судорожно дернулось, напряглось, густой алой струей хлынула кровь. Катрин слила часть ее в пепельницу, где уже лежали асфодели, цветы барвинка и семечки яблока. Курица вдруг сильно затрепыхалась, и Катрин едва не стошнило. Она выпустила птицу и в изумлении смотрела, как та снова проковыляла за шкаф.

Самое место, чтобы умереть, подумалось ей.

Катрин встала на колени перед пентаграммой и снова взялась за свою папочку: громко и стараясь не сбиться, она прочла: "Caput mortum, imperet Dominius per vivum et devotum serpentem. Cherub, imperet tibi dominus. Aquila errons, imperet tibi dominus per alas tauri! Serpens imperet tibi dominus. Tetragrammation per Angelum et Leonem. Michael, Raphael, Anael, Fluat udor per spiritum Eloim". Уф, вот все, что ей нужно было сделать. В рецепте говорилось, что после этого явится Элифас Леви Шаэд Небирос и она сможет задать ему вопрос и получить информацию.

Катрин подождала десять минут — безрезультатно, только курица создавала шумовой фон, издыхая за шкафом. Эти звуки нагоняли тоску. Катрин подумала, что ей еще и холодно сидеть вот так, нагишом, перед своей пентаграммой, да и есть хочется. До чего глупо, что нельзя было заказать еду в номер, она дорого бы дала за полноценный ужин. Что ж, ничего не поделаешь. Она легла на кровать, включила телевизор и, уставившись в "Евроньюс", съела остатки яблока. Какой-то журналист вел репортаж о готовящемся саммите "Большой восьмерки". Показывали

город, подтягивающиеся отовсюду группы демонстрантов, полицейских в боевой готовности. Вертолет кружил над площадью перед Народным домом. Черной от толпы. Кого-то уже задержали, кажется, молодых людей, разрисовавших витрину "Макдоналдса", а в остальном, как сказал полицейский в штатском, все было "под контролем". Затем на экране появился холл отеля "Вестин Гранд", камера показала одного-двух прибывших деятелей, которых Катрин не узнала. Потом пошли биржевые новости, потом репортаж о вырубке лесов в Финляндии. Катрин все это надоело, надежды когда-нибудь найти Розу оставалось все меньше.

Потом Катрин почувствовала запах. Запах такой убойной силы, что она ощутила его как удар наотмашь в лицо. Запах такой чудовищный, что ей показалось, будто в нем соединились все самые мерзкие запахи, какие она только помнила: рыбный рынок в Португалии, рвота новорожденного ребенка подруги, пук, который испустила ее бабушка за несколько дней до смерти, протухшее мясо, пикантная сосиска AAAA, пузырек соляной кислоты. Все это вместе. И еще хуже.

— Черт! — ругнулась Катрин, закрывая нос краем простыни.

А потом из ванной вышла коза. Картина была до того несуразная, что прошло несколько секунд, прежде чем мозг Катрин усвоил и осознал происходящее. Большая черная коза смотрела на нее из открытой двери ванной комнаты.

Только не терять хладнокровия. Не сейчас! — сказала себе Катрин.

Коза как будто чего-то ждала. Катрин вытянула шею.

— Я хочу знать, где найти Розу! — громко произнесла она.

Коза подошла ближе, бесцеремонно протопала копытцами по пентаграмме, даже не взглянув на опрокинутые свечи и пролитую куриную кровь. Она остановилась у кровати и какое-то мгновение, казалось, испытующе всматривалась в Катрин, потом, словно приняв решение, легко запрыгнула на кровать. Теперь она стояла прямо перед Катрин, и та чуть не умерла от запаха, ставшего еще сильнее. Мимоходом она отметила, увидев кое-что между ног козы, что коза вовсе не коза. А козел. И было видно, что этот козел хочет понятно чего. Катрин закусила губу, ее уже так и подмывало кинуться из своего номера и первым же самолетом улететь домой. Но она вспомнила об их с Розой поцелуе и, стараясь, чтобы голос звучал властно, повторила:

— Я хочу знать, где найти Розу!

Козел встал на дыбы и уперся передними ногами в стену, почти уткнув в нос Катрин свой член — тонкий, длинный, твердый и ярко-красный, как леденец "Арибо".

Черт, выругалась она про себя, поняв, чего ждет козел. Мысли проносились в ее голове одна за другой очень быстро: ей подумалось, что вот она видит перед собой козла с эрегированным членом и это совершенно омерзительно, подумалось, что теперь понятно, почему в Средние века ведьм сжигали на кострах, подумалось, что это невероятно, но сработало, то есть магия существует на самом деле, и коль скоро у нее получилось, значит, ей даны неслабые возможности, подумалось, что, слава богу, никто никогда не узнает, чем она занимается, и наконец подумалось, что, снявши голову, по волосам не плачут.

Катрин подняла руку, взяла козлиный член и принялась старательно дрочить.

Ему, паршивцу, кажется, понравилось, отметила она, увидев, как он реагирует.

К счастью, это продолжалось недолго. Козел кончил, брызнув спермой в руку Катрин, отчего ее едва не стошнило в десятый раз за этот вечер, и она подумала, что уже сыта мерзостями по горло. Козел спрыгнул с кровати и, просыпав на ковер цепочку вонючих шариков, скрылся в ванной, не удостоив ее взглядом. Это было особенно обидно. Катрин встала, заглянула в ванную — там не было и следа козла. Прямо тебе Питер Пэн, а не козел. Она накинула купальный халат с вышитым названием отеля, вышла из ванной и включила свет. Ну и бардак! Свечи потекли на ковер, все забрызгано куриной кровью, по углам перья. И давешний ужасный запах никуда не делся. Стал слабее, но никуда не делся. Надо же, какой стойкий.

А моя информация? — мысленно возмутилась Катрин. Этот паршивец так ничего и не сказал. От злости она топнула ногой. И вдруг заметила что-то белеющее между козьих катышков. Смятый клочок бумаги. Она подняла его и разгладила дрожащей рукой. На нем были две строчки, напечатанные на машинке, — адрес. Адрес в Берлине.

У нее получилось.

6. *Перед бурей*

Фред Больная Голова, Кристин Ума Палата, крутой революционер Поль да хилый клон Пьер. Команда героев, которым предстоит разоблачить ужасы капиталистического гнета, а если повезет, то и раскрыть существование мирового заговора. Эта мысль пришла в голову Фреду, и он горько усмехнулся. Ему вспомнилось благословенное время, когда он кайфовал в своей квартире, мог неделю подряд смотреть телевизор, пить пиво и курить косяки, якобы работая над диссертацией, хотя даже тему ее так и не смог толком сформулировать. Он проклинал свою слабость, которая привела его сюда, в Берлин, в эту убогую дыру, в компании друзей, наверняка считавших его полным ничтожеством, годным разве что на то, чтобы щелкать на демонстрации цифровым фотоаппаратом. Даже камеру ему не доверили. И подумать только, та же самая слабость мешала ему за несколько часов до упомянутой демонстрации сказать им, чтобы шли без него, что он лучше останется, заживет как прежде, купит чипсов, посмотрит телевизор. И подождет их здесь.

Ничего этого он не сказал. Как все, лег пораньше, чтобы быть в форме назавтра в семь утра: подъем назначили на этот час, надо было вовремя попасть на площадь перед Народным домом, откуда отправится колонна демонстрантов.

Он ничего не сказал. Он чувствовал себя слабаком и размазней. В животе противно ныло.

Фред лежал в спальном мешке рядом с Полем. Он закрыл глаза, авось удастся быстро уснуть. По крайней мере когда он спал, он не думал обо всем этом: о своей никчемной жизни, жизни трутня-бездельника, жизни, которая может завтра оборваться, отчего человечеству не ста-

нет ни жарко ни холодно; о своем отце, который представлялся ему главарем военной хунты, навязывающим народу неправедные законы. Лишить денег! Какой подлец! Если бы удалось уснуть, он хоть не думал бы ни о чем.

К несчастью, уснуть он не мог.

Никак.

Во-первых, попробуй усни рядом с Полем, который не желает лечить свою чертову болезнь мочеполовых путей. Он стонал и тоненько, как щенок, всхлипывал во сне, и эти звуки ввинчивались в нервы Фреда с механической беспощадностью бура, сверлящего мраморную плиту. А во-вторых, Фреду было страшно. Не нравилась ему эта демонстрация. Не нравилась, после всего того, что рассказал Пьер. Не нравилась, с тех пор как он услышал слово "война". Не нравилась, с тех пор как ему сказали, что будут бить, а может, и убивать. И совсем не нравилась вся эта затея с цианистым калием, который надо было иметь при себе.

И еще он не спал, потому что думал о своем члене, вернее, о длинной череде обломов, в разное время с его членом случившихся: когда-то, например, Кристин могла у него отсосать. Стоило ему только попросить, и она бы это сделала. Он постеснялся, и она не отсосала. Вот идиот! Она далеко не фотомодель, но хоть было бы что вспомнить. И потом, он так и не трахнул свою кузину и никогда ее не трахнет. Этой простой и очевидной истины было достаточно, чтобы он убедился: жизнь не удалась. Да что там, даже такое жалкое создание, как Мика, и то он не трахнул. Даже эта придурковатая Мика его не хочет и предпочитает кувыркаться в койке со старым немцем-леваком, в котором сексуальности не больше, чем в дохломките на пляже Ла-Манша! Черт! Что за непруха!

Фред попробовал подрочить, но от стресса и черной тоски не смог возбудиться. Отчаявшись уснуть, он стал заново перебирать в уме, что наденет завтра: свои найковские кроссовки, чистые носки, две футболки и сверху толстый свитер, теплую зеленую пилотскую куртку с капюшоном и большим карманом для фотоаппарата, единственные джинсы, уже донельзя грязные, и шарф, на котором с одной стороны было написано "Don't eat meat, save a life"[1], а с другой "Legalize it, jetzt oder nie!"[2].

Вот в какой экипировке он отправлялся на войну.

Хорош же он будет.

7. В *полной заднице*

Немного потеплело.

Это была хорошая новость.

Шел дождь.

Это была плохая.

Перед медно-красной громадой Народного дома толпа демонстрантов вязла в грязной жиже, образовавшей ручейки между бетонными плитами.

1. "Не ешь мяса, спаси чью-то жизнь" (*англ.*).
2. "Легализовать это (*англ.*)... теперь или никогда" (*нем.*).

Фред чувствовал, как влага пробирается в его кроссовки. Холодные струйки стекали по куртке, джинсы отсырели.

Хотелось в туалет.

Было одиноко.

Все кроме него выглядели бодрыми. Даже Поль, казалось, забыл о своих мочеполовых проблемах, даже Пьер, казалось, забыл об аллергии и прочих слабостях своего клонированного организма. Даже Кристин с утра никого не доставала. Общее приподнятое настроение как будто преобразило всех.

Шуму было еще больше, чем вчера. Кто-то трубил в горны, кто-то взрывал петарды. Кучковавшиеся неподалеку шаманы из Чьяпаса[1] били в барабаны размером с микроавтобусы, у изрядного количества групп имелись мегафоны, в которые демонстранты уже орали неразборчивые лозунги, а другие раздобыли сирены, и их завывания больно терзали утренний воздух.

У них была назначена встреча с Микой, которая тоже хотела участвовать в демонстрации, потому что, как она сказала, "сегодня каждый боец на счету". Они ждали ее у большой палатки Гринписа, и она появилась, одетая в робу, с торчавшим из кармана черным шерстяным шлемом. Она пришла не одна – с какой-то девушкой. С девушкой, которую Фред, при всем своем дурном настроении, определил как "эталон".

– Это Роза, дочь Генриха. Она медсестра. Может пригодиться.

Девушка, высокая и красивая, помахала своим рюкзачком:

– У меня здесь все необходимое на случай ранений. Если что, звоните мне, – и она показала им маленький мобильный телефон.

– У нас нет мобильников, – покачала головой Кристин. – Генрих сказал, что боится прослушки.

Мика достала из кармана четыре крошечных телефончика.

– Эти чистые. Мы заменили в них микрочипы, и Генрих перепрограммировал код "И-мей" на своем компьютере. Один наш друг сегодня утром перевел их налево.

– Налево?

– Счет за все ваши звонки поступит в Дойче банк. Здорово, правда?

Фред не мог оторвать взгляд от Генриховой дочки. Перспектива быть раненым уже не казалась ему такой мрачной.

– Таблетки у всех с собой? – спросила Мика.

Фред вспомнил про малую толику цианида в кармане своей куртки, и его пробрал озноб. А Мика, тоже нашлась командирша, продолжала инструктаж:

– Сначала мы просто пойдем за колонной. "Зеленая зона" вокруг отеля оцеплена, но все настроены прорваться через кордоны. Можно не сомневаться, что там будет жарко. Нам понадобится одна камера и двое крепких мужчин. Я предлагаю, чтобы туда пошли Поль и Фред, но только учтите: не нарываться. Нам нужна съемка. Кристин и Пьер, вы пойдете с "официальной" демонстрацией и постараетесь зафиксировать провокации полицейских. Снимайте все: особенно если будут оскорблять, бить, а еще постарайтесь засечь в колонне полицейских в

1. Штат на юго-востоке Мексики.

штатском. Если таковые будут, в чем мы все почти уверены, то они попытаются посеять смуту, чтобы дискредитировать нас.

– Это всё? – спросил Поль.

– Да. В общем трудно в точности предсказать, что произойдет сегодня. Придется импровизировать на ходу.

Тут толпа пришла в движение, и шум резко усилился.

– Началось, – сказала Мика. – Мы остаемся здесь. В случае чего – возвращайтесь или звоните.

Поль потянул Фреда за рукав:

– Пошли.

Фред надвинул пониже капюшон. Хоть какая-никакая защита.

8. *Ближе к тебе*

Утром Катрин с большим трудом удалось выбраться из отеля. Все выходы охранялись, во всех коридорах ошивались, подозрительно шаря глазами, здоровяки в темных костюмах. Дважды у нее вежливо-ледяным тоном поинтересовались, из какого она номера, попросили предъявить удостоверение личности и заставили пройти через металлоискатель. Наконец ее все-таки выпустили. Шел дождь. Повсюду маячили полицейские, даже на крышах окрестных домов, а над всем этим зависли, внимательно наблюдая за происходящим, два вертолета.

Давешний верзила-полицейский, как видно, нес ответственность за входящих и выходящих постояльцев. Он взял Катрин под локоток и показал ей проход через рогатки.

– Go outside, bad idea... – проворчал он. – Today is like the end of the world[1].

Катрин не ответила. На ее взгляд, это было преувеличение. Потом она долго шла под дождем в поисках такси и отыскала его наконец только в километре с лишним от отеля.

– Because of the "green zone". Nobody. No taxi![2] – сказал ей шофер.

Катрин дала ему клочок бумаги, тот самый, с адресом, что оставил на ковре козел. Шофер кивнул и завел мотор.

Они колесили по улицам добрых четверть часа и приехали в какой-то убогий район со щербатыми мостовыми и грязными домишками. Таксист указал на полуразвалившийся гараж.

– There. The address[3].

Катрин расплатилась.

Она нажала на кнопку звонка, под которой не было таблички с именем. Ждала довольно долго, глядя на обшарпанный фасад и не веря, что здесь и вправду живет Роза.

Роза, любовь моей жизни, подумалось ей.

Наконец дверь приоткрыл какой-то мужчина.

– Was?[4]

1. Выходить на улицу – плохая идея... Сегодня все равно что конец света (*англ.*).
2. Из-за "зеленой зоны". Никого. Нет такси! (*англ.*)
3. Здесь. Адрес (*англ.*).
4. Что? (*нем.*)

Катрин различила в проеме долговязую, кажется, старческую фигуру. Из дома пахнуло ментолом.

– Вы говорите по-французски? Или по-английски? – спросила она.

– Ja! Франсэ! Was? Я занят!

– Роза здесь живет?

Последовала короткая пауза. Потом старик надолго зашелся в приступе кашля. Переставший было дождь припустил снова.

– Что вам надо?

– Это очень важно. Пожалуйста. Я... мне непременно надо с ней поговорить... Если я с ней не поговорю... я... я могу умереть.

– Вы больны?

– Да.

Старик открыл дверь. Судя по выражению его лица, сделал он это скрепя сердце.

– Я вас впущу, потому что вы больны. Я не говорю, что знаю Розу. Но на улице дождь, отсюда вы сможете вызвать такси.

– Послушайте. Пожалуйста. Я знаю, что Роза как-то связана с этим местом... Я точно знаю... Пожалуйста.

– Что с вами? Я имею в виду, что за болезнь?

– Я познакомилась с Розой в клинике. Произошло нечто. Нечто произошло между нами...

Старик посмотрел на нее как солдат на вошь.

– Я не знаю, кто это Роза, – покачал он головой. – Я вызову вам такси. Извините...

Гнев, усталость, отвращение к тому, что ей пришлось сотворить, чтобы добраться сюда, волной поднялись в груди Катрин.

Она была сыта всем этим по горло.

По самую маковку.

Фабио.

Доктор Хайнц.

Козел.

Все, все ее достают кто во что горазд.

Сколько можно?

И она выпалила единым духом тираду:

– Послушайте, я сыта по горло. Я понятия не имею, кто вы такой, но я точно знаю, что вы знаете Розу, и знаю, что сыта по горло. Мне пришлось сотворить ужасные вещи, чтобы раздобыть адрес вашего дома, мне пришлось дрочить вонючего козла! Черт! Так что теперь мне терять нечего. Я сыта по горло. Вы старый, я сильнее вас, силой вы меня отсюда не выставите, говорите быстро, где мне найти Розу! Это вопрос жизни и смерти.

Старик всколыхнулся. Катрин показалось, что он раздумывает.

Но что-то уж очень долго.

Как допотопный процессор 486 над сложным интегралом.

Наконец он выдал результат:

– Ладно. Идемте.

Они поднялись по лестнице и вошли в помещение, похожее на рабочий кабинет. Катрин положила свою сумочку от Гуччи на засаленный диван, где, похоже, незадолго перед тем издохла собака, и стала ждать,

что же скажет старик, а тот рылся в письменном столе. Наконец он нашел то, что искал. Выпрямился и наставил на Катрин револьвер.

Вот каков был результат интеграла.

С ехидной ухмылкой на переднем плане и прокуренными зубами на заднем. И вдобавок с фразочкой, брошенной, судя по надменному тону, человеком, имевшим вес в какой-то прежней жизни:

— Вот так. Кто теперь сильнее кого? — спросил он.

Катрин никогда в жизни не видела настоящего огнестрельного оружия. Разве только в кино, но это, наверное, были муляжи. Во всяком случае, она впервые поняла, что нацеленное прямо тебе в грудь дуло револьвера — зрелище крайне неприятное. Возникло такое чувство, будто ледяной сквозняк продул ее с головы до пят.

Она была сыта по горло.

Ей хотелось одного — оказаться нагишом в постели.

С Розой.

А не в убогой халупе в Восточном Берлине с чокнутым вооруженным старикашкой.

Она сосредоточилась на револьвере и подумала, что если старый стервец возьмет и выстрелит себе в ногу, то тогда уж наверняка расскажет ей про Розу.

Старик вдруг начал бледнеть. Губы у него задрожали, капиллярные сосуды проступили на лице, глаза ввалились.

Было очень похоже на солнечное затмение.

Рука, державшая револьвер, медленно опустилась, и грянул выстрел.

Бабах! Ну и грохот!

Старик взвыл и повалился на пол.

— Ах, черт! — воскликнула Катрин, бросаясь к нему.

Она помогла ему подняться и довела до облепленного собачьей шерстью дивана. Бедняга чуть не плакал.

— Я пальнул себе в ногу. Как вы это сделали?

Катрин стащила с него ботинок и носок. Все промокло от крови. Нога выглядела скверно.

— Я вызову "скорую помощь".

— Нет. Нет. Не надо "скорой". Я никого сюда не пущу. Только не сегодня.

— Ладно, но кровь надо остановить. Где у вас полотенца? И поднимите ногу повыше.

Старик показал ей, где ванная. Она вернулась с охапкой полотенец сомнительной чистоты.

— Я уверена, что Роза вам поможет.

— Да что вам от нее надо-то, от Розы? — простонал старик, и Катрин почувствовала, что он вот-вот расколется.

— Я люблю ее. Я влюбилась. И она тоже. Вот что произошло в клинике Хайнца. Понимаете? Мы обе влюбились. Друг в друга.

— Это и есть ваша болезнь?

— В общем, да.

— Вы не связаны с ЦРУ, Национальной безопасностью, Иллюминати?

— Да я и не знаю, кто это такие. Я люблю Розу.

— Но вы же... вы девушка.

— Это никогда не мешало любви. А откуда вы ее знаете?

— Я ее отец. Генрих.

Теперь, когда он это сказал, Катрин бросилось в глаза сходство. Перед ней была Роза, только состарившаяся, подурневшая и мужского пола. Но все-таки Роза.

— Ее отец? Бывший сотрудник штази? Она мне о вас рассказывала.

— Вот как?

— Да. Она мне все рассказала про свою жизнь, про маму-фигуристку, которая исчезла, про детство в подпольной типографии...

— Это вы могли узнать только от нее. Стало быть, вы ее действительно знаете?

— Да, да. Скажите же, как я могу с ней связаться?

Генрих вздохнул и посмотрел на часы.

— Она позвонит сюда через час. Тогда и поговорите.

9. *Как и было сказано*

Фред и Поль двинулись с колонной. Вернее сказать, с одной из колонн. Большая часть толпы послушно направилась официальным маршрутом, который вел к району SE-36, они же последовали за "крутыми" — те ломанулись напрямик к Фридрихштрассе и отелю "Вестин Гранд".

Гвалт в толпе стоял такой, что Фред не мог уловить ни слова из того, что говорил ему Поль. Он только кивал головой, шагая в людском потоке.

Вокруг него тесно сомкнул ряды уже знакомый ассортимент антиглобализма, всякой твари по паре: радикалы, сочувствующие левые, рабочий класс, безработные всех мастей, студенты, отбросы общества, университетская братия, анархисты в черном, панки в зеленом и красном. Время от времени над ними пролетал вертолет. Каждый раз все как один вскидывали кулаки, свистели, делали неприличные жесты.

Поль все пытался что-то сказать Фреду. В конце концов он заорал ему прямо в ухо — только тогда Фред услышал.

— Вон те, смотри!

Он показывал на трех мужчин в коротких дутых куртках.

— Что?

— У них наушники. Присмотрись!

Пристально вглядевшись в троицу, Фред действительно увидел, что у каждого прилажен в ухе наушничек, совсем незаметный, телесного цвета.

— Легавые. Зуб даю. В Гондурасе легавые в штатском тоже всегда ходят с наушниками. Не теряй их из виду.

Поль уже достал из своего рюкзака камеру и шел, держа ее наготове, включенную.

По мере того как толпа приближалась к отелю, напряжение в рядах демонстрантов нарастало. Меньше стало крика, люди втягивали голову в плечи, словно уже предчувствуя грядущие события. Колонну теперь с обеих сторон сопровождали подъехавшие с прилегающих улиц поли-

цейские фургоны. Внутри каждого виднелись темные силуэты в пятнистой форме, в касках с опущенным пластиковым забралом. Вид у них был какой-то инопланетный, и Фреда зазнобило. Поль опять потянул его за рукав.

– Смотри! Смотри, что делает!

Он показывал на одного из дутых с наушниками – тот незаметно доставал из кармана какой-то черный цилиндрик.

– Слезоточивый газ. Этот тип сейчас бросит гранату со слезоточивым газом.

Поль даже не успел поднять камеру – тип и вправду, размахнувшись, отработанным движением спортсмена швырнул гранату в двух шагах от них. Цилиндрик, описав в воздухе красивую параболу, вылетел к голове колонны и взорвался где-то там, Фреду не было видно за спинами.

– Начинается, – сказал Поль. – Война объявлена.

От головы колонны до них донеслись крики. Толпа всколыхнулась, и по необъяснимой причине все бросились бежать вперед. Фред с Полем тоже побежали.

– Что они делают? Почему бегут вперед? Там же полно полицейских! – крикнул на бегу Фред.

– Потому-то мы и здесь! Чтобы всем показать, как работает хваленая демократия! – ответил Поль, по-прежнему державший наготове камеру.

Толпа ринулась врассыпную. Влево, вправо, к улицам, перпендикулярным Фридрихштрассе, но большая часть по-прежнему неслась вперед. Фред увидел, что отдельные группки начали бить витрины. Полицейский вертолет висел прямо над ними.

Сейчас что-то произойдет, подумалось Фреду. Что-то ужасное.

И как будто в ответ на эту его мысль пронзительный свист разорвал небо – раз, другой, третий. Державшийся рядом Поль дернул его за рукав и оттащил в сторону.

– Слезоточивый газ. CS. Закутай лицо шарфом и держись подальше от облаков.

Сероватые облака клубились аккурат в том месте, где они стояли минуту назад. Фред увидел, как шаман с барабаном взвыл, скорчился и упал; помогать ему никто и не думал.

– Ничего, не загнется. Щелкни-ка его.

Фред достал фотоаппарат из рюкзака.

– Черт! Как он включается?

Наконец он нашел нужные кнопки. Сфотографировал – кажется, получилось не в фокусе.

Завыли сирены. Не поймешь, с какой стороны, вдобавок сработали противоугонные устройства нескольких припаркованных машин, когда группа девушек в черном принялась бить стекла.

Откуда ни возьмись, крепкие парни, много, не меньше сотни, в касках и перчатках, вооруженные кто чем – тут были и бейсбольные биты, и железные прутья, и дубинки, и нунчаки, – врезались в толпу, раздавая удары направо и налево. Поль присел на корточки у стены и опять попытался снимать, но, отчаявшись что-то запечатлеть в такой сумятице, плюнул и убрал камеру в рюкзак.

— Это передовой отряд сил особого назначения. Легавые в штатском, звери да и только, безбашенные, убийцы. Им самый кайф раскроить тебе череп. Смотри, что творится, этого они и добивались.

Колонна больше не двигалась ни взад, ни вперед. Десятки демонстрантов бежали в обратную сторону, очевидно надеясь добраться до более безопасного места. Другие, наоборот, вооружались всем, что попадалось под руку или было с собой. Фред увидел блеснувшие там и сям ножи, дубинки, баллончики со слезоточивым газом. Многие стояли на месте, не зная, куда податься, иные уже в ссадинах и крови, с потерянным видом первоклашек, ожидающих на школьном дворе родителей. Один из полицейских, здоровенный детина в каске, надвигался на них, размахивая ножкой стола с окровавленным концом. Поль вскочил и, пригнув голову, ринулся ему наперерез. Сработал фактор неожиданности: через мгновение детина лежал на мостовой, а Поль остервенело бил его ногами.

— Пошли, смываемся, — Фред потянул его за руку.

— Готов, сволочь. Надеюсь, я ему хребет сломал.

Фред, оглянувшись, увидел, что детина поднялся и снова попер на демонстрантов. Пинки Поля были ему что слону дробина. Фред ничего не сказал Полю, жаль было рушить ему кайф.

Поль бодро шагал вперед. Происшедшее, похоже, придало ему уверенности. Фред тащился следом, держась поближе к стенам, и все поглядывал в небо, опасаясь слезоточивых гранат, которые падали на середину улицы с частотой мартовского ливня. Ряды демонстрантов поредели, но оставшиеся имели вид более решительный, боевитый и злой. Иные разделись до пояса и размахивали куртками, точно дразня полицейских в форме, которые были уже в какой-то сотне метров, отделенные от толпы двойным кордоном рогаток, спешно поставленных поперек улицы. На мирную демонстрацию теперь это было мало похоже. То здесь, то там вспыхивали локальные стычки между гориллами в штатском и особо боевыми антиглобалистами. Удары сыпались почем зря, многих сбили с ног, одни швыряли все слезоточивые гранаты, какие только нашлись, другие крушили витрины дорогих магазинов, которые протянулись по всей Фридрихштрассе, как жемчужины в ожерелье.

Фред оглянулся на Поля, не понимая, что им теперь делать.

— Только не стоять на месте! Им как раз этого и надо. Чтобы организоваться и завладеть ситуацией. Кто будет здесь торчать, тех загребут и отделают в полицейских участках, а то и в подвалах под Рейхстагом, где пытали Мику. Вперед!

Фред посмотрел туда, где было черно от полицейских. Подумал, что это безумие, но в участок ему тоже не хотелось. И он последовал за Полем, отстав на несколько метров и чувствуя себя теленком, которого ведут на бойню.

Если будет совсем опасно, упаду и притворюсь убитым, мелькнуло у него в голове.

И тут вся толпа взвыла. Это были не крики, а какой-то общий стон. Стон, полный изумления и страха. Фред увидел, как Поль рухнул на колени и скорчился, тяжело дыша.

— Что случилось?

Не успев договорить, Фред почувствовал, как что-то обожгло ему лицо, а спустя секунду неудержимая тошнота подкатила к горлу. Все его нутро, сердце, печень, кишки, желудок, крутило и выворачивало. Кожу жгло все сильнее, и он почувствовал, что обмочился. Толпу охватила паника, другие люди тоже падали, кто-то корчился на мостовой, держась за живот. Фред обнаружил, что лежит, лицом в асфальт, рядом с Полем. Тот был еще в сознании.

— Что это? — спросил Фред и срыгнул горькой желчью.

— Посмотри туда. — Поль успел достать свою камеру и держал ее в дрожащей руке.

Фред увидел два военных грузовика, оснащенных параболическими антеннами.

— Микроволны. Эти долбаные фашисты пустили в ход микроволны.

Поль попытался включить камеру. Без толку.

— Сдохла. Эти волны — гибель для людей и для электроники. Надо сматываться.

И Поль пополз, как червяк, в моче и блевотине десятка гринписовцев, ставших первыми жертвами. Фред потащился за ним. Еще был шанс уйти по соседним улочкам.

12. *Во избежание заражения*

Кровотечение остановилось. Катрин несколько раз бегала в ванную полоскать тряпки, промывала рану, потом забинтовала ногу Генриха куском сухой простыни. Рана ни в коем случае не должна мокнуть, иначе начнется гангрена, она видела такое в "Избавлении" Джона Бурмена.

Это было страшное кино.

Косматые беззубые мужики насиловали толстых туристов.

В лесу.

Ей не понравилось.

По словам Генриха, который выглядел уже получше, но по-прежнему лежал пластом на диване в собачьей шерсти, Роза должна была позвонить максимум через четверть часа. Оставалось ждать и коротать время. Катрин нерешительно поглядывала на стопку книг.

— Как вы это сделали? — опять спросил старый немец, показывая на свою ногу.

— Я точно не знаю. У меня сами собой получаются такие странные вещи, просто необычайные, в последнее время.

Генрих снова зашелся в жутком приступе кашля.

— Колдовство. Вы с этим поосторожнее. В Германии никогда не жаловали ведьм. В XVII веке один из наших славных судей, некий Карпсау, отправил на костер почти три тысячи.

— Какой ужас!

— Уже в ту пору это была политика. Колдовство противостояло чему? Власти. Ведьма — церкви, к тому же еще женщина. Костры были страхом обреченного мира. Маркс это понял: подобные эпидемические вспышки ведьмовства являются показателями общественных перемен, переходных периодов в истории...

Катрин взглянула на часы. Только уроков истории ей не хватало. Она покосилась на кипу журналов. Все какая-то фигня на немецком. Ничего не оставалось, как слушать старого Генриха.

— Это не может быть совпадением, вы, здесь и сейчас... какой получился бы фильм. Представительнице буржуазии, обладающей чудесными способностями, суждено избавить мир от сил зла. Все ждут ее, потому что так гласит пророчество.

— Как Нео в "Матрице".

— Не знаю такого.

Катрин попыталась было рассказать ему про "Матрицу", но запуталась, чувствуя, что говорит не то и не к месту. Генрих остановил ее:

— Послушайте, как ни крути, это не кино. Нет никакого пророчества. Ничего нет кроме... политики. Политика — вот настоящее ведьмовство.

Катрин вздохнула, ей стало немного обидно, она-то как раз любила такие истории с пророчествами... Впрочем, этот жалкий старикашка вряд ли что-нибудь понимал в тонких материях магических миров. Она посмотрела в окно, капли дождя бились о грязные стекла. Надо было срочно отвлечь старого хрыча от его пунктика и перевести разговор на более интересную тему, чем политика.

— Может быть, вы расскажете мне про Розу? Я хочу сказать, когда она была маленькой и все такое...

Генрих пожал плечами.

— Все могло бы сложиться для нее иначе, вы ведь знаете. У нее могло быть нормальное детство. Она была бы счастливым ребенком, если бы не... политика.

Катрин кивнула, ей хотелось услышать продолжение. Генрих, морщась, сел.

— Если вы хотите знать, что за человек Роза, вы должны понять, как политика ломает нас. Как люди теряют голову от власти, а над этими людьми есть другие, у которых власти еще больше, и в итоге получается скопище больных людей. Опасных психов, понимаете?

Поясняя свои слова, он поводил пальцем, как будто перемешивал что-то. Катрин опять кивнула.

— Я был всего-навсего полицейским. Мелкой сошкой в штази, восточногерманской госбезопасности. Времена были серьезные, семидесятые годы, начальство стояло на ушах, потому что наши обнаружили, что западные немцы установили вдоль всей Берлинской стены системы прослушивания. Более трехсот антенн, несколько узлов связи, спрятанных в министерствах, в подвалах вокзалов, в потайных помещениях почтамтов, да еще трансатлантические ретрансляционные станции, надежно скрытые в лесах, и не только здесь — в Харрогите, в Англии, в Эдзелле, в Шотландии, на Кипре... Превосходная система, поверьте мне, отлично организованная. Они называли ее системой "Эшелон". Этим своим "Эшелоном" они ловили все: любую информацию, передаваемую со спутников и на коротких волнах, а также по проводам, оптическому волокну, подземным сетям связи, сигналы радаров, азбуку Морзе и, конечно же, телефонные переговоры. Берлин был самым подходящим местом для прослушки Восточного блока: местность равнинная, никаких гор, разве что очень далеко в России. Лучше не придумаешь. В мои обя-

занности входило пеленгование и саботирование. Я был ответственным, исполнительным и умел держать язык за зубами. Я верил, что служу делу, которое того стоит. Что служу народу. Понимаете...

Генрих поморщился.

– Вам больно?

– С дырой-то в ноге. Можете свернуть мне косяк? Все, что нужно, в ящике стола.

Катрин достала папиросную бумагу, табак и немного конопли.

– Я в первый раз... Не знаю как...

Генрих усмехнулся и сноровисто свернул косяк сам.

– А что случилось потом? Роза рассказывала мне о своей матери...

Лицо старого немца на мгновение просияло.

– Ее мать... Моника, так ее звали. Она была из Польши. Я познакомился с ней, когда нам поручили присматривать за польской командой, приехавшей на турнир социалистических стран по фигурному катанию. Она была там. Она была... Подождите, сейчас...

Генрих взял со стола фотографию и показал ее Катрин.

– Очень красивая.

– И вдобавок был в ней этот... магнетизм. Вы меня понимаете. Из тех девушек, которых, если встретишь – одно из двух: или будешь с ней на всю жизнь, или лучше сразу умереть...

– Как Роза.

Генрих кивнул:

– Роза похожа на мать, это верно. Значит, вы понимаете, как сильно я ее любил. Как я люблю ее до сих пор.

– Понимаю.

– Чего только я не делал, чтобы добиться ее. Приходил с утра пораньше, был на всех ее тренировках, по вечерам развлекал ее, водил в театры, пригласил на концерт. Только благодаря моим связям мне удалось достать два билета на концерт Дан Тай Сона, который в тот год победил на шопеновском конкурсе. Два часа Шостаковича. После двух часов Шостаковича чувствуешь себя иным, оледеневшим, романтичным. Я осмелел от этой музыки. После того концерта мы впервые поцеловались – и с тех пор не расставались больше.

– Вы стали жить вместе?

– Да. Это далось нелегко. Даже мне при моей службе. Пришлось опять задействовать кое-какие связи, чтобы уломать поляков. Они позволили ей жить со мной в Берлине при условии, что она будет раз в месяц приезжать в Краков "для инструктажа" и выступит за польскую команду на Олимпийских играх. Так мы прожили два года. Она забеременела, чиновники из польского спорткомитета закатили истерику, и Моника обещала им, что после родов вернется в спорт... Она сдержала обещание, вернулась.

– И выступала так же хорошо?

– Еще лучше! После рождения дочки у нее будто крылья выросли! Она выигрывала один турнир за другим с необыкновенной легкостью. Прыгала подряд тройные аксели и тройные сальховы с улыбкой, словно блины пекла. Ее имя было у всех на устах. Она прославилась. Это ее и погубило.

– Не понимаю.

— Она привлекла их внимание.

На осунувшемся лице Генриха морщины, казалось, стали еще глубже.

— Чье внимание?

— Хозяев. Тех, в чьих руках была настоящая власть. Ближний круг Эриха Хонеккера, Гюнтера Миттага и Иоахима Херманна[1]. Эти люди уже чувствовали ветер перемен. Эгон Кренц[2] начинал показывать зубы. Все понимали, что система Хонеккера долго не протянет, но пока они были у власти.

— Я мало что знаю о политике.

— Кино вы смотрите? Видели "Сало, или 120 дней Содома" Пазолини?

Катрин вспомнила, что и вправду видела когда-то начало фильма на канале "Арт". Фабио хотел его посмотреть, потому что фильм итальянский, но, досмотрев до сцены, где девушку заставляют есть ложкой дерьмо, они выключили телевизор.

— Садисты из республики Сало, — продолжал Генрих, — это они и были. Совпадение двух вещей — абсолютной власти и близости конца этой власти... Страшная смесь, скажу я вам, она давит на ту частичку вашей души, которая подпорчена властью. И эта подпорченная частичка начинает хотеть своей властью насладиться. Насладиться в буквальном смысле слова. Насладиться сексуально. Употребив людей, над которыми вы еще хозяин, но надолго хозяином не останетесь. Осуществлять свою власть, употребляя людей, — понимаете, только тогда чувствуешь, что действительно имеешь власть. Это вам не влиять на экономическую политику социалистического государства.

— Что же случилось с Моникой?

— А каково будет ваше наслаждение — это зависит от человека, в отношении которого осуществляется власть. Моника — это была жемчужина, настоящее сокровище. Раритет. Совершенное наслаждение в перспективе.

— Ну и?..

— Однажды она не вернулась домой, и я просто обезумел. Искал ее повсюду как оголтелый. Задействовал все связи, даже самые скользкие, всех негодяев, каких только знал, и напал-таки на след, ухватился за тоненькую ниточку, много недель ее разматывал и наконец нашел Монику. То есть не совсем ее — только видеокассету с записью.

Генрих зажег косяк, затянулся и попросил воды, Катрин принесла ему стакан.

— Я постараюсь рассказать вам как можно точнее, что было на этой кассете. Ничего экзотического. Без полета фантазии. Не слишком оригинально. Это был просто... ужас. Абсолютно классический ужас. Абсолютный ужас. Монику пытали всеми возможными способами. А потом ее насиловали мужчины, много мужчин, и женщины тоже. Тот, кто снимал, не забывал регулярно брать в кадр ее лицо, и он же задавал ей во-

1. Ближайшие сподвижники Эриха Хонеккера; Гюнтер Миттаг отвечал за экономику в политбюро СЕПГ, Иоахим Херманн был главным цензором страны.
2. Последний руководитель ГДР, возглавивший СЕПГ в октябре 1989 г.; после объединения Германии был приговорен к тюремному заключению.

просы. Знает ли она, что умрет, знает ли, что с ней еще сделают. После всего ее казнили. По старинке — задушили удавкой. Вот. Не знаю как, но я это пережил.

Катрин не знала, что сказать.

— Значит, вы после этого стали... подпольщиком?

— В каком-то смысле. Скажем так, я начал создавать свое собственное движение сопротивления. Что-то мне подсказывало, что случившееся с моей женой не было ни запретным, ни из ряда вон выходящим. Я хотел понять, как устроен этот мир, власть, как это все работает. Ради Моники, ради Розы. И что, вы думаете, я узнал в результате своего личного расследования? Что Восток и Запад — это нагромождение лжи. Средство, чтобы занять людей, фикция. Что за всем этим стоит истинная власть. Мощнейшая власть, которая, например, пользуется "Эшелоном", чтобы прослушивать и Запад и Восток, потому что эта власть давно знает, что информации много не бывает и что владение ею — лучшая гарантия долгой жизни. Вот против этого я и борюсь. И против этого борется сегодня Роза вместе с тысячами других людей на демонстрации... Я тревожился за нее, но она настояла, что пойдет...

Генрих снова затянулся, и в эту самую минуту зазвонил телефон.

— Это Роза, — сказал он.

Поднялся и захромал к телефону.

11. *Надо уметь остановиться*

— Хреново мне! — сказал Поль. — Черт, до чего же мне хреново! Совсем хреново!

Им удалось выбраться с центрального проспекта и отползти в тихую улицу вместе с еще полусотней пострадавших, которые тоже испытали на себе действие микроволн. У какой-то девушки в футболке с надписью "Монсанто[1] убивает вас! Геноцид трансгенным бананом" случилась настоящая истерика, она вопила не переставая и сжимала голову обеими руками. Ее дружок, рыжеволосый толстяк в такой же футболке, пытался ее успокоить.

— По-моему, у меня от этой дряни что-то в животе оторвалось, — просипел Поль, сидевший на корточках у опущенной железной шторы компьютерного магазина.

Фред тоже чувствовал себя не лучшим образом в мокрых штанах, понимая, к своему ужасу, что вот-вот сделает в них нечто более существенное.

— Надо позвонить Мике и ее подружке-медсестре. Пусть дадут нам что-нибудь, а то мы далеко не уйдем, — сказал он, сжимая ягодицы.

Поль задумался. Фред подозревал, что позвонить Мике и Розе для него значило признать свое поражение. Очередной, особенно сильный спазм решил дело. Он достал "чистый" мобильник Генриха и набрал номер. Быстро обрисовал ситуацию и отключился.

1. Транснациональная компания, мировой лидер биотехнологии растений.

— С Микой говорил. Ей слишком рискованно идти сюда. Вдруг Кристин и Пьеру понадобится помощь, а они будут слишком далеко. Она предлагает нам подойти к Дворцу Республики. Ребята из "Возрождения деревни" предоставили им койку в своей палатке.

Перспектива снова идти, да еще в обратную сторону, не радовала. Но сидеть и ждать, когда нагрянут звери в штатском и возьмут их тепленькими, было еще хуже. Они поднялись, голова кружилась, в желудок как будто вылили аквариум кипящей морской воды. Фреда вырвало, потом и Поля. Рвота, густая и желтоватая, обжигала горло.

У Фреда двоилось в глазах.

Он чувствовал, что от него разит мочой и блевотиной.

Мерзость.

От принесенного ветром слезоточивого газа защипало глаза.

Они шли, не разбирая дороги.

И все-таки шли, старательно обходя стороной Фридрихштрассе, откуда доносился пронзительный вой полицейских сирен. Фред чувствовал себя альпинистом Вальтером Бонатти в ночь перед штурмом вершины К-2. Ему казалось, что путь занял несколько часов. Он чуть было не сказал Полю, что дальше не пойдет, останется здесь, вот у этого лотка с шаурмой, но сил не хватало даже принять решение. Наконец каким-то чудом они дошли.

Измочаленные.

Грязные.

Никакие.

Фред был уверен, что в ближайшие сутки отдаст концы, он смирился и хотел одного — не слишком мучиться.

— Фу, черт! — фыркнула Мика, зажимая нос. — Что с вами сделали?

Мика с Розой уложили их на раскладные койки. Молодой испанец из "Возрождения деревни" смотрел на них с нескрываемым любопытством. Поль рассказал обо всем, что произошло, и о микроволнах.

— Надо побольше пить, — сказала Роза и дала каждому по бутылке минеральной воды. — Больше я ничем помочь не могу. Микроволны нагревают молекулы воды. Возможно, у вас обезвоживание.

— Я не пью, — возразил Поль. — Если выпью, писаю, и обостряется моя зараза.

— Если не будешь пить, твои почки через час, а то и раньше закупорятся, как сточная труба, — мягко сказала Роза. — Ты хоть знаешь, что такое диализ?

Это убедило Поля. Он выпил воды.

— Что-нибудь слышно от Пьера и Кристин? — спросил Фред, понемногу возвращаясь к жизни.

Мика не выпускала из рук телефон.

— Ничего.

— У них там, кажется, тоже было жарко, — вмешался испанец из "Возрождения деревни". — Моя подружка пошла с экологической рок-группой, она только что мне звонила.

— Надо бы до них дозвониться, — сказал Поль.

Мика набрала номер несколько раз, но безрезультатно.

— Что-то случилось. А то бы они ответили.

— Такой шум, они, наверно, просто не слышат звонка, — предположил Фред, сам в это не веря.

Мика покачала головой.

— Телефоны с вибратором. Я звонила пять раз. Что-то случилось.

В палатку буквально влетела девушка, прижимавшая к носу окровавленный платок.

— Лала! — кинулся к ней испанец.

Поименованная Лала, подружка испанца, оказалась француженкой. Она принесла вести от официальной колонны, где "было жарко".

— Все шло гладко, а потом, сама не знаю как, где-то сзади началась буза.

Фред вспомнил, как полицейские в штатском бросали слезоточивые гранаты, чтобы посеять панику в рядах демонстрантов.

— Ну вот, посыпались слезоточивые гранаты, а легавые налетели и стали бить направо и налево. Мне тоже досталось дубинкой по голове. По-моему, у меня нос сломан. Как ты думаешь, сломан?

— Не знаю. Надо бы кровь остановить.

— Нет, если этот гад сломал мне нос, я скажу отцу, он адвокат...

— А дальше, что было дальше? — нетерпеливо перебила ее Мика.

— Дальше мне и еще некоторым удалось смыться, но им, видно, мало было нас просто разогнать, они стали хватать кого ни попадя и запихивать в свои грузовики. Люди бежали кто куда. Я слышала стрельбу.

— Ты уверена, что это были выстрелы, а не петарды?

— Какие петарды, там такое творилось, что никому бы и в голову не пришло ими баловаться. Выстрелы, точно. Но это еще цветочки, потом я видела такое — не поверите: один вертолет выбросил сеть...

— Сеть?

— Да, как рыболовная, только больше. Огромная, с футбольное поле. И эта сеть упала прямо на людей. Парень, который был рядом со мной, едва от нее увернулся, он сказал, что на этой сети крючки, один ему в руку впился, до крови, он мне показывал.

— Вариант мины "Fishook", — кивнул Поль. — Американцы применяли их в девяностых годах в Сомали. Чем больше в ней трепыхаться, тем сильней покалечишься.

— Вы думаете, Кристин и Пьер там, в сети?

— Да нет там больше в сети никого, — всхлипнула Лала. — Всех забрали. Десятки, сотни человек. Интересно, куда они их повезут, никакого участка не хватит.

— Я знаю куда, — сказала, скрипнув зубами, Мика. — Я так и знала, что их задействуют!

— Куда, Мика? — спросил Поль и привстал, уже готовый драться.

— В подвалы под Рейхстагом. Туда, где держали меня. Я же говорила, что они им еще пригодятся.

Фред решил, что все это похоже на затянувшийся кошмар.

— Но что с ними будут там делать, в этих подвалах?

Мика надела куртку, натянула шапочку.

— Их будут мучить и запугивать. Это азы тактики устрашения. Надо идти туда!

— Я должна позвонить отцу, — сказала Роза. — Это становится слишком серьезно.

Когда Роза, закончив разговор, отключилась, вид у нее был странный. Говорила она по телефону понизив голос и несколько раз провела рукой по волосам, что было, насколько Фред знал женскую психологию, признаком "серьезной внутренней дилеммы". Она убрала телефон в карман и только тогда посмотрела на всех. Судя по цвету щек, ей вдруг стало очень жарко.

– Отец сказал, что сейчас один человек приедет нам помочь.

– Кто это? Его друг?

– Нет, скорей моя подруга.

– Твоя подруга? И как же она поможет нам добраться до Рейхстага?

Фред почувствовал, что Поль вот-вот психанет, и сразу вспомнил тот окаянный день и лемуриху. Боже, взмолился он про себя, лишь бы у него опять не сорвало резьбу. Только не сегодня.

– Я не знаю. Но отец говорил очень уверенно. Он сейчас привезет ее сюда.

– Не так-то это просто, на улицах везде кордоны.

– Мой отец везде проберется. Поверьте мне.

Потянулось ожидание. Фреду и Полю пришлось встать и уступить койку Лале, у которой все еще шла носом кровь. Фред сел прямо на землю в углу. Было до того сыро, что штаны на нем так и не высохли. Мокрая джинсовая ткань натирала кожу.

Между ног отчаянно чесалось.

Если срочно не переодеться, воспаление обеспечено.

Только этого ему не хватало.

Меньше чем через четверть часа подкатил "фольксваген" допотопной модели и не пойми какого цвета. В палатку, хромая, вошел Генрих. С забинтованной куском простыни ногой.

Затем произошел целый ряд событий; все вместе они заняли не больше тридцати секунд, но в силу их важности требуется запись в замедленном режиме:

* Катрин увидела Розу, и ей показалось, что ее сердце забилось вновь после долгой, на неделю с лишним, остановки. Это было дивное ощущение, сравнимое с восходом солнца после полярной ночи, когда фауна и флора областей вечной мерзлоты празднуют приход долгожданной весны.

* Фред увидел свою кузину, но до того удивился, что даже не сразу сообразил, что это его кузина. Однако на уровне подсознания, расположенном где-то ближе к спинному мозгу, понял, кто это, отчего сработал рефлекс отпадения нижней челюсти. На мгновение Фред стал похож на ламу под вечер долгого дня на большой высоте. "А", – только и сказал он. Реплику не оценили.

* Катрин увидела своего кузена и только наполовину удивилась тому, что он, жалкий и грязный, оказался на демонстрации левого толка. Правда, встречу саму по себе она нашла невероятной. И ей подумалось, что, очевидно, все-таки есть какое-то пророчество, в котором ее особа является центральным элементом. Однако в следующую секунду она об этом начисто забыла и снова улыбалась Розе.

* Фред закрыл рот, и до него наконец дошло, что красивая, гиперсексуальная девушка, направлявшаяся к нему, – это его кузина. Какого

черта этакую фифу занесло сюда со старым Генрихом и сумочкой от Гуччи? Вероятность увидеть ее здесь равнялась вероятности появления простейших организмов в первобытной земной лаве четыре миллиарда лет назад. Но коль скоро простейшие на Земле появились, почему было не появиться его кузине в палатке "Возрождения деревни"?

* Роза поняла, что Катрин знакома с Фредом. Но ей было без разницы. Ее волновало другое: каким образом отец ухитрился повредить ногу. И еще — насколько это серьезно. Жизнь научила ее: если хочешь выжить — оставайся спокойной. И она осталась спокойной.

* Фред спросил свою кузину: "А ты-то что здесь делаешь?"

* Поль спросил Фреда: "Ты ее знаешь?" Но в сущности Полю тоже было без разницы.

* Роза спросила (спокойно и по-немецки) своего отца: "Нога болит? Что у тебя с ней? Надо будет мне посмотреть".

* Мика спросила Генриха (с ноткой иронии, которая, если бы ее кто-нибудь заметил, могла выдать капельку ревности): "И зачем она нам, эта барышня?"

* Генрих спросил, предъявив свою ногу как оправдательный документ: "Можно мне присесть? Я вам все потом объясню, время поджимает, сами видите".

Итак, Генрих сел. Он закашлялся, отчего Лалу как ветром сдуло. Получив всю койку в свое распоряжение, он лег и объяснил, как, по его мнению, Катрин могла бы им помочь. Закончив, он спросил, не будет ли у кого-нибудь косяка, а то нога разболелась.

Мика спросила (все с той же ноткой иронии, но которая на этот раз могла бы выдать страх при виде друга, съехавшего с катушек):

— Генрих, ты говоришь, что эта девушка умеет двигать всякие штуки на расстоянии?

— Ja!

— Я подтверждаю, — сказал Фред. — Я видел, как она заставила взлететь горшок с цветами на террасе.

— Я хочу на это посмотреть, — сощурилась Мика.

Катрин поискала глазами какой-нибудь предмет для демонстрации и выбрала щит из дерева и картона с надписью "Ларзак 73-2003 — тридцать лет в бою!"[1]. Она сосредоточилась — уже начала привыкать, — и минуту спустя транспарант плавно поднялся в воздух и в горизонтальном положении подлетел к Мике.

— Ох, черт! — нарушил Поль воцарившееся молчание.

— Как это... Почему ты мне ничего не сказала о... об этом? — спросила Роза.

— Да какая разница! — прогремел с койки Генрих. — Я вам говорю: эта девушка — наше оружие. Вот и все. Уж не знаю, что вам надо после микроволн и газа CS, если вы еще не убедились, что идет война и двое наших в руках врага. Мика, ты не хуже меня знаешь, что будет дальше, и знаешь, что сделают Пьер и Кристин, если мы не поторопимся.

Фреду подумалось, что кошмар набирает обороты.

— Цианид!

1. В местечке Ларзак во Франции Конфедерация крестьян во главе с лидером Жаком Бове добилась запрета на строительство военной базы.

Роза повернулась к Катрин и сказала очень серьезно:

— Послушай, ты не обязана помогать нам. Это наш бой, наша война. Если ты пойдешь с нами, это может быть опасно. Ты должна это знать.

— Если я не пойду, ты пойдешь одна, я имею в виду, только с ними. Некому будет тебя защитить, как смогу защитить я. Я иду с вами.

— Послушай, я не знаю... Что-то произошло, но, может быть, это следует отнести на счет диссоциации... Я тоже что-то чувствовала, но я не знаю...

— Не говори ничего... не надо. Сейчас я иду с вами и не прошу у тебя ничего взамен. Разве только, может быть, чтобы ты подумала, когда все, — Катрин огляделась, — немного успокоится.

У Розы был слегка ошарашенный вид, слишком много сразу на нее свалилось.

— Ладно, — кивнула она, — тогда поехали.

Поль уже приплясывал от нетерпения у выхода:

— Ну что, если цыпочки договорились, мчимся. Машину взять можно?

Генрих жестом показал, что ему по фигу.

И они помчались.

13. На *волоске*

За руль села Роза. Она сказала, что никто лучше ее не знает и машину, и берлинские улицы. Катрин, конечно же, заняла место рядом с ней, остальная компания, Мика, Фред и Поль, втиснулась на заднее сиденье среди вороха пыльных газет, коробок с какой-то едой и старых носовых платков... Колено Мики соприкасалось с коленом Фреда, оно было теплое, и Фред чувствовал шевеление в штанах, несмотря на перегретые микроволнами внутренности и начинающееся кожное воспаление. Он положил ладонь на колено, так, чтобы она была на виду, на всякий случай, вдруг Мике захочется взять его за руку. Как знать, попытка не пытка.

Когда отъехали от площади, Роза спросила, что они намереваются делать, добравшись до Рейхстага, как собираются туда войти, а если войти удастся, знает ли кто-нибудь, где эти подвалы и как в них спуститься. Никто не ответил, только Мика, подумав минут пять, бросила:

— Там будет видно.

Фред подумал, что для плана действий это как-то несерьезно звучит, но промолчал. У него еще не прошел шок от пережитого, от всех этих зверств, показавшихся ему совершенно непомерными, он не мог забыть легавых в штатском, избивающих демонстрантов, видел лица людей, перекошенные от газа CS, обезумевшие глаза девушки, попавшей под микроволны. А потом еще его кузина вошла в палатку, как явление Богоматери святой Бернадетте Субиру в Лурде, в ореоле света своей божественной сексапильности, и повторить трюк с телекинезом ей оказалось так же легко, как, скажем, в носу поковырять. Это было слишком для Фреда и для мух в его голове, у него начиналась мигрень, глаза превратились в два кусочка смятой алюминиевой фольги. Ему необходимо было расслабиться. Он жалел, что не удалось подрочить вчера вечером.

Ехать было легко. Из-за демонстрации большинство горожан взяли отпуск или отправились на работу на метро. Казалось, в Берлине до срока настало воскресенье. К тому же Роза действительно хорошо знала город. Она благоразумно не поехала по большим проспектам, где было еще полно полиции и отколовшихся демонстрантов, и выбрала извилистый путь по мокрым улочкам жилых кварталов. Через четверть часа они были на месте. Из осторожности Роза припарковалась в сотне метров от моста Вилли-Брандт-штрассе.

Дальше пошли пешком. Прямо перед ними возвышался шедевр Нормана Фостера – венчающий Рейхстаг хрустальный купол площадью в три тысячи квадратных метров, в середине которого переливался конус из гигантских зеркал. Эта прозрачность и чистый свет, задуманные архитектором, являли разительный контраст с тем, что происходило всего в нескольких метрах. Длинная вереница полицейских грузовиков пронеслась мимо, завывая сиренами, и въехала на аллею между облетевших по осени деревьев. Вот тут уж ни чистоты, ни прозрачности, грязные носки демократии.

– Это они, – сказала Мика, показывая на грузовики.

Фред не мог отвести глаз от Рейхстага, скопища бетонных плит и гипсовых фризов, в котором воплотились все потрясения Германии да и остального мира в XX веке.

– Они едут в парк, а не в Рейхстаг.

– Подвалы занимают огромную площадь. Несколько квадратных километров. Ясное дело, они не поедут через главный вход. Это как-никак парламент. Те помещения, что они оборудовали, находятся под Тиргартеном, этим самым парком, во всяком случае, там я пришла в себя, когда меня выпустили.

– Где же тогда вход?

Мика пожала плечами, махнув рукой в ту сторону, куда уехали грузовики.

– Откуда я знаю!

Все начали выдыхаться. Они с рассвета были на ногах, погода стояла скверная, да и голод давал себя знать. Всего в сотне метров Фред видел пеструю крышу ларька с сосисками для туристов. Ему даже казалось, что он улавливает запах. Его спутники ушли вперед и были уже в парке. Снова, в который раз, он почувствовал себя одиноким и несчастным, отлученным от всего мира. Он не хотел никуда идти, он хотел съесть сосиску. Хотел сменить штаны. Все равно он там не понадобится. Его кузина обернулась и помахала ему, мол, прибавь-ка шагу.

И он прибавил.

Когда он поравнялся со всеми, Поль показал ему, что происходило чуть дальше впереди.

Полицейские грузовики остановились перед большим бетонным строением – чистый неоклассический стиль и рококо самого дурного вкуса, – явно знававшим лучшие времена: окна были забраны решетками, крыша нуждалась в ремонте, фасад изрядно облез. Люди в пятнистой форме высаживали из грузовиков кучки демонстрантов. Выглядело это весьма хаотично. Парни и девушки горланили песни интербригад, иные плевали в пятнистые формы, а формы, со своей стороны, с ними не церемонились: заваливали особо буйных наземь лицом вниз, заламы-

вали руки до предела сопротивляемости суставов и защелкивали белые пластиковые наручники. Клик! Клак! Сноровки пятнистым формам было не занимать.

Судя по лицам, на которых синева мешалась с краснотой, всем изрядно досталось еще в грузовиках. Под крик, брань, плевки и удары полицейские метались, загоняя все это стадо в большой дом. Фред подумал, что ему бы не хотелось быть на месте Пьера и Кристин, бог весть, что с ними сделают там, внутри. Мика шмыгнула носом, точно котенок, когда ему не нравится запах.

— Круто им придется. Наверняка Иллюминати распорядились, хотят отбить у них охоту к демонстрациям, как в свое время в Генуе — там они пытали студентов под портретом Муссолини.

— Совсем обнаглели. Дом-то — это же Т-4, — сказала Роза. — Уму непостижимо, что они еще пользуются этими зданиями.

Эта парочка, Роза и его кузина, на фоне окрашенного в осенние цвета парка напомнила Фреду обложку журнала "Элль": две топ-модели, изображающие по просьбе фотографа неприступных красавиц, без опаски ступающих в грязь в туфельках от Джузеппе Дзанотти.

Поль тем временем помочился на дерево. От боли у него брызнули слезы.

— Что такое Т-4? — со всхлипом спросил он, не желая терять нить событий.

— Это кодовое название Тиргартен-штрассе, 4, здесь нацистские медики разрабатывали в середине тридцатых годов программу 14f13. Эвтаназия, сиречь убийство десятков тысяч "умственно неполноценных" и инвалидов. Здесь были разработаны методики, которые потом применялись в лагерях.

— Нацисты — те же Иллюминати, для них слабые не имели права жить. Ничего удивительного, что это место понравилось нынешним.

— Но почему люди не могут просто жить все вместе в мире? — воскликнула Катрин.

На ее вполне резонный вопрос никто не ответил. Она задала его в ту минуту, когда из грузовика вывели Кристин и Пьера.

Вид они имели скверный. Особенно Пьер: он выглядел как в худшие моменты, когда бывал на волосок от приступа аллергии. Фред подумал, что, если приступ случится сейчас, укол ему сделать будет некому и он загнется прямо здесь, между двумя легавыми, — красивая героическая смерть, ничего не скажешь. Нелепая смерть, но героическая. Кристин, землисто-серая, отчаянно вращала глазами, точно камбала на палубе траулера, ее лицо и руки были все в мелких порезах, наверняка от крючков сети, в которую они попались полчаса назад.

— Надо что-то делать, — сказал Поль.

Фред посмотрел на него, потом на десятки вооруженных полицейских, которые уже загоняли вереницу демонстрантов в здание Т-4, и ему подумалось, что друг шутит. Да нет, как же он забыл, Поль всегда был обделен чувством юмора. Со смесью любопытства и жалости к себе Фред ждал, что он предложит. Поль почесал между ног и повернулся к Катрин.

— Только ты. Другого выхода нет. Сделай что-нибудь сейчас же.

Катрин закусила губу. Ситуация отдаленно напоминала ей экзамен по микроэкономике, который она завалила из-за вопроса об организа-

ции труда и ротации рабочих мест неквалифицированных кадров. Что она сможет сделать сейчас, немедленно, одна? Она сказала себе, что это ее момент истины, пробный камень пророчества, и она не имеет права оплошать. Именно в таких ситуациях у нее сдавали нервы. Катрин попыталась сосредоточиться, глядя на ветви деревьев, на проплывающие над городом облака, вдыхая пресноватый запах парка. Быть может, удастся почерпнуть силы в единении с природой, как это делали лесные феи в средние века. Она закрыла глаза и попробовала, сама толком не зная как, собрать воедино всю энергию, циркуляцию которой ощущала в себе уже который месяц. Потом, когда ей показалось, что энергия готова, одним выдохом она выпустила ее наружу. Словно большая океанская волна, теплая и соленая, прокатилась через все ее существо. Ощущение было потрясающее, она почувствовала себя связующим звеном между силами неба и земли, ду́ши минерального мира и мира растительного явились ей миллиардами красок и говорили друг другу о любви сквозь бесконечные пространства вселенных...

— Прекрати! Зачем ты это делаешь?

Катрин открыла глаза, она сидела на земле, на податливо-мокром ковре из грунта и опавших листьев, и все смотрели на нее. Мика была красная от злости.

— Что?

— Там?

Катрин посмотрела туда, куда показывала Мика. Один из полицейских грузовиков парил в метре над землей. Катрин нашла, что это совсем неплохо. Самый тяжелый предмет, который ей удалось переместить с тех пор, как начались ее "проблемы со здоровьем".

— Ну и какой с этого толк?

Мика уже кричала на нее, но Катрин, которая была еще под впечатлением своего космомагнетического оргазма, было по фигу.

— Оставь ее, — сказала Роза. — Это не ее война, она пыталась нам помочь.

Катрин подняла на нее глаза. Роза встала на ее защиту. Это было лучшее, что случилось в ее жизни с семи лет, когда ей подарили на Рождество домик для Барби (в викторианском стиле, со всей обстановкой, кроватью, диваном, ванной на двоих и оборудованной кухней).

Полицейские таращились на грузовик с явным удивлением, которое, однако, не мешало им сохранять контроль над ситуацией.

— Я так и знала, что от этой дамочки толку не будет! — разорялась Мика.

Фред не въехал, какая идиотская мысль взбрела на ум девушке, чей живот он целовал всего несколько дней назад; как бы то ни было, она вдруг пошла. Пошла прямиком на трех полицейских, которые уже собирались втолкнуть Пьера и Кристин в дверь Т-4. Эта идиотская мысль вызвала цепную реакцию стратегического значения, из тех контрпродуктивных реакций, от которых Ши Цзу, автору "Искусства войны", наверно, снились кошмары. Поль пошел за ней, брякнув что-то вроде:

— Я тебя одну туда не пущу.

Движимая, по-видимому, благородным чувством солидарности, следом двинулась Роза, а за ней, конечно же, Катрин, кузина с божественной попкой — попкой, подобной святому Граалю, стократно благосло-

венному. И тогда, уподобившись туповатому крестоносцу, пошел за этой попкой Фред, и через полсотни шагов они оказались лицом к лицу с силами особого назначения, с целой армией полицейских, защищенных не хуже, чем углерод-углеродные крылья космического корабля "Атлантис". Кристин увидела их раньше полицейских. В глазах камбалы вспыхнул лучик надежды.

— Не дайте им! — крикнула она. — Они сказали, что нас будут пытать электрошоком, а женщин заставят у них сосать, что мы должны назвать имена всех, кто был с нами. Не дайте им...

Кристин отчаянно вырывалась. Здоровенный полицейский взял ее в захват сзади, одной рукой поперек шеи, другой за голову. Зажатая в лапах верзилы, она выглядела крошечной. Ее крики перешли в хрип. Тут и Пьер рванулся и закричал:

— Уходите! Мы уж как-нибудь. Уходите, это слишком опасно. Мы уж как...

Удар дубинки в живот заставил его проглотить последние слова — видно, он пришелся как раз по лишнему рту. Пьер со стоном упал. Этого Мика уже не могла стерпеть, она фурией кинулась на полицейского, державшего в захвате Кристин:

— Hure! Schlampe! Arschloch![1]

Толпа арестованных демонстрантов вокруг них забурлила. Все снова принялись свистеть и плевать куда придется. Полицейские знали, как с этим справиться, они изучали психологию разъяренной толпы и применили полученные знания на деле: принялись лупить дубинками направо и налево. Бац! Бац! Бац! Вопящую Мику схватили, повалили, защелкнули наручники — клик! клак! Поль колебался, раздираемый внутренним конфликтом: броситься на выручку и быть битым или остаться на месте и выглядеть трусом. Он выбрал труса. Фред, Роза и Катрин тоже.

Кристин не сводила с них глаз. Фред встретил ее взгляд и увидел, как погас лучик надежды, вспыхнувший было, когда они подошли. Полицейский, не ослабивший железной хватки, начал толкать ее к дверям. Кристин упиралась как могла, так упирается приговоренный к смерти по пути на эшафот, зная, что казни не избежать. Вдруг, рванувшись из последних сил, она упала на землю. Ее правая рука, несмотря на наручники, исхитрилась нырнуть в карман куртки, и Фред увидел у нее в пальцах таблетку цианида. Она уронила ее и, извиваясь, поймала ртом вместе с пучком сухих листьев.

— Черт! Она проглотила цианид! — заорал Фред.

Полицейский, из рук которого Кристин на мгновение удалось вырваться, легко, точно крольчонка, поднял ее и попытался подтолкнуть. Кристин выгнулась назад, глаза ее закатились, все тело завибрировало, как струна, изо рта полезла густая белая пена.

На этот раз к полицейскому бросилась Роза. Сквозь гомон толпы и окрики пятнистых форм Фред не расслышал, что она ему говорила, но он во второй раз выпустил Кристин и, кажется, понял, что случилось нечто серьезное. Покачав головой, он позволил Розе подойти к Кристин. Поль и Фред с опаской, но подошли тоже. Мика, которую крепко

1. Немецкие ругательства.

держали двое полицейских, смотрела издалека. Роза порылась в сумке и достала маленький розовый флакончик — Фред узнал сексуальный стимулятор попперс — и поднесла его к носу Кристин.

— Думаешь, эта штука ей поможет? — спросил Фред.

Кристин была белее мела. В пяти метрах от них отчаянно закричал Пьер:

— Кристин! Кристин! Кристин!

Атмосфера сгущалась. Точно в плохом кино, снова пошел дождь, мелкие капельки катились по неподвижному лицу Кристин.

— Попперс — это нитрит амила. Если она вдохнет достаточно, в крови образуется метемоглобин, который, вступая в реакцию с цианидом, дает цианметемоглобин, нетоксичное соединение. Беда в том, что мой отец сделал дело на совесть и дал вам лошадиные дозы.

Полицейский, секунду назад державший Кристин, опустился около нее на колени. Он снял каску — это был совсем молодой парень, их лет, не старше, — и сокрушенно качал головой. Потом наклонился, приложил ухо к груди Кристин и попытался сделать массаж сердца. Подошли еще два полицейских, все трое о чем-то быстро переговорили по-немецки. Один достал рацию и, кажется, кого-то вызвал, Фред не разобрал слов.

Полицейский грузовик, паривший в воздухе, опустился и снова встал колесами на твердую землю; на него больше никто не обращал внимания. Пьер продолжал кричать как оглашенный, а Мика грозить всем кулаками и браниться. Молодой полицейский бросил через плечо:

— Lässt, sie ist mit ihnen. Sie werden am Ende alle Welt in Panik versetzen[1].

Пьера и Мику отпустили. Они побежали к безжизненному телу Кристин, грязь чавкала у них под ногами — хлюп! хлюп! Драматический накал сцены повысился еще на градус. Пьер взял за руку свою любимую, свою несносную женщину, он тихо плакал, слезы и сопли, смешанные с кровью, текли по его лицу. Сам не зная зачем, Фред достал цифровой фотоаппарат и сделал снимок. Лежащая на земле Кристин, коленопреклоненные люди вокруг, плачущий Пьер сжимает ее руку, лица полицейских и демонстрантов на заднем плане — чем-то все это напоминало снятие с креста работы мастера итальянского Ренессанса. Минуту спустя подкатила с воем сирены "скорая помощь", двое мужчин в оранжевых блузах выскочили из машины, натягивая резиновые перчатки.

— Sie nahm Zyanür. Ich habe das Poppers versucht, aber das hat nichts gebracht[2], — сказала Роза.

Один из мужчин в оранжевом сделал то же, что до него полицейский, — ухо к груди, массаж сердца, — потом пустил в ход дефибриллятор. Пьер молчал. Он смотрел пустыми глазами, как суетятся врачи.

— Sie ist gestorben, — сказал тот, что держал дефибриллятор. Поднялся и добавил: — Man geht ins Krankenhaus[3].

Они подняли Кристин. Положили ее на носилки и занесли в машину. Пьер и Мика сели с ней. Фреду, Катрин и Розе места не хватило.

1. Отпустите, она с ними. А то они всех переполошат (*нем.*).
2. Она приняла цианид. Я попробовала дать ей попперс, но это не помогло (*нем.*).
3. Она умерла... Едем в больницу (*нем.*).

Фред подумал, что было бы неплохо, зазвучи сейчас музыка, пианино и несколько скрипок, скорбный мотив под финальные титры. Но это было не кино, это была жизнь во всей ее неприглядности. Без режиссерской руки и монтажных ножниц, без зажигающегося света и встающих зрителей. Просто жизнь, которая продолжалась своим чередом и было ей на все плевать.

"Скорая" уехала, полицейские затолкали последних демонстрантов в помещения Т-4, и на Тиргартене воцарилась привычная тишина, нарушаемая лишь шорохом дождя по мокрым листьям, воркованием одинокого голубя да близким шумом городских улиц.

Часть четвертая

1. Фред

Вернувшись, Фред позвонил отцу. Говорить с ним было все равно что с бронированной дверью кабинета начальника службы по трудоустройству молодежи. Фреду понадобились сутки и полтора десятка хороших косяков, чтобы растопить стресс, осевший острыми кристаллами в различных чувствительных точках его мозга. У него не осталось ни единого евро, нищета, да и только, конец недели неприкасаемого на калькуттском вокзале. Он продал телевизор и DVD-плеер случайному знакомцу из кафе, чтобы отовариться в "Перекрестке". Накупил всего, что не портится: макарон, оливкового масла, сухофруктов. У него случались приступы страха, обычно ночью, и он лежал без сна, обливаясь потом, до утра, а потом не мог подняться, прикованный к постели какой-то тяжелой нездоровой усталостью. Он надеялся продать фотографию мертвой Кристин с немецкими полицейскими вокруг, но множество других фотографий уже всплыло в различных пресс-агентствах. И потом, Кристин ведь отравилась, сама приняла яд, так что и по информативности снимок недотягивал. Его все-таки поместили на сайте "Индимедиа" с подписью: "Активистка движения лишила себя жизни". Денег сайт не платил. Фред дошел до края.

Днем он часто проходил мимо "Макдоналдса", где приклеенное скотчем к стеклу витрины объявление сообщало: "Мы ищем сотрудников". Он колебался. Однажды собрался с духом, толкнул дверь и подошел к прыщавому дылде в красно-желтой форме, стоявшему за прилавком. Но спасовал и съел чизбургер, пережевывая мысли о самоубийстве.

Прежде чем решиться на этот шаг, он позвонил отцу. Скулил как щенок, оставленный на весь день в пустой квартире. Признал свою неправоту, засунув подальше гордость, покаялся, как Каменев перед Сталиным, жить захочешь — научишься. Он даже сам предложил меру наказания: "Больше никаких каникул летом и горных лыж зимой". Отец сказал, что подумает, и перезвонил на следующий день. Опять зашла речь о газовой колонке и о том, что отец называл "его проблемой с наркотиками". Фред унижался, как никогда в жизни, пресмыкался, говорил, что он "многое понял в Берлине", бил себя в грудь и посыпал голову

пеплом. На ходу выдумал тему диссертации "Рождение гуманистического капитализма и кризис английской текстильной промышленности в XVII веке", плевать, он был готов на все, ему срочно требовались деньги. Надо думать, он был убедителен, потому что отец сказал: "Ладно, будем считать, что этот кризис мы преодолели" — своим окаянным тоном большого начальника, обращающегося к рабочим, прекратившим забастовку. Фред вытолкнул из себя "спасибо", едва не разорвавшее ему горло. Повесив трубку, он рухнул без сил на диван. На сердце было гадко, но камень с души свалился.

Он закрыл глаза, ему не хватало Кристин. Никак не укладывалось в голове, что она умерла и ее тело доставлено на родину компанией "Европ ассистанс" в грузовом отсеке аэробуса А-320, битком набитого бизнесменами, руководящими кадрами и европейскими чиновниками, которые знать ни о чем не знали. Пьер, Поль и Фред столкнулись с родителями Кристин, когда те пришли забрать тело. Родители посмотрели на них, как на трех шелудивых псов, жалких, но и опасных где-нибудь в переулках столицы третьего мира. Пьер хотел было объяснить им все обстоятельства, родители сказали, что уже достаточно наслушались, Пьер ретировался и нагнал Поля и Фреда. В холодном углу у стены ангара они встретили рассвет.

После этого Пьер, Поль и Фред больше не виделись. Может быть, потому, что тяжелые воспоминания еще тяжелее, когда они общие. Насколько знал Фред, Поль болтался без дела, хотел уехать, хоть на строительство, хоть на эпидемию, хоть на голод, тыркался в разные международные организации, но это оказалось не так просто, требовалась квалификация, нужно было собирать документы, писать письма, излагать мотивировки. Вот он и болтался без дела, лечил свой мочеиспускательный канал антибиотиками, разрушавшими пищеварительный тракт, что превратило его походы в туалет в фильмы ужасов. Пьер же долго не мог оправиться от удара дубинкой, который, как Фред и думал, нанес серьезные повреждения лишнему рту. Медики ничего не понимали в организме бедняги клона, и в конце концов его отправили к гастроэнтерологу, который оказался единственным, кто смог подлечить странные слизистые оболочки. Фред слышал, что родители часто звонили Пьеру из своего "центра исследований" и предлагали заехать, "расслабиться в сауне", попить "витаминчики", это, мол, поможет "пережить утрату". Фред ему не звонил. У него были свои проблемы, мухи в голове, отец, сексуальный голод, колонка, которая снова подтекала, полное отсутствие интереса к диссертации и ожидание немного пугающей, но неотвратимой старости.

И еще ему надо было купить телевизор и DVD-плеер.

2. *Катрин и Роза*

Катрин смотрела на Розу. Роза смотрела на Катрин. Стрелки будильника показывали полдень, и золотистые лучи солнца, пробиваясь сквозь жалюзи, рядами параллельных бликов ложились к ногам молодых женщин, точно божественный дар. Роза встала, по-кошачьи потянулась и сунула ноги в шелковые домашние туфельки с маркой бангкокского оте-

ля "Ройал Бенжа". Она еще не совсем привыкла к роскоши, но Катрин была полна решимости помочь ей освоиться.

Катрин чувствовала себя много лучше. Живот, кожа, запах кардамона... Все это как рукой сняло в считанные дни, когда они с Розой решили попробовать. Да, попробовать отдаться любви, немного странной, новой для обеих, но все же любви. Катрин знала, что пророчество сбылось, она стала богиней любви, ей хотелось быть медом и ладаном Розиной жизни, и ласкать языком персиковый бархат ее кожи, и вдыхать запах ее волос, запах тропического леса из агавы и папоротника, и целовать ее губы — сказочный ручей с белыми гладкими камешками на дне.

Как во всякой большой любви, были поначалу и трудности, и сомнения. Катрин говорила себе, что так, наверно, и должно быть, что большая любовь подобна горной цепи, перед которой всегда робеешь в первый момент, а потом... Упоение высотой. Катрин тоже встала и подошла к широкому, во всю стену, окну. Роза погладила ее волосы. Пропитанный дымком запах фруктов, углей и курицы с пряностями долетал до них из города. Вдали, точно гигантская диадема, преломлял дневной свет Большой Королевский дворец.

— Жизнь — это подарок, — сказала Роза.

И Катрин с ней согласилась.

3. *Мика и Генрих*

По небу пролетал самолет. Мика схватила новенький цифровик "EOS 300D" и сфотографировала беловатый шлейф конденсата за его хвостом. Попыталась снять и самолет, навела зум на максимум, 35 миллиметров, все равно получилось не в фокусе. Четырехмоторный реактивный самолет с красным логотипом авиакомпаний "Virgin", грубая маскировка для стратегического бомбардировщика Б-52. Люди, должно быть, слепы, если они до сих пор не поняли, что происходит. Через пять минут она сделает еще один снимок, чтобы наглядно показать, как изменился белый шлейф, он уже слишком плотный для конденсата, любуйтесь: чемтрейл во всей красе.

Война продолжается.

Мика прикрыла рот шейным платком и покосилась на большой кристалл, лежавший рядом на столе. Это был "клауд-бастер", последнее достижение в области средств защиты, энергетический фильтр, состоящий на сто процентов из оргонита, созданный на основе открытий Вильгельма Рейха и трудов Дона Крофта[1]. Мику голыми руками не возьмешь, Мика еще поживет, а после демонстрации и позорного провала компании недоумков, которые, так их растак, ни одного снимка сделать не сумели, Мика знала, что может рассчитывать только на себя. На Генриха тоже, и еще кое на кого... Их немного. Бой идет трудный, нерав-

1. Вильгельм Рейх (1897—1957) — австрийский психолог, ученик Фрейда. Рейх работал, в частности, над поиском "жизненной энергии в чистом виде", которой он дал название — оргон. Американский ученый Дон Крофт, вдохновившись трудами Рейха, создал так называемый энергетический фильтр — оргонит.

ный. Но кто-то же должен бороться. За людей, за их спасение. Тогда, после демонстрации, ничего не удалось доказать. Журналисты едва обмолвились о "злоупотреблениях". Правительство радостно заявляло о применении "нелетального" оружия, позволившего предотвратить "катастрофу". Поступило несколько жалоб от тех, кого продержали в стенах Т-4 больше двадцати четырех часов. Ни одной из них не был дан ход. Журналисты, полиция, правосудие — все куплены с потрохами, все марионетки. Это не ново.

Она услышала кашель Генриха. Разрушенные микроволокном алюминия легкие мучили его все сильней. Ничего не поделаешь. Даже кессон сенсорной изоляции и пары ментола больше не приносили облегчения. Он сам знал, что долго не протянет. И работал аврально, торопясь пополнить свой сайт любой информацией, какую только удавалось найти. Сервер из Зеландии повысил расценки, возможно, придется искать другой, Генрих слышал о независимом сервере где-то на Украине. Надо бы навести справки, но ему некогда. Дел невпроворот: закончить статью о спутниках-шпионах, запущенных с ракеты-носителя "Ариан-5", разоблачить айбиэмовские разработки подкожных "жучков", установить связь между проектом Хаарп и цунами в декабре 2004 года...

Мика отложила фотоаппарат и пошла в кабинет. Генрих поднял глаза от клавиатуры и улыбнулся ей.

— Тебе ничего не нужно? — спросила она.

Генрих покачал головой и сделал ей знак подойти ближе. Мика подошла и погладила морщины, пересекавшие лоб старика. Потом наклонилась и поцеловала его.

— Я люблю тебя, — сказала она.

Генрих прижал ее к себе.

— Победа будет за нами.

Мика никогда в этом не сомневалась.

Это лишь вопрос времени.

4. *Фабио*

Фабио не уехал из Берлина. Он прижился, ему было здесь хорошо.

Он снял маленькую квартирку в Кройцберге, днем спал, жил ночью. Ему было хорошо.

Свою работу в комиссии он бросил, ему не нужно было работать, чтобы жить. Ему было хорошо.

Около шести часов вечера он принимал душ и переодевался, надевал джинсы "G-star", футболку "Levi's" и сверху короткую кожаную куртку. Смотрелся в большое зеркало, которое поставил напротив кровати, нравился себе — прелесть! — и, выйдя из дома, направлялся к площади Хакешер-маркт. Ему было хорошо.

Он был завсегдатаем двух-трех тамошних ночных клубов. Входил, слегка выпячивал грудь, чтобы обозначилась мускулатура. Мальчики на него оглядывались. Он их возбуждал, это возбуждало его. Ему было хорошо, по-настоящему хорошо. Иной раз он что-нибудь принимал для ощущения праздника — дорожку порошка, капельку допинга с текилой, попперс. Ему было хорошо.

Он шутил и смеялся с мальчиками, его латинский имидж разил наповал. Вот такую жизнь он любил: ходить по кабакам, возбуждать мальчиков, снять одного, желательно ладного и смазливого, увести его к себе домой или пойти к нему, как сложится, и трахаться всю ночь. До одури трахаться. До боли. А если никто не подворачивался, всегда были back room[1]. Чтобы потрахаться до одури, back room – это просто рай. Там крутили классную музыку, от техно до старого краут-рока, Амон Дуул II снова входил в моду. Фабио мог трахаться часами. Не кончая. Он удерживал свой сок час за часом, а когда наконец давал ему волю, то чувствовал себя водопадом Виктория, омывающим Африку в ночь равноденствия. Дикие звери пели ему заздравную, и он касался пальцем краешка вечности. Ему было хорошо.

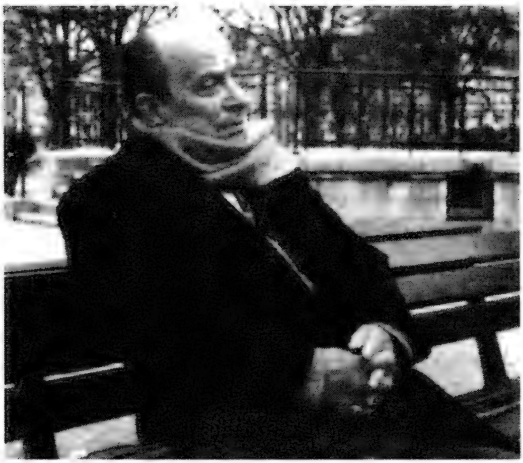
Счастье было в его члене, его член был счастьем, он холил его, как холят многообещающего двухлетка-чемпиона, мыл его нежным мылом и умащивал увлажняющим кремом от Елены Рубинштейн. Он ласково разговаривал с ним. У них был свой, лишь им двоим понятный язык. Его тело было любовной машиной. Ему было хорошо.

Часто под утро, когда он закрывал глаза, в его еще разгоряченный после вызванного стимуляторами пожара мозг закрадывалась отрадная мысль, легкая и очевидная: жизнь – это подарок. Он знал, что так оно и есть, он это чувствовал, ему было хорошо, иной раз даже хотелось повторить вслух: "Жизнь – это подарок".

И он засыпал с улыбкой.

1. Задняя комната (*англ.*).

Роберто Хуаррос



Стихи

Перевод с испанского и вступление Эсмиры Серовой

Аргентинский поэт, эссеист и переводчик Роберто Хуаррос (1925—1995) родился в поселке Коронел Доррего (провинция Буэнос-Айрес) в семье начальника железнодорожной станции, детство провел в Андроге. Изучал библиотековедение в Университете Буэнос-Айреса и в парижской Сорбонне. 17 лет работал библиотекарем в Национальном коллеже. 30 лет занимал должность профессора на факультете библиотековедения и документации Университета Буэнос-Айреса. О личной его жизни известно очень мало. В одном интервью Хуаррос говорил: "Поэзия не выражается обстоятельствами внешними; <...> связь между поэзией и внутренней жизнью гораздо интереснее связи между поэзией и биографией. <...> Моя цель — чувствовать, что я живу той жизнью, которой должен жить".

В 1958—1965 годах Роберто Хуаррос совместно с Марио Моралесом руководил журналом "Поэзия=Поэзия". Писал эссе (среди которых можно выделить "Поэзия и творчество (Диалоги с Гильермо Бойдо[1])", "Поэзия и реальность", "Поэзия, литература и герменевтика (Беседы с Тереситой Саги[2])"), сотрудничал с множеством аргентинских и иностранных изданий. Был литературным и кинокритиком. Работал в ЮНЕСКО.

Первые свои стихи Хуаррос написал в возрасте 15—16 лет и впоследствии предпочитал не вспоминать о них. За всю свою жизнь Роберто Хуаррос опубликовал 13 книг, 14-я появилась посмертно в 1997 году. Все эти книги имеют название "Вертикальная поэзия", различаясь между собой лишь номерами: "Вертикальная поэзия" в 1958-м, "Вторая вертикальная поэзия" в 1963-м, "Третья вертикальная поэзия" в 1965-м, "Четвертая вертикальная поэзия" в 1969-м и так далее. Пронумерованы и безымянны и стихотворения, составляющие каждую книгу.

© Roberto Juarros
© Эсмира Серова. Перевод, вступление, 2008

1. Гильермо Бойдо (р. 1941) — аргентинский поэт, физик, эпистемолог.
2. Тересита Сальенаве де Саги — аргентинская писательница, ученый-социолог.

Вертикальность в стихах Хуарроса — это термин, который можно ассоциировать с высотой и бездной. Хуаррос утверждал, что "стихотворение <...> находится в вертикальном времени. <...> Из всех движений человека есть одно, к которому мы неизбежно стремимся, которое повторяется на протяжении всей нашей жизни, пока не происходит в определенной форме: это падение. Падение включает в себя и листву дерева, и все, что существует во вселенной. Тем не менее я ощущал также, как парадоксально происходит и обратное движение. Как если бы на дне пропасти происходил отскок, и именно тогда начинается подъем. <...> Восхождение происходит в той же поэзии, в возможности ее сформировать словами и безмолвием, той музыкой, которая позволяет нам говорить некоторые главные вещи о реальности и о себе самих".

Поэзия Роберто Хуарроса примечательна своим единством формы, тона, темы и стиля.

Хуаррос писал стихотворения исключительно короткие и концептуально концентрированные, в которых отсутствует рифма или метрическая упорядоченность. Лаконичные и строгие, аскетичные и беспристрастные, эти стихи обладают внутренним ритмом, который читатель быстро узнает как характерный. Поэзия Хуарроса обходится без географических и исторических отсылок, вербальных локализмов, эвритмии и эвфонии, сентиментальных излияний чувств, анекдотов, авторитетных голосов и априорных поэтик. Что характерно, его тексты, очищенные, симметрично структурированные, часто имеющие загадочный или парадоксальный смысл, тяготеют к утвердительной форме.

Поэзию Хуарроса вполне можно было бы классифицировать как "чистую поэзию", и неизменным остается то, что, в отличие от большинства "чистых" поэтов, аргентинца не привлекает ни вербальная музыкальность, ни эксперименты с формой как таковые. Хуаррос не стремится построить "чистую поэзию", в которой означаемое второстепенно, а самым важным является игра означающих. Напротив, одержимость Хуарроса ограничена последней основой той "внешней реальности", о которой его поэзия стремится свидетельствовать стихом как можно более ясным, языком, всецело подчиненным своему предмету, полностью превращенным в средство. Посреди политических и социальных волнений, которые переживала страна Хуарроса во второй половине XX века, его абсолютное молчание относительно этих тем, бесспорно, превратило его в белую ворону среди собратьев по перу в Латинской Америке.

Кажется, что в этих стихах нет говорящего; обычно это безличные высказывания: размышления либо об истинности каких-то идей, либо на абстрактные темы, или наблюдения за повседневными вещами, вдруг приобретающими неожиданные черты. Мы ни разу не встречаем в них лирического "я"; лишь иногда далекое третье лицо, коллективное "мы" или анонимное "человек" поддерживают вербальную структуру стихотворений.

Тематически стихотворения Хуарроса походят на интеллектуальное исследование, объект которого невыразимо быстротечен, это самая главная и самая туманная тема — онтологическое бытие. Следуя этим характеристикам, поэзию Хуарроса называли "философской", "метафизической", "абстрактной" и еще "мистической". (К латиноамериканским поэтам-метафизикам или поэтам-гностикам XX века еще относили аргентинского поэта Альберто Хирри (1918—1991).) Однако страстность этой поэзии одерживает верх над ее суровой формальной сдержанностью и проявляется как созидательная дисциплина, подталкиваемая на протяжении всей жизни.

"...я бы перечислил авторов немецкого романтизма, Новалиса, Ницше, а также Гераклита, Рембо, Аполлинера и т. д. На меня повлияла вся литература" — так говорил сам Хуаррос об оказанных на него литературных влияниях и почти с одержимостью настаивал, что своим голосом он во многом обязан Антонио Порчиа[1]: "Антонио Порчиа оказал на меня исключительное влияние. Чтение его первой книги, случайно найденной одним моим знакомым учителем... совершенно покорило меня. Мне было интересно познакомиться с ним лично, и с тех пор между нами зародилась дружба на всю жизнь. Он был мастером языка..." Однако очевидно, что объединяет этих двух поэтов скорее личная симпатия, чем эстетические позиции. Из книги "Поэзия и творчество (Диалоги с Гильермо Бойдо)" заметно, как сам Хуаррос презирает всякое литературное родство. Поэзию Хуарроса можно назвать "поэзией мысли", и с этой точки зрения она может ассоциироваться с поэзией его соотечественника Маседонио Фернандеса (1874—1952), одного из лидеров ультраизма[2] в Ла-Плате 20-х годов, который считается первым аргентинским поэтом-метафизиком, литературным наставником Х. Л. Борхеса. Творчество Фернандеса повлияло на целое поколение интеллигенции, в том числе на Хулио Кортасара. В теоретических заметках Хуарроса заметно его родство с креационизмом чилийского поэта Висенте Уидобро и, через последнего, с символизмом Стефана Малларме. Поэзия Хуарроса моментами не чужда философии Мартина Хайдеггера.

***

Тишина, живущая в двух словах,
не та же самая, что окутывает голову падающего человека,
и не та же, что запечатлевает присутствие дерева,
когда гаснет вечерний пожар ветра.

Так же, как каждый голос имеет свой тембр и высоту,
у каждой тишины есть свой регистр и своя глубина.
Молчание одного человека отличается от молчания другого,
и не произносить одно имя не то же самое,
что не произносить другое.

Существует алфавит тишины,
но мы не научились его расшифровывать.
Тем не менее книга тишины — единственно долговечная,
возможно, долговечнее своего читателя.

1. Антонио Порчиа (1885—1968) — аргентинский писатель, итальянец по происхождению, мастер афоризма, автор единственной книги "Las Voces" ("Голоса"/"Слова").
2. Ультраизм — одно из "левых" течений в испанской поэзии, возникшее после Первой мировой войны; выражал протест против мещанской пошлости и буржуазной ограниченности; отвергал национальные культурные традиции, провозглашая необходимость создания новой поэзии, соответствующей динамизму XX в. На первый план ультраизм выдвигал чисто формальные искания: отказ от рифмы, классической метрики и знаков препинания, сочетание образа словесного с визуальным, возникающим в результате определенного типографского рисунка стиха.

***

Порой
стихотворение
будит нас ото сна.

И мы снова засыпаем,
чтобы еще раз найти его,
но не можем отыскать.

Стихотворения в снах
идут в другую сторону.

***

Мир — это вторая часть
неполной метафоры,
сравнения,
первый элемент которого потерян.

Где же то, что было подобно миру?
Убежало ли оно из фразы
или мы его стерли?

А может, эта метафора
всегда была неполной?

***

Мы говорим то, что говорим,
чтобы за смертью не осталось
последнее слово.

Но не останется ли за смертью
последнее молчание?

Нужно говорить и молчание.

***

Искать одно
значит всегда находить другое.
Таким образом, чтобы найти что-то,
нужно искать то, что им не является.

Искать птицу, чтобы встретить розу,
искать любовь, чтобы найти изгнание,
искать ничто, чтобы обнаружить человека,
идти вперед, чтобы идти назад.

Ключ к дороге
не столько в ее развилках,
ее подозрительном начале
или сомнительном конце,
сколько в насмешливой натуре
твоего двойственного разума.

Он всегда движется,
но в другую сторону.

Все проходит.
Но наоборот.

***

Думаю, в эту минуту,
вероятно, никто во вселенной не думает обо мне,
думаю обо мне только я,
и умри я сейчас,
никто, даже я, не будет обо мне думать.

И тут открывается пропасть,
как тогда, когда я засыпаю.
Я сам себе опора, и я отказываюсь от нее.
Отдаю всё как свой вклад в заполнение отсутствия.

Быть может, потому-то
мысль о человеке
кажется его спасением.

***

Как любить несовершенство,
если в нем мы слышим
зов совершенства?

Как можно следовать
в падении или распаде вещей
примеру того, что не падает и не распадается?

Наверное, мы должны понять, что несовершенство —
это иная форма совершенства:
форма, принимаемая совершенством для того,
чтобы его можно было любить.

***

Мы черновик текста,
который никогда не будет переписан набело.

Со словами вымаранными,
повторяющимися,
неверно написанными
и даже с орфографическими ошибками.
Со словами надеющимися,
как и все слова,
но покинутыми здесь,
покинутыми вдвойне
на тяжеловесных, одеревенелых страницах.

И все же было бы достаточно прочесть этот грубый
черновик один-единственный раз громким голосом,
чтобы мы больше не ждали
никакого окончательного текста.

***

Ответы закончились.
Возможно, они никогда и не существовали
и были лишь зеркалами,
стоявшими напротив пустоты.

Но теперь закончились и вопросы.
Зеркала разбиты,
они уже ничего не отражают.
И нет способа их починить.

Однако,
может, остается какая-то часть вопроса.
Молчание — это тоже вопрос.

Остается зеркало, которое разбить нельзя,
ибо напротив него нет ничего,
ибо оно внутри всего.

Мы нашли вопрос.
Будет ли молчание и ответом?

Наверное, до определенного момента
вопросы и ответы в точности равны друг другу.

***

Наступает момент,
когда человек освобождается от своей биографии,
и тогда он отказывается от этой унизительной тени,
этой иллюзии — прошлого.

Уже больше не нужно ни служить
тесной формуле себя самого,
ни продолжать его завоевания,
ни плакать на перепутьях.

Отказаться от собственной биографии
и не признавать собственные документы
значит облегчить багаж перед путешествием.

Это как прикрепить на стене пустую рамку,
чтобы никакой пейзаж не замучился там висеть.

***

Когда мне не хватает света,
мне кажется, что света не может быть.

Когда я остаюсь вне стихотворения,
мне кажется, что стихотворения не может быть.

Когда я перестаю смотреть на тебя,
мне кажется, что тебя не может быть.

Когда я потеряю жизнь,
мне покажется, что жизнь невозможна.

И если бы можно было не думать,
мне казалось бы, что думать невозможно.

Вне вещи
вещи не может быть.

Вне всего
всё невозможно.

Но есть одно исключение:
внутри меня меня тоже не может быть.

Шон Макбрайд
Зелень. Трава. Благодать

Роман

Перевод с английского Никиты Михайлина

11

Тэк-парк пахнет на три доллара: одеколоном и духами. Но это не потому, что каждый из шестидесяти тусующихся здесь ребят пользуется одеколоном и духами стоимостью в три доллара. Я имею в виду, что три доллара — красная цена той смеси запахов, что исходит от каждого из них в отдельности. Пятачок пучок, в базарный день. В субботу вечером от Тэк-парка попахивает.

Тэк-парк — это далеко не то же самое, что Никльбэк-парк. Спортплощадки в Филадельфии тоже зовут парками: Такавана-парк, Руссо-парк, Шарк-парк. На таких спортплощадках-парках обязательно есть баскетбольная площадка, реже теннисные корты с пробивающейся кое-где травой, усеянные собачьим дерьмом и пустыми банками из-под пива. Парки в общепринятом смысле этого слова, такие, как Никльбэк-парк или Фэрмаунт-парк, где есть деревья, ручьи, дорожки — как велосипедные, так и для конных прогулок — и где протекает "экологичная" жизнь, в Филадельфии тоже зовутся парками. В Тэк-парке ничего такого нет и в помине, если, конечно, не считать пробивающиеся сквозь растрескавшийся цемент чахлые сорняки садами, а деревянные спинки сидений с вытертыми логотипами "Севенти-сиксерз" — деревьями. Тэк-парк поделен на четыре равные части: баскетбольная площадка, место под парковку (для машин), место под парковку (для игры в стикбол) и два теннисных корта, где нет сеток, равно как и игроков. Баскетбольная площадка, где, благодаря Гарри и мистеру Каррану, всегда есть кольца с сетками, выходит на Ав и расположена через дорогу, ровно по диагонали от "У Манджоли". По соседству с баскетбольной площадкой стоит бетонная раздевалка, и огромный портрет Мэган О'Дрейн смотрит со стены на площадку. На портрете Мэган, у которой были сиськи третьего размера и рыжие волосы, стоит в желтой спортивной форме, прижимая к бедру футбольный мяч, и, широко улыбаясь, смотрит всем прямо в глаза. Никуда нельзя деться от пляшущего взгляда ее больших голубых глаз. Портрет появился на стене сразу же после ее смерти, поговаривали даже о том, чтобы переименовать спортплощадку в ее честь, но дальше разговоров дело не пошло. Парк так и остался Тэк-парком, а на стене появился гигантский портрет с простенькой табличкой внизу, на которой коротко и ясно значится: МЭГАН О'ДРЕЙН 1966–1983.

Окончание. Начало в "ИЛ", 2008, № 3.

Фотография, с которой рисовался портрет, висит в нашей комнате у Стивена над кроватью и под моей кроватью, соответственно. Портрет мне нравится больше. Днем, когда солнце бьет прямо в стену, Мэган, бля, просто сияет, вся такая живая и яркая. Даже вечером, в темноте, ее рыжие волосы, желтая форма и голубые глаза светятся так, как будто весь день впитывали в себя солнечный свет. Она кажется счастливой и святой, совсем не мертвой, и смотрит с теплом и любовью на ребят из нашего квартала, которых покинула навсегда. Иное дело фотография у нас дома. Она висит на стене между двух кроватей и потому всегда укрыта тенью и не знает солнечного света. Рамка темная и слишком большая, не по размеру снимка, поэтому впечатление такое, будто Мэган поймали в коробку и тем самым навсегда лишили солнца. На фотографии Мэган точь-в-точь такая, какая она и есть на самом деле: красивая и мертвая.

Сегодня вечером Тэк-парк буквально распирает от жизни: даже в воздухе как будто чувствуется электричество. Шестьдесят красиво одетых и приятно пахнущих девчонок и парней сгрудились возле площадки и тянут пиво из пластиковых стаканчиков. Тусовка в разгаре: парни громко травят анекдоты или демонстрируют свою крутизну, девчонки хихикают и лопают пузыри из жвачки. И те и другие ждут, когда на улице стемнеет достаточно для того, чтобы можно было подраться и потискать друг дружку. Лето на исходе. Кег с пивом стоит непочатый. Телки выглядят аппетитно. В понедельник в школу. В прохладном воздухе витает ощущение чего-то, что должно случиться.

Пятеро фиштаунских бросают мяч по корзине на том конце площадки. Стрижка под ежик, злые лица, короткие спортивные шорты, футбольные кроссовки "Адидас" на невысоком подъеме, худые ноги, толстые гольфы.

Стивен стоит пьяный напротив портрета Мэган возле кега с пивом. Он не обращает внимания на портрет (он вообще никогда не смотрит в ту сторону), он срывает пробку и разливает пиво телкам. Пьяный, он веселит всех телок вокруг, а те поддаются силе его обаяния, даже несмотря на то, что Стивен в депрессии, но близко не подходят. Все девчонки прекрасно знают, что Стивен скоро напьется в стельку, а они окажутся в других объятиях.

Бобби Джеймс и Марджи Мерфи тоже здесь: сидят в сторонке и сосутся, не обращая ни на кого внимания. На них тоже никто внимания не обращает, за исключением, конечно же, Джима Джардина — этот глазеет, как всегда. Грейс курит и перекидывается шуточками с крутыми телками постарше (те ее любят). Изредка улыбается мне, когда я в прыжке посылаю мяч в корзину настолько чисто, что тот даже не задевает кольца. Что-что, а это у меня получается обалденно. Чего не скажешь про остальную команду. Крамп с Бурком крепкие, но невысокие. Они носятся по площадке как уродцы из местной команды по американскому футболу, ни дать ни взять два здоровенных робота, исполняющих балетную партию. Верзила Джорджи О'Кифи тоже играет за нас. Росту в Джорджи добрых шесть футов и семь дюймов при весе в сотню фунтов, если считать двадцатифунтовые брэкеты у него во рту. Ему семнадцать, волосы черные и жирные, и поперек рожи большими буквами написано "семинарист". Он принадлежит к тому типу парней, которые, досыта накушавшись за день всякой книжной мути у себя в семинарии, приходят на

площадку, чтобы выпустить пар. Координация у него нулевая, подачи с отскока он принимать не умеет, к тому же любой хилый мозгляк вроде меня запросто может вытолкать его за линию поля. Он мне нравится, даже несмотря на то, что играть не умеет. Он без дешевых понтов и при этом не ссыкун; большинство здесь присутствующих относится либо к первой категории, либо ко второй, либо к обоим вместе. Завершает список игроков нашей команды Гарри, который заплатил за игру Крампу и Бурку по десятке на рыло и теперь нарезает дистанции туда-сюда по площадке. Все над ним смеются, но ему насрать.

Несмотря на то, что в нашей команде кроме меня никто играть не умеет, победа все равно должна остаться за нами. В команде у фиштаунских нет никого, кто был бы выше пяти футов десяти дюймов и весил больше ста пятидесяти фунтов. Не говоря уж о том, что никто из них и в щит-то толком попасть не может, про кольцо я вообще молчу. В Фиштауне все гоняют в футбол. Они играют на посыпанном гравием поле под названием Ньютс, прямо под эстакадой, а их родители закидывают поле бутылками, если судья не видит нарушений.

– Ну что, пацаны твои готовы играть? – спрашивает один из фиштаунских, приближаясь к Крампу.

– Давно уж, – отвечает Крамп.

– Те двое мелких тоже за вас? – спрашивает он, показывая пальцем на нас с Гарри.

– Йоу, это, брат, наш центральный нападающий и опорный защитник, – отвечает ему Крамп.

Пацан из Фиштауна улыбается, обнажая два неполных ряда зубов.

– Чьим мячом играем?

– Нашим, – отвечает Крамп и показывает ему кожаный мяч, какие бывают только у тех, чьи отцы работают со сверхурочными. Что до всех остальных, то они могут похвастаться разве что каким-нибудь красно-бело-синим дерьмом с надписью "Сиксерз" вроде того, что приволокли с собой фиштаунские.

– До скольких играем? – спрашивает тот.

– До одиннадцати, с разницей в два, – отвечает Крамп.

– Ништяк. Потом меняемся?

– Не, проигравшие с поля.

– Хорошо. Есть у вас, пацаны, какие-нибудь особые правила, о которых нам надо знать?

Я вижу хороший повод для шутки. Шутки вызывают смех. Побольше смеха – и никого не изобьют.

– Да вообще-то есть парочка. Иди сюда, Гарри, – говорю я.

Гарри повелся, вот идиот. Ох и попрыгает сейчас у меня этот Даффи Дак. А я, пожалуй, выступлю в роли Багза Банни[1].

– Нельзя делать вот так, – говорю я и, словно каратист, бью Гарри ребром ладони в живот. *Ой,* вскрикивает Гарри. – И так, – я с силой наступаю Гарри на ногу. *Уй,* стонет Гарри. – И вот так, – я оттягиваю на себя его спортивные очки, а затем резко их отпускаю. *Господи, Генри, пре-*

1. Герои известной серии короткометражных мультфильмов "Багз Банни" компании "Уорнер Бразерз", где Багз Банни всячески издевается над своим противником Даффи Даком. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

крати, мы же в одной команде, хнычет Гарри. Взрыв смеха по обеим сторонам поля. Один из фиштаунских спрашивает, обращаясь ко мне:

— А как насчет этого, этого и вот этого? — а сам параллельно лупит ладонью по чем попало своего сотоварища по команде, а тот кричит *Ай, эй, какого, отвянь*. И снова взрыв смеха.

— О'кей, все всё поняли? *Во время* игры никаких драк, — заключает Бурк и с ухмылкой смотрит на десяток парней, кучкующихся возле кега с пивом. Эти — среди них я узнаю Ральфа с Джералдом — явно пришли сюда подраться. Сейчас с ними Стивен, но я не знаю, собирается он участвовать или нет. По трезвой точно не стал бы, но в данный момент трезвым его никак не назовешь. Шатаясь из стороны в сторону, он замечает меня на площадке.

— Генри! Это кто там, мой братишка, что ли? Точно, он, — тянет он невнятно и выбегает на площадку: потный, в руке бутылка, завернутая в мусорный пакет — торчит только горлышко.

— Смотри, как надо, Генри, — говорит он мне.

Он забирает мяч и бежит вперед, небрежно ведя мяч и насвистывая "Милая Джорджия Браун". Походя делает пару красивых забросов. Все кругом смеются, все, кроме Бурка.

— Ладно, Тухи, хорош уже, — говорит он. — Возвращайся за линию. Верни спортсменам мяч.

Стивен отвечает ему улыбкой, которая красноречиво отсылает Бурка на хер, и идет прямо на него, пока Ральф Куни не бросает ему навстречу *Давай вали с поля, ты, пьяный ублюдок*. Стивен резко, всем корпусом поворачивается к Ральфу, подходит к нему вплотную, лицом к лицу.

— Ну-ка повтори, Ральф, что ты сказал? — спрашивает он.

— Я сказал, давай вали с поля, ты, пьяный ублюдок, — говорит Ральф.

— У тебя какие-то проблемы?

— Может быть.

— Либо есть проблемы, либо их нет. Ну?

Ральф смотрит в землю, потом делает попытку провести удар снизу, но Стивен уже ждет этого. Он через голову стягивает с Ральфа футболку и под всеобщий смех дает ему пинок под зад.

— А теперь отвали, и чтоб я тебя больше не видел, — говорит Стивен.

Ральф, красный как рак и со слезами на глазах, натягивает футболку обратно и смотрит на смеющихся над ним девчонок.

— Поглядим, как они посмеются, когда я притащу сюда папину пушку и пристрелю тебя, — цедит он сквозь зубы.

— Уже сто раз от тебя это слышал, — говорит ему Стивен. — Притащи пушку и пристрели меня, а нет — так заткнись и не тявкай.

Ральф снова краснеет и затыкается.

— Молодец, песик, — бросает ему Стивен и вновь поворачивается к девчонкам у кега: — Ну-с, девчонки, на чем мы остановились? По-моему, я только что открыл здесь бар и пригласил в него вас, красивые вы мои.

Девчонки хихикают. Стивен наполняет стаканы. Он уже успел забыть про Ральфа, который стоит и курит в сторонке.

Игра началась. Каждый держит своего игрока. Я пытаюсь отнять мяч у парня, который достался мне. Чувака зовут Стэн, у него нет левой руки. Он водит мяч правой. Я заставляю его сместиться влево. Как только он пе-

реводит мяч себе на южную сторону, я его обворовываю, прохожу к кольцу и делаю заброс. Один-ноль, мы ведем. Грейс зажимает сигарету губами и усиленно хлопает в ладоши. Стивен выкачивает пиво из кега. Районные отморозки хлещут пиво. Бобби Джеймс целуется взасос с Марджи Мерфи. С той стороны Ав за нами украдкой следит большое круглое окно над входом в церковь Святого Игнатия, словно это Яхве своим окосевшим с перепою глазом наблюдает за тем, как грешные ребятишки загрязняют воздух на его планете пивной отрыжкой и запахом поддельной французской туалетной воды. После моего прохода фиштаунские отыгрывают очко. Затем следует три-четыре небрежных атаки. Вот один изобразил нечто похожее на бросок с угла, но мяч вылетает из кольца, предварительно постучавшись об него двенадцать раз подряд. Да уж, мы играем явно не с "Селтикс".

Чем дальше, тем игра становится все более бестолковой. Джордж О'Кифи и Гарри делают по три броска каждый — и все мимо кассы. Фиштаунские сначала пробегают шагов десять в сторону нашего кольца, а потом лупят со всей дури в щит, как будто не мячом играют, а кирпичами. Целых двадцать минут счет 4 : 4 — и не меняется. Толпа за боковой линией усердно опустошает кег и не обращает на игру никакого внимания, только Грейс встречает все мои действия одобрительными возгласами или же, наоборот, улюлюканьем. Пиво льется рекой, парни начинают потихоньку приставать к девчонкам. Стивен отбрасывает пустую бутылку из-под скотча — вдребезги — и переключается на холодное пиво из пластиковых стаканчиков. Капает счет. Я забрасываю два двухочковых. Бурк и Крамп сломя голову летят к корзине, чтобы потом промазать мимо кольца. Джорджи делает крюк с трехочковой отметки. Фиштаунские все время догоняют нас в счете, находя бреши в нашей обороне и пользуясь тем, что Бурк с Крампом время от времени уходят с поля, чтобы наполнить свои стаканы. При счете 10 : 9 в нашу пользу шальной мяч попадает Гарри в голову и отскакивает прямо в кольцо. Гарри скачет от радости, как будто только что выиграл в лотерею (что в данном случае не столь уж далеко от истины), и вдруг теряет стекло от очков. Игру останавливают, чтобы дать ему возможность поползать на четвереньках и поискать стекло на земле.

Фиштаунские собираются в кучку посовещаться. Бурк с Крампом, два придурка, бочком-бочком присоединяются к своим, чтобы все окончательно спланировать насчет драки. Стивен спотыкается и едва удерживается на ногах. Он рассказывает что-то смешное двум каким-то девчонкам. Те с тревогой переглядываются. Джеймс сосется с Мерфи. Грейс подбрасывает сигарету тыльной стороной ладони и ловит ее губами под аплодисменты небольшой группки собравшихся вокруг нее зрителей. Гарри ползает по цементу, извиваясь между народом, который стоит, пьет пиво и громко разговаривает. Я пробираюсь к фиштаунским. У меня есть план по их спасению, но нужно все ловко обделать.

— Йоу, — говорю я, обращаясь к Стэну, этот парень свой.

— Йоу, — отвечает он мне.

— Видишь вон тех, возле кега? — говорю я ему и киваю (но не показываю) в нужную сторону.

— Да? — говорит он, подразумевая *и дальше что?*

— Они собираются после игры набить вам всем морду, — сообщаю ему я.

— Что? — переспрашивает Стэн со злостью, но без капли удивления. Теперь меня слушают все пятеро.

— Они хотят наброситься на вас сразу после игры.

— А ты что вообще за хрен с горы, чтобы мы тебе верили? — спрашивает Стэн.

— Я Генри, Стэн.

— Не называй меня Стэн. Дружбанов своих звать так будешь.

— Извини, просто хотел помочь.

Стэн делает лицо попроще.

— Почему сейчас говоришь? Зачем нам знать раньше времени? — спрашивает он меня, и тут парни у кега замечают, что я базарю с фиштаунскими, и начинают тыкать пальцами в нашу сторону, а Гарри кричит:

— Я нашел стекло! Все в порядке! Продолжаем игру!

— Слушайте, у меня есть идея, как вас спасти, — говорю я.

Я спасу их тем, что вознесу молитву Господу или же нарисуюсь дурак дураком — все зависит от того, как вы на это посмотрите.

— Что? И как же? — спрашивает меня Стэн.

— Просто постарайтесь выбросить мяч подальше за линию. А там уж я сам. Потом ждите моего знака. И бегите. Всё понял? — спрашиваю я, уже полностью поглощенный претворением своего плана в жизнь.

Стэн утвердительно кивает и бросает беглый взгляд на остальных своих. Игроки трусцой возвращаются на поле. Билл Бурк кладет мне сзади руку на плечо и нацепляет свою ковбойскую улыбочку. И мне тут же представляется картинка, как он пятнадцать лет спустя на этой же самой площадке бьет своего сына за то, что тот упустил пас.

— Генри, ты что, сговариваешься с противником? — спрашивает он.

— Нет, просто говорю им, что у них против нас нет шансов, — вешаю я ему в ответ.

— Это точно, — с этими словами он протягивает Стэну мяч. — Готовы?

— А то, — угрюмо, но, похоже, не испугавшись, отвечает Стэн.

Фиштаунские начинают водить мяч туда-сюда по площадке, но по кольцу при этом не кидают. Хорошо. Действуют по плану. Толпа за боковой стала вести себя громче и уделять больше внимания игре. Мяч отлетает к боковой линии, туда, где толпа гуще и стоит кег с пивом. Грейс кричит мне, чтобы я, черт возьми, возвращался в защиту. Стивен плюхается задницей на бетон и тут же встает со смехом, но без радости в глазах. Его мертвая девушка смотрит сзади через его плечо. Джеймс и Мерфи целуются взасос. Толпа гудит, множество мрачных лиц с ненавистью глядят на пятерых ребят из такого же квартала, как и наш, только беднее. Стэн отдает пас своему игроку футов на десять выше его головы, и мяч покидает пределы поля. Свою часть плана они выполнили. Теперь моя очередь. Я трогаю наплечники — на удачу: перед такой большой толпой я еще ни разу не проповедовал. Бурк возвращает мне мяч. Я дважды подвожу мяч к боковой, потом бегу к скамейке, вспрыгиваю на нее и застываю с мячом у бедра. У меня нет никаких заготовок. Для начала я, конечно, возношу хвалу Господу. Вариант беспроигрышный. Иногда во время проповеди приходится нести всякую чушь, просто чтобы потянуть время, в конце концов мы же не на лекции о ракетных двигателях. Бога я называю Иисусом, Иеговой или Мешковенчанным Владыкой — то так, то так.

— Эй, ты там, козлина мелкая, заткни хлебало, — кричит мне кто-то из толпы.

— *Заткнуться?* — переспрашиваю я. — Я возношу хвалу Господу, слышишь ты, придурок?

— От придурка слышу. Заткни пасть, — кричит он мне. Симпатии публики продолжают оставаться на его стороне.

— В таком случае хрен с ним, с Богом, я буду возносить хвалу сиськам, — в отчаянии я решаю сменить тему. — Я люблю сиськи больше самой жизни. Я люблю твои сиськи, и твои, и твои тоже, — провозглашаю я, каждый раз указывая то на одну девчонку, то на другую. — Будь моя воля, я бы их выращивал. Я бы возил их в колясочках. Я бы кормил их молоком, а то все обычно только и делают, что норовят сами к ним присосаться, затем вытирал бы отрыжку, укладывал баиньки, пел бы им колыбельные и сидел бы с ними, пока они не уснут. Я бы купал их в ванне, раскладывал на полочках, любовно гладил и сжимал.

На секунду я останавливаюсь, чтобы посмотреть на реакцию: по крайней мере толпа немного попритихла, кое-кто даже подхихикивает, но только не Грейс, которая, судя по всему, не на шутку злится на меня за то, что я прилюдно заявил о своей любви ко всем без исключения сиськам на планете. Что ж, ладно. Рано или поздно ей все равно придется с этим смириться.

— Да, люди, сиськи! Соски! В лифчиках! Или без лифчиков! Так даже лучше! Кто из вас взойдет на эту скамью и возгласит слово о том, что любит сиськи не меньше, чем я? Забудьте о страхе, ребята! И девчонки тоже! Ведь ваши души тоже открыты любви к сиськам! Да и есть ли в них хоть что-то недостойное всеобщей любви? Братья и сестры, поднимитесь же на лавку и да возвестим вместе о своей любви. Есть ли в ком-нибудь из вас искра чистой любви? — брызнув слюной, вопрошаю я у толпы, которая опять начинает глухо ворчать. То тут, то там слышатся выкрики *педрила* и *мудак*, конечно же, в мой адрес. Хрен с ними, пусть кричат.

Я смотрю на своего брата Стивена Тухи, памятуя о том, как четыре года назад, когда мне было девять, а ему четырнадцать и он играл в финале чемпионата среди юниоров, между двумя игроками завязалась драка, которая тут же переросла во всеобщую свалку: сначала в бой вступили скамейки запасных, за ними ринулись на поле трибуны. Зрелище напоминало сцену из Гражданской войны, не хватало только бород и синих мундиров. Стивен пробился к боковой линии, где валялся мегафон, и запел "Ну кому нужна война?", при этом он плясал как ненормальный до тех пор, пока драка не прекратилась. Все так и замерли, заломив друг другу шеи, разинув рты — того и гляди укусят. А Стивен пел еще как минимум полчаса, пока все кругом не перестали драться и не начали хохотать.

Я хочу, чтобы вернулся прежний Стивен, я рву глотку, чтобы пробудить любовь хоть в ком-нибудь вокруг, а сам неотрывно смотрю на него. И все, что мне от него нужно, это чтобы он откликнулся на мой призыв. Стивен, возвращайся, мать твою. Стань веселым парнем, как раньше. Скажи, что ты еще со мной, что твое сердце еще не умерло до конца. Пожалуйста, стань снова моим героем. Разве не видишь — я почти плачу перед толпой этих тупых ослов. Помоги мне не дать им устроить бойню на глазах у твоей погибшей девушки, которая смотрит со стены.

Стивен вспрыгивает ко мне на скамейку. Расцеловывает меня в обе щеки, правда тут же чуть не падает обратно, но, помахав руками в воздухе, успевает поймать равновесие. Пиво, расплескавшись у него из стакана, орошает потрескавшийся бетон. Он заявляет, что любит сиськи и Иисуса Христа почти так же горячо, как и пиво. Я хмурю брови. Тогда он говорит, что любит все перечисленное в равной степени. Я строю недовольную рожу. Тут он поправляется и говорит, что любит в первую очередь Иисуса, а уже потом пиво и сиськи — вновь я хмурю брови и говорю, что правильней было бы поставить на первое место сиськи, а уже потом все остальное, не важно в каком порядке, все равно это никого не колышет. Стивен исправляется: сиськи, пиво и затем уже Иисуса, я соглашаюсь. Мы оба смеемся. Я перевожу взгляд на Стэна и одними губами говорю ему *Беги*. Они срываются с места и бегут прочь от толпы в сторону калитки, что в противоположном углу площадки, почти ровно по диагонали через дорогу от церкви. Кто-то замечает их и кричит *Уходят!*

Сначала в погоню бросаются человек двадцать, за ними следует вся орда. Все орут в один голос. Толпа единым гребаным потоком проносится мимо меня. Стивен спрыгивает со скамейки и бежит за остальными. Фиштаунских настигают у самой калитки. Первым Стэна. Кто-то сзади срывает с него футболку. Стэн исчезает из виду. Остальные четверо оборачиваются — их тоже заглатывает толпа. Уже лежа на бетоне, они продолжают отбиваться. Сыплются удары и пинки. Кричащее месиво. *На, сука, на, сука, на, на.* Визжат девки. *Мочи, мочи ублюдков.* В толпу врезается Стивен. Растаскивает за шиворот дерущихся. Потом получает сам. Падает, опять поднимается. Бьет в лицо кого-то с битой в руках. Ральфа Куни. Бита со звоном отлетает на бетон, как сорванный грозой колокольчик на школьном дворе. Грейс тоже рядом и вопит *Хватит, хватит.* Кроссовки печатают по лицам. Кровь брызжет из разбитых ртов и носов, а лица все словно отупевшие от наркотиков. Льется кровь из голов. Крики. Пятеро фиштаунских лежат на земле не двигаясь. Районные отморозки месят их по лицам, по шеям и ребрам. Прыгают им на живот. *Нравится, сука?* Церковь нависает над дерущимися, словно вампир в развевающемся плаще. Ральф Куни поднимается и подбирает биту. Занеся ее над головой, идет по направлению к кровавой куче. Вдруг раздается вой полицейской сирены, и он бросает биту. *Копы копы копы. Бежим!* Вся толпа несется назад в мою сторону. А я как стоял на лавке, так и стою. Стивена не видно. Толпа проносится мимо. Чувствую, как кто-то тянет меня за руки, знакомые голоса — Грейс, Бобби, Гарри — кричат мне *Бежим, Генри, бежим.* Не могу даже посмотреть на них, просто вырываюсь и слышу, как они убегают. Появляются патрульные машины. Не могу сдвинуться с места, да и не сдвинусь, пока сам не увижу, как всех ребят распихают по "скорым". И не побегу никуда отсюда. Я, в отличие от остальных ублюдков, ничьи лица в бетон не втаптывал, а они пусть валят на хрен отсюда, если им так надо.

Красные блики от мигалок на кирпичной стене церкви. Пятеро ребят лежат, распластавшись на бетонных ступеньках спортплощадки. Только один шевелится — это Стэн. Лежа на спине, он приподнимает голову и смотрит себе на руку, потом вновь падает головой на бетон. Грудь неровно колышется от прерывистых вздохов. Прибывают два фургона реанимации. Водители загружают ребят в открытую заднюю

дверь. Фургоны с воем исчезают где-то на Ав. Тишина. Рядом со спортплощадкой по-прежнему стоят три патрульных машины с включенными мигалками. Копы сгрудились возле калитки. Им что-то громко и возбужденно рассказывает какой-то старик, и они, запрокинув головы, начинают смеяться. Мистер Джеймс тоже там, с ними, но ему не смешно: он смотрит, как я стою на скамейке в сотне ярдов от него. Подходит ближе — причесаться сегодня он не успел.

— Генри, с тобой все в порядке? — спрашивает он.

Я киваю утвердительно — или мне кажется?

— А где Бобби Джеймс? С ним все нормально?

Еще кивок.

— Он в этом участия не принимал, верно?

Хрена. Не буду отвечать. Он и так знает ответ.

— Ты видел, что здесь произошло? — спрашивает он.

У калитки народу собирается все больше, все больше галдящих придурков. Все что-то громко и возбужденно говорят. От такого эти ублюдки просто тащатся.

— Генри, ты не видел, кто их так?

Дует холодный ветер. Осенний ветер. Он пахнет дождем и расшвыривает мусор по площадке. Я гляжу на ту сторону Ав, туда, где кладбище.

— О'кей. Необязательно сейчас мне обо всем рассказывать. Но хотя бы слезть с лавки ты можешь?

Я смотрю на него, потом себе на ноги. Ноги на скамейке, шнурки развязались. Я слезаю на землю.

— Давай отвезу тебя домой, — предлагает он.

Я молчу в ответ.

— Ладно. Все равно вон идет твой брат Фрэнни, — говорит он.

— Привет, — говорит Фрэнни. Лицо у него озабоченное. — Я слышал сирены. Что стряслось?

— Разборка на спортплощадке. Пятерых увезли в больницу, — объясняет ему мистер Джеймс.

— Господи, — испуганно говорит Фрэнни. — Что, и Стивена тоже?

— Нет, все пятеро из Фиштауна, — говорит мистер Джеймс.

— Генри, Стивен тоже был здесь? — спрашивает Фрэнни.

Я не в состоянии ответить ему, даже несмотря на то, что он очень волнуется.

— Слушай, ты сам-то в порядке? — спрашивает он.

— Не знаю, — глядя прямо на него, отвечаю я. Я не испуган. Просто не в себе.

— Давай-ка я лучше отведу тебя домой, — говорит он, рукой обнимая меня за плечи, и я сразу чувствую себя в безопасности. — До скорого, мистер Джеймс, увидимся завтра на свадьбе. Передавайте от меня привет Джинни, о'кей?

— Обязательно, — говорит мистер Джеймс ему в ответ. — Неплохой способ развеяться после всего этого.

— Что верно, то верно, — говорит Фрэнни.

Мы идем домой той же дорогой, по которой недавно убегала толпа, рука Фрэнни по-прежнему лежит у меня на плече — и под ней, но нигде больше, мне спокойно. Повсюду либо черное небо, либо земля вся в крови, одни лишь яркие фонари Тэк-парка освещают нам путь. Мы по-

кидаем площадку и исчезаем в темноте улиц, уходим прочь от Ав, не замечая никого вокруг и не говоря друг другу ни слова.

12

Музыка — мой лучший друг, если не считать людей. Она поднимает мне настроение, помогает разобраться со всякими мыслями и прочим дерьмом, благодаря ей мое сердце полно любви. Я в спальне у родителей, один, сижу и смотрю в большое окно, выходящее на улицу Святого Патрика. Сижу без света. Чтоб рассматривать пластинки из коллекции Сесилии Тухи, мне вполне хватает мягкого бело-пурпурного отсвета из окна от телеэкранов в соседних домах. Мне нравится просто держать эти пластинки в руках. Слушать, как они поскрипывают, когда достаешь их из конверта. Кончиками пальцев трогать бороздки на их поверхности. Со смехом рассматривать странные прически и прикиды на обложках. Читать названия песен и их продолжительность. Гадать, как выглядят все эти юные лица сейчас, двадцать или тридцать лет спустя.

В доме тихо и темно, если не считать света в ванной и работающего телевизора внизу. Сесилия и Сес спят вдвоем на маленькой детской кроватке Сес. Сесилия обнимает Сес длинной и тонкой рукой. Они лежат, как две куклы-близняшки, которые начинают двигаться, если их поцелуешь в лоб, с одинаково светлыми волосами, длинными ресницами и ровным, глубоким дыханием. Внизу Фрэнсис Младший храпит, утонув в своем кресле La-Z-Boy[1], вцепившись руками в подлокотники, словно космонавт, напрягшийся перед взлетом. Под правой ладонью уютно примостился пульт. Я тихонько вытащил его, когда только пришел, и стал щелкать кнопками, переключая каналы с ответного матча "Филлиз" (где ублюдок Майк Шмидт успел-таки добежать до базы и тем самым решил исход встречи) на драматический сериал про больницу, потом на мыльник про жизнь техасской деревенщины, пока не наткнулся на юмориста. Это был какой-то лысый придурок в замызганной олимпийке. А байки он травил про свою жену, как она ворует столовые приборы и сидит на мессе рядом с любителями дать храпака. Пресная жвачка. Ничего пошлого. Думаю, если бы я стал смотреть, то очень скоро захрапел бы в две дырки с Фрэнсисом Младшим на пару, поэтому я стал скакать дальше, пока не нашел проповедника с золотыми зубами в тон часам и перстням у него на руке. Он улыбался дьявольской улыбкой, сильно потел и постоянно повторял слова *греховодничество* и *прелюбодеяние*, какую бы там херню это ни означало. Разбираться не хотелось. Мне необходимо было подумать. Ни Бог, ни телевизор тут не помогут. Только музыка. Я сунул пульт обратно Фрэнсису под руку (она немного подергивалась во сне) и отправился наверх.

Под стереофоническим проигрывателем в спальне родителей понимается дубовый монстр, доставшийся Сесилии в наследство от моего деда. Диск сидит посередине этого гроба под тяжелой крышкой. Когда ставишь иглу на пластинку, руки исчезают по самые локти в пасти у этого чудовища. Колонки вынесены с двух сторон по бокам и любовно целуют

1. Американская марка по производству мебели.

в уши качественным звуком. Слышно абсолютно все: как пальцы крадутся по грифу гитары, как звенят тамбурины, будто колокола в церкви, как шелестят щетки по ударной установке, словно это мим собирает тряпкой пыль с библиотечных полок, слышны все шлепки, хлопки, смех и чихи.

Когда я был маленький, стереофония стояла внизу и играла безостановочно, между тем как Сесилия скакала вокруг, убиралась и постоянно меняла пластинки. А я тем временем спал головой к колонке. Тогда она, помню, ставила в основном соул и диско: Спиннерз и Би Джиз, альбомы "Rubber Band Man", "Jive Talking". Я люблю диско, заявляю это открыто и прямо, без тени стыда. Это уже история, как бы там ни было. Пару лет назад, когда все мы немного подросли и Фрэнсис с Сесилией начали скандалить, Сесилия перестала слушать пластинки, перестала петь и плясать, и Фрэнсисы, следуя ее указанию, перетащили проигрыватель наверх.

Что касается подбора музыки, тут у Сесилии Тухи есть все, чего только душа пожелает. Эрнест Таббс, братья Клэнси, Майлз Дэвис, Мэл Торме, Том Джонс, Дженис Джоплин, Джефферсон Эйрплейн, АББА, Аэросмит, братья Смазерз, братья Айзли. Старое кантри, ритм-энд-блюз, рок-н-ролл, биг-бэнды, джаг-бэнды[1], ансамбли свинговые и джазовые, классический рок – дальше перечисляйте сами. И все это стоит здесь, вдоль стен в одной маленькой спальне, благодаря чему она походит на складское помещение какой-нибудь радиостанции с непонятно откуда взявшейся сломанной кроватью посередине. Сесилия выстроила все пластинки по десятилетиям и по именам исполнителей в алфавитном порядке. Вот, скажем, берем букву Б. В 50-х годах мы имеем: Хэнка Бэллэдера и Миднайтерз, Гарри Белафонте, Фредди Бэлла вместе с его "Белл бойз", Чака Берри, Пэт Бун, Джеймса Брауна с группой "Хиз фэймоз флэймз", Джонни Бернетта. Дальше идут 60-е: Джоан Баез, Бэнд, Барбэрианз, Бич Бойз, Битлз, группа Джеффа Бэка, Би Джиз, Арчи Белл и его команда под названием "Дрелл з", Биг Бразер и его "Холдинг компани", Буккер Ти и Эм Джиз, снова Джеймс Браун, Баффало Спрингфилд, Бёрдз. Теперь 70-е: Бэкман Тернер Овердрайв, Бэдфингер, Бэджер, еще раз Би Джиз (на этот раз в более прикольном светлом прикиде), Блэк Сэббат, Блю Ойстер Калт, Джексон Браун (никак не связанный ни с Джеймсом, ни с Флэймз), Роки Бернетт. 80-е, когда стереофония была изгнана с первого этажа и, вместе со всеми пластинками, позабыта той, что еще недавно их собирала, представлены куда как скромно. Должен, однако, заметить, что у нас все-таки есть альбом "Thriller" Майкла Джексона. Это я настоял. Но и только, все остальное – полное фуфло.

Я стою в нерешительности: чего бы поставить? Вот так всегда: слишком большой выбор. Хотя копаться в пластинках для меня всегда было большим удовольствием – мне нравится смотреть обложки. Картинки с альбомов 50-х годов – это уже само по себе смешно. Почти на всех – портретные фотографии милых мальчиков с нарисованным румянцем на щеках: на одном плече висит спортивная куртка, на другом – два десятка счастливых девиц. А рядом обязательно какая-нибудь крутая спортивная тачка. Прически – это вообще отдельная тема. Конечно, я уважаю их за то, что они все так тщательно причесывались, но очень уж

1. Ансамбли, где наряду с традиционными инструментами используются предметы домашнего обихода.

они прилизанные — просто тошнит. Избыток геля на голове сразу выдает любителя. Стыд и позор гомикам. Здесь, в 50-х, по мне в мужском зачете лидирует обложка альбома "Chet Atkins' Workshop", где Чет в свитере с большим воротником стоит с электрогитарой на фоне крезанутой научной лаборатории, где полно всяких колб. Не знаю почему, но именно эта картинка нравится мне больше всех.

У девчонок с обложек 50-х годов вид еще слишком монашеский, часто можно увидеть юбки ниже колен. Зачем, бля, уж настолько-то? Приятное исключение составляет обложка с альбома Джулии Лондон под названием "Calendar Girl": двенадцать отличных фотографий Джулии в коротеньких шортах и во всевозможных бикини — прекрасный материал для самопроизвольного поднятия члена в штанах. Примерно такого, как сейчас. Другим сильным членовозбудителем служит альбом "Swingin' Easy with Bill Doggitt", где телка в бикини и на высоких каблуках стоит, прислонившись к скале. Во мне вдруг просыпается желание потереться об эту картинку членом. Ну на хрен. А вдруг зайдет Сесилия и застукает меня за этой байдой — меня ведь тогда мигом за ухо препроводят прямиком к священнику.

В этом плане обложки 60-х годов выглядят намного лучше, хотя странностей здесь тоже куда больше. Буквы названий начинают непомерно раздуваться, словно перекачанные шины. На заднем плане появляются радужные грибы, деревья, цветы, фермы с животными. Парни перестают прилизывать волосы, но вместо этого отпускают длинные космы и начинают делать завивку (шаг вперед — два шага назад). Народ рядится в индийские сари, джинсы клеш со стразами, нацепляет на себя бусы и фиолетовые солнечные очки. Никаких тебе длинных юбок — хвала, бля, Господу, — плюс у всех телок волосы прямые и распущенные. Никогда не понимал, зачем женщинам короткая стрижка и завивка тоже. На фига им все это, спрашивается, сперлось?

Любимую обложку 60-х годов назвать затруднюсь: слишком много из чего выбирать. У нас есть и "Are You Experienced", и "Mr. Tambourine Man", и "Rubber Soul", и "Bringing It All Back Home", и "Psychotic Reaction", и "Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators", наконец, "The Who by Numbers", "Disraeli Gears", "Music from Big Pink". И это только мужские группы. Телки и того лучше: Ширелз, Ронеттс, Эйнджелс, Шангри-Лас, Сьюпримз. Вау. Так бы всех их и перецеловал у нас за мусоркой. Хотя, конечно, все они отдыхают перед Нэнси Синатра с ее альбомом "Sugar". Сиськи у Нэнси буквально выпрыгивают из лифчика, чтобы сказать: "Генри, вздремни-ка между нами". К тому же, что еще более важно, Нэнси стягивает с себя трусики бикини. Чтоб я сдох. Об *эту* я *непременно* потрусь членом, но только не сейчас.

Про обложки 70-х вообще, бля, лучше забыть. Они сочетают в себе все самое худшее из того, что было в 60-х — косматые хиппи в пиратской одежде, — с худшими чертами 50-х — полное отсутствие природных пейзажей на заднем плане. Конечно, если не считать альбом "Country Life" группы Рокси Мьюзик. Вот это на самом деле здорово так здорово. Описывать не буду: неудобно как-то. Всем, кто не видел, советую взглянуть, но ни за что не покупайте, потому что музыка голимая.

Просмотрев миллион обложек, я, наконец, останавливаю свой выбор на Битлз. "White Album" — на двух пластинках, обложка чисто бе-

лая, без всяких картинок. Но уж коли вы Битлз, то можете себе позволить выпускать альбомы хорошей музыки без сисек на обложке. Оно бы, может, и не помешало, но хули это надо делать, в конце-то концов? Я вытаскиваю из чехла часть вторую и аккуратно, за краешки, ставлю пластинку на диск. Затем щелкаю кнопкой "вкл". Держатель с иглой поднимается, замирает на секунду, слегка покачиваясь из стороны в сторону, и опускается. Я беру его и переставляю сразу на песню "Good Night", она последняя в альбоме и самая моя любимая из всех Битлз. Игла скребет по бороздкам, пошла музыка — я откидываюсь в кресле.

На улице начинается дождь, первые крупные капли стучат по окну с интервалом в десять секунд и, словно птичье дерьмо, оставляют потеки на стекле, которые сияют в свете уличных фонарей, будто гирлянды на рождественской елке. Дождь все усиливается и опускается на улицу тихой тяжелой дымкой. Вода потоком бежит по стеклу. Я смотрю на нее, а в животе у меня пусто от страха, сердце так и колотится, в голове туман. Я думаю о тех ребятах: как они лежат на тротуаре и истекают кровью, умирают, может быть, — откуда мне, бля, знать. Я думаю об их мамах, которые сейчас, наверное, сидят у больничных кроватей и тоже смотрят в окно. Может быть, они молятся? Может, просят Бога простить тех придурков, что ногами в лицо били их сыновей. А может — требуют у него мести или вообще просят его катиться куда подальше. На месте этих ребят могли быть Грейс или Стивен, Бобби Джеймс или Гарри. Ведь они тоже все там были. Возможно, если бы что-нибудь подобное случилось с ними, я бы разозлился. Возможно, у каждого обозленного есть своя, похожая на эту, история, объясняющая, почему он стал такой злой: ночные поездки в больницу, где его ребенок лежит, подсоединенный к трубкам. Которые закачивают в него новую кровь взамен той, что теперь засыхает пятнами на спортплощадке. Гора счетов на разваливающемся столе, слишком маленький дом, втиснутый в улицу вместе с семьюдесятью семью точно такими же, сломанная машина, ноющее колено, плохая работа, где нужно каждый день таскать почту, мерить ногами свой участок, долбить отбойным молотком асфальт на дороге. Пустые счета в банке. Слишком много бетона и слишком мало зелени, в кошельке и за окном. Вот такие каждодневные косяки в основном и определяют жизнь на улице Святого Патрика, но только не мою: клал я на все на это с высокого дерева.

Я планирую убраться отсюда подальше вместе со своей семьей, вместе с Грейс Макклейн. Грейс. Надеюсь, она любит меня хотя бы вполовину так сильно, как люблю ее я. Надеюсь, когда мы поцеловались, она почувствовала то же, что и я. Должен признать, в тот момент я даже понятия не имел, что делаю. Я наклонился к ней и раскрыл рот — оставалось только надеяться на лучшее. Ощущение было, как будто я тянусь за яблоком, балансируя на суку, который вот-вот подо мной обломится: хорошо еще вспомнил, что глаза надо закрыть. До идеала мне, конечно, пока далеко. Нам нужно просто продолжать практиковаться, только и всего. Эта мысль греет мне пузо и выгоняет из головы неприятные воспоминания о сегодняшней драке. Я посылаю мои чувства, только самые хорошие, всем вокруг и начинаю засыпать под голос Ринго.

Дождь принимается барабанить чаще, но не громче. Все прощает и смывает. Уплывают первые поцелуи и драки на спортплощадке. Я подвигаюсь к окну и смотрю на улицу Святого Патрика с ее домами. В домах

бродят люди. Свет в окнах то зажигается, то гаснет в такт плавным струнным переборам пластинки. Я даю глазам расфокусироваться, и все движения улицы сразу становятся синхронными, как движения женоподобных пловцов-олимпийцев. Через равные интервалы, то слева, то справа, из дома под дождь выбегает мамашка в бигудях и купальном халатике и волочет с газона или с тротуара под навес на веранду детский трехколесный велосипед. В конце квартала отцы семейств, пошатываясь и неумело ныряя в лужи "Будвайзера" глубиной в десять футов, с "джефф-хэтами" вместо пловцовских шапочек на голове, в порядке строгой очередности вываливаются из парадной двери бара "У Пола Донохью".

Я чувствую любовь к ним, к ним ко всем, и придвигаюсь еще ближе к окну, ближе к ним, к настоящим святым с улицы Святого Патрика. Упираюсь лбом в стекло. Бусинки дождя мигают, словно звезды на крышах двухцветных машин. Потоки дождя несутся вдоль бордюров и стекают в люки, смывая с тротуара гнутые крышки, разбитые бутылки и сердца. Внутри домов люди молятся на фотографии Папы Римского, в отчаянии заламывают руки и корчатся на синтетической обивке диванов. Они молятся об отпущении грехов, о том, чтобы "Филлиз" стали чемпионами, о спасении в форме денег, которые могли бы избавить их от жизни на этой улице, в этом районе, в этих домах, трепещущих, как сердце, и тонущих, как камни. Страх и разочарование плывут повсюду и захлестывают почти все, что есть хорошего, но не до конца. Ринго шепчет *Спокойной ночи всем и везде.* Я сползаю глубже в кресло. Я сплю и готов грезить, как всегда.

Первое, что я слышу, — это как кто-то внизу с силой хлопает дверью, затем — звук иглы, скребущей по пластинке, которую я так и не выключил: в горле ощущение примерно такое же. Болит шея. Дождь кончился. На улице Святого Патрика тихо и ни души. Уличные фонари светят своими нимбами. Внизу приглушенные голоса. Я выключаю стереофонию и на цыпочках крадусь к лестнице.

— Так значит, ты у нас *разнимал* драку и заработал по голове? Вообще, я слыхал, что люди, возвращающиеся домой с разбитой башкой, обычно участвуют в драках, а не разнимают дерущихся, — слышу я голос Фрэнсиса Младшего.

— Может, он правду говорит, Фрэн, откуда ты знаешь? — говорит Сесилия.

— Дрались с фиштаунскими. Биты, ножи, стволы, толпа отморозков, — говорит Стивен заплетающимся языком.

— Фиштаун? Биты? Стволы? Фрэн, ты понимаешь, о чем он?

Меня пугает то, что Стивен упомянул о ножах и стволах. Я ничего такого не видел.

— Конечно, нет, — говорит Фрэнсис Младший. — От такой пьяни разве услышишь чего путного?

— Фрэн, только, бля, по новой начинать не надо, — сварливо бормочет Сесилия. Они с Фрэнсисом, как всегда, начинают закипать в параллельном режиме.

— Ничего я не начинаю. Просто ему в этом доме наплевать на всех, кроме себя любимого.

— Неправда, — говорит Стивен.

— Заткнись, — говорит Фрэнсис Младший. — Еще слово — и ты у меня схлопочешь по морде.

— Хорош из себя крутого строить, — спокойно и без злости отвечает ему Стивен.

— Фрэн, лучше притормози, а то вы сейчас снова начнете друг друга мордовать, — предупреждает Сесилия.

— Никто не смеет меня мордовать. Это мой дом. Я сам здесь кого хочешь измордую.

— Пап, что за бред ты несешь, — говорит Стивен, постепенно тоже закипая.

— Стивен, прекрати, — умоляет Сесилия. — Идите-ка, оба, спать.

— Я пойду спать тогда, когда захочу, — орет Фрэнсис Младший. — А завтра с утра, как обычно, встану и пойду на работу. А ты, верно, о таком слове и не слышал, да, Стивен?

— У меня тоже есть работа, — говорит Стивен.

— А сегодня вечером ты там был? — орет на него Фрэнсис Младший.

— Что? — переспрашивает Стивен, стараясь изобразить удивление.

— Ты все слышал. Я спрашиваю: ты ходил на работу сегодня вечером или нет?

— Ты сам видел, что да.

— Я видел, что ты вышел из дома в рабочей одежде. А сейчас я вижу, что на тебе ее нет. Где рабочая одежда?

— На работе оставил.

— Врешь. Ты не ходил на работу. Я звонил туда. Сказали, что ты отпросился по болезни.

— Ма, скажи ему, чтобы не тыкал пальцем мне в лицо, — уже в бешенстве говорит Стивен.

— Фрэнсис Тухи, ну-ка отошел на хрен от сына подальше. Разборок мне здесь не нужно.

— Я у себя в доме и буду стоять, где хочу, — орет он.

— Ма, скажи ему, чтобы не тыкал пальцем мне в лицо, — повторяет Стивен.

— Да ты посмотри на его голову, Фрэн, — умоляет Сесилия. — Неужели снова будешь его бить?

— Быстро убрал от меня свой гребаный палец, а не то... — рявкает Стивен.

— А не то — что? — орет ему в ответ Фрэнсис Младший. — А не то — что ты со мной сделаешь, а, крутой? Мало я тебе вчера по роже настучал, еще хочешь? А что — мне не сложно, а если *по заслугам* — то тем более.

— Что такое, наш герой-любовник расстроился?

Тишина. Бац. Кто-то получает удар. Что-то падает на пол. *Ублюдок* — орет Фрэнсис Младший. Стивен молчит. Кричит Сесилия. Что-то разбилось.

— Эй, Генри-задница, может, пойдем в мою комнату и послушаем пластинки? — спрашивает Сес, которая выглядит так, будто спать и не ложилась, если не брать во внимание шалаш у нее на голове.

— Эй, сквернословка, ты никак проснулась, — говорю я. — Что хочешь послушать?

— Сам выбирай, — говорит она мне. — Что-нибудь веселое, ладно?

В таком случае выбор очевиден: Сонни и Шер, альбом "Good Times". С этими никогда не ошибешься. Я выуживаю с полки нужную пластинку. Обложка — так себе, особенно если учесть, что сисек у Шер вообще не видно, а кроме того, прическа у Сонни Боно (челка, как будто только что сбежал из психушки, и длинные лохмы сзади) — хуже не придумаешь. Мысленно проклиная отсутствие сисек и ужасную прическу, я направляюсь в комнату Сес, где она лежит у себя на кровати на спине, заложив руки за голову. Я сажусь на розовый пластмассовый стульчик, один из тех, какие можно увидеть на чайных вечеринках у девчонок-пятиклассниц, и его ножки тут же сгибаются под моим весом.

— Что, папа со Стивеном опять друг из друга дерьмо вышибают? — спрашивает Сес.

— Что? Нет. Они просто танцуют сальсу, поэтому так шумно. Белые — что с них возьмешь?

— Только после такой сальсы потом почему-то приходится вправлять половицы, — со смехом говорит она. Потом спрашивает, уже серьезно: — Стивен снова пил?

— Ага, — грустно отвечаю я.

— А ты, когда вырастешь, тоже будешь пить? И драться с папой? И будешь так же мешать мне спокойно спать?

— Нет.

— Стивен, когда был как ты, наверное, тоже так говорил.

— Да ты что? — спрашиваю я. — В моем возрасте Стивен уже давно пил.

— Нет, не пил, дурак.

— Да точно пил. Он и в классе пил. Пиво. А бутылки открывал об полочку для мела.

— С ума сошел? Не было такого, — говорит Сес, и в голосе ее удивление пополам с раздражением.

Внизу по-прежнему дерутся, но разобрать ничего нельзя, потому что закрыта дверь, а в комнате на полную мощность гремит инструменталка "У меня есть ты, детка". Готов поспорить, и Фрэнни уже там.

— Генри, я серьезно, — говорит Сес. — Не хочу, чтобы ты пил.

— О'кей, не буду, — обещаю я.

— Но ведь все кругом пьют.

— Неправда, — говорю я. — Вот, скажем, мама не пьет.

— Зато принимает таблетки, — напоминает она мне.

— Ты-то откуда знаешь про таблетки? — спрашиваю я у Сес, а та хмурится, теребит зеленые бусы на шее и начинает их жевать.

— Мистер О'Дрейн пил пиво за рулем, когда разбился на машине, — выпаливает Сес. — И из-за этого Арчи не может ходить. И Мэган умерла и сейчас в раю. А у миссис О'Дрейн на лице шрамы. А Стивен всегда грустный и пьет.

— Откуда ты все это знаешь?

— Нужно слушать, что люди кругом говорят, чувак, — говорит она, как Грейс или Мэй Уэст.

— Надо пропускать мимо ушей всякую фигню.

— Легко сказать. Все кругом шепчутся.

Внизу что-то тяжелое рушится на пол. Фрэнсис Младший орет. Стивен орет на Фрэнсиса Младшего. Сесилия с Фрэнни орут на Стивена и Фрэнсиса Младшего.

– Зачем люди пьют, если от этого они становятся несчастными? – спрашивает Сес.

– Думаю, они от жизни несчастные, и пьют, чтобы обо всем забыть, – отвечаю ей я.

– А ты от своей жизни несчастный? – спрашивает она.

– Нет. Ведь у меня есть ты, малышка, – отвечаю я, с улыбкой глядя прямо на нее.

– Где ты таких слов наслушался? – Сес смеется. – Но это правда, я знаю. Я всегда с тобой.

Мы обнимаемся, и я смотрю на постер мисс Пигги, висящий на стене. Трудно поверить, что всего пару часов назад "Филобудильник" наяривал здесь так, что мебель ходуном ходила.

– Мы по-прежнему будем жить вместе, когда станем рок-звездами? – спрашивает Сес.

– Угу, – говорю я.

– На большущей ферме?

– Угу.

– Я ты мама папа Стивен Фрэнни Грейс и Арчи, да? – спрашивает она.

– Ни о каком Арчи речи не было, – подначиваю ее я.

– Генри, я же выйду за него *замуж*. И он *должен* быть с нами.

– Я знаю. Думаю, он отлично впишется. Можно будет сталкивать его с гор прямо в кресле.

– Круто. Я за. Расскажи еще раз, какая у нас будет ферма.

Драться перестали. Сонни и Шер поют "Верь мне". Сесилию душат рыдания, но она все равно продолжает кричать *Когда же это гребаное дерьмо наконец кончится*. Фрэнни с ней согласен. Он не может понять, почему люди в этом доме не уживаются друг с другом, почему этот пьет, а тот дерется.

Как бы там ни было – не важно. Всем нам приходится жить в тесном маленьком доме, втиснутом между двумя такими же, которые тоже втиснуты между двумя такими же, которые тоже, в свою очередь, втиснуты между двумя такими же маленькими и тесными домами, как наш. Ну и я рассказываю Сес про ферму, устроившуюся между гумном и силосной ямой. Там нет засаженных газонной травой скатов, никаких тебе статуй святых, которые нужно обходить на цыпочках, и можно сидеть, прислонившись к дереву, с которого падают зрелые персики. И куда ни глянь – кругом зеленая трава. Там нет остервеневших теток, выбрасывающих из окна мужнину одежду, нет битого стекла, нет семейных драк из-за денег и никого не избивают на спортплощадке. Мама с папой снова любят друг друга, и Стивен, наверное, тоже живет счастливо с какой-нибудь деревенской девчонкой в сто раз лучше, чем Мэган. Из соседей только сверчки да плодовые мушки. Вместо банок с бутылками земля усеяна анемонами и одуванчиками. Миллионы долларов от продаж мультиплатинового альбома лежат в банке и приносят проценты. Грейс любит Генри. Сес любит Арчи. Фрэнсис любит Сесилию. Парки там – настоящие парки, а не просто обнесенные сеткой баскетбольные площадки, кото-

рые только называются парками. Там нет Гвен Флэггарт, равно как и других злых собак. Только коровы, которые дают молоко.

– Генри, я опять забыла, а как называются эти штуки у коровы внизу?

– Вымя. Они называются вымя. За них коров доят и получают молоко.

– Обеими руками?

– Да, обеими руками. Пусть Арчи доит наших коров. Мы приделаем к его креслу колеса поменьше, чтобы он мог кататься прямо у коров под брюхом. А ты случайно не помнишь, у него на кресле есть стояночный тормоз? А интересно, бывают двухместные кресла-каталки? Наверное, подарю вам такое на свадьбу. Будете кататься – ты спереди, а он сзади. И еще куплю вам с ним одинаковые шлемы. Стильные такие, не хуже моей рубашки.

– Ха! Тоже мне.

– Что смешного? По-твоему, у меня не крутой прикид? А рубашка с лосями? Много ты знаешь народу, у кого на рубашке тоже были бы лоси?

– Никого, только тебя.

– Правильно, только меня.

– Потому что ты баклан.

– Нет, это совсем не значит, что я баклан. Баклан у нас – это ты. Влюбиться в парня в инвалидном кресле – на такое только бакланы способны.

– Я все расскажу Арчи, что ты про него говорил.

– Какой кошмар: она все расскажет Арчи. И что же он со мной за это сделает – переедет меня, что ли? Прожжет дырку в голове своими солнечными очками? А если покупаешь очки как у пилота, кукурузная трубка и армейский джип тоже прилагаются?

– Не знаю.

– А вдруг вам захочется поменять фамилию на Эйзенхауэр? Арчи и Сес Эйзенхауэр.

– Откуда мне знать? Надеюсь, что не захочется.

– Что, не нравится Эйзенхауэр? А Вайзенгеймер пойдет? Сес Вайзенгеймер. Все правильно: ты – типичная гребаная Вайзенгеймерша. Я все видел: ты только что зевала и улыбалась одновременно. Юморист ни в коем случае не должен вызывать такую реакцию. Даже не знаю, продолжать мне эту шутку или рассказать еще одну, похожую. Ну вот, опять ты зеваешь. Неужели не смешно? Сес?

Сес тихо посапывает и улыбается во сне, лежа поперек кровати на обеих подушках сразу. Я целую ее в лоб, снимаю иглу с пластинки и выключаю свет. Затем иду к нам в комнату, кладу Зеленухыча в убежище, раздеваюсь до трусов и забираюсь к себе на верхотуру, стараясь не задеть Стивена, блюющего в тазик на своей кровати, и Сесилию, которая всхлипывает и поддерживает ему голову. Я говорю ей *Спокойной ночи, ма, храни тебя Бог, а меня уволь.*

Она смеется, продолжая при этом шмыгать носом:

– Эй, ты там как – следишь за моими пластинками?

– Глупый вопрос, – отвечаю я.

– Ну правда, как они поживают?

– Чувствуют себя прекрасно. Купаются в моей любви и внимании.

– И Сес тоже, да? – спрашивает она.

– Да, и Сес тоже, – отвечаю я ей.

– Круто.

– Приходи тоже к нам слушать. В конце концов это ведь твои пластинки.

– Знаю. Приду обязательно. Как только прекратится весь этот бардак. Привет им там от меня.

– Непременно. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи.

В окно дует холодный и резкий ветер. Стивен блюет и плачет. Чтобы согреться, я натягиваю одеяло по самую шею. Сон и грезы, уже второй раз за ночь.

13

Воздайте хвалу Господу и передайте-ка мне вон те соленые фисташки. Благослови вас Бог и доброго вам утра, мудозвоны, маразматики, мямли, мимы, мамы, братья, акробатья, сиськоненавистники и иконоборцы, флагоборцы и флагомашцы, садовники, землепашцы и газонокосители. Вроде никого не забыл. Доброе утро, Стивен Зловоннодрыхнущий и верный таз. Доброе утро, Майк Шмидт. На, получай плевок в глаз бумажным шариком, урод придурочный. Поразмысли-ка на тему "Почему я родился таким тупорылым ублюдком?", пока я схожу поставлю пластинку. Хватаю, что первое попалось: Чарли Паркер "Jazz at the Philharmonic 1949". Бом! Бам! Шлеп! Ладонями плещу себе на лицо водой из крана. Подмышки пахнут нормально. В душ лезть незачем. Просто намочу голову, причешусь и пойду. Я смачиваю волосы, пританцовывая отправляюсь назад к себе в комнату, там хватаю Зеленухыча и, все так же пританцовывая, возвращаюсь в ванную, а Стивен уже тут как тут: блюет в унитаз.

– Йоу, Стивен, – приветствую я его. – Прекрасно выглядишь.

– Йоу, – стонет он в ответ. – Спасибо.

– Как себя чувствуешь?

Тут он сблевывает в унитаз:

– Лучше некуда.

– Возможно, между рвотой и выпивкой существует какая-то связь, – говорю я.

– Очень вряд ли, – говорит он. – Что, бля, за херь ты там поставил?

– Чарли, бля, Паркера, дятел. Что-то не устраивает?

– Нет, у них типа только музыка, и тебе некому подпевать.

– Что такое? – спрашиваю я. – У меня хороший голос. Спроси любого кота у нас под окном.

В ответ Стивен ухмыляется. Лично мне вряд ли хотелось бы ухмыляться, общайся я с унитазом столь же тесно, как Стивен, чтобы можно было разглядеть в нем свое отражение.

– Вчера вечером я тобой гордился, ты, баклан, – говорит он.

– Это почему же? – спрашиваю с опаской – а вдруг он откуда-то прознал, что мы с Грейс целовались? Тогда не миновать мне пытки.

– Классный номер ты отколол на спортплощадке, – говорит он. – Когда читал проповедь про сиськи. Очко у тебя ничего, крепкое.

– Спасибо, приятель. Делов-то, – говорю я. – А с теми ребятами что?

— Всех ночью отпустили из больницы. Ушибы, кровотечения, переломы. У одного треснуло несколько ребер. У другого перелом запястья.

— Уверен?

— Ага. Вчера общался там с одним в "Донохью", а он как раз работает в той больнице.

— Больше ничего не слышно?

— После этого все как-то смутно. Что было, когда я пришел? Ты не спал?

— Я ничего не слышал, — вру ему я. — Ты, наверное, как зашел — сразу наверх спать.

— А как таз у кровати оказался? — спрашивает он.

— Это я. Ты издавал такие звуки, как будто тебя сейчас стошнит.

— Как блевал, помню. А папу я не разбудил?

— Нет, но тебе неплохо бы притормозить. Твои лучшие алкогольные годы еще впереди.

— Это верно. — Смеется, превозмогая тошноту. — Я решил завязывать, Генри, — добавляет он серьезно.

— Как? Когда? Десятилетний план уже готов? — спрашиваю я, а сам не верю в это и выдавливаю струйку геля себе на ладонь, чтобы затем втереть его в великолепную шевелюру.

— Сегодня, — говорит он. — Буду серьезней относиться к вещам. Приведу, наконец, себя в порядок.

— Снова пойдешь в школу? — спрашиваю я.

— В школу? Еще чего. Лучше на хер сдохнуть. Пойду сдавать экзамены на почтальона и пожарника.

— Не становись почтальоном, не надо, — говорю я. — Лучше возвращайся в школу.

— Генри, я едва-едва доучился в десятом классе. — Блюет.

— Да ты не особо-то и старался. Папа был бы просто счастлив.

— Да пошел он на хрен, — огрызается Стивен.

Мы оба ненадолго умолкаем. Стивен распластался на унитазе. Я причесываюсь и пшикаюсь дезодорантом так, словно тушу пожар.

— Вчера на спортплощадке у кого-нибудь были стволы? — озабоченно спрашиваю я.

— Ральф Куни все меня пугал, — отвечает он.

— Слышал. Но у него он и вправду был?

— Да брось. Ральф и из водяного-то пистолета выстрелить толком не может. Пиздит он все, Генри.

— Вчера я видел его в толпе во время драки. И он был с битой, нет разве?

— Угу. Только воспользоваться ею не успел. Я как только увидел, что у него бита, сразу съездил ему по роже. Что это ты делаешь?

— Намыливаю подмышки, — поясняю я.

— Сегодня свадьба у Дженни Джеймс, а ты даже в душе не помоешься? — задает он мне глупый вопрос.

— В душ мне *не надо*. Мылся уже на неделе. Что за допрос, вообще?

— Да ничего, я так, господин Благоухающий.

— Слушай, кто бы говорил, — бросаю я в ответ. — Не сказать, чтобы от тебя самого так уж несло дезодорантом "Утренняя свежесть".

— Да, но я хотя бы в душ иногда заскакиваю.

– И чем там моешься – "Будвайзером", что ли?

– Нет, "Роллинг Роком", *поменял марку.*

Оба мы от души смеемся. Я, бля, просто обожаю смеяться, особенно если над шутками Стивена.

– Так значит, идешь на свадьбу? – спрашиваю я. – Я как раз приготовил кое-что особенное.

– И что же? – интересуется он.

– Подожди – сам все увидишь, красавчик.

– Ладно. Тайна – так тайна. Что, еще одна проповедь?

– Не-а, ничего и близко к религии.

– О как.

– Так ты пойдешь? – еще раз спрашиваю я.

– Насчет мессы не уверен, но изначально предполагалось, что я буду вести его, – сообщает мне он. – Хотя... вчера вечером я опять отпросился с работы. Если к тому времени не успеют уволить, приду обязательно.

– Круто.

Стивен краснеет. Мы вместе возвращаемся в комнату. Он забирается к себе на кровать, а я тем временем натягиваю коричневую футболку RUBBER SOUL и те же, что и вчера, шорты под шотландку. Засовываю Зеленухыча на привычное место и, под свингующего Бердмана, спускаюсь вниз, где все, как всегда, перевернуто вверх дном. Щелкаю пультом от телека, а там как раз повтор вчерашнего момента, когда обсос Майк Шмидт успевает вернуться на базу. Пошел он... Я безуспешно пробегаюсь по каналам в поисках религиозного шоу, затем вырубаю телик. Снова включил. Выключил. Привет. Пока. Привет. Пока.

На столе записка от Сесилии: *Генри, зайди за Арчи и привези его обратно к нам домой. Проследи, чтобы он обязательно был в костюме! И еще: храни тебя Бог, а меня уволь.* Со смехом я беру ручку и пишу сверху АМИНЬ – ей понравится. Хватаю пачку "Кримпетс" и распахиваю дверь на улицу, где Гвен Флэггарт нападает на Фрэнсиса Младшего.

– Доброе утро, Генри, – говорит он, тряся ногой и пытаясь попасть собаке кулаком по голове.

– Доброе утро, пап, – отвечаю я. – Для меня что-нибудь есть?

– Парочка гитарных каталогов, – говорит он. – Что, на гитаре учиться собрался?

– Определенно нет, черт возьми, – голосом Шерлока Холмса отвечаю ему я.

Он в недоумении смотрит на меня и оглоушивает Флэггарт по морде. Та с визгом откатывается в сторону.

– Как там твой брат? – спрашивает он, стоя в одном кеде, в то время как Флэггарт в сторонке расправляется со вторым.

– Кто – Фрэнни? Так же, как и ты. Бьется насмерть с собаками во имя Дядюшки Сэма.

– Очень смешно. Я имел в виду другого.

– Спит, – отвечаю я: врать некогда, потому что надо еще зайти за Арчи.

– Вчера он пришел домой с разбитой головой, – говорит Фрэнсис Младший, – и что-то там нес про какую-то драку.

– А я думал, это ты его так.

— Он уже пришел таким, — огрызается Фрэнсис. — К тому же явился уже после меня. Доброе утро, Бетти. Да, у меня твои билеты в казино. Сейчас подойду. Ты случайно не знаешь, что там такое произошло вчера вечером? Нет, Майк, проверочных листов от компании еще нет. Сказал же, как только придут — сразу принесу.

— Слышал про какую-то драку, но только и всего, — отвечаю я. Тут уж надо кое в чем признаться, но самую малость. Когда тебе тринадцать, ты просто не можешь ничего не знать о драке на спортплощадке. — Хотя сомневаюсь, что Стивен тоже участвовал. Он же у нас за мир.

— Да хорош тебе. Я не говорю, что он ввязался специально. Я думаю, эти ублюдки из Фиштауна сами набросились на него, потому что он был пьян. Джимми, две минуты, Чарли, не видишь — я разговариваю с сыном. Наверное, искали приключений себе на голову. А иначе зачем было соваться в наш квартал? Сечешь, о чем я?

— Не совсем, — говорю я и, повернувшись, иду обратно в дом, чтобы стряхнуть с себя впечатление от последней дебильной реплики Фрэнсиса Младшего. Там над телевизором криво висит картина, на которой Иисус вместе со своими Святыми Ребятками глазеет на то, как тринадцать матросов с бородами и в платьях с воплем *Ааа* скатываются по палубе накренившейся посудины.

— Послушай, — говорит Фрэнсис Младший мне вдогонку, — поднимись-ка наверх и принеси мне из шкафа новые кеды.

Я мигом бегу ему за кедами — правда, перед этим пару раз включаю-выключаю телик, наливаю себе немного апельсинового сока, снимаю с проигрывателя Чарли Паркера, ставлю "Дель-Веттс" сингл "Last Time Around" и, танцуя на ходу, поднимаюсь по лестнице. Как раз к концу песни я добираюсь до шкафа, где аккуратно составлены десять синих коробок с новенькими кедами. Я хватаю одну пару, сбегаю вниз, раза два включаю-выключаю телик, затем спокойно подхожу к двери и вручаю ему его кеды. Флэггарт с кашлем выплевывает язычок, оставшийся от недавно отвоеванного трофея.

— Прямо метеор, — говорит он. — Ты что там, остановился потискать своего малыша?

— Остановился, чтобы сделать что? Чего-то я не догоняю.

— Не важно. Скоро сам узнаешь, — посмеиваясь отвечает он, пока переобувается.

— Пап, а миссис Куни, она что — твоя девушка? — спрашиваю я.

— Что? — глядя вверх на меня и уже без смеха переспрашивает он.

— Миссис Куни — твоя девушка? — повторяю я.

— Генри, ты же знаешь, я люблю маму, — говорит он, — и никого кроме нее.

— Отвечай на вопрос, — настаиваю я. — Миссис Куни — твоя девушка?

Он встает и чешет пальцем подбородок, покуда винтики вращаются в голове.

— Нет, конечно, — отвечает он. — Кто тебе такое сказал?

— Не помню, — говорю я, и в животе у меня все начинает как-то странно вертеться от его беспардонной и неприкрытой лжи.

— Не помнит он, — ухмыляется Фрэнсис Младший. — Так, ну все. Мне пора. Увидимся в церкви.

И он уходит. Впервые за то время, что он уже год как дерется со Стивеном, не обращает никакого внимания на Сес, делает больно Сесилии, я печально смотрю ему вслед с чувством чуть послабее, чем полная и безотчетная любовь. Он соврал мне прямо в глаза, и целый год, когда он предавал меня, предавал всех нас, будто разом ложится тяжким грузом мне на плечи. Вдобавок ко всему надо еще идти домой к Арчи, где привидений чуть ли не больше, чем на кладбище.

Мне хочется как-то поднять себе настроение, и я фланирую по улице, пританцовывая и насвистывая себе под нос. Я кричу *Привет* Магонам, которые заняты тем, что танцуют медляк без музыки у себя на газоне. Ускоряю шаг, чтобы побыстрее миновать мистера Маллигана и Табби, которые, сидя на умоляющих о пощаде раскладных стульях, отрабатывают прием хардбола перчаткой. Джералд Уилсон и Ральф Куни копаются в джералдовой бесколесной развалюхе — я им подмигиваю и показываю на них пальцем. Джералд обзывает меня танцующей феей, Ральф просит напомнить Стивену об отцовской пушке. Мимо снуют трех- и двухколесные детские велосипеды. Я ловко уворачиваюсь от них, параллельно отвешиваю комплименты молодым мамашам с их прекрасными сиськами и советую их пузатым и волосатым мужьям накинуть что-нибудь сверху. Блеск солнца напоминает мне о вчерашнем поцелуе. Незаметно для себя я погружаюсь в мечты: вот мы с Грейс плывем в лодке и я пою ей "Лови ветер" Донована, а на берегу в это время десять тысяч классных телок буквально сходят с ума от зависти — но... передо мной уже ступеньки, ведущие к веранде О'Дрейнов. Притворное хорошее настроение, которое я так усиленно себе навязывал, мгновенно улетучивается, будто его и не было.

Сегодня ровно год с последней, черт-те какой по счету районной вечеринки. Районные вечеринки в Фили — это, бля, целое дело. Все детали обычно планируются на протяжении целого года, при этом народ раза три-четыре собирается у кого-нибудь дома, хавает жратву из супермаркета с алюминиевого подноса и смотрит по телику игру. Кого с кем — зависит от сезона. Если осенью, то собираются в воскресенье, смотрят игру "Иглз", пьют "Будвайзер" (баночный) и едят самодельные сэндвичи с холодной нарезкой. Зимой — это "Флайерз" или "Сиксерз" (именно в такой последовательности и никак иначе), плюс "Будвайзер" (баночный), плюс шипящие котлеты в горшочках. Весной — "Филз", плюс "Будвайзер" (баночный), плюс яйца со специями. Каждая семья по договоренности готовит на вечеринку что-нибудь из еды и приходит со своим пивом, предварительно уплатив что-то в районе десятки хозяину, на чьей территории все будет проходить. Последнее — в счет платы диджею, то есть клоуну, который всю ночь напролет крутит отстойные пластинки Боба Сигера, по ходу дела напивается, а заканчивает тем, что его выворачивает прямо на туфельки какой-нибудь плаксивой малявки. Остаток денег идет на дурацкие фейерверки для детишек, от которых иной раз случаются ожоги на заднице. Все в таком роде. В прошлом году, как и во все предыдущие, сколько я себя помню, хозяйкой вечеринки была Сесилия Тухи. Ей всегда нравилось этим заниматься. По ее словам, приятно хоть раз в год иметь возможность распоряжаться деньгами.

В день вечеринки все шло кувырком с самого утра. Сесилия потеряла конверт с деньгами, а было в нем что-то около семисот баксов. Она принадлежит к разряду женщин, способных выкинуть в окно весь кошелек

целиком, если, не дай бог, в кармашке для мелочи не оказалось четвертака, который должен был лежать там с вечера. Однако в тот раз она превзошла саму себя. Было утро, наверное, часов одиннадцать. Сес, Стивен и я играли на полу в шашки: мы с Сес против него одного. Перед тем как сделать ход, мы с ней долго шептались, поскольку никто из нас двоих ни грамма не понимал в шашках, но мы делали вид, что играем по всем правилам. Стивен относился к поединку еще менее серьезно и по большей части занимался тем, что обкусывал ногти и плевался ими в нас, чтобы нас рассмешить. Но мы тут же потеряли к нему интерес, равно как и перестали смеяться, когда Сесилия, постоянно повторяя *Твою мать*, начала вдруг ураганом носиться по комнате и со всей дури херачить выдвижными ящиками. Стивен вновь попытался отвлечь нас на себя, для чего встал на голову и принялся громко пердеть. Мы с Сес снова заржали, глядя на него, но тут Сесилия в сердцах перевернула кухонный стол, отчего я так и подскочил, а Сес заревела. В тот же момент мы услышали, как снаружи Гвен Флэггарт атакует Фрэнсиса Младшего, поднимающегося по ступенькам к нам на веранду. Оглоушив, как полагается, собаку по морде, он вошел в дом, злой как черт, и с порога спросил у Сесилии:

— Ну, теперь по какому поводу истерика?

— Ни по какому, — ответила она. — Отстань от меня.

— Стивен, а ты разве не должен быть на тренировке? — спросил у Стивена Фрэнсис.

— Сегодня тренер устроил нам выходной, солнышко, — сказал ему на это Стивен.

— Тогда бери с собой Генри и идите с ним попасуйтесь в Тэк-парке, — сказал Фрэнсис. — А ты, Генри, еще побегай там отрезки и парочку длинных. И да, еще эти, как их — поперек поля. Отцепись от моей лодыжки, ты, жирная сука. Еще захотела? Стивен, когда идет атака, ты пасуешь нападающим за среднюю линию не на ход, а на прием. Тебе нужно над этим поработать.

— Эй, ку-ку, — встревает Сесилия на повышенных тонах. — Кажется, мы с тобой о чем-то разговаривали: нет, Фрэн?

— Да, — согласился Фрэнсис Младший. — Ты сказала мне от тебя отстать. Я так и сделал. А что, Стивен, тренер по-прежнему хочет, чтобы ты играл в защите?

— Фрэн, бля, я деньги потеряла, — уже не мудрствуя лукаво, сообщила ему Сесилия.

— Ну, это как всегда, — ответил он. — Ты хороший защитник, Стивен, но должен быть капитаном. Я не позволю, чтобы ты играл в защите только из-за того, что им больше некого туда поставить. Это их проблемы, не твои. В колледж тебя скорее возьмут, если будешь капитаном.

Стивен его не слушал и строил нам с Сес смешные рожи.

— Фрэн, я потеряла общие деньги на районную вечеринку, — объявила Сесилия.

— Что? — переспросил он. — Отвянь, псина, а то сейчас как отшибу башку.

— Я потеряла семьсот долларов, Фрэн. Что нам теперь, бля, делать?

— Сначала — говорить на тон ниже, — сказал он. — Где ты последний раз их видела?

— А я хрен знаю. Потеряла — и все. Ты меня слушаешь? — огрызнулась Сесилия.

— А ну, полегче, хватит разговаривать со мной как со скотом.

— Ты сам разговариваешь со мной как с идиоткой.

— Потому что ты себя так ведешь.

— Иди ты в жопу, Фрэн.

Стивен посмотрел, как Сес заткнула ладонями уши, и встал.

— Эй, голубки, притормозите-ка на секундочку, — сказал он. — Терпеть не могу влезать, когда все кругом веселятся, но маленькая, вон, уже вся в слезах. Сес, если ты сейчас же не прекратишь плакать, я отпинаю Генри.

Сес засмеялась. Козюлька из носа приземлилась на шахматную доску.

— Очень неплохо, — сказал Стивен. — Сдаюсь. Вы победили, ребята.

Мы с Сес тут же вскочили, обнялись и в два голоса принялись петь "Мы — чемпионы": после такой большой победы — самое то, хотя вообще-то песня стрёмная. Стивен подхватил нас обоих на руки и тоже пару раз пропел вместе с нами припев. Засмеялись и Фрэнсис с Сесилией. Потом Стивен сбросил нас на пол друг на дружку и стал брать у нас интервью с воображаемым микрофоном у рта, как Говард Коселл, который, если кто не знает, носит на голове накладку.

— Сесилия Тухи Младшая, — начал он. — Вы только что выиграли мировой чемпионат по шашкам, добившись победы после спорного хода соплей на четыре черную. Как по-вашему: не омрачает ли данное обстоятельство блеск только что одержанной вами победы?

— Какого черта омрачает? Что это такое? — спросила Сес.

— Делает ее менее значительной, дорогая, как будто бы ты смухлевала.

— Ни капли, черт возьми. В следующий раз сделаю точно так же. Все ради победы, Говард, так-то вот, осел.

— От козюльки слышу, — парировал Коселл. — Генри Тухи, ваше мнение по поводу намечающегося брачного союза в семье, где ваши отец с матерью грызутся как кошка с собакой, как почтальон с собакой, как почтальон с нормальными людьми?

— Не сказать, чтоб мне было очень весело это наблюдать, Говард, — ответил я, — мой дорогой лопоухий, обтрепанный, сигарожующий, плешивый, отмороженный друг.

— Ответ неверный, придурок, — сказал Стивен.

— Как, Говард, неужели ты хочешь сказать, что волосы у тебя не накладные?

— Нет, здесь ты прав, но я говорю о браке. Смотри не нахватайся ложных о нем представлений у этих двух чудиков. Любовь прекрасна, — сказал он, и в это время девичий голос крикнул *Бу* из-за сетки от мошкары, висящей на входе, и тут же раздался щелчок от лопнувшего жвачного пузыря. Это была Мэган О'Дрейн.

— Йоу, Фрэнки. Как дела? — спросила Мэган у Фрэнсиса Младшего, пожимая ему руку. Тот всегда был от нее без ума. — Что, опять Гвен Флэггарт покусала?

— Спасибо, Мэган, нормально, — сказал он. — Да, этот блоходром меня снова укусил.

— Не понимаю. Со мной она всегда такая лапочка, — сказала Мэган и снова надула и лопнула пузырь. — Гвен Флэггарт, ты моя сладенькая ста-

рушонка. Нужно просто почесать ей за ухом. Вот видишь? Со мной она просто шелковая.

– Клянусь тебе, Мэган, я бы и сам обязательно попробовал, если бы она меня хоть к веранде подпускала – так ведь не подпускает.

– А, ну тогда конечно, Фрэнсис, – сказала она. – Слушай, а не видел ли ты где поблизости нашего Стиви Уандера?

– Да, он в доме, – сказал Фрэнсис Младший.

– И как он сегодня – красавчик или не очень? – спросила она.

– Не такой, как я, конечно, но в целом ничего, – пошутил Фрэнсис Младший.

– Да, мечтай, приятель.

– Я не мечтаю, а знаю точно. Ладно, пойду.

– Давай. Только осторожнее с шавками.

Мэган, которая всегда клево одевалась и выглядела просто конфеткой, зашла в дом. Фиолетового цвета топик плотно обтягивал ее очаровательные сиськи номер три, а еще на ней были короткие хлопковые шорты, безупречно белые новые тенниски и куча украшений: большие золотые серьги в ушах, на каждом пальце по кольцу, браслеты на запястьях и даже на лодыжке. Ноги у нее были мускулистые, но не как у качков или легкоатлетов. Однако красивее всего было ее лицо: натуральные рыжие волосы, голубые глаза и большущий рот. Она была хорошенькая и шумная, и нагловатая, и веселая, как Сесилия, как Грейс.

– Здорово, Тухи, – сказала она. – Как жизнь?

– Привет, Мэган, – сказала Сесилия. – Не очень. Потеряла деньги на районную вечеринку.

– Гонишь? – спросила Мэган недоверчиво.

– Нет, не гоню. Что делать теперь, не знаю.

– Стивен Тухи, – сказала Мэган, подойдя к нему, и, запустив длинные накладные ногти ему в волосы, принялась трепать его шевелюру. – Каким образом мы можем исправить создавшееся положение?

– Мэган О'Дрейн, – ответил ей он, суча ногой, как собачка, пока она играла с его волосами. – Хороший вопрос, Мэган О'Дрейн. Не знаю, что и сказать.

– Сколько у тебя набралось зелени в банке с кондукторской зарплаты? – поинтересовалась Мэган.

– Где-то около пятисот баксов, – ответил он.

– Примерно столько же и у меня, – сказала Мэган. – Давай пойдем в банк и произведем два снятия со счета. Пятьсот с твоего, две сотни с моего – и никаких проблем.

– А почему с моего аж пятьсот, а с твоего только двести? – спрашивает Стивен.

Тут Мэган его поцеловала. А мы с Сес закричали ВАУ ВАУУ.

– Ладно, с меня пятьсот, с тебя двести, – сказал Стивен.

– Ребята, я не могу взять ваши деньги, – сказала Сесилия.

– Найдутся твои деньги, мам, – сказал ей Стивен. – Тогда и вернешь.

– Стиви Уандер, а давай этих тоже с собой возьмем, – сказала Мэган, указывая на нас с Сес.

– О'кей. Базара нет, – улыбнулся он. – Генри, Сес, что скажете?

– Я за, – ответил я.

— Я тоже, — сказала Сес.

— Круто. Эй, мам, слышала этот, про монашку, канталупу и вибратор?

Она засмеялась в ответ:

— Ты мне вчера рассказывал. Хороший анекдот.

— Вот это мне больше всего в тебе и нравится: святая простота, — сказал Стивен, обнимая ее за плечи. Затем он повернулся к нам: — Ладно, уродцы, кто последний — тот Фрэнни Тухи.

Мы все завопили и, как полные идиоты, ринулись к двери, к солнцу, на улицу. От смеха заболел живот.

Только Фрэнни вернулся с работы, как они со Стивеном запихали в холодильник у него на веранде свой (то есть вклад) запас пива для районной вечеринки. Фрэнни еще не успел толком переодеться, а уже взгромоздил на подоконник колонки от стереосистемы и разрешил нам с Сес подиджеить, пока они со Стивеном сидят, пьют пиво и порют всякую чушь. Было начало пятого. Солнце ярко светило высоко в небе и жарило вовсю. В руке каждый держал по пивной банке, от которых на шортах оставались мокрые кольца. Соседи либо прятались по домам с включенными вентиляторами и пока еще не включенным светом, либо парились снаружи, истекая потом, расставляли складные табуретки, швыряли куски красного мяса на черные жаровни. Квартал был опоясан желтыми запрещающими полицейскими лентами, все машины парковались на углу. Повсюду гоняла ребятня, пользуясь редкой возможностью, когда не нужно смотреть вполглаза и слушать вполуха, как бы автомобильные колеса не подкрались слишком близко.

Стивен и Фрэнни синхронным броском отправили пустые банки в мусорную корзину.

— Стивен, у тебя это уже вторая? — спросил Фрэнни.

— Умм, — утвердительно промычал Стивен.

— И у меня, — признался Фрэнни. — Длинный денек впереди.

Рассмеялись и открыли еще по одной. В конце квартала двое папаш приспускали заградительную ленту, чтобы дать дорогу огромной грузовой громадине, везущей надувной бассейн, карусель и различные приспособления для аттракционов с мячами. Пока они вновь налаживали свои заградительные сопли, мы потешались над картинно высунувшимися у них из шортов жопными расселинами. Диск проигрывателя крутил песню Мало "Suavecito".

— Господи, — сказал Стивен. — Впору издать по округе закон о принудительной заправке футболок в штаны.

— Рано или поздно ты сам таким станешь, — заметил ему на это Фрэнни. — Женишься, будешь жить себе где-нибудь здесь неподалеку и сверкать на солнце жирной потной задницей, а кто-нибудь помоложе и поумнее будет показывать на тебя пальцем и смеяться.

— Ну и зашибись. Только женюсь я задолго до того, как моя задница станет жирной, — ответил Стивен с улыбкой, а сам тем временем достал из кармана коробочку и со щелчком ее открыл. У Фрэнни пиво пошло не в то горло.

— Это еще что за хреновина? — ошарашенно спросил Фрэнни.

– Кольцо, – ответил ему Стивен, как будто это было нечто само собой разумеющееся.

– Обручальное?

– Угу.

– Для кого? – спросил Фрэнни.

– Ну, даешь, осел: для Мэган, конечно, – сказал Стивен.

– Мэган О'Дрейн?

– Прямо гений. Да, для Мэган О'Дрейн, для моей девушки. Вот так-то пиво на жаре хлестать.

– Да нет, я просто немного в шоке.

– Расслабься. Предложение я ей делать буду, а не она мне, – сказал Стивен.

– Можно посмотреть? – спросил Фрэнни.

Стивен кинул кольцо без коробочки ему в руки.

– Осторожней, придурок, – предупредил его Фрэнни. – И почем оно?

– Сто баксов, – сказал Стивен.

– Черт. Дешевка, – заключил Фрэнни.

– Цирконий.

– А. Когда предложение будешь делать? Где? Как?

– Сегодня вечером. Прямо здесь. Я спою ей песню на глазах у всех и сделаю предложение.

– Ты что – серьезно? Как папа маме?

Стивен рассмеялся.

– Не. Просто задам вопрос в лоб, коротко и ясно.

– Папа услышит – сразу взбеленится, – сказал Фрэнни. – Лучше бы тайно.

– Нормально все будет с папой, – усмехнулся Стивен. – Все равно в ближайшее время мы с ней не поженимся.

– Что? – переспросил Фрэнни. – А зачем тогда предложение делать? Просто подожди пока.

– Не могу. Я люблю ее. И хочу, чтобы она узнала об этом. Здесь и сейчас. Незачем ждать.

– Никогда б не подумал, что мой младший брат сделает предложение раньше меня, – сказал Фрэнни.

– Фрэнни, у тебя и девушки-то постоянной никогда не было, – сказал ему на это Стивен.

– Так-то оно так, но это не меняет смысла сказанного, – ответил Фрэнни, и они снова дружно рассмеялись. – Кроме того, у меня на сегодняшний вечер тоже запланировано кое-что интересное, – признался он и с нервной улыбкой кивнул на юг.

– Собираешься сделать предложение святой Жанне д'Арк, той, что стоит у Салливанов на лужайке? – пошутил Стивен.

– Нет, пока никаких планов на женитьбу. Я хочу пригласить Джинни Джеймс на свидание, – сказал Фрэнни.

– Джинни Джеймс? А она разве не встречается с этим качком Эйсом?

– Так и есть, встречается.

– И ты все равно позовешь ее на свидание?

– Почему бы и нет? Она ведь с ним только встречается.

— Справедливая мысль. И сколько банок собираешься еще уговорить для смелости? — засмеялся Стивен.

— От десяти до четырнадцати, — рассмеялся Фрэнни в ответ, нервно дрыгая коленом. — А ты?

— А я хоть сейчас, — ответил Стивен.

— Удачи тебе с ней, приятель, — сказал Фрэнни, глядя на кольцо, которое он все еще не выпустил из рук.

— Да, и тебе тоже, — сказал Стивен, тоже глядя на кольцо.

На веранду Тухи, все еще в служебной форме, вышел Фрэнсис Младший и захлопнул за собой дверь прямо перед носом у Гвен Флэггарт, норовившей напасть на него из гостиной. Он был рад видеть всех троих ребят вместе, с нетерпением ждал вечеринки, но был не совсем уверен в том, что и мы чувствуем то же, и от этого на лице его к выражению счастья примешивалось беспокойство.

— Йоу, — сказал он.

— Йоу.

— Йоу.

— Йоу.

— Не рановато ли для пива, а? — поинтересовался он у Фрэнни со Стивеном.

— Так ведь у нас же сегодня общая вечеринка, — ответил ему Стивен.

— Да шучу я. Ради бога, главное, не пропусти завтра тренировку, остальное меня не волнует. — Последовала неловкая пауза. — Я ведь вам не помешал, надеюсь?

— Да нет, — сказал я. — Просто Стивен нам только что показывал обручальное кольцо, которое он купил для Мэган.

Фрэнни поперхнулся пивом. Стивен засмеялся.

— Ну да, конечно, Генри, — улыбнулся в ответ Фрэнсис Младший.

Он окинул взглядом другую сторону улицы Святого Патрика, начиная с домов на холме: там жирные придурки лопали бургеры и орали на своих жен за то, что те тупые, соус острый, а пиво холодное. Потом немного понаблюдал, как Сес бегает с лужайки на лужайку со связкой зеленых гелиевых шариков и выдает по одному в руки каждому газонному святому. В конце концов он глянул и на дорогу, где взрослые с инструментами возились возле арендованных ржавых прицепов для праздничных шествий, а малыши с нетерпением дожидались, когда же, наконец, все будет готово.

— Кольцо, тоже мне, — засмеялся Фрэнсис Младший. — Только законченный псих или законченный оптимист может надеяться, что, выйдя из моего дома, он прямо тут же и женится.

— Папочка, — сказала Сес, которая уже успела вернуться с задания. — Я приклеила скотчем шарики всем святым. Теперь стало похоже, как будто они держат их в руках.

— Вижу, — сказал Фрэнсис Младший.

— Все шарики зеленые, — сказала она ему.

— Знаю, — ответил он. — Смотрятся просто здорово.

— Зеленый — теперь мой любимый цвет, — сказала Сес. — И Генри тоже. Но ему зеленый всегда больше всех нравился.

— Да что ты говоришь? — сказал он, поднял ее на руки, открыл дверь и ступил обратно через порог.

— Генри говорит, что зеленый самый лучший, потому что это цвет травы и деревьев. Генри говорит, что от дождика и от солнца все становится зеленым. А мне больше солнце нравится. Дождь — он какой-то стрёмный.

Дверь за ними закрылась. Мы, братья, улыбнулись все втроем, согретые Сес и светом ее солнца.

К тому времени, как солнце скатилось к горизонту, а затем и вовсе оставило Город Братской Любви вместе со всеми его возникавшими то здесь, то там всплесками праздничного веселья, жизнь на улице Святого Патрика продолжала пульсировать множеством ярких огней и темных причудливых силуэтов. Кое-какие шутихи, до которых еще не успели добраться дети, продолжали сыпать искрами с бортовки для праздничного шествия. На краю надувного бассейна сидел пьяный клоун, обзывал всех проходящих мимо парней слабаками и слезно умолял, чтобы хоть кто-нибудь, наконец, попал в десятку и отправил его плескаться в холодной воде, хотя, конечно же, предпочел бы воде пиво. Диджейский пульт сверкал светомузыкой. За ним стоял какой-то лысый урод и крутил мотаун-соул[1]. Лужайки были уставлены пластиковыми столами, за которыми, скрытые тенью собственных домов, сидели родители — жены на коленях у мужей — и наперебой тараторили о старых песнях и уголках, где они любили играть детьми. Здесь не было особых взрывов веселья и всего такого прочего, просто столы, а над ними — сплошняком довольные лица, втиснутые в прогалы между святыми, которые безмолвно стояли, простерши длани с примотанными к ним шариками в сторону дороги, где маленькие дети сидели по бордюрам с фейерверками и бенгальскими огнями в руках и сверкали неоново-зелеными ожерельями и браслетами или же гонялись по кругу друг за дружкой, давая выход неуемной энергии.

Я играл в американский футбол на дороге: я, Бобби Джеймс и Гарри, против нас были Сес, Арчи и Грейс. Стивен пассивно стоял в защите у нас, с другой стороны точно так же стояла Мэган. Счет все время оставался ничейным, потому что солнце уже спряталось, уличные фонари светили тускло, да к тому же мяч, который на игру принес предатель Бобби Джеймс, был синего цвета и с серебряной символикой "Каубойз". В темноте никто ничего не мог поймать, вследствие чего игра протекала приблизительно следующим образом: сначала Стивен перекидывал мяч через головы игроков нашей команды, потом мяч попадал к Мэган, и она делала то же самое, только в обратном направлении. Но всем и без того было весело и посрать, что игра идет не совсем по правилам. Мы считали шаги, носились взад-вперед, обходили и толкали друг дружку, не давая кому бы то ни было себя удержать.

Бобби Джеймс и Арчи держали друг друга. Оба претендовали на звание быстрейшего из живущих, поэтому стоило Стивену или Мэган крикнуть им *Марш*, как они срывались с места и неслись наперегонки по улице, ни разу не оглядываясь аж до самой Ав. Сес и Гарри тоже были те еще игроки. Сес то и дело поправляла хвостики, а Гарри через каждые десять

1. Стиль афроамериканской музыки, сочетающий в себе элементы попа, ритм-н-блюза, религиозных гимнов и современных баллад.

шагов нагибался и подтягивал наколенники. Я играл против Грейс. С ней было тяжело справиться в защите, потому что мне в глаза все время лез дым от ее сигареты. В атаке она то и дело цепляла меня за футболку и била кроссовками по голени. Однако мой член на это никак не реагировал, поскольку в то время еще не успел вырасти из пеленок.

В какой-то момент, в перерыве между песнями, все, кто сидел за столами, вдруг разом захлопали в ладоши. К Стивену подошел Фрэнни с очень серьезным видом и с двумя банками пива в руках. Диджей объявил, что Джинни Джеймс и Эйс, ее парень, только что помолвились. Родительские аплодисменты из-за столов стали еще громче. Диджей поставил песню "Give me Just a Little More Time". Потом Джинни целовалась с Эйсом, Фрэнни смотрел на них, Стивен смотрел на Фрэнни, а я смотрел на обоих братьев.

— Ты как — ничего? — спросил его Стивен, не выпуская мяч из рук.

— Да, всё зашибись, — ответил Фрэнни, ковыряя кедом асфальт и прихлебывая пиво из банки.

— Фрэнни, почему грустишь, разве ты не рад за Джинни Джеймс? — спросила Мэган. — Ой, извини, приятель.

— Слушайте, со мной правда все нормально, — неуверенно подтвердил Фрэнни.

— Ну и здорово, — сказала Мэган. — Вокруг столько классных девок для такого симпатичного чувака, как ты. Стиви Уандер, я надеюсь, что когда-нибудь и ты мне сделаешь предложение.

— Не теряй веры, сестра моя. Продолжай загадывать желание по падающим звездам — возможно, когда-нибудь сбудется, — рассмеялся Стивен.

Он схватил Фрэнни за запястье, запел "When You Wish upon a Star" и начал быстро кружить с ним медляк. Все вокруг засмеялись и тоже схватили себе по партнеру: мы с Грейс; Сес с Арчи; Мэган с Гарри и Бобби Джеймсом. Когда все, наконец, бросили танцевать, Мэган сказала:

— Арчи, нам пора, нас там папа ждет.

— Где это там? — надулся Арчи.

— На профсоюзном банкете, — напомнила она ему.

— Не хочу туда.

— Да брось, всего на часок. Пойдем, через пару минут троллейбус будет уже на углу.

— Вот еще, терпеть не могу эти сраные троллейбусы.

— Мы только туда на троллейбусе. Обратно нас папа отвезет. Ну все, пойдем, — подытожила она.

— Еще один раунд, Мэг, ладно? — Арчи умоляюще посмотрел на сестру.

— Ладно, идет, — сказала Мэган. — Наш мяч, так ведь? Фрэнни, не подскажешь нам какую-нибудь стратегию на последних секундах?

— Да вот, пришла тут на память одна, — сказал Фрэнни. — Ну-ка все сюда.

Они все собрались кучкой, Фрэнни начал что-то им шептать и пару раз ткнул пальцем в нашу сторону. Перед тем как они на нас бросились, Фрэнни отошел немного назад и замер: одна нога на дороге, другая — на бордюре. Тут Мэган крикнула *Марш*. Грейс дала мне коленом по яйцам. Я свалился как подкошенный. Сес оттянула Гарри очки и резко отпустила.

Гарри тут же упал и расплакался. Арчи толкнул Джеймси в руки к Фрэнни, а тот поднял его над землей за ноги вверх тормашками. Мэган скинула мяч Сес, Сес пробежала с ним футов десять и откинула Грейс, которая, в свою очередь, преодолела с ним еще футов пять и передала его Арчи, а тот пролетел всю финишную зону и занес мяч за линию, после чего не сбавляя темпа вернулся назад, раскрутил мяч на пальце и выдал отличную свечку. Товарищи по команде тут же все с радостными воплями попрыгали к нему на шею, а мы повалились на землю от смеха. Диджей крутил "Ooh, Baby, Baby" Смоки Робинсона и Миракл. Родители потянулись танцевать медляк с лужаек вниз на улицу, кругом все только и жужжали, что о случившейся помолвке. Стивен положил руку Фрэнни на плечо.

— Ты по-прежнему не против, если я сделаю Мэган предложение? — спросил он.

— Дерзай, братишка, — ответил Фрэнни с грустной улыбкой.

И они смеясь вернулись к столу. Брошенные ночевать посреди улицы карнавальные бортовки все еще светились огнями. Упившийся клоун храпел в бассейне, грезя себе о ботинках поменьше и апартаментах попросторнее. Родители медленно покачивались, как деревья от теплого летнего ветерка. У бордюра Грейс щекотала Сес, и в этот момент какое-то теплое чувство к ней зашевелилось у меня в душе. Мэган вела Арчи за руку в сторону троллейбусной остановки, а тот, не отнимая руки, подпрыгивал и изображал бег на месте, повествуя о своих подвигах в их с Бобби Джеймсом скоростном противостоянии. В ответ Мэган надувала пузыри из жвачки и посмеивалась. Но вдруг вырвала руку из его ладони и помчалась за ним дальше по улице. Один за другим они завернули за угол и исчезли в темноте.

К полуночи вечеринка уже порядком выдохлась, и родители потихоньку стали переползать с лужаек на веранды, поближе к гостиным, где диваны с каждым новым глотком все больше к себе притягивали. Кругом беспрестанно хлопали и снова открывались двери. Все те же ретро-шлягеры неслись теперь не с диджейского пульта (диджей уже успел упаковаться и свалить после того, как его освистали), а из шипящих приемников на верандах. По Ав направо-налево с шумом летали машины и троллейбусы. Улица Святого Патрика притихла, но не окончательно.

Мы все, кто помельче, после ухода диджея остались на улице и принялись давить тараканов, которые всегда выползали с наступлением темноты. Эти ублюдки были настоящими гигантами, поэтому приходилось каждый раз набираться храбрости хотя бы для того, чтобы наступить на такого ногой, но это только в том случае, если тебя не звали Грейс и ты не тушил об них бычки со словами *До встречи в аду*. Но вскоре тараканы нам наскучили, и мы стали подтягиваться поближе к веранде Тухи, где, помимо родителей, сидели еще Фрэнни со Стивеном, миссис Макклейн и чета Куни. Пьяные вдуплину, они всем скопом утешали Фрэнни.

— Самое главное — ты попытался, Фрэнни, — вчехляла ему уже порядком окосевшая миссис Мак Ка.

— Ничего я не пытался. Он сделал ей предложение до того, как я успел позвать ее на свидание, — отвечал ей Фрэнсис, уставившись в пивную банку, — ну вылитый ученый ботаник, выискивающий там на дне свою любимую плесень вместе с ее гребаными спорами.

— Ладно, но уже одно то, что *почти* попытался, и есть самое главное, — не сдавалась она.

— Да я даже и почти-то толком не попытался. Я планировал еще подождать и только потом, когда будет примерно вот как сейчас, к ней подойти.

— Ладно, сойдемся на том, что ты был в двух часах от того, чтобы почти попытаться, — подытожила миссис Макклейн.

Все засмеялись, даже Фрэнни.

— Я надеюсь, что у Джинни все сложится прекрасно, вот и все, — сказал он.

— Постойте-ка, он что — сказал Джинни? Которая Джинни? — спросил Бобби Джеймс.

— Которая сестра твоя, дурачок. Сегодня вечером Фрэнни собирался позвать ее на свидание, — сказала Сесилия.

Тут Бобби Джеймс стал смеяться над Фрэнни. Стивен спрыгнул с веранды, дал ему пинка и подвесил за трусы на сложенные в молитве руки святого Валентина. Воспользовавшись моментом, Сесилия схватила фотоаппарат и сфотографировала Бобби Джеймса, а тот только и успел, что показать фак ей в объектив.

— Не переживай ты так из-за пустяков: не успеешь оглянуться — уже снова влюбишься, — сказал Фрэнсис Младший.

— А потом будешь эту сучку попеременно то любить, то ненавидеть. Донна, а Берни там что — уснул, что ли? — поинтересовалась Сесилия у миссис Куни по поводу ее мужа, который уже некоторое время сидел в кресле прямо и не двигаясь, с запрокинутой головой и открытым ртом.

— Это не уснул называется, это называется вырубился, — с отвращением в голосе ответила Донна.

— Хочешь — давай Фрэн с Фрэнни его домой оттащат? — спросила Сесилия.

— Да нет, не надо. Лучше оставить его здесь, — сказала миссис Куни. — Только вот беда: у нас час назад туалет сломался. Судя по звукам, вот-вот перельется.

— Пусть Фрэн сходит да починит, — предложила Сесилия.

— Прямо сейчас? — удивилась миссис Куни.

— Да, прямо сейчас. Фрэн, ты же сходишь к Донне и поможешь ей, правда?

— Да, конечно, — он бросил взгляд на миссис Куни, которая уже давно на него посматривала.

— Спасибо. Очень мило с твоей стороны, — сказала миссис Куни. И они медленно пошли по улице в сторону ее дома, весело болтая по пути, а затем скрылись за дверью.

— Подумать только: Джинни Джеймс выходит замуж, — сказала миссис Мак Ка, ни к кому специально не обращаясь. — Я что — уже такая старая? Я ведь помню, как она еще недавно бегала тут с голым пузом и в памперсах.

— И я тоже, — подтвердила Сесилия. — Помнишь, когда ей было лет шесть, она перелетела через руль велосипеда и выбила себе все передние зубы о бордюр?

— Да, точно, — сказала миссис Мак Ка. — И, по-моему, вдобавок сзади в нее еще влетел на велосипеде какой-то мальчишка, нет?

— Это был я, — смущенно пробормотал Фрэнни. Сесилия и Ширли Макклейн покатились со смеху. — Я не нарочно, — добавил он. — Просто пытался за ней угнаться.

— Миссия успешно завершена, сынок, — сказала Сесилия и потрепала его по щеке. — Так когда у них назначена свадьба? Они ничего не говорили про дату?

— Кто-то мне сказал, что вроде как ровно через год, — сообщила ей миссис Макклейн.

— Эйс так сильно нервничал, когда делал ей предложение, — заметила Сесилия. — Весь аж трясся. Ты заметила, Ширли?

— Да, я видела. Все равно смотреть было одно удовольствие, — сказала миссис Макклейн.

— Точно, — согласилась Сесилия. — Обожаю смотреть, когда девушке делают предложение. Сразу настроение поднимается — понимаешь, о чем я? Я вспоминаю, как это было у нас с Фрэном. И снова чувствую себя молодой и влюбленной. Ну, или почти молодой и влюбленной.

— Да, я тоже, у меня все то же самое. Мистер Макклейн трясся еще похлеще Эйса.

— Серьезно? — удивилась Сесилия. — Он же всегда был такой собранный.

— Да, всегда. Но только не когда делал мне предложение.

— А где все происходило? — спросила Сесилия.

— В ресторане, — сказала миссис Макклейн.

— Да? Где-нибудь здесь, поблизости?

— Не, в центре. "У Консуэлы", испанский, на углу Девятой и Арч.

— Ни разу о таком не слышала, — сказала Сесилия.

— Его больше нет, — пояснила миссис Макклейн. — Там теперь вместо него два магазина: ломбард и центовка, кажется. А был большой ресторан, никакого света внутри, если не считать красных свечей на столиках. Марьячи[1], ну и все такое... Ансамбль заиграл прямо перед нашим столом: тут-то мистер Макклейн и начал. При этом весь трясся как осиновый лист и заикался через слово. Я уже было собралась во весь голос, чтобы перекрыть музыку, звать доктора, но тут он достал кольцо и сразу же уронил его мне в тарелку с супом-пюре брокколи.

— Да иди ты, — выдохнула Сесилия. — Так не бывает.

— Еще как бывает. Когда он наконец нацепил кольцо мне на палец, оно было все в супе. Даже нельзя было разглядеть, что там за камень. Но мне это было и не важно. Брокколи и прочее — это было самым красивым зрелищем в моей жизни. Боже, ну этот Берни Куни и горазд храпеть. Как бы его заткнуть?

— Можно просто-напросто убить, — предложила Сесилия.

— Думаю, Донна будет только рада, — сказала миссис Макклейн. — Судя по всему, они не очень-то ладят.

— Да, они сегодня весь вечер собачились.

— Я заметила, — согласилась миссис Макклейн. — Слыхала, он ее обижает.

— Он что, ее бьет? — спросила Сесилия.

1. Мексиканские музыканты, исполняющие народную танцевальную музыку, также называемую марьячи.

— Просто слыхала, что он их с сыном обижает, и все. Чуть что — сразу на них орет.

— А Ральф — это ведь их сын, так? — сказала Сесилия. — Такой коротышка. У меня от него мурашки по коже.

— Да, — сказала миссис Мак Ка, — но на самом деле всему виной вот эта Спящая Красавица.

— Стыд, да и только. Донна, она ведь такая классная, — сказала Сесилия. — И столько нормальных мужиков могла бы подклеить.

— Это точно, — сказала миссис Макклейн. — А каким образом твой тебя раскрутил?

— Он повез меня к реке в сторону Нью-Хоуп, а там спел мне "Далеко за синим морем".

— Вау, наверное, для тебя это был настоящий сюрприз.

— Не, я знала, что все к тому идет, — улыбнулась Сесилия.

— Знала? — переспросила миссис Макклейн.

— Конечно. Я же к тому времени уже была беременна вот этим молодчиком, — сказала она, указывая на Фрэнни. — Все же пришлось разыгрывать дурочку. А он ничего не просек. Тихо, вон он идет.

Фрэнсис Младший вернулся, перегнулся через перила и полез в холодильник к Фрэнни.

— Последняя, — сообщил он. — Что я пропустил?

— Как раз о тебе говорили, Ромео, — сказала Сесилия.

— Что? — слегка расплескав пиво, поинтересовался он.

— Я рассказывала Ширли про тот вечер, когда ты сделал мне предложение, — сказала Сесилия.

— А, Ширли, она даже ни о чем не догадывалась, — хвастливо заявил он.

Женщины дружно рассмеялись. Миссис Мак Ка посмотрела через улицу на окна своего дома: может, хотела увидеть там мужа. Фрэнни грустно улыбнулся. Стивен улыбнулся радостно. А мы, дети, все это время смеялись: глупо и не пойми отчего, — впрочем, как всегда, когда смеешься с родителями, особенно если те говорят о любви.

— Ну что, ребята, наверное, самое время раскрыть вам один секрет, — подмигнув мне, сказал Стивен. Залез к себе в карман, извлек оттуда коробочку с кольцом и выставил на всеобщее обозрение.

— Это что — мне? — спросила миссис Мак Ка.

— Нет, но не знал, что вы заинтересуетесь, — сказал он.

— Ну, бля, ты даешь, Стивен, — сказала Сесилия. — Откуда у тебя такие бабки?

— Расслабься, мам, это цирконий, — сказал он. — Настоящее куплю потом, когда будут деньги.

Все стали рассматривать кольцо, передавая его по кругу, один Фрэнсис Младший сидел не шевелясь.

— В чем проблема, пап? — спросил у него Стивен.

— Ты что — собираешься предложить Мэган *выйти за тебя замуж?* — спросил Фрэнсис Младший.

— Да, — весело, но с опаской ответил ему Стивен.

— Значит, жениться собрался?

— Ну не совсем так сразу...

— Про женитьбу и думать забудь, — отрезал Фрэнсис Младший. — Тебе всего семнадцать.

— Для помолвки вполне достаточно, — сказал Стивен. — Тебе самому было...

— Сколько было мне — не важно, Стивен, — заорал Фрэнсис Младший. — Дайте сюда кольцо. Сесилия, сейчас же дай мне это кольцо, — Фрэнсис Младший вырвал кольцо из рук у Сесилии и швырнул на дорогу. И только после этого слегка успокоился. *Дзиньдзиньдзинь* поскакало кольцо.

Стивен рванулся с места, пытаясь достать Фрэнсиса Младшего, но Фрэнни был начеку и успел стиснуть его за плечи. Они кувыркнулись через перила и упали на траву: мы едва успели расступиться. Стивен попытался было взбежать назад по ступенькам — Фрэнни снова успел его удержать, назвав при этом гребаным придурком, — тогда он развернулся, бросился на улицу и стал там повсюду искать кольцо на карачках, в то время как мы все, остальные, в оцепенении наблюдали за происходящим. Фрэнсис Младший пустился в безостановочный громкий монолог: словесный поток хлестал из него, как из прорвавшейся канализации. *Я женился таким молодым по дури. Надеялся, у меня будет шанс гонять мяч за сборную колледжа. Так нет ведь, женился без гроша за душой. Ненавижу свою работу, ненавижу свою жизнь. У меня неоплаченных счетов до жопы, у меня все руки в сыпи и вдобавок артрит коленных суставов. Я не позволю, чтобы ты вот так вот просрал свой шанс. У меня такого шанса вообще не было.*

Из домов начал вылезать народ, чтобы узнать, кто скандалит, и попросить их на хрен заткнуться. Стивен отыскал кольцо, подул на него и поднес поближе к уличному фонарю — посмотреть на свет. Тут на углу случилась авария. Меня оглушил звук удара, от которого волосы встали дыбом. Все побежали по направлению к Ав, на которой после столкновения все разом затихло. В наступившей тишине топот наших ног звучал словно частый град по железной крыше.

На углу — две развороченных перевернутых машины. Одна — красная спортивная — горела на ступенях церкви в пяти футах от входа, выбрасывая в небо языки пламени, как будто сам Бог решил развести костер из металла, чтобы защитить свою обитель. Другая машина, зеленый универсал с деревянными панелями, принадлежала О'Дрейнам. Она лежала на правом боку менее чем в футе от парадных дверей бара "У Пола Донохью". Арчи лежал ничком на тротуаре, раскинув руки, как Христос на кресте: ноги ему придавило машиной. Он лежал на тротуаре без сознания, и не видно было ни крови, ни ран: просто тяжелый корпус машины навалился на обе его маленьких ножки. Миссис О'Дрейн со всхлипами ползала по Ав с кровавой кашей вместо лица. Сесилия сразу побежала к ней. Где-то близко уже выли сирены. Мистер О'Дрейн выбрался через окно боковой двери с водительской стороны (та сторона висела над асфальтом) и тут же упал. На нем не было ни царапины: только штаны запачкал, когда вылезал. Потом он поднялся, послюнявил пальцы и принялся оттирать перепачканные колени, не замечая ни корчащейся на дороге в десяти футах от него жены, ни лежащего под машиной сына. Я неотрывно следил за тем, что происходит, — не с интересом, нет, со страхом, как сцену из фильма ужасов, — но потом перевел взгляд и увидел, как на той стороне улицы Стивен Тухи поднимает с земли окровавленное тело Мэган. Тут меня вырвало, и я плюхнулся задницей на асфальт и так и остался сидеть, глядя на Стивена, который с виду был совершенно спокоен и не обращал никакого внимания на вой сирен и соседей. Словно нянечка, укладывающая новорожденного

младенца в колыбель, он положил Мэган на какой-то стариковский свитер, только что вынесенный из бара. Из кармана на асфальт рядом со свитером выпала коробочка с обручальным кольцом. Он тут же подобрал ее и аккуратно спрятал обратно в карман. С этого момента я больше ничего не помню из происходившего той ночью. На следующее утро я смотрел, как Стивен торопливо собирается уходить. Спускаясь по лестнице со второго этажа, он снова уронил коробочку, снова быстро и молча подобрал ее, вышел из дома и отправился на Ав, чтобы вернуть кольцо в ювелирный Дивайни, туда же, где и купил его, через два магазина от "У Пола Донохью", в пятнадцати футах от места аварии. Кольцо так там, у Дивайни, и лежит за сто баксов. Я хочу его выкупить — думаю, это поможет нам вернуть Стивена. А ради такого уж точно стоит заставить Гарри выложить каких-то пять гребаных двадцаток.

14

Дом О'Дрейнов выделяется на фоне других домов на улице Святого Патрика. В буйно разросшейся газонной траве не видно декоративных игрушек, и святой Себастьян лежит опрокинутый набок, будто его пырнули ножом, да так и оставили умирать. На абсолютно голой веранде не увидишь ни гостеприимного коврика для ног перед входом, ни барбекюшниц, ни детских велосипедов. Письма никогда не приходят в их совершенно черный со всех сторон почтовый ящик, равно как и едва ли когда-нибудь открывается совершенно белая дверь их дома. Глубокий вдох для храбрости. Да, местечко то еще. Стучусь в дверь. Безрезультатно. Снова стучусь, теперь уже громче, но без всякого нетерпения. Наконец слышу, как кто-то с той стороны отпирает сто замков и задвижек. Дверь распахивается; передо мной стоит миссис О'Дрейн: лицо вдоль и поперек исполосовано рубцами, в глазах — бездонная синь, пухлые губы, рыжие волосы, высокие скулы, ноги как у танцовщицы и вдобавок игривые сиськи номер два. Даже и с шрамами она стопроцентно катит в кандидаты за мусорные баки магазина морепродуктов. Но сама об этом, конечно, даже не догадывается. После аварии она лишь бросает первый быстрый взгляд на всех, кого увидит, а потом уже точно ни разу глаз не поднимет.

— Здравствуй, — здоровается она так, будто видит меня впервые в жизни.

— Привет, миссис О'Дрейн, — отвечаю я. — Мама послала меня к вам забрать Арчи.

— Мама? — переспрашивает она.

— Да, моя мама, Сесилия, — спокойно поясняю ей я.

— Ах да, конечно, Сесилия. Извини меня, пожалуйста. Заходи.

Внутри затхло, но прибрано. Окна закрыты и зашторены, кондиционер включен на полную, свет идет только от экрана телевизора. Арчи сидит в кресле носом в экран, где, тоже сидя в креслах, правда с подушечками, спорят о чем-то пышноволосые политики.

— Йоу, — приветствует он меня, не отрываясь от ящика.

— Йоу, — отзываюсь я. — Ну что, готов, красавец?

— Красавец? Тебе зеркало принести? — огрызается он.

– Да это я тебя красавцем назвал, а не себя. Все равно шутка, – говорю я и подмигиваю миссис О'Дрейн, которая сидит на краешке дивана, уставившись себе на руки. До аварии они с Сесилией были близкими подругами. Бывало, летом часто сидели на веранде на перилах, о чем-то между собой шептались и много смеялись. Теперь они изредка просто шепчутся, не смеются, да и то по большей части у дверей О'Дрейнов, когда Сесилия приходит за Арчи или, наоборот, привозит его домой.

– Что? Ты что-то сказал? – виновато переспрашивает миссис О'Дрейн.

– Да нет, это я Арчи, – говорю я. – Мама просила, чтобы он непременно взял с собой костюм.

В ответ ноль реакции.

– Ему правда стоит надеть костюм, – повторяю я, обращаясь уже непосредственно к ней.

– Что? А, хорошо. Сейчас принесу, – с этими словами она, нервно поеживаясь под струей холодного воздуха, свистящей из кондиционера, идет к креслу, на котором валяется костюм в полиэтиленовом пакете.

– Не буду это надевать, – надувается Арчи.

Она оставляет костюм и возвращается к себе на диван, садится. Тут самое время мне прийти на помощь.

– Нет, будешь, – говорю ему я.

– Нет, не буду.

– Нет, будешь.

– Нет, не буду.

– Нет, не будешь.

– И не надейся, на такое не поймаешь, – говорит Арчи. – Я тоже "Багза Банни" смотрел.

– Даже если я стану тебя умолять? – спрашиваю я.

– Тогда возможно. Можешь начинать, – говорит он.

Я падаю перед ним на колени.

– Арчи, пожалуйста, будь так добр, надень костюмчик. Я люблю тебя и хочу от тебя ребенка. Ты выйдешь за меня замуж?

Арчи смеется:

– Ну вот, уже двое Тухи просят меня выйти за них замуж.

– Сес предлагала тебе на ней жениться? – спрашиваю я.

– Вроде того, только Сес ведь не предлагает. Она мне приказывает, – сетует он.

– Сам виноват, тряпка, – говорю я ему, все еще стоя на коленях лицом к лицу с ним.

– Ммм, ну ладно, я готов, Генри.

– Круто, – говорю я. – Выдвигаемся.

Я быстро хватаю костюм с кресла, в надежде успеть убраться восвояси до того, как покажется мистер О'Дрейн. Опоздал, бля. Он уже спускается по лестнице. Маленький, щуплый чувак, пять футов и шесть дюймов ростом и весом от силы сорок кило: темные усы, волосы с аккуратным пробором посередине, которые стали абсолютно седыми уже через неделю после аварии. До смерти Мэган он был крупной шишкой в профсоюзе кровельщиков. Частенько мелькал в новостях во время забастовок – неизменно в очень стильных костюмах – и говорил всегда без надрыва, но по делу. Теперь он носит ис-

ключительно синие боксерские шорты и белые футболки, заикается и мало что соображает.

— Пппприввет, Ссстивен, — говорит он мне.

— Это Генри, пап, — поправляет его Арчи.

— Все пппопппрежнему в ффффутбббол иггграешь? — отрешенно спрашивает мистер О'Дрейн.

— Это Генри Тухи, пап. *Генри.* Скажи ему, мам. Мам? Мам!

На стене начинают бить часы. Родители Арчи оба одновременно подпрыгивают как ужаленные.

— Что, сладкий мой? — спрашивает миссис О'Дрейн.

— Папа опять называет Генри Стивеном, — жалуется Арчи.

— Ой, Арчи, веди себя там как надо, — говорит ему она, словно робот, повторяющий слова вслед за мамашей из телесериала.

— Ладно, в общем, вот ГЕНРИ, он отведет меня на свадьбу, — говорит Арчи. — О'кей?

Нет ответа. Мы поворачиваемся и направляемся к двери.

— На свадьбу? — спрашивает миссис О'Дрейн. — Что за свадьба? Ничего не слышала.

— И вы тоже идете. Мы там с тобой договорились встретиться, помнишь, мам? — терпеливо и спокойно спрашивает Арчи.

— Ах, да, и правда, — отвечает она, хмурясь и силясь что-то вспомнить.

— Ладно, пока, — прощается Арчи. — Пойдем, Генри.

— А кто такой Генри? — спрашивает мистер О'Дрейн.

Я беру Арчи под мышки, вытаскиваю из инвалидного кресла, спускаюсь вместе с ним на тротуар и усаживаю его на нижнюю ступеньку лестницы. Затем возвращаюсь за креслом. И последнее: нужно захватить костюм с пола у порога. Внутри мистер О'Дрейн наливает себе выпить и тут же, одним судорожным глотком осушает стакан. Миссис О'Дрейн оглядывается по сторонам и спрашивает в пустоту: "А где Арчи?" Выхожу на улицу, хватаюсь за ручки инвалидного кресла — совсем как за руль велосипеда. Арчи запрокидывает голову и смотрит прямо в небо.

— А хорошо сегодня солнце греет, — говорит он. — Аж лицу приятно.

— Да, еще как приятно, — соглашаюсь я.

И мы едем дальше.

Гарри Карран в непонятках.

— А почему ты спрашиваешь, не тяжело ли мне дышать? — спрашивает он меня.

— Да сдается мне, твоя долбаная экипировка препятствует циркуляции воздушных потоков, — говорю я и мельком бросаю веселый взгляд на Арчи, который смеется вместе со мной. Сегодня Гарри у нас в спортивной форме небесно-голубого цвета в обтяжечку: на нем футболка с V-образным воротом и короткие шорты, и то и другое с белым кантиком; подтянутые до самых колен полосатые гетры; в дополнение ко всему на шее болтаются спортивные очки.

— А, понял. Так все дело в костюме. Это говорит о том, как мало вы смыслите в эргономии.

— Эргономия — это что-то вроде "зацени мои шары"? — интересуюсь я.

— Нет, это значит "посмотрите, ребята, какая у меня задница", — поясняет Арчи.

— Очень смешно, — говорит Гарри. — Нам пора двигать. Ювелирный сегодня закроется рано.

— Сначала за Бобби Джеймсом, — напоминаю ему я.

— А ты уверен, что сто́ит? — жалобно спрашивает Гарри. — Он где сейчас вообще?

— Да вон он, у себя на газоне, собачье дерьмо собирает, — говорю я.

— И правда.

Со смехом мы проделываем путь в шесть шагов до его газона. С места в карьер Джеймси, который подчас сплетничает не хуже любой девчонки, начинает пересказывать нам байки про вчерашнюю драку, сам продолжая при этом собирать совком какашки за Боргардтом и не расставаясь с батончиком "Поп-Тарт".

— Вчера в Тэк-парке у Ральфа Куни был ствол, — сообщает он нам.

Слышно, как по дому в преддверии свадьбы в панике носятся подруги невесты и телефон звонит каждые десять секунд.

— Да кто тебе это сказал? — намеренно выказывая полное недоверие, спрашиваю у него я.

— Ральф, — отвечает он.

Прежде чем я успеваю сказать еще хоть слово, к двери подходит миссис Джеймс (пятьдесят пять лет, сиськи второго размера, золотые очки).

— Бобби Джеймс, — говорит она, — сколько можно собирать какашки за Боргардтом?

— Мам, я и так собираю их быстрее некуда. Всё? Довольна теперь?

— Если у Ральфа был ствол, то где он его, спрашивается, прятал? — интересуюсь я.

— А я откуда знаю? — отвечает Бобби Джеймс. — Он про него только потом сказал.

— Роберт, ты вообще никогда не соберешь эти какашки, если будешь болтать, — говорит ему мама.

— Ё-моё, мам, ты еще хотя бы минуту можешь подождать? — возмущается он в ответ.

— А куда вы пошли после драки? — спрашиваю я.

— Зашли в "Семь-Одиннадцать", — говорит Бобби, — пока папаня, урод, нас оттуда не выгнал.

— Роберт Джеймс, я ослышалась или ты только что назвал *своего отца уродом?* — спрашивает миссис Джеймс.

— Ничего подобного, — нагло врет он ей в ответ. — Может, тебе сходить уши полечить?

— Твой отец тоже вчера там был, — сообщаю я ему.

— Да, он мне сказал, что видел тебя и что рожа у тебя была как после встречи с привидением, — говорит Бобби.

— Это правда, — признаю я.

— Уши полечить, говоришь? Имей в виду, я еще не настолько старая и сил, чтобы выпороть тебя, у меня куда как хватит, — говорит миссис Джеймс.

— Так, мам, предупреждаю: еще чуть-чуть и я окончательно потеряю терпение, — предупреждает Бобби, кусая батончик, который он держит в той же руке, что и пакет с какашками. — Знаешь, Генри, а эти фиштаунские оказались хиловаты. Кардинал Крол уже прочитал отходняк

всем пятерым, — продолжает врать он, а сам тем временем отправляет очередной орех в пакет в опасной близости от своего "Поп-Тарта".

На улице раздолбанные американские машины пускают клубы газа из выхлопных труб. Перед ними бросаются врассыпную к тротуару маленькие дети на великах и досках. Телки тычут шлангами в цветочные клумбы и кричат *Ну-ка притормозил, урод* водителям, которые, проезжая мимо них, успевают показать средний палец. Гарри делает растяжку. Я причесываюсь. Арчи смотрит куда-то вдаль: ему наплевать на споры между придурками, чьи ноги ходят.

— А что, Грейс тоже пошла с вами в "Семь-Одиннадцать"? — стараясь выглядеть безучастно, как бы между делом интересуюсь я (и при этом продолжаю расчесывать волосы).

— Не, сразу домой пошла, — сообщает мне Бобби.

— Вот и хорошо, — говорю я. — А то я боялся, что она останется с Бурком и Крампом.

— А с чего так думал? — спрашивает Бобби.

— Не знаю, — говорю я. — Просто после "Свободы" она стояла, трепалась с ними.

— Ай-ай, — говорит Бобби. — Ревность — плохая привычка, Генри. Нужно давать женщине определенную свободу. Тебе пора бы уже знать, как с ними обращаться и разговаривать.

— Роберт, проверь под забором: нет ли говняшек. Бо любит там какать, — говорит миссис Джеймс.

— Мам, пойди, что ли, усы себе ваксой подмалюй, — говорит ей Бобби.

Дверь резко распахивается. Миссис Джеймс, выставив метлу как копье перед собой, стремглав бросается на сына вниз по лестнице. Но Бобби Джеймс уже готов и мелко, по-боксерски, перепрыгивает с ноги на ногу.

— Ну, давай, подходи со своей метлой, — говорит он. — Я тебе все бигуди из волос повыдергаю.

Миссис Джеймс замахивается на него метлой, как топором, но — мимо. Бобби Джеймс, теперь уже с демонстративной наглостью, начинает смешно приплясывать на месте, но тут вдруг спотыкается и падает спиной на траву. Прощай, мой бедный друг. Он зажат в угол. Теперь уже не до гонора. Изо рта показывается и тут же испуганно лопается пузырь жвачки. А тем временем миссис Джеймс медленно, но верно надвигается на него со злорадной улыбкой.

— Вот и пришло время расплаты, — говорит она, занося метлу над головой для смертоносного удара.

Но не успевает она опустить метлу на голову Бобби Джеймсу, как тот — Господи Иисусе, просто не верю своим глазам, ну дает: это уж слишком! — швыряет в нее мешок с какашками и, воспользовавшись короткой передышкой, бьет кулаком в лицо святого Фому Аквинского и тут же со стоном сгибается, ушибив руку о непрошибаемую статую. Вот теперь уже точно бежать некуда. Миссис Джеймс отбрасывает метлу в сторону, хватает пакет с дерьмом и принимается лупцевать Бобби Джеймса по голове этим своим новым оружием и не останавливается до тех пор, пока к дому не подходит Фрэнсис Младший с почтой.

— Доброе утро, Джоан, — говорит он и протягивает ей какие-то письма. — К свадьбе все готово?

— Доброе утро, Фрэн, — отвечает она и берет у него письма. — Считай, что так.

Теперь он переводит взгляд на меня:

— Генри.

— Да, пап? — отзываюсь я.

— Ты ведь сам в этом не участвовал, верно? — спрашивает он.

— Не-а. Только смотрел, — отвечаю я.

— О'кей, тогда я пошел.

— Отлично, до скорого.

Недовольно качая головой, он удаляется, по дороге пихая конверты с письмами в почтовые ящики, доходит так до конца квартала и проскальзывает к миссис Куни. Которая уже держит для него дверь наготове. Миссис Джеймс кидает пакет с какашками на грудь поверженному Бобби Джеймсу и возвращается в дом. Но он даже не успевает сбросить с себя пакет и подняться, как она снова выглядывает из двери.

— Роберт, тебя к телефону. Думаю, это Марджи Мерфи из соседнего дома, — говорит она, указывая на Марджи, которая сидит у себя на веранде в трех футах от нее с прижатой к уху телефонной трубкой и гоняет во рту жвачку. Джеймси с залихватской улыбкой продолжает лежать на газоне с пакетом какашек на груди.

— Вынеси телефон сюда, пожалуйста, я здесь отвечу. Вот видишь, что́ я тебе говорил насчет девчонок, Тухи?

— Быстрей давай, — говорю я. — Не забудь: нам еще с тобой в ювелирный идти, придурок.

— Кто придурок? Пять минут. Смотри, Генри, вон твоя невеста, — говорит Бобби, показывая пальцем на Грейс, которая только что вышла к себе на веранду. — Иди хоть "привет" ей скажи, что ли.

С этими словами он бросает пакет в мусорную корзину, затем берет у мамаши телефон, чтобы пошептать всякую сладкую чушь на ушко девушке, живущей от него через стенку. А в это время в доме у него за спиной, равно как и в каком-нибудь таком же доме на улице Святого Патрика или ей подобной, полным ходом идут приготовления к свадьбе.

Грейс Макклейн вышла из дома, и на ней нет ничего, кроме просторной зеленой футболки "Иглз". Благословляйте имя Его! Волосы в беспорядке, темные круги под глазами. Зевает. Закуривает сигарету и спускается по ступенькам к нам.

— Как дела, красавчик Хэнк Тухи? — здоровается она.

— Все отлично, Грейс Макклейн Великолепная, а у тебя как?

— Да тоже не жалуюсь. Миссис Джеймс что, и вправду отлупила Бобби Джеймса пакетом с собачьим дерьмом?

— Совершенно верно, — подтверждаю я, улыбаясь.

— Это еще что, — говорит она, — на прошлой неделе она ему об голову дыню разбила.

— Знаю, я тоже там был, — говорю я. — Выглядишь просто потрясающе.

— Да брось ты, я же только что встала, — говорит она. — Хотя, с другой стороны, хули с двинутым спорить?

— Точно.

И мы с ней широко улыбаемся со счастливым сознанием того, что вот сейчас стоим и просто колемся друг над дружкой, всего каких-то полдня спустя после поцелуя при луне.

– Хэнк, что с тобой стряслось вчера после драки? – спрашивает она.

– Домой пошел, – отвечаю я.

– Значит, до приезда копов с лавки все-таки слез?

– Не-а, так и стоял как вкопанный, пока копы и "скорые" не приехали.

– "Скорые"? Сразу несколько? А ты этих, из Фиштауна, потом не видел?

– Давай не будем сейчас про эту фигню, – вроде как испуганно говорю я.

– О'кей, нет – так нет, – говорит она, и ее глаза сразу теплеют.

– А до того разве не здорово было? – спрашиваю я у нее.

В ответ она ухмыляется и выпускает дым.

– Да, здорово в "Свободу" поиграли.

– А как насчет того, что было в промежутке между "Свободой" и спортплощадкой?

– Ты про баскетбол?

– Да нет, про то, как мы сосались за баками, глупышка, – говорю я.

Гарри и Арчи протестующе вскрикивают *Йоу* и затыкают уши.

– Хэнк, какого хрена. Нельзя при друзьях поскромнее?

– Скромность тебе не идет, – говорю я.

– Да, ты прав, – соглашается Грейс, щелчком отправляя бычок в Гарри: тот с отвращением передергивает плечами. – Почему ты никогда мне не звонишь? – спрашивает она, кивая головой в сторону Джеймси и Марджи, которые общаются друг с дружкой по телефону, сидя на соседних верандах на расстоянии вытянутой руки.

– Да мне как-то привычней работать мальчиком по вызову, – объясняю я.

– По вызову, значит, – смеется Грейс. – Доктор Тухи. Медсестра О'Дрейн, медсестра Карран.

– Ты кого это медсестрой назвала, ты, психбольная? – возмущается Арчи в ответ.

– Я бы поработал медбратом. Они очень прилично зарабатывают. О господи, опять они за свое, – говорит Гарри, имея в виду Бобби и Марджи, которые сосутся, перегнувшись друг к другу через перила, не отнимая от уха телефонных трубок, покуда на верандах одновременно не появляются их матери. Миссис Мерфи затаскивает Марджи за ухо обратно в дом. А миссис Джеймс отбирает у Бобби телефон и пинками сгоняет его вниз по лестнице. Он возвращается к нам.

– Я буду звонить в службу защиты прав детей, – кричит он ей через плечо.

– Мне кажется или у тебя футболка воняет собачьим дерьмом? – спрашивает у него Грейс.

Мы все прыскаем со смеху, все, за исключением Бобби Джеймса.

– Ты свою понюхай, Макклейн, – говорит он. – Ого, Генри, по-моему, твой папаня в конце квартала что-то с кем-то не поделил.

На веранде у Куни Фрэнсис Младший лается с кем-то внутри и показывает средний палец в распахнутую дверь. Выходит миссис Куни, кладет ему руки на грудь и толкает его вниз по ступенькам, а он все показывает палец и что-то кричит. Наконец он уходит прочь, направляясь в сторону "У Пола Донохью". Чуть только он отошел, на веранду выходит Ральф Куни и застывает, прямой как столб. Минуту-другую миссис Куни что-то шипит ему прямо в лицо, затем отправляет его обратно в дом, а сама бросается вслед за Фрэнсисом Младшим в сторону Ав.

— Очнись, Хэнк, — говорит Грейс, щелкая пальцами у меня перед носом.

— Что? — переспрашиваю я.

— Просто ты уставился в одну точку и стоял как вкопанный.

— Разве?

— Так и есть. Похоже, старик тебя расстраивает.

— В самом деле? — говорю я.

— Ага. Но ты ему этого не позволяй, — мягко, но уверенно говорит она мне.

— Не буду, — отвечаю я, и сам про себя знаю, что и правда не буду, и от этого люблю ее еще сильнее, и делается легче на душе.

— Вот и прекрасно. Ладно, так какие у тебя сегодня планы перед тем, как идти на свадьбу?

— Да так, то да се, — отвечаю я с улыбкой.

— То да се. Что ж, тогда шевелись скорей. Не буду тебя задерживать, — говорит она и тушит сигарету о перила, потом разворачивается и, покачивая головой, а заодно и задницей, возвращается в дом.

Полцарства за передышку моему члену.

Фрэнсис Тухи ругается с Донной Куни на углу Ав и Святого Патрика, а мы с Бобби, Гарри и Арчи следим за ними из-за угла. Мы заметили их по пути в ювелирный Дивайни и тут же юркнули обратно на Святого Патрика.

— Донна, пойми, я правда не хотел его обзывать, — говорит Фрэнсис Младший, — но что еще, по-твоему, мне оставалось делать? Он бы так и продолжал нас караулить. Он же без тормозов. Что, если возьмет да и расскажет обо всем твоему мужу?

— Ничего он ему не расскажет, Фрэн, — возражает миссис Куни.

— А что, если да? Что, если уже рассказал? — причитает Фрэнсис Младший.

— Тогда нас бы обоих с тобой уже давно на свете не было, — трезво отвечает ему она.

— Спасибо, утешила. Твой чокнутый сынок постоянно шпионит за нами, а муж как узнает — так сразу убьет.

— Да брось, Фрэн. У тебя и со своим сыном проблем хватает. А жена твоя... скорее она нас убьет, чем мой муж.

— Мой сын не такой, — говорит Фрэнсис Младший. — Даже и сравнивать нечего. Мой был счастлив, и все у него было хорошо, пока девушка не погибла. А твой всегда был того, с приветом.

За последней фразой следует пощечина, затем небольшая пауза.

— Донна. Извини. Пожалуйста, — говорит он. — Я совсем не то имел в виду.

— Он вконец запутался, потому и злится, — говорит она. — Пора уже завязывать с такой жизнью и перестать ото всех прятаться. И без того

все, кроме Берни, давно обо всем знают. Давай хоть здесь поступим правильно и признаем, что так оно и есть.

– Что? – переспрашивает он в ужасе. – Ты что – шутишь?

– Нет. Я хочу, чтобы мы с тобой перестали скрываться и открыто всем сказали о своих чувствах.

– Постой, Донна, ты вообще сейчас про что? Это какие такие еще *чувства*?

– Я люблю тебя, Фрэн, – проговаривается она.

– О господи, – только и находит что сказать ей в ответ этот говнюк.

– "О господи"? Как прикажешь *это* понимать? – злобно бросает она.

– Любовь, Донна? Не слишком ли большое слово? Послушай, может, нам лучше просто разойтись, будто ничего и не было?

– Прелестно. Ну ты и трус! Боишься сволочной жены, которую даже не любишь.

– Донна, ты все неправильно поняла. Я не знаю, с чего у тебя сложилось такое впечатление...

– Хватит, не продолжай. Все я поняла. Ты любишь свою жену. А я только так – потрахаться.

– Все не так...

– Хрена там не так, – перебивает она. – *Мне*-то хоть не ври. Для этого у тебя *Сесилия* есть.

– О'кей, – говорит он. – Думаю, все так и есть, коли уж на то пошло.

– Я тоже так думаю, – говорит она со слезами в голосе.

– Иди, позаботься о своем сыне, Донна, – уже с нежностью говорит Фрэнсис Младший.

– Да, ты тоже.

С этими словами она сваливает обратно за угол на Святого Патрика и чуть не сталкивается со мной. Мы стоим с ней лицом к лицу.

– Привет, Генри, как дела? – спрашивает она у меня, утирая слезы и стараясь, чтобы ее голос звучал как можно веселее. И тут я понимаю, что она и вправду любит моего отца, а он только что разбил ей сердце.

– Привет, миссис Куни. С вами все в порядке? – спрашиваю я и чувствую себя при этом последним дураком.

– Лучше не бывает, – бросает она и спешит обратно к себе домой, неопределенно махнув мне рукой. Мы сворачиваем за угол. Фрэнсис Младший стоит, прислонившись к своему джипу, и пьет воду из бутыли. Я иду мимо.

– Генри, ты куда? – спрашивает он.

– Не важно, – злобно огрызаюсь я в ответ и направляюсь прямиком к ювелирному магазину, где лежит кольцо, которое поможет мне завоевать сердце девушки, которую я не обижу никогда в жизни. – По крайней мере до сегодняшнего вечера, – добавляю я и в конце бормочу чуть слышно: – Будем надеяться.

15

Рон Дивайни, семидесятитрехлетний старикан с индюшачьей шеей и седыми, зализанными назад волосами, кипя от ярости, прыгает перед камерой.

— Стой где стоишь, — говорит он, грозя пистолетом. — Руки вверх, приятель, чтобы моя жена могла тебя обыскать.

Его жена, Джудит, с виду как две капли воды на него похожая, если не считать парика и длинного бесформенного платья, обыскивает человека, у которого камера.

— Он чистый, — заключает она.

— Рад слышать, а не то я б его продырявил. Что, придурок, подбираешь себе что-нибудь из драгоценностей? Тогда ты пришел по адресу. "Ювелирный Дивайни" — магазин как раз для тебя. У нас есть украшения на все случаи жизни, будь то свадьба, помолвка или юбилей. В порядке спецзаказа мы также можем предоставить широкий выбор аксессуаров и для более специфичных ритуалов и торжеств, таких, как папская интронизация или похороны. Так что заходи к нам в "Ювелирный Дивайни" на углу Фрэнкфорд-авеню и Святого Патрика, но имей в виду, ковбой: стволы и дурацкие шутки лучше оставь за порогом, а не то можешь смело загадывать последнее желание. Я-то сам не боюсь помереть, а вот как насчет тебя? — выкрикивает он, затем снимает пушку с предохранителя, поворачивается на месте и начинает безостановочно палить по мишени в виде черного мужского силуэта, пока пулевые отверстия не складываются в надпись САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ГОРОДЕ.

— Ну вот и реклама, — говорит мистер Дивайни, указывая на экран телевизора стволом своей пушки, которую он, бля, в жизни никогда не выпускает из рук. Нас, однако, это ничуть не пугает. Мы — то есть Гарри, Бобби, Арчи и я — просто научились пригибаться каждый раз, когда он ею размахивает, а потом снова выпрямляться, когда он размахивать прекращает. И все дела. Просто с этим чокнутым ублюдком всегда надо быть начеку.

— Рональд, поосторожнее там со своей штуковиной, — предупреждает его миссис Дивайни, которая, наверное, отращивает себе груди, чтобы те свисали как можно ниже — в качестве логического продолжения ее сморщенного, как чернослив, лица. — Мало тебе высаженного стекла на прошлой неделе?

— Потише там, пока суда не было, не стоит об этом распространяться. К тому же мой магазин — моя пушка. Если кому что не нравится — пусть пойдет постучится лбом об стенку, — кричит он ей в ответ, размахивая пушкой у нас над головами и тыча ею в сторону двери. Мы пригибаемся. Затем он снова опускает ствол — мы выпрямляемся — и начинает перелистывать им страницы каталога "Нотр-Дам".

Гарри прочищает горло:

— Мы пришли за кольцом.

— Нотр-Дам, — говорит мистер Дивайни, по-прежнему глядя в каталог и пропуская мимо ушей реплику Гарри. — Университет Нотр-Дам, спортивный клуб "Ирандские бойцы". А вы, ребята, болеете за *бойцов*? — спрашивает он, опять наводя на нас свою пушку.

— Конечно, черт возьми, — говорю я.

— Еще бы, — говорит Бобби Джеймс.

— Спросили тоже, — соглашается Арчи.

— За кого же еще, черт побери, — говорит Гарри.

— Ладно, — подозрительно щурясь, говорит мистер Дивайни. — Джудит, почему ящик все еще включен? Мой ролик давно прошел. Поставь пластинку.

Миссис Дивайни бросается к стереофонии. Магазин наполняется звуками божественной музыки.

— "The Four Freshmen", — замечаю я. — Вы любите Бич Бойз, мистер Дивайни?

— Эти твои пидоры Бич Бойз были левыми хипстерами и пели про всякую коммунистическую дрянь вроде серфинга и прочего, — говорит он. — Серфинг придумал Фидель Кастро специально, чтобы заманить наших ребят в воду и там их всех повзрывать, перед тем как высадить к нам десант, урод бородатый. Фидель Кастро. Я б ему сам лично глотку за это перерезал. Так, и какого черта вас принесло ко мне в магазин? Мы тут жвачками со вкладышами не торгуем.

Гарри вытаскивает из кармана сотку. Игла скребет по пластинке. Мистер Дивайни откладывает пушку в сторону. Его жена тут же приносит нам на подносе чай со льдом и кексы.

— А, теперь да, вспомнил, — говорит он. — На прошлой неделе ты заказал мне кольцо. Вроде как папочка решил сделать мамочке подарок, так? Интересно, куда он девал старое: не иначе в нужник отправил? — и давай укатываться так, как будто никто никогда еще шутки лучше этой не выдумал. — Она ни за что не догадается, что это на самом деле обычный цирконий. Что у нас там — кольцо готово, Джоан?

— Уже несу, Рональд, — отзывается она и приносит вместо моего кольца какой-то кусок дерьма.

— Это не то, которое я просил, — заявляю я.

— Что? — переспрашивает он. — Ты же, кажется, выбрал элитное кольцо из чистейшего циркония за сто баксов.

— Я выбрал *вон то*, а не это, — говорю я, указывая на кольцо для Мэган, кольцо Стивена, мое кольцо, кольцо для Грейс, которое по-прежнему лежит на прилавке под стеклом.

— Да оно в точности такое же, только то уже надеванное, а это — нет. Нарываешься на проблемы? Или пошутить со мной вздумал? — спрашивает он, а сам большим пальцем поглаживает под прилавком свою пушку.

— Ни хрена я не нарываюсь, — говорю я. — Мне нужно вон то кольцо. Дайте мне его, и не будет ни у кого никаких проблем.

— Ладно, — говорит он. — Но скидки за то, что его уже брали, не получишь.

— Пойдет, — соглашаюсь я, глядя прямо ему в глаза: я сейчас не в том настроении, чтоб с ним базарить.

— Джудит, это положи на место и принеси то, другое, — говорит он.

Она забирает дебильное кольцо, приносит вместо него то, которое нужно, и кладет его на свободный прилавок. Мы все пододвигаемся ближе. Коробочка у нее в руках со щелчком распахивается. Кольцо с коричневым камнем в желтой оправе сияет ярче всех лежащих внизу под стеклом дорогих безделушек вместе взятых.

— Можно мне подержать? — спрашиваю я.

— Только с согласия твоего дружка, у которого наличность, — говорит мистер Дивайни.

— Давай, Генри, — говорит Гарри. — Оно тебе нравится?

Я гляжу на кольцо и не могу оторваться. Любовь переполняет меня до краев, и я ничего не могу сказать ему в ответ.

— Сделано из высококачественного циркония, — балаболит мистер Дивайни. — Барахла я не толкаю с 1981 года, когда было следствие. Таким колечком можно запросто стекло разрезать — и ограбишь любой ювелирный, но только не мой, потому что я тебе сперва башку разнесу. К кольцу прилагается десятидневная гарантия, обеспечивающая защиту прав потребителя.

Я мысленно выключаю его болтовню у себя в голове, потому что мне по хрену все, что он скажет. Вот передо мной лежит кольцо, которое я надену на палец Грейс как залог моей любви. Вот кольцо, которое Стивен вернул обратно в магазин, когда погибла его девушка. Вот кольцо, которое я буду держать в руке после того, как спою ту самую песню, которую когда-то Фрэнсис Младший пел Сесилии в знак их любви. Когда я перестану петь, Стивен снова будет счастлив, а родители снова полюбят друг друга. И всем сразу станет жить лучше: и Сес, и Фрэнни, и Грейс, и мне. Сегодня вечером я предложу им все это с пожизненной гарантией. И срать я хотел на эту десятидневную байду.

— Ты знаешь, когда я делал предложение миссис Дивайни, у меня для нее вообще не было никакого кольца, — говорит мистер Дивайни. — Просто предложил — и точка. И получилось все — лучше не придумаешь. В обоих случаях. Не купил кольца тогда — теперь вот их продаю. Замечательная штука жизнь.

— Эй, прекрати, — перебивает его жена. — Опять завел свою циничную тягомотину. На самом деле, мальчики, когда мистер Дивайни сделал мне предложение в тридцать первом, он в два раза больше денег потратил на фейерверки, чем если бы купил кольцо. Разве я не права, Рон?

— А мне почем знать? Я уже давно старик. Бывает, и как звать-то меня забуду, — лукаво замечает он ей в ответ.

— Что верно — то верно, Рон, — ласково качая головой, соглашается она. — Он завел меня черт-те знает куда, в какое-то поле, — продолжает рассказывать она нам. — Там, рядом, в лесу ярдах в пятидесяти от нас прятались с фейерверками двое его приятелей. Он велел им ровно в девять запускать все, разом — в этот момент и хотел мне объясниться. Ничего на память не приходит, а, Рон?

— Нет, словно белое полотно какое-то, — отвечает он, явно приведенный в смущение своей возлюбленной половиной.

— Ну да, конечно, — говорит она. — И не важно, в общем, мальчишки, а вот из всех своих друзей он взял, наверное, двух самых бестолковых — долго выбирал, надо думать, — потому что только встал передо мной на колено и раскрыл рот, как все эти фейерверки полетели в поле прямо в нас. Ну теперь, готова поспорить, ты все вспомнил, — смеется она, а он закатывает глаза.

— Ладно, чего там, вспомнил, — признается он.

— И фейерверки на самом деле полетели прямо в нас, так ведь? — уже хохоча, уточняет она.

— Да, Джудит. Получилась настоящая Иводзима[1].

В ответ она хохочет еще пуще прежнего:

1. Остров в Японском архипелаге, за который американские войска вели ожесточенные бои с японцами во время Второй мировой войны.

— Да, Иводзима, это точно. Предложение он мне сделал, пока мы с ним бежали в лес, спасаясь от ракет и римских свечей, которые били по деревьям у нас за спиной. Я сказала "да", и мы поцеловались, спрятавшись за деревом, да так там и стояли еще минут десять, пока бомбардировка не прекратилась. И вот они мы, пятьдесят три года спустя, и все так же любим друг друга, как и раньше. Я права, Рон?

— Если ты так говоришь, значит, так оно и есть, дорогая, — отвечает ей он.

— А именно так я и говорю.

Гарри оплачивает чек и кладет мне руку на плечо. Стволом своей пушки мистер Дивайни жмет кнопку на кассе. Ящик открывается. *Бздынь.* За нашей спиной на Ав останавливается троллейбус. *Скрип, клик.* Арчи зевает. Бобби Джеймс надувает пузырь. Мистер Дивайни, словно младенца в колыбельку, кладет купюру в кассовый ящик и тут же со звоном его захлопывает. Я опускаю коробочку с кольцом к себе в карман и сверху кладу на нее ладонь. Я выхожу из магазина вслед за остальными; перед глазами у меня все плывет. Мимо нас медленно и размеренно, как сердечный ритм, течет по дороге поток машин.

И снова улица Святого Патрика: Арчи и Гарри готовят каскадерский прыжок на инвалидном кресле, для чего приволокли два шлакоблока. Трамплином послужит сломанный стол с веранды Бобби Джеймса. Рядом с нами в ожидании прыжка стоит Грейс все в той же футболке "Иглз" и Марджи Мерфи, которая сегодня вышла в комплекте из шортов с футболкой.

Трамплин готов, роликовые коньки, скейтборды и детские велосипеды — все разом тормозят и замирают вокруг. Шум игры сменяется напряженной тишиной. Теперь только и слышны доносящиеся из домов там и сям мелодии телешоу, шипение газонных поливалок да звуки крышек, слетающих с пивных бутылок. Последнее еще более, нежели любые стрелки на часах, служит неопровержимым доказательством тому, что приближается полдень. Гарри свозит Арчи с бордюра на дорогу.

— Как думаешь, откуда надо разбегаться? — спрашивает он. — И еще: мне бежать быстро или не очень?

— Сначала нужно положить что-то, через что я буду прыгать, — говорит Арчи.

Я указываю ему на детишек, стройными рядами рассевшихся на бордюрах.

— Можно положить на землю несколько этих маленьких ублюдков, — предлагаю я.

Марджи тут же принимается вонять, что с детьми — это слишком опасно. Тогда Грейс предлагает подложить вместо детей синий костюм Арчи в полиэтиленовом пакете. Все дружно решают, что костюм — это самое то. Арчи протирает темные очки подолом рубашки.

— Гарри, — говорит он, — отвези меня вон до той пятнистой тачки с мусорным пакетом у заднего стекла.

— До которой? — уточняет Гарри. — До желтой или до зеленой?

— До желтой, — говорит Арчи. — От нее и будем разгоняться. Побежишь изо всех сил.

Вот они уже стоят рядом с машиной. Впереди — на ладан дышащий трамплин. Полиэтиленовый пакет с костюмом Арчи переливается на

солнце всеми цветами радуги, словно масляное пятно на асфальте на стоянке у автомагазина. Арчи слюнявит себе палец и поднимает его над головой, затем сжимает кулак и показывает Гарри большой палец. Гарри отвечает ему тем же жестом, но перед этим успевает сделать растяжку на ноги и поправить наколенники. Стартуют технично и мощно. От трамплина их отделяет уже всего каких-то пять футов, но тут раздается голос чьей-то мамаши.

— Мэтью! Мэтью!

Тьфу, бля. Миссис Мэлинсон (у нее сиськи первый номер) зовет своего сынишку Мэтта (стрижка бобриком). Гарри резко тормозит и останавливает инвалидное кресло. Нельзя же на глазах у мамашки совершить прыжок в кресле-каталке, поэтому нам всем приходится на время сбавить обороты. Гарри нагибается и с видом заправского механика как бы начинает возиться с колесом. А я тем временем загораживаю собой трамплин, чтобы миссис Мэлинсон не увидела, и вот уже стою и причесываюсь, как ни в чем не бывало. Ничего такого, все как всегда — разве не ясно?

— Мэтью, пора, ланч уже готов, — говорит она.

— О'кей, мам, иду, — говорит Мэтт.

— А где твоя сестра Колин? А, вот и она. Колин, и ты тоже иди, — успевает сказать миссис Мэлинсон прежде, чем в ее голову начинает закрадываться смутное подозрение. — Вы, ребята, здесь часом ничего не затеяли? Ведете себя как надо?

— Да, миссис Мэлинсон, — отвечают ей все хором.

— А что там у тебя за спиной, Генри? — спрашивает она.

— Да так, ничего особенного, — сообщаю я ей. — Столешница и два шлакоблока.

— И что вы собираетесь со всем этим делать?

Тут встревает Гарри:

— Йоу, Джина, как дела?

— Отлично, Гарри, а как у тебя?

— Спасибо, тоже хорошо, — говорит он. — У тебя случайно не будет минутки? Надо поговорить насчет оплаты за газон.

— Ммм, давай как-нибудь потом, ладно? — уклончиво отвечает она вопросом на вопрос. — Мне сейчас главное этих двоих накормить.

— Нет проблем, Джина. Потом так потом. — Дождавшись, когда миссис Мэлинсон скроется за дверью, Гарри лукаво подмигивает мне: — Она еще не до конца расплатилась за стрижку газона. Ну что, продолжим наше шоу?

Арчи с Гарри вновь занимают исходную позицию у пятнистой тачки. Арчи громко командует *Толкай*. Гарри срывается с места. С Эрдрик на Святого Патрика заворачивает полицейская машина. *Копы*, кричу я. Гарри снова тормозит инвалидное кресло. Под неодобрительный ропот собравшейся толпы зрителей мы с Бобби Джеймсом оттаскиваем с дороги шлакоблоки, чтобы полицейская машина смогла проехать. За рулем мистер Джеймс при исполнении (и это за два часа до свадьбы собственной дочери). Тормозит около меня.

— Йоу, Генри, что тут у вас такое? — спрашивает он.

— Йоу. Как, сегодня тоже работаете? Не пойдете на свадьбу? — удивляюсь я.

Он приближает лицо ко мне:

– Я бы с радостью. Где Бобби Джеймс?

– Вон там, за машиной прячется со своей девушкой, – говорю я и показываю в нужную сторону.

– С кем прячется? Уже умудрился девчонку себе подцепить? – в свою очередь удивляется мистер Джеймс.

– Даже не спрашивайте: я сам ни за что бы не стал с малолеткой встречаться.

– Слышал, жена его сегодня как следует отходила пакетом с какашками. По этому поводу поступило три звонка в 911.

– Я не могу подтвердить, равно как и опровергнуть данные слухи, – с деланной серьезностью сообщаю ему я.

Мистер Джеймс, в этих делах мужик тертый, только беззвучно смеется в ответ.

– Понимаю, – говорит он. – К тому же мне сейчас не до того. А у них там все по-взрослому или как? А то как было бы хорошо в один день сразу от двух нахлебников избавиться.

Теперь моя очередь смеяться. Мистер Джеймс мне нравится.

– Боюсь, не выйдет. У него же на лице написано: "Вечный маменькин сынок", – говорю я.

– Клянусь, я скорее сам его пристрелю, Генри, – говорит он.

– Лучше уж сразу, сейчас, а то потом некогда будет, да и жалко станет, – советую я ему.

– Ладно уж, пусть до завтра побегает, – смеется он мне в ответ. – Рад, что вид у тебя бодрее, чем вчера вечером.

– Да уж, – говорю я.

– С теми ребятами все в порядке, – добавляет он. – Всех уже отпустили домой.

– Я слышал.

– Но сам лучше пока держись подальше от спортплощадки, хорошо?

– Да, конечно, – говорю я.

– А Гарри там что – нацепил костюм для аэробики? – с изумлением в голосе интересуется он.

– Да хрен его знает, лучше сами у него спросите, – советую ему я.

Мистер Джеймс опускает боковое стекло с пассажирской стороны.

– Йоу, Гарри, – окликает он его. – Что это на тебе такое? Костюм для аэробики?

– Йоу, Роб, – отзывается Гарри. – Нет.

– А похоже. Ладно, ребята, увидимся на свадьбе. Да, и еще, кстати, когда Арчи раскроит себе череп об асфальт, скажите диспетчеру, чтобы вызывал не меня, а "скорую помощь". Хочу успеть чего-нибудь перекусить перед свадьбой дочери.

И с этими словами уезжает. Если последнее замечание и имело своей целью как-то нас вразумить, то мы все равно благополучно его прохлопали: не успевает машина скрыться за углом, как у нас уже снова готов трамплин. Буквально сразу же все снова бросаются по своим местам. Гарри и Арчи отступают назад, разворачиваются и летят в атаку. На этот раз безо всяких помех. Арчи глядит сверху на приближающийся трамплин, как пилот бомбардировщика, готовый обрушить тон-

ны металла и взрывчатки на голову аятоллы Хомейни. Он вот-вот взлетит с трамплина со скоростью 100 миль в час, шутя перемахнет через солнце и покажет всем этим ходячим хлюпикам внизу, у кого здесь в квартале самое крепкое очко.

Шлеп. Бац.

В жизни не всегда все бывает по справедливости. Иногда плохие торжествуют, а хорошие незаслуженно несут наказание. Не знаю, как там у вас, у заблудших и одураченных идолопоклонников, а нам, католикам, Папа Римский ясно объяснил, что придет Судный день, и тут-то самый Главный Чувак все дерьмо у нас из жопы огнеметом и повыжжет. Однако до той поры всем все, как правило, сходит с рук, даже если кажется, что так быть не должно. Вот, например, как сейчас, когда мы с Гарри на пару незаслуженно страдаем от побоев отца С. Томаса Альминде, OSFS, в церковной ризнице. Мы прибежали сюда из дома, нацепив стихари прямо поверх школьной формы. В таком виде, и никак иначе, любой церковный служка обязан являться в храм даже летом. На пороге мы оба споткнулись и со звучным грохотом полетели на пол друг через друга, чуть животы не надорвав от хохота. Стеклянная дверь с силой захлопнулась за нами, отчего тут же разбилась вдребезги. Святой отец, который в это время был занят тем, что наставлял на путь истинный одну хорошенькую разведенную мамашу с великолепным бюстом, посчитал, что в данном случае без физического наказания никак не обойтись. Тут уж ничего не попишешь: воротничок священника, равно как и полицейский значок, — отличный аргумент в пользу узаконенного права давать волю рукам. Поскольку я меньше и легче, чем Гарри, святой отец поднимает меня в воздух, ухватив за волосы. Слезы из глаз так и брызжут, единственное, чего мне сейчас хочется, — это порвать ему глотку за то, что он, бля, творит с моей прической, но все же приходится стиснув зубы молчать. Со священником такое не прокатит. Лучшее, что можно сделать в этой ситуации, — крепиться и не подавать виду, что тебе больно. В этом смысле Гарри сейчас особенно тяжело: он, как телка, ревет, а святой отец тем временем знай себе навешивает ему подзатыльник за подзатыльником ладонью со здоровым перстнем, повернутым камнем вовнутрь.

— Сколько можно повторять, что церковный служка должен *вышагивать* со *смиренным* достоинством? — вопрошает он.

Но вот побои закончились, и теперь святой отец держит нас обоих, обхватив за плечи. Гарри постепенно прекращает хныкать.

— Оставьте волосы как есть, мистер Тухи, — говорит мне отец Альминде. — Ваше тщеславие — не что иное, как признак слабости духа.

— Да, святой отец, — отвечаю я.

— Я имел в виду, мистер Тухи, прекратите начесываться.

— Всего одну секунду, святой отец, — говорю я, — еще только по разу с каждой стороны.

— Я сказал, уберите расческу сейчас же, — приказывает он.

— Святой отец, да я все, все уже, — торопливо говорю я.

— И это двое моих лучших служек, — сокрушается святой отец. — Дверь разбили, в ризницу ворвались, просто не служки, а черти какие-то. Никогда больше так меня не разочаровывайте. Мое сердце этого просто не вынесет.

— Не будем, святой отец, — хором отвечаем ему мы.

— Хорошо. Остается надеяться на вашу искренность. О вас я лучшего мнения, чем о большинстве этих животных вокруг. Тут волей-неволей начнешь себя чувствовать не духовным пастырем, а директором зоопарка.

— Но зато каким хорошим, святой отец, — вставляет Гарри.

— Не пытайтесь выставить меня дураком, Карран. Это всего лишь горький сарказм, и только.

— Аминь, — говорю я. Упс.

— Извините, я не расслышал: что вы секунду назад сказали, мистер Тухи? — переспрашивает святой отец.

— Простите, святой отец. А что я такого сказал? — спрашиваю я и непонимающе моргаю.

— Мне показалось, вы сказали "аминь", — не отступает он.

— Ах, вы об этом. Да, и впрямь сказал. Просто в тот момент я молился про себя. Должно быть, случайно вслух вырвалось.

В ответ святой отец хмурит брови. Он крайне раздосадован и осознает свое поражение: ему ничего другого не остается, кроме как поверить мне на слово. Ведь монашки да священники только и делают, что все время талдычат нам о том, что нужно про себя непрерывно молиться. С какой же тогда, спрашивается, стати мне не молиться именно в тот момент?

— Как там у Стивена? — спрашивает он.

— Думаю, все как обычно, — говорю я.

— Ты ведь не сказал отцу про то, что мы иногда с ним беседуем?

— Нет, не сказал.

— И про то, что мы иногда беседуем с твоей мамой, надеюсь, тоже не сказал?

— Нет, святой отец.

— Вот и хорошо. Они оба возмущаются поведением твоего папаши. А ты сам что думаешь по этому поводу?

— Я не знаю, святой отец. — Мое дыхание учащается: что-то, по-моему, стало душновато.

— Мистер Карран, — говорит святой отец, — вы не могли бы на минутку оставить нас и подождать за дверью?

— Конечно, святой отец, — отвечает Гарри, выходя в пустой дверной проем и переступая через осколки разбитой двери.

— Расскажи мне все как есть, Генри, — говорит священник, видя, что я хмурюсь и нервничаю.

— Все друг с другом грызутся и никто не хочет никого слушать, — говорю я.

— Как это?

— У Сесилии настроение меняется каждые две минуты. То она смеется, то плачет. Стоит ей рявкнуть на Фрэнсиса Младшего — тот обязательно рявкнет в ответ. Стивен никак не может забыть Мэган и поэтому пьет. Еще он ненавидит Фрэнсиса Младшего за то, что тот за спиной у Сесилии пялит миссис Куни. Фрэнсис Младший пялит миссис Куни, потому что несчастлив в браке. Сесилия тоже несчастлива, потому что ей приходится тянуть на себе четверых детей плюс еще одного в инвалидном кресле, а у нее на это не хватает денег, вдобавок муж тайком от

нее пялит другую. Фрэнсис Младший утверждает, что бьет Стивена, чтобы заставить его, наконец, очнуться, но на самом деле он бесится из-за того, что Стивен бросил футбол, а для него это все равно как если бы он сам играл, а не Стивен. Ситуация говно, святой отец, говнее некуда, но у меня все под контролем, — на одном дыхании выпаливаю я, и на все про все у меня уходит секунд десять, не больше.

— Вот и отлично, мистер Тухи. Уверен, что так оно и есть. А теперь просто сделайте пару глубоких вдохов, — говорит он и ждет, пока я успокоюсь. — Вы можете снова вернуться к нам, мистер Карран. Давайте сменим тему на более приятную. Сколько девчонок придет сегодня на свадьбу?

— В максимальном списке приглашенных значится двести двадцать два человека, так что, по моим подсчетам, на свадьбе должно присутствовать не менее ста одиннадцати особ женского пола, — сообщает ему Гарри.

— Сто одиннадцать женщин. Я явно выбрал не ту профессию.

Святой отец, минуя разбитую дверь в ризницу, неспешно возвращается к себе в дом, откуда слышится милый приветственный смешок. Все нужные для работы и отдыха помещения соединяются между собой внутренними дверями, так что на улицу можно не выходить вообще. Работаешь без напряга, всего час в неделю, а все остальное время знай сиди себе да потягивай винцо, лупцуй детишек да тискай телок за сиськи. Время от времени можно послушать чьи-нибудь семейные тайны или длинные, как квитанции из прачечной, списки чужих грехов, а можно просто сесть в красную спортивную тачку и погонять по городу. Если кто видит особую разницу между Хью Хефнером[1] и католическим священником, то скажите мне, в чем она, потому что я, бля, сколько ни старался, так и не смог ее найти. Если святой отец возразит вам, что это не так, не позволяйте ему вас одурачить.

От вестибюля ризница отделена массивной дубовой дверью весом в добрую тысячу фунтов. Чем ближе к Богу, тем тяжелее двери. Вестибюль — это крест между квадратами археологических раскопов, это пещера и дом с привидениями. Здесь пахнет пылью, ладаном и вином. Куда ни глянь — везде католико-вудуистские страшилки: десятидюймовая статуя Христа, изгоняющего дьявола из пустыни; вощеные коробки с синими и красными свечами; кожаный с заклепками молитвенник; большие сломанные распятия; подушечки для коленопреклонения; приклеенные скотчем к стене изображения святых; старые священнические ризы; деревянные кафедры; какие-то длинные спичечные коробки; емкости с вином для алтаря; неосвященные просвиры в пластиковых упаковках по пятьдесят штук. Вестибюль охватывает алтарь дугой, почти как наушники голову: по узкому темному коридору с каждой стороны. Вниз из коридора ведет лестница в подвал, до отказа набитый костями священников и пингвинов: если хотите — поинтересуйтесь у Гарри Каррана, он вам расскажет, но лучше не стоит. Как бы там ни было, мы все равно не бываем в той части коридора. Вместо этого мы, бля, сейчас, впрочем, как и всегда, торчим здесь, в первой комнате перед вестибюлем, и ждем, когда начнется месса, а начнется она ровно через полчаса.

1. Хью Хефнер (р. 1926) — основатель журнала "Плейбой" (в 1952 г.), известный своим скандальным поведением и вольным образом жизни.

Я украдкой выглядываю в зал, где стоят скамьи. Пока никого нет, кроме Фрэнни, Сес и Сесилии: они всегда приходят в церковь первыми. Сесилия вся с головой ушла в молитву. После причастия она непременно осеняет себя крестным знамением и принимается горланить гимны. Фальшивит при том безбожно. Большинство других мамаш из нашего квартала делают в точности то же самое. Папаши, напротив: все побаиваются Бородатого Брата, который их просто на дух не переносит, как и они — мессу, и потому предпочитают толпиться при входе до последнего: оттягивать тугие воротнички на выходных рубашках и болтать друг с другом о спорте.

— Йоу, Генри, — кричит мне Сес через весь зал, заметив, что я выглядываю из двери.

Сесилия тут же шикает на нее, чтобы та замолчала. Помахав сестре в ответ, я возвращаюсь в вестибюль, где Гарри по-прежнему стоит в своем стихаре и трясется. Он кивает на бутылку с алтарным вином.

— Пил когда-нибудь эту бодягу до или сразу после мессы? — спрашивает он у меня.

— Не-а, — отвечаю я.

— Я тоже. Крэга Крамера знаешь? Так вот он однажды целую бутылку вылакал перед мессой.

— Да, он ничего, чувак нормальный, — смеюсь я в ответ. — Ты вчера далеко от свалки был?

— Я был в самом центре, — говорит он.

— Так, значит, видел, как их там избивали? — спрашиваю я.

— Да я в двух шагах был, конечно.

— Испугался?

— Нет вроде. Только сегодня страшно стало. А вчера так... смотрел и все, — говорит он.

— Смотрел — и все? Просто стоял и спокойно смотрел?

— Будь я там сейчас, наверное, не стоял бы столбом, но в тот момент ничего не мог с собой поделать. Все раскрутилось слишком быстро. Не было времени.

— Да что ж ты такое говоришь?! Стоял там, смотрел, будто так и надо. Какого хрена. И даже не попытался никого от них оттащить, не побежал звать на помощь, просто стоял и смотрел! — кричу на него я.

— Спокойно, Генри, — говорит мне Гарри. — Ты сделал то же самое.

— Что? Да хрен там, то же самое, — говорю я уже тише.

— Чувак, успокойся. Ты не виноват. Стоял, не стоял — какая разница, все равно бы от этого ничего не изменилось, — говорит он. — Слушай, давай, вообще, о чем-нибудь другом. Ты вчера вечером с Грейс целовался?

Меня постепенно перестает трясти, я опускаю руки и улыбаюсь.

— Вижу, что целовался, — продолжает он. — Не иначе сегодня есть неплохой шанс повторить.

— Насчет своих шансов я был уверен еще до того, как мы поцеловались, — говорю ему я.

— У тебя это было в первый раз?

— Да, с Грейс в первый.

— Что, еще с кем-то успел попробовать?

— Нет, это был мой первый в жизни поцелуй с девушкой. Теперь доволен?

— Тяжело было? — спрашивает он.

— *Что* тяжело было? — переспрашиваю его я. — Ты, бля, вообще сейчас о чем?

— Сам знаешь. Целоваться тяжело было?

— А, не знаю. Не могу сказать. Грейс все сделала сама. На вкус как сигарета.

— Ну и как было? Потрясающе? — спрашивает Гарри.

— Не-а, к тому же еще и невкусно, — отвечаю я. — Но я уговорю ее бросить. А то вдруг забеременеет — тогда бросать будет поздно.

— Ты прав, черт возьми, — соглашается Гарри.

Вот мы стоим, два взрослых ублюдка, и обсуждаем беременных телок.

— Генри, посмотри, сколько народу уже собралось?

Я снова выглядываю из двери. За двадцать минут до мессы заведение начинает заполняться народом. Фрэнсис Младший присоединяется к остальным — теперь все Тухи в сборе, кроме Стивена. Сзади у входа стоит Бобби Джеймс в смокинге и помогает рассаживаться старушкам. Он надувает пузырь и машет мне рукой, а сам тем временем тащит за собой полудохлую старушенцию, которая еще вдобавок и лупит его сумочкой по руке за то, что он идет слишком быстро. Грейс пока не видно.

Сес снова кричит мне. *Йоу, Генри, мы здесь.*

Тухи дружно наклоняются к ней, стараясь заткнуть, и неловко улыбаются соседям. *Извините, что вас напугали. Остальные наши дети ведут себя намного лучше. Посмотрите: вон тот служка – это наш сын.*

— Уже толпа народу, — отступив от двери, сообщаю я Гарри.

— Черт. Почему я всегда нервничаю перед мессой? — говорит Гарри.

В вестибюль заходит Эйс, жених. Я приятно удивлен состоянием его шевелюры: волосы хорошо расчесаны и уложены гелем. С ним свидетель и еще двое парней: оба стрижены под ежик и от этого смахивают на бульдогов; группу замыкает Бобби Джеймс, не иначе в качестве подружки невесты.

— Генри, Гарри, нате, глотните, — призывает нас Эйс, слишком крепко пожимая нам руки и утирая платком лоб, а его друзья тем временем моментально разыгрывают бутылку алтарного вина. Заходит Бобби Джеймс, но ему достается уже пустая бутылка. У него из-за спины появляется святой отец.

— Прошу прощения, сеньорита Джеймс, не осталось ли в бутылке глотка и для меня тоже? — спрашивает он.

— Не-а, уже все вылакали, святой отец, — констатирует Бобби.

— Ну тогда сгоняй, принеси мне еще одну. Не могу же я с пустым баком идти служить мессу. Кто у нас тут жених? Ага, вижу, наверное, вон тот, что свисает со стула, будто словил пулю в живот. А ты что думал — дальше только хуже будет. Дай только срок, поживи подольше в браке. Вот именно поэтому я и пошел в *священники*. Ага, спасибо, Джеймси. Так, теперь мне двадцать пять баксов за венчание и еще три по столько сверху.

— Вот, падре, держите, — говорит свидетель и протягивает ему пять двадцаток.

— Чувак, ты перепутал, я тебе не падре. Работаю к северу от границы. Слышите? Карлица наша заиграла на органе. Это нам сигнал. Наде-

юсь, подружки невесты на этот раз будут получше. А то в прошлый раз были одни сплошные шалавы малолетние и старые ведьмы, никакой тебе золотой середины. Соберись, сын мой. Не стоит так нервничать. Не успеешь оглянуться, как уже разведен.

– Ну, спасибо, святой отец, – говорит Эйс.

– Да я ж тебе на очке играю, а ты, идиот, ведешься.

– Тьфу.

– Кстати, об очке, – говорит святой отец. – Не знаю, у кого как, а мое скоро в этом наряде изжарится окончательно. Давайте, двигать пора.

Эйс нервно сглатывает. Свидетель поправляет галстук. Выходим в зал. Шоу начинается.

Леди и джентльмены, добро пожаловать в темную пещеру церкви Святого Игнатия, что стоит в самом центре Холмсбурга в солнечной Филадельфии. *Итак, все приготовились: скоро начнется служба.* Температура снаружи – 28 градусов и продолжает повышаться, относительная влажность воздуха значительно превышает норму. Температура внутри – 37 градусов, относительная влажность воздуха превышает норму еще больше, тем не менее в аду все равно жарче, а посему просим сбавить тон и не очень-то возмущаться, не сметь никому расстегивать верхние пуговицы. И ну-ка все разом заткнулись. И не вешать носы. А теперь откроем же наши сердца и бумажники. Не забываем склонить головы перед картинами, вон теми, за алтарем, на которых изображены святые Джулиус Ирвинг, Роберт Кларк и Ричард Эшберн. Вот так, хорошо, а теперь возожжем свечу у ног изваяний Христа и Марии, корчащихся в страшных муках на алтаре. Их сердца растерзаны терниями и пылают, словно поминальные свечи, купленные прихожанами по доллару за штуку и поставленные ими здесь в память об усопших.

Наверху, в противоположном конце зала, жирная карлица выколачивает леденящие душу аккорды из органа, который сам по себе древнее любой Библии, и, пожалуй, подобного больше нигде не услышишь, кроме как здесь да еще в замке у Дракулы. Внизу дерутся за место на скамьях. Над разгоряченными головами несутся звуки церковных хоралов. Подвешенные к потолку крестообразные люстры – все присутствующие в курсе, что в каждую вделано по камере, – снимают все происходящее на пленку, чтобы потом было что представить на Страшном суде в качестве вещдока. По высокому потолку церкви бежит трещина, оставшаяся после землетрясений, накликанных теми самыми закоснелыми грешниками, которые как раз сейчас возвращаются в церковь в поисках утраченного Бога. Исповедальни временно переквалифицировались в едальни: кому холодное пиво, хот-доги? Вся паства поднялась с мест и поет гимн Штатов, а потом спортивного общества "Ирландские бойцы". Перед фронтоном церкви проходит телка в бикини и с плакатом СВАДЕБНОЕ ШЕСТВИЕ. Диктор представляет подружек невесты так, будто вместо них сюда явилась первая пятерка игроков "Сиксерз". Плавучее световое пятно прожектора выхватывает из толпы Грейс, только ее одну. Она смотрит прямо на меня, на ней сногсшибательное зеленое платье с тоненькими бретельками и глубоким вырезом, специально чтобы был виден кулон с фальшивыми бриллиантами и символикой "Филлиз".

Теперь мой мозг работает уже не в таком бешеном темпе, и сердце немного успокаивается. Пару раз моргаю — и вот церковь снова такая, какой и должна быть на самом деле. Грейс сидит рядом с мамой посередине скамьи между семейством Тухи с одной стороны и семейством Куни с другой. В то время как Грейс с радостной улыбкой смотрит на меня, Сесилия пристально смотрит на миссис Куни, которая, в свою очередь, пристально смотрит на Фрэнсиса Младшего, который, в свою очередь, пристально смотрит на Стивена, который просто смотрит куда-то в пространство и не чувствует на себе ни пристального взгляда Фрэнсиса Младшего, ни еще более пристального взгляда Ральфа Куни. Здесь же рядом, на своих местах, мирно спят Фрэнни и мистер Куни. Арчи спит в инвалидном кресле, стоящем в проходе у края скамьи. Сес одну за одной вынимает карточки с портретами бейсболистов из сумочки, сшитой из искусственного меха, и пуляется ими в Арчи до тех пор, пока одна не попадает ему по лицу и он не просыпается. Следом за ним просыпается мистер Куни и видит всю сложную систему непересекающихся взглядов, равно как и всю сложность отношений между двумя семьями. Ну и картина: я чуть не падаю в обморок, но воздушный поцелуй Грейс в последний момент позволяет мне сохранить равновесие.

Мистер Джеймс подводит Джинни к алтарю, поднимает с ее лица вуаль и оставляет рядом с плачущим Эйсом. Глядя на него, Бобби Джеймс тоже пускается в слезы, но вдруг замечает, как мы с Гарри над ним смеемся, хмурится и надувает пузырь. Не отрываясь от молитвенника, святой отец вырывает жвачку у Бобби Джеймса изо рта и начинает талдычить молитвы по тексту — Отец наш Небесный, к Тебе обращаем молитвы наши бла бла бла и вот стоят пред Тобой эти двое блам блам блам... — меж тем прихожане кто медленно засыпает, а кто ловит руками мошкару. Наконец Джинни говорит *Да, согласна*, Эйс говорит *Думаю, согласен*, они целуются, толпа извергается из дверей церкви на улицу, вслед за ними, осыпаемые рисовым дождем, на свет божий выходят и жених с невестой. Здесь на доске объявлений церкви Святого Игнатия висит, по всей вероятности прикрепленная не кем иным, как Стивеном Джозефом Тухи, табличка, которая гласит: СПРАВОК НЕ ДАЕМ.

Месса окончена, и паства вываливается из церкви наружу, навстречу солнечному свету. Новоиспеченные жених с невестой позируют перед фотокамерой вместе с друзьями и родственниками на газоне между церковью и домом священника на фоне арки со статуей Святого Иуды с надписью на постаменте В ДАР ЦЕРКВИ ОТ ДЭНА И ДОРОТИ ПОТТЕР. Рядом школьная парта, которую на прошлой неделе изрядно пьяный отец Альминде приделал цепями сюда же, к той же самой арке, чтобы никакие нечестивцы не смогли ее стырить. Священники, как всегда после мессы, продают прямо с парты лотерейные билеты и кексы, словом, все, что только может принести им баксы. Сама парта, доставленная сюда прямиком из кабинета для второклашек после того, как кто-то вырезал на ней пентаграмму, учинив тем самым охренительно громкий скандал, и возраст которой составляет, по меньшей мере, лет семьдесят, имеет на данный момент рыночную стоимость в 22 доллара 50 центов. Но никто все равно не станет ее покупать, даже если сам святой Иуда вдруг оживет и объявит во всеуслышание о насущной необходимости это сделать. Однако людям, которые ходят в платье, достающем им до

лодыжек, напиваются алтарным вином как последние алкаши и пресекают козни дьявола на общественных началах, подобные вещи не кажутся столь уж очевидными.

Семейство Куни расположилось особняком на церковных ступенях ближе всех к дому священника. Берни с Донной тихо, но ожесточенно ругаются. Ральф сидит на ступеньках и занят тем, что пытается ослабить галстук, а одновременно не отрываясь смотрит на то исчезающий, то появляющийся вновь огонек зажигалки, которую держит в руке. О'Дрейны (их я вообще в церкви не видел) стоят на другом краю лестницы, ближе к кладбищу. Они молчат, смотрят на народ, шатающийся вокруг, и явно чувствуют себя не в своей тарелке. Им здесь определенно не по себе. Позади них частым пунктиром уходят вдаль ряды могильных плит, отмечая собой бесконечные ряды мертвых костей, лежащих под ними. Тухи остановились на полпути между тротуаром и церковной лестницей. Фрэнсис Младший и Сесилия огрызаются друг на дружку, точно так же, как и Куни невдалеке от них. Сес чем-то кидается в Арчи, который уже успел присоединиться к своим родителям. Фрэнни наблюдает за суетой на газоне, где все пытаются влезть в кадр. Стивен стоит на Ав в стороне от толпы, прислонившись к почтовому ящику (федеральное преступление), и провожает глазами снующие мимо туда-сюда троллейбусы. Мы с Гарри стоим по обе руки от святого отца, а он занят тем, что отмахивается от занудных старух и всовывает свои визитки молодым мамашам и взрослым дочкам между их благословенных сисек — но тут вдруг замечает толпу на газоне.

— Господи, — говорит он, — я специально плачу человеку доллар сверху, чтобы он следил за газоном и приводил его в порядок. Мистер Тухи, идите, скажите этим идиотам, чтобы они не топтались на траве, особенно вон той жирной девке в теннисках.

Я иду туда, где Эйс с ребятами позируют перед фотокамерой, выстроившись в ряд, как солдаты. Эйс, с лица которого уже успела сойти недавняя мертвенная бледность, положил руки на плечи стоящему впереди него Бобби Джеймсу. Их фотографирует миссис Джеймс.

— Бобби Джеймс, поправь галстук, — говорит она.

— Выкуси, мам, — отвечает ей он.

Она тут же кидается на него, но друзья жениха успевают ее удержать.

— Мне бы очень не хотелось прерывать веселье, — говорю я им, — но святой отец просит всех убраться с газона.

— Хочешь сфотографироваться вместе со всеми? — спрашивает миссис Джеймс — единственная из всех, кто обратил на меня хоть какое-то внимание.

— А, ладно, хрен с ним, давайте, — быстро соглашаюсь я. Всегда готов украсить собой любую фотографию.

Свидетель поднимает меня за лодыжки вверх тормашками и держит слегка на отлете, словно рыбак, поймавший здоровенную, но странную рыбину, у которой вся передняя часть туловища закрыта робой католического служки. Миссис Джеймс щелкает кадр. Все смеются, глядя, как меня роняют на землю, и я тут же начинаю причесываться. Для следующего кадра я надеваю фату Джинни — она такая мягкая — и позирую вдвоем с Эйсом. Следующий кадр: Бобби Джеймс замахивается на меня распятием для процессии, которое он только что вырвал из рук у Гарри.

Потом, коль скоро я все равно уже валяюсь на земле, кто-то кидает мне пустую бутылку из-под алтарного вина, и я изображаю из себя мертвецки пьяного. Затем подружки невесты окружают нас с Бобби Джеймсом и принимаются зацеловывать разом со всех сторон. Грейс при виде этого неистово кидается на меня с кулаками, потом я надеваю пиджак Эйса, а она — фату Джинни, и в таком виде мы с ней фотографируемся. Святой отец высылает Гарри, чтобы он довел до конца начатое мной дело. Для завершающего снимка вся свадебная свита, плюс еще я, Грейс и Гарри, вместе встают в одну большую пирамиду. В конечном итоге к нам с улыбкой подходит сам святой отец и, после кадра, где он стоит в обнимку с девчонками, велит всем убираться с газона, отвешивает нам с Гарри по подзатыльнику, а затем за уши ведет нас к церковным ступеням. Сюда же Сесилия приволокла всю остальную нашу семью, чтобы выразить почтение святому отцу.

— Эй, святой отец, отличная служба, — говорит она.

— Привет, Сесилия, так уж прям и отличная? — улыбается он ей в ответ. — Привет, Фрэн, — приветствует он Фрэнсиса Младшего. — Что-то не больно часто я тебя вижу в церкви.

— Это потому, что я туда не хожу, — грубо и нервно отвечает ему Фрэнсис Младший.

— Тогда все ясно, — снова улыбается святой отец. — Привет, Фрэнни.

— Как поживаете, святой отец? — отзывается Фрэнни.

— А тебя я на мессе вижу, но ты все время стоишь сзади, а после причастия так вообще пулей вылетаешь за дверь.

— А я и не отрицаю, святой отец, — говорит Фрэнни. — Только не принимайте, пожалуйста, на свой счет.

— Не будь я при исполнении, сам бы ушел еще раньше, — говорит святой отец. — Очень рад вас обоих здесь видеть. Я уже выучил всех Тухи до одного и успел стать вашим большим почитателем, — добавляет он, пялясь на сиськи Сесилии.

— Что, даже моим, святой отец? — спрашивает Сес. — Вы же говорили, что я как заноза в заднице.

— Такого я про вас не говорил, мисс Тухи.

— Нет, говорили, — возражает ему Сес. — Вы про меня это сказали в прошлом году сестре Томас Дороти, после того как рассказывали нам на уроке, что такое крещение. Вы сказали, что некрещеные младенцы, когда умирают, не могут попасть в рай и им приходится ждать в чистилище. А я сказала, что такого не может быть. Я спросила у вас, что же это за Бог такой, который заставляет детей сидеть и ждать в приемной только из-за того, что священник не сказал над ними пару латинских фраз и не пополоскал в воде, где они запросто могли утонуть? А потом я спросила: а что, если кто-нибудь говорил по-латыни на улице во время дождя, а ребенок весь промок, простудился и умер? Тогда он будет считаться крещеным или нет? И есть ли в раю специальные нянечки, чтобы ухаживать за грудными детьми? И разве не достаточное им наказание, если они умирают одни, без папы и мамы? Вы так мне и не ответили. Вместо этого вы отдали мел сестре Дороти, обозвали меня занозой в заднице и вышли вон из класса. Помните?

— Да куда уж мне, — говорит святой отец и улыбается моим родителям. — Я помню тот урок и что ты завалила меня кучей вопросов, только и всего. Ваши родители должны вами гордиться, Тухи. Вы все очень способные дети. Сестры как-то говорили мне, что Генри — самый умный ребенок из всех, кто у них когда-либо учился. Стивен — тот тоже не промах. Кстати, где он — что-то не видно его сегодня?

— Стивен? — переспрашивает Фрэнсис Младший, удивившись, что святой отец о нем заговорил.

— Да, Стивен, — повторяет святой отец. — Он что, все так же продолжает пить, Сесилия?

Фрэнсис Младший шлепает себя ладонью по лбу.

— Да, — отвечает она. — Вчера заявился пьяный и с разбитой головой после какой-то драки.

— А, верно, — говорит святой отец. — Вчера вечером на спортплощадке действительно была драка.

— Вот-вот, — говорит Сесилия. — Наверное, об этом он и пытался нам вчера рассказать.

— Что значит — пытался? — спрашивает святой отец. — То есть как это понимать — *пытался*?

— Ну, он начал было обо всем рассказывать, — говорит Сесилия, — но...

— ...был так пьян, что двух слов связать не мог, — заканчивает за нее Фрэнсис Младший.

— Как ты относишься к тому, что он столько пьет, Фрэн? — спрашивает святой отец.

— Меня это просто в жопу бесит, святой отец, — отвечает Фрэнсис Младший. — Прошу прощения за "жопу".

— Ничего. Я сам матерюсь как сапожник. А даете ли вы ему каким-либо образом понять, что вас это в жопу бесит?

— Да, конечно, — отвечает Фрэнсис Младший, понемногу начиная дергаться.

— И каким же?

— Так и говорю ему все прямо в лицо, святой отец.

— Вы когда-нибудь били его?

— А что, если и так? Он уже взрослый.

— Взрослый? В самом деле? Когда вы говорите ему все прямо в лицо, как реагируют на это остальные домочадцы?

— Пожалуй, все по-разному, — говорит Фрэнсис Младший. — Послушайте, святой отец, парню ведь нужна помощь.

— Знаю.

— Я не из тех, кто отворачивается, когда кто-то близкий нуждается в помощи.

— Это заслуживает уважения, — говорит святой отец. — Ну и как — срабатывает? А как у вас дела с Сесилией?

— Слушайте, святой отец, я, конечно, понимаю, что у вас воротничок и все в этом духе, но не лезьте не в свое дело.

— О'кей, тогда забудем о том, что я спросил про вас с Сесилией, — говорит святой отец, а сам не отрываясь смотрит Фрэнсису Младшему прямо в глаза; тот тоже смотрит ему прямо в глаза, но теперь, когда святой отец заговорил о семье, уже не так уверенно как раньше. — Давайте вернемся к Стивену. Мне бы очень хотелось помочь и ему, и вам.

— Помочь хотелось, да? Тогда вон он там. Позовите его сюда — и дело с концом, — огрызается Фрэнсис Младший.

— Хорошо, почему бы и нет, — говорит святой отец. — Стивен Тухи. Подойди сюда, сын мой.

Стивен, который стоит все там же, на Ав, оборачивается. И вот что он видит: его окликает священник. Рядом со священником стоит его драгоценный папаша вместе со старшим братом, оба убряхтанные в костюмы, из карманов которых вот-вот полетит моль. Здесь же рядом и мама: одной рукой прикуривает сигарету, другой поднимает с земли его маленькую сестренку. Наконец, здесь же рядом мы с Гарри Карраном, путаемся в наших безразмерных стихарях: я — причесываюсь, Гарри — отжимается на одной руке. Сзади угрожающе нависает громада церкви. В реакции Стивена лично для меня нет ничего удивительного: он разворачивается и переходит на другую сторону Ав под звуки недовольных автомобильных сигналов.

— Отлично, святой отец! Так и надо! — фыркает Фрэнсис Младший.

— Да бросьте вы уже в конце концов, — говорит святой отец. — Мне нравится ваша семья. Вы все замечательные люди. Но нужно сделать так, чтобы вы перестали, наконец, между собой собачиться, иначе все это может очень плохо кончиться.

Перейдя через Ав, Стивен направляется в сторону Тэк-парка, но вдруг останавливается как бы в нерешительности. Резко поменяв направление, он теперь идет к дому, причем настолько быстро, что кажется, будто он бежит на два шага впереди своего мешковатого синего костюма, не сводя глаз с поношенных туфель на ногах. Оттуда, где стою я, кажется, что его просто ветром несет.

Хабиб О'Брайен, он же Ливанский Лепрекон[1], ведет студию танцев под названием "Танцуй или умри", что как раз по соседству с "Ювелирным Дивайни". Отцом ему стал коп-ирландец, а в роли матери оказалась школьная учительница родом с Ближнего Востока, — вот откуда такое ржачное дебильное имя. Уж не знаю, где они жили до этого, но уже лет десять, с тех пор как Хабиб открыл здесь свою студию, он ни разу не уезжал из района.

Сам Хабиб живет этажом выше со своей женой Сашей из Восточной Германии, у которой ни намека на сиськи, но зато самые красивые ноги из всех, что я когда-либо видел. По вторникам и четвергам с семи до десяти вечера и по субботам с восьми до часу Хабиб с Сашей учат танцам девчонок, а также всяких двинутых на женитьбе чуваков вроде меня. Все остальное время студия стоит закрытой, а окна их квартиры — открытыми, откуда все время несется Малер, врубленный на полную мощность (для пидорской музыки очень даже неплохо), и если прислушаться, то можно разобрать, как на этом фоне супруги выкрикивают имена друг дружки.

1. Лепреконы — в ирландском фольклоре живущие на холмах небольшие существа, похожие на гномов, чаще всего башмачники. Они постоянно тачают один и тот же башмак. Известно, что лепреконы не прочь выпить, поэтому их частенько можно встретить в винных погребах. Еще они обожают табак и не выпускают изо рта трубку.

Все это в совокупности — крики и орущий оркестр — слышим мы с Гарри, Арчи и Бобби Джеймсом, когда подходим к распахнутому окну их квартиры. Мы явились сюда по моей настоятельной просьбе сразу после мессы, потому что мне нужно еще раз прогнать с начала до конца весь танец перед сегодняшним выступлением. На нас с Гарри все те же стихари, Бобби Джеймс в смокинге, а Арчи в своем костюме с двумя большими поперечными складками, оставленными колесами инвалидного кресла после трюкового прыжка.

— Чем они там занимаются? — спрашивает Арчи.

Саша, ах ты шлюха такая; Хабиб, ты грязный похотливый лысый мужлан, — доносится из окна.

— Что бы там ни было — звучит жестко, — говорит Гарри, вращая торсом.

— Наверное, та же херня, что и у моих родителей вчера, — говорю я. — Ты сам там был и все видел, Арч.

— Да уж, это точно, — соглашается Арчи. — Эти небось тоже дерутся.

— Что бы они там ни делали — со стороны звучит прикольно, — говорит Бобби.

— Не сказал бы — мне даже как-то не по себе.

— Генри, что думаешь — как нам привлечь их внимание? — спрашивает Бобби. — Тут закрыто.

— Дай-ка мне жвачку, — в ответ прошу его я.

Он вынимает изо рта здоровый ком жвачки и протягивает его мне.

— Да не жеваную, осел, — говорю я.

— А, — говорит он. — Другой, извини, нету.

— Послушай, сейчас нет времени, — настаиваю я. — Дай мне штук пять-шесть.

Он лезет в карман и достает оттуда целую кучу.

— Сказал же, что у меня почти не осталось.

Я беру у него из горсти несколько штук, поднимаю голову и мысленно прикидываю расстояние до окна, откуда по-прежнему на всю улицу орет Малер и слышно, как Саша громко кричит *Давай, давай, еще*, а Хабиб кричит ей в ответ *На, на, на, получай*. Я закидываю жвачку прямо к ним в окно, но безрезультатно: Саша обзывает Хабиба кобелем, тот начинает на нее лаять. Я швыряю в окно подряд еще две — опять никакого эффекта, только теперь Хабиб кричит Саше, что она *плохая девочка* и что ее *нужно наказать*, а она, как ни странно, ему не перечит, а только стонет в ответ *Накажи меня, прошу*.

— Что за херня, — с досадой говорю я.

— Ты неправильно кидаешь, Генри, так до них фиг достучишься. Отойди подальше и пульни всю горсть сразу, — советует Джеймси.

— Совсем обалдел? Не буду. Нашел дурака, — говорю я.

— Тогда дай сюда, я сам, — презрительно говорит мне Бобби.

Он отбирает у меня жвачку, отступает за бордюр прямо на дорогу. Мимо него, всего в каких-нибудь дюймах, со свистом пролетает троллейбус. Из окна несутся крики Хабиба и Саши *О да, детка* и *Я уже кончаю*. Бобби Джеймс размахивается и со всей силы швыряет в окно штук двадцать жвачек разом. Шарах! Стекло разбилось. Мы все пулей кидаемся к магазину и вжимаемся в стену.

— Саша, дорогая, на этот раз мы умудрились разбить стекло. Обычно дело ограничивается пружинами, — говорит Хабиб с ярко выраженным акцентом продавца из "Семь-Одиннадцать", с той только разницей, что хабибовские интонации слышны в нем намного четче о'брайеновских.

— Ради такого не жалко, — мурлычет Саша.

Хабиб и Саша самые ярко выраженные чужеземцы в нашем квартале. Да и какие они чужеземцы! А мне вообще без разницы. Я и без того знаю все, что мне нужно знать об иностранцах: расхлябанная походка, кеды с распродажи, туалетная вода с запахом гиппопотама, и все дела.

— Бобо, куда ты — вернись ко мне в кроватку, — говорит Саша. — Давай разобьем еще пару стекол.

— Любимая, я только на минутку, — отвечает Хабиб. — Просто хочу оценить масштабы разрушений. Подожди-ка. У нас под окном стоят четверо ребят. Один вслух читает "Богородицу". Ребята, с вами все в порядке?

В ответ я расплываюсь в улыбке, не забывая при этом и про расческу.

— Как поживаешь, Хабиб? — говорю ему я. — А со стеклом — тут не без нашей помощи.

— Прекрасно, Генри, просто прекрасно, — отвечает он. — Насчет стекла — забей, ничего страшного.

Хабиб стоит с голым торсом, на макушке лысина, обрамленная седыми волосами. У него здоровенный шнобель, загар как будто только что из солярия и жирные волосатые сиськи: как раз по ним он и молотит в данный момент кулаками, изображая гориллу.

— Да ты у нас Повелитель Джунглей, — говорит Саша, появляясь у него из-за спины, завернутая в простыню. — Ко мне пришел мой Генри Тухи? — спрашивает она.

— Привет, Саша, — говорю я.

— Здравствуй, Генри, — широко улыбается она мне в ответ, обнажая ряд прекрасных зубов. Глаза блестят, как бусинки, а волосы короткие, как у парня, и зачесаны набок. Невзирая на этот факт, равно как и на отсутствие сисек, штучка она та еще, одни только ноги чего стоят, впрочем, кажется, об этом я уже упоминал, плюс у нее всегда такой вид, что ей только дай волю — тут же прижмет тебя к мусорному контейнеру у магазина морепродуктов и изнасилует.

— Как дела? — спрашиваю я у нее с улыбкой от уха до уха, но тут Бобби Джеймс заряжает мне жвачкой по яйцам.

— Какое лицо, какая улыбка, — говорит она. — Ради тебя я даже Хабиба готова бросить, правда, Хабиб?

— Чистейшая, любовь моя, — соглашается он.

— Видишь, Генри, даже Хабиб так считает, — говорит она. — Тогда чего же мы ждем?

— Здóрово. Слушай, можно я еще раз прогоню весь танец, а то мне сегодня вечером уже выступать?

— Погоди, ты что — сегодня собрался предложение делать? — у Саши аж дух перехватывает от изумления. — А я думала, еще только на следующей неделе.

— Нет, любимая, он правда планировал все на сегодня, — говорит Хабиб.

— Сегодня? Ох, что-то с сердцем! Хабиб, воздуху, помаши мне. Быстрее. Не так быстро. Вот так, отлично.

— Генри, — говорит мне Хабиб, продолжая обмахивать Саше лицо, — ты же прекрасно выучил все движения. К чему еще репетировать?

Через Ав плавно перетекает свадебная толпа, направляясь из церкви к Полу Донохью, чтобы как-то убить время перед тем, как идти на банкет к Манджоли (сегодня открывается позже, чем обычно). Толпа одолевает перекресток порциями, сколько успеет под зеленый свет. В одну из них целиком попадают все Тухи, кроме Стивена, но готов поспорить, что он очень скоро присоединится к остальным. Мне вспоминается, как святой отец говорил, что нам нужно перестать друг с другом собачиться, иначе все это может очень плохо кончиться. Потом я переключаюсь на Стивена и думаю о том, как он увидит сегодня свое кольцо, и от этого на душе становится легче. Я думаю про Сесилию и Фрэнсиса Младшего: как они услышат мою песню и снова крепко полюбят друг друга. Думаю о том, что сегодня Грейс станет моей. И все это произойдет сегодня вечером после моей песни, моего выступления.

— Я хочу, чтобы все было идеально, — объясняю я. — Все должно быть идеально.

Хабиб обреченно вздыхает.

— Ладно, сейчас спущусь.

Пару минут спустя замок щелкает, дверь открывается, и вот перед нами Хабиб в своем обычном виде: черная футболка без рукавов, черные тренировочные штаны, плотные черные гольфы и белая бандана с надписью ТАНЦУЙ ИЛИ УМРИ. На Саше, которая на голову ниже его, черное трико, такие же плотные черные гольфы и такая же бандана. Внутри студия ничем не отличается от других: одна большая комната, зеркала во всю стену и балетные станки. В углу стол, на столе радио, телевизор и кассовый аппарат, рядом пара стульев. Хабиб жестом предлагает нам сесть, а сам тем временем быстро пробегает по телеканалам, пока не доходит до MTV с безгрудой Синди Лаупер, танцующей на крыше машины.

— Я снял рекламу для студии. Скоро должны показать, — поясняет он.

— *Мы* сняли рекламу для студии, — уточняет Саша. — А идея была *моя*.

— Конечно, любовь моя, — соглашается он и целует ее, кладя руку ей на задницу. Оторвавшись от Саши, Хабиб секунд пять молча смотрит клип, затем взрывается: — Нет, ты посмотри, что за барахло. Кто им только танец ставил? — негодует он.

— Явно не мы, — говорит Саша.

— Это уж точно. Прямо не танец, а какие-то свинячьи скачки по железной крыше утром на морозе.

— Хрен с ними, давайте лучше насчет моего танца, — встреваю я.

— Какую конкретно часть ты бы хотел прогнать еще раз? — спрашивает Хабиб.

— Все, — отвечаю я. — Все девять.

— Серьезно? По правде сказать, для натурала у тебя получается совсем неплохо, — говорит он.

— Для кого неплохо? — переспрашиваю я.

— Да так, не важно. Саша, скажи ему. Он знает движения.

— Ты знаешь движения, — говорит Саша (курит и смотрит прямо на меня).

— Еще один раз, — настаиваю я.

— А ты точно уверен, что хочешь жениться не на мне, а на этой малявке? Взгляни только, какие ножки, Генри.

Саша демонстрирует пару балетных па, выкидывая ноги туда-сюда так, что только и видно, как мелькают в воздухе ее мускулистые икры. Член у меня в штанах, похоже, решил в точности повторить за ней все движения. Вау.

Вместо ответа я нервно сглатываю.

— Вот — ноги настоящей женщины, и они могут стать твоими, правильно я говорю, Хабиб? Скажи ему.

— Да, да, могут, это как пить дать, — поддакивает ей Хабиб. — Разве не видишь — эта женщина любит тебя.

— Очень заманчиво, — отвечаю я, и пот льется с меня градом, — но у меня есть Грейс, а вы уже женаты.

— С чего ты взял, что мы женаты? Не женаты мы, — говорит Саша.

— Как, вы живете друг с другом вне брака? — ужасается Арчи.

— Да, — говорит Хабиб.

— Но ведь за это вы попадете прямиком в ад, — говорит Гарри. — Не сочтите за обиду, но именно так оно и будет.

— Ну и прекрасно, — смеется ему в ответ Саша, выпуская через ноздри сигаретный дым. — Мы оба терпеть не можем холод.

— А почему вы до сих пор не поженились? — спрашивает Бобби Джеймс.

— Брак — это не для нас, — говорит ему Саша. — Я права, Хабиб?

— Да, любовь моя.

— Но все-таки почему? — настаивает Бобби.

— Просто мы с Хабибом за свободную любовь — вот и все, — объясняет Саша под песню Лаупер "Girls Just Wanna Have Fun".

— А это как? — переспрашиваю я. В непонятках все четверо.

— Тихо всем, — говорит Хабиб. — Наш ролик.

Клип заканчивается. Экран темнеет, и через секунду мы видим великолепные Сашины ноги в черных гетрах под коротеньким бальным платьем, взятые крупным планом. Камера отъезжает назад, чтобы показать, что Саша стоит внутри роскошного ресторана и ругается с высокомерным метрдотелем, который отказывает ей в месте за столиком. Вступают скрипки, и Саша принимается танцевать вокруг метрдотеля, оплетая его ногами, пока тот не падает в обморок. Мы дружно хлопаем, смеемся и улюлюкаем. Саша подходит к жирному мужику во фраке за соседним столиком.

— Привет, Федоров, — говорит она. — Верни мне планы, и не будет никаких проблем.

— Какие планы? — прикидываясь дурачком, спрашивает тот, а сам с наглым видом курит сигару и пялится на Сашу в монокль, пока четыре плоскогрудых сексуальных киски с ногами от ушей массируют ему плечи. Сзади к ней неслышно подходят пятеро коммуняк и моментально ее скручивают. Жирный Федоров мерзко смеется ей в лицо.

— Уведите ее отсюда, — командует он и машет рукой в сторону.

— Не так быстро, товарищ Федоров, — говорит ему Хабиб, выступая в смокинге и черных гетрах из тени. — Руки прочь от девушки.

— Вот мы и снова встретились, Хабиб О'Брайен, так называемый мастер танцевального стиля "Танцуй или умри". Убейте его, — приказывает Федоров.

Солдаты строчат по Хабибу из пулеметов, а тот, кувыркаясь в воздухе, скачет через весь ресторан. Вот он совершает последний отчаянный кульбит и, оказавшись у Федорова за спиной, сдергивает его со стула и сворачивает ему шею. При этом сам резко и синхронно поворачивает голову в ту же сторону и легко и непринужденно завершает свой танец. Немного покрутившись на месте вокруг своей оси, Федоров замертво падает на пол. Хабиб поворачивается к солдатам, которые еще не догадались отпустить Сашу.

— Отпустите ее, или с вами будет то же самое, — предупреждает он.

Саша вновь обретает свободу. Она подбегает к Хабибу, и они вместе проходят в танго вокруг вконец обалдевших солдат.

— А теперь мы оставляем вас наедине с вашим павшим лидером, — подытоживает Хабиб.

Не ослабляя объятий, они с Сашей вылетают прочь из ресторана все в том же ритме танго. Картинка замирает, когда Хабиб, уже в дверях, подмигивает на прощание солдатам, которые все как один улыбаются Саше, и та улыбается им в ответ. Голос за кадром: *Танцуй или умри – студия на углу Фрэнкфорд и Святого Патрика. Так ли ты крут – или всё врут?*

Ролик заканчивается под наши аплодисменты.

— Просто великолепно — тут уж ничего не скажешь, — бахвалится Хабиб. — Так мы будем еще раз репетировать с Генри танец или как?

— Нет, погоди, — говорит Саша. — Дай я сначала станцую для него — как-никак у парня последний день свободной жизни.

— Саша, — говорит Хабиб, — по-моему, парень ясно выразился: ему нужна репетиция, и немедленно.

— Блин, да не гони ты так, есть у меня чуть-чуть времени, пусть станцует, — перебиваю я этого остолопа Хабиба.

— Прекрасно, — говорит Саша и толкает стул на середину танцплощадки. — Садись сюда, я сейчас.

Саша ненадолго исчезает за дверью, затем появляется вновь, уже полностью переодевшись для танца живота: босиком, в синих мешковатых шароварах, как у джинна из мультиков, в мини-топе и синем платке, закрывающем лицо до глаз. Мамочки мои. Дайте мне стакан воды и положите на колени подушечку. Щелчком пальцев она просит музыки, и Хабиб тут же ставит какую-то пластинку. Обложки мне отсюда не видно, но по первым же тактам я узнаю, что это "Zorro Is Back" Оливера Онионса — вся пластинка в бешеном пуэрториканском стиле. Саша извивается в танце все ближе и ближе ко мне. Мне хочется еще раз сглотнуть, но я не могу. Пот катится со лба так, что аж глаза щиплет. Саша скользит мне за спину. Я хочу приподняться на стуле, чтобы развернуться и сесть на колени лицом к спинке, но Саша удерживает меня за плечи и сажает обратно. От касания ее рук я подпрыгиваю так, словно она пропустила мне под мышки оголенные телефонные провода. О господи. Она прямо передо мной, и сквозь платок я вижу ее улыбку. По-моему, мои друзья что-то одобрительно кричат мне из-за спины, хотя я не уверен. Черт. Теперь Саша полностью нависла надо мной: Боже, как она трясет бедрами; поставила ногу прямо мне на ляжку, у меня в штанах сейчас не

член, а прямо гребаный попрыгунчик какой-то. Я чувствую запах ее пота, смешанный с ароматом туалетной воды. Господи, на все воля Твоя. Вот она покачивается, извивается и улыбается совсем близко от меня, а я буквально распластан по стулу. Я уже вижу ложбинку между двумя ее маленькими сиськами, но тут, как всегда, наступает темнота. Спокойной ночи.

Я прихожу в себя и вижу, что Бобби Джеймс плещет мне в лицо водой из стакана. Когда мне, наконец, удается откашляться, Хабиб и Саша приподнимают меня и помогают усесться на полу.

— Что, опять вырубился? — спрашиваю я.

— Так и есть, чувак, — со смехом отвечает мне Бобби Джеймс. — В чем в чем, а в этом среди телок тебе равных нет.

— Это точно. Бля, а сколько времени?

— Два тридцать четыре.

— Ччерт. Я сказал родителям, что буду в баре к двум пятнадцати.

— Тогда побежали, — говорит Бобби.

— Не могу. Мне еще надо танец отрепетировать.

— Генри, Генри, ты же только что после обморока, — говорит Хабиб. — Тебе нельзя сейчас напрягаться.

— Нет, — решительно заявляю я. — Вы, ребята, идите в бар. Скажите там моим родителям, что я подойду к трем. Хабиб, пожалуйста, поставь пластинку. У меня все тип-топ.

Мои друзья уходят, и за ними со щелчком захлопывается входная дверь. Я выхожу на площадку для танцев и замираю в исходном положении: все в той же робе и с бананом в руке вместо микрофона. Хабиб ставит пластинку и машет мне рукой, чтобы я приготовился. Они с Сашей внимательно, как два шахматиста — за доской — за мной наблюдают. Через колонки слышно, как скребет по винилу игла. Хабиб дает мне последние наставления. *Запомни: голову чуть вверх, от центра сильно не смещайся, расслабься и получай удовольствие от ритма, и чтоб никаких ошибок – это может плохо отразиться на репутации нашей студии*, тем временем духовые играют вступление. Я одновременно слушаю его и музыку. Поехали, начальные движения. Сейчас я серьезен, как рак мозга, и думаю про себя: *Я совершенно спокоен, и никакая херня в мире не способна помешать мне станцевать идеально, как в прошлый раз. И сегодня вечером будет не хуже.*

Стоит только войти в бар "У Пола Донохью", миновав нависший над входом зеленый трилистник, который всегда качается из стороны в сторону, прямо как алкаши у стойки внутри, — и через пять минут уже будешь в курсе, как работает это заведение. Просто садишься и кладешь купюру перед собой на стойку. Бармен спрашивает, что будешь пить. Брать можно все что угодно, кроме бодяги под названием "Шипучий пупок", если, конечно, нет желания загреметь из бара прямиком в мусорный контейнер. Лучше "Будвайзер". Теперь можно смело горланить песни и раскачиваться из стороны в сторону в обнимку с приятелем. Запивка — это стакан пива, который выпивается после наката. Накат — это рюмка чистого, крепкого пойла. Резко опрокидываем накат себе в глотку, немного поморщимся, теперь дело за запивкой — рожа снова

принимает обычный вид. Чем больше и чаще накатываешь — тем быстрее пьянеешь. Те, кто накатывает, всегда шумят больше остальных, говорят бессвязно и роняют на пол четвертаки, предназначенные на корм музыкальному автомату. Те, кто накатывает, всегда рады угостить всех вокруг за свой счет. Низко над столами нависли тяжелые темные тучи сигаретного дыма. Официантка с унылыми сиськами, чья внешность не идет ни в какое сравнение с внешностью тех ее далеких коллег, постеры с изображениями которых развешены по обшитым деревянными панелями стенам, ходит туда-сюда по залу с подносом в руках. Доски, на которых мелом записывают результаты игры в шаффлборд[1] или соревнований по дартс, а также ставки, если заключаются пари. С двух сторон под потолком вделано по телевизору: по одному "Филз" играют в бейсбол, по другому — Пенсильванский университет в футбол. Даже если на улице день, в баре всегда темно.

Все уже здесь. Справа от меня за столиком у двери сидят Сесилия с Сес, Арчи с родителями, Марджи Мерфи с родителями, а также Грейс и Ширли Макклейны. О чем они говорят, мне не слышно, но Сесилия с Грейс, которые обе дымят не прекращая, явно поддерживают разговор за всех. Они яростно жестикулируют, заставляют смеяться всех остальных, за исключением мистера и миссис О'Дрейн. Поскольку в баре яблоку упасть некуда, столы, теряясь в клубах сигаретного дыма, трещат под грузом навалившихся тел, и из музыкального автомата на полную громкость несется "Love Me Do", то не удивительно, что никто вокруг не замечает моего появления.

Слева от меня барная стойка, вдоль которой выстроилась вереница жирных задниц, наполовину съехавших с высоких скрипучих табуретов на длинных ножках. Пол Донохью, огромный толстяк с седыми кудрявыми волосами (владелец заведения и главный бармен по совместительству), с неторопливым проворством подает публике напитки. Неожиданно по самому центру стойки я замечаю Фрэнсиса Младшего, сидящего рядом с Берни и Донной Куни. Вот ведь — тут как бы самому в штаны не нагадить. Знакомые голоса окликают меня, на секунду перекрывая шум, и тем самым вырывают из оцепенения. Это Бобби Джеймс, Стивен и Фрэнни: они сидят за стойкой чуть дальше, по левую руку от Фрэнсиса Младшего. С ними Джонни Бойль, местный завсегдатай. Я пробираюсь к ним мимо стола с шаффлбордом, музыкального и игровых автоматов; проходя мимо Фрэнсиса Младшего, с немалым облегчением успеваю заметить, что тот не разговаривает с Куни: все трое заняты пивом и никуда, кроме как прямо перед собой, не смотрят.

— А вот и наш Генри Тухи, рад видеть тебя, приятель, — говорит Джонни Бойль. — Наконец-то все девчонки в сборе, — смеется он и кивком указывает на моих друзей и братьев. Живет Бойль где-то у нас в районе, но где точно — не знает никто. Волосы у него редкие и темные и зачесаны к макушке, плюс к тому сзади он забирает их в куцый хвостик. Глаза огромные, голубые и с безуминкой. На нем черная куртка с надписью "Только для своих" с рукавами, закатанными по локоть, короткие коричневые шорты из рубчатого плиса и видавшие виды

1. Настольная игра, популярная в пабах; монеты или металлические диски щелчком передвигают по разделенной на девять клеток доске.

гольфы; ко всему этому остается добавить только белые ботинки на высокой подошве, которые явно повидали на своем веку ничуть не меньше, чем гольфы. Вот в таком прикиде он каждый день и ходит, причем не важно, зима на дворе или лето. Джонни Бойль стиляга еще тот, и его совершенно не заботят детали. Он повсюду гоняет на своей девчачьей десятискоростной тачке розового цвета, на которой то и дело где-нибудь разбивается, но каждый раз после очередной аварии неизменно выбирается из машины веселый и весь в крови. На вид ему дашь лет тридцать, но сколько на самом деле — хрен его знает. Никто и не спрашивает. Для ребенка он, пожалуй, слишком некрасив, но и на взрослого не тянет — работать не желает и к тому же слишком большой пофигист.

— Как дела, Джонни, — говорю ему я. — Наступит когда-нибудь день, когда ты наконец отстрижешь этот свой грёбаный хвостик?

— Никогда. Девчонкам нравятся хвостики. Девчонкам нравлюсь *я*, — говорит он, срывает с себя весь верх и под общий смех прогибается назад, демонстрируя свое толстое пузо и сиськи второго размера без каких-либо намеков на мышцы.

— Накинь на себя что-нибудь, пока я не начал тебя доить, мне тут как раз "Белого русского" заказали, — говорит ему Пол Донохью, у которого огромные лапищи и предплечья сплошь покрыты потускневшими от времени зелеными флотскими наколками.

— А ведь признайся: самому так и хочется их потрогать, — говорит Бойль. — Ты же у нас моряк, верно? Кроме того, у меня там не молоко, а *чистый мед*. Божественный, блядь, нектар в чистом виде, — продолжает он, сжимая себе соски.

— К нам на судно частенько такие ребята служить поступали, Генри, — говорит мне Донохью и как бы украдкой косится на приятеля, а у самого аж плечи трясутся от смеха, — и у всех в сиськах одна моча пополам с уксусом. Ну, мы их быстренько в трюм и там уже делали из них порядочных женщин.

— Вот о чем я тебе и толкую, моряк, — говорит Бойль. — Налей-ка мне еще стаканчик.

— Может, тебе еще и с зонтиком? — интересуется Пол.

Они не первый день знакомы, поэтому оба смеются и прекращают друг друга подкалывать. Бойль надевает все на себя обратно и предлагает мне сесть рядом с отцом, поскольку так нам с Бобби Джеймсом (он сидит рядом и пьет "Будвайзер" из бутылки) будет удобнее играть с ним в одну игру на выпивку. Когда у нас в районе празднуют свадьбу, ограничение на спиртное для лиц младше двадцати одного улетучивается в окно вместе с дымом сигарет. На свадьбе если хочешь пива, ты его получишь, это без вопросов.

— В какую именно? — спрашиваю я. — Какие правила?

— Называется "игра в четвертак". Игрок резко кидает четвертак на стойку, чтобы он подпрыгнул и упал в рюмку. Если, к примеру, ты попал, то я выпиваю, и так до первого твоего промаха. Если попал я, то все наоборот.

Возвращается Донохью: в руках у него полный стакан для Джонни, да еще и с торчащим из него зонтиком.

— Ваш заказ, мэм, — говорит он.

— Иди ты... — смеется Бойль и выбрасывает зонтик прочь из стакана.

— Согласен, я в игре, — говорю я.

— Тебе "Будвайзер", как и Бобби? — спрашивает Бойль.

— Не, мне просто колы, — отвечаю я.

— Э, сопля. Контр-адмирал Донохью, подать газировки пацану в платьице церковного служки.

— Которому из двух? — спрашивает Пол, глядя на нас с Гарри.

Гарри указывает на меня:

— Ему. Я пью "Кровавую Мэри для девственниц".

— На самом деле все очень просто, Генри, — брызжет в меня слюной уже порядком захмелевший Бобби Джеймс. — Вот, смотри.

Он что есть силы кидает четвертак на стойку, после чего монетка взлетает высоко вверх и звякает об зеркало на барной полке где-то за рядами бутылок с цветными этикетками, которые светятся в полутьме бара, словно драгоценные камни в пещере.

— Погоди, дай Генри попробовать, — говорит Бойль и протягивает мне четвертак.

Я бросаю монету, но вместо того, чтобы взлететь и упасть в рюмку, мой четвертак едва подпрыгивает на месте. Тем не менее Бойль опорожняет рюмку.

— Ну, почти, Генри, — передергивает он плечами. — Попробуй еще разок.

Я промахиваюсь еще четыре раза подряд, Бойль каждый раз исправно выпивает, затем заказывает себе еще.

— Давай покажу, как надо, — говорит он мне. — Если заброшу — то ты пьешь.

Бойль забрасывает раз, затем второй. Теперь я выпиваю свою колу. Донохью на ходу доливает мне до полного, при этом не забывая никого, кто помимо меня пьет у стойки. Фрэнни со Стивеном сзади наблюдают за нашей с Бойлем игрой: Фрэнни улыбается с бутылкой пива в руке, Стивен держит стакан с чем-то, по виду напоминающим безалкогольный имбирный эль, и тоже пытается улыбаться, мужественно борясь с похмельем. Мимо него дважды проходит Ральф Куни и оба раза толкает его достаточно сильно, чтобы расплескать содержимое стакана. Стивен сейчас трезвый, поэтому попросту не обращает на него внимания, но все же, получив второй толчок в спину, подзывает к себе Пола и указывает ему на свой стакан. Пол берет и наливает в него нечто розовое, после чего возвращает стакан Стивену. Фрэнни начинает хмуриться.

— Генри, мать твою, очнешься ты или нет? Твоя очередь, — говорит Бойль.

— Что? — рассеянно переспрашиваю я. — А, да, извини. Вот я его сейчас.

В полной уверенности, что промахнусь, я кидаю монету, но тут вдруг попадаю. Радостные аплодисменты со всех сторон. Рядом со мной мистер Куни спрашивает у Фрэнсиса Младшего, как долго тот уже работает почтальоном на улице Святого Патрика, на что Фрэнсис Младший отвечает, что уже пятнадцать лет. Я снова кидаю и забрасываю в рюмку еще один четвертак. Джонни Бойль снова осушает свою. Фрэнни увещевает Стивена по поводу того, что незачем начинать пить

так рано. Конечно, он понимает, сегодня свадьба и все такое прочее, но все равно ему кажется, что с чем с чем, а с этим Стивену торопиться не стоит, особенно после всей той фигни, что была вчера. В ответ Стивен обещает, что все с ним будет в порядке. Берни Куни спрашивает Фрэнсиса Младшего, как долго тот уже женат, на что Фрэнсис Младший ему отвечает, что женат уже почти двадцать пять лет как. Я промахиваюсь, но Бойль все равно выпивает за мою попытку, замечая при этом, что здесь главное — не отчаиваться. Фрэнни говорит Стивену: *Это ты только сейчас говоришь, что все будет в порядке, а сам прекрасно знаешь, чем это обычно заканчивается. Я больше не собираюсь работать рефери.* – *И не надо,* — огрызается Стивен. *Просто постарайся держать себя в руках, тигр,* — предупреждает его Фрэнни. И больше ничего не говорит. Стивен допивает стакан, кивком просит Пола налить еще один, залпом выпивает и этот и требует еще. Берни Куни говорит: *А я, мы с Донной женаты уже пятнадцать лет, из них десять я работаю в тюрьме Холмсбург. Видишь ли, у меня такая работа, которая не требует, чтобы я каждый день захаживал в дом к чужим людям, конечно, если не считать людьми заключенных, а камеры – их домами. Не знаю как ты – лично я их таковыми не считаю.* Бойль начинает выпендриваться и забрасывать в рюмку по два четвертака разом. Я глушу колу без перерыва. Фрэнни с отвращением оставляет Стивена и уходит прочь из бара, по дороге остановившись лишь для того, чтобы пропустить двоих оголтелых шестилеток, которые несутся мимо него по направлению к игровым автоматам: там есть покер, в который можно играть колодой с мультяшными голыми бабами на рубашке.

Рядом, за столом, Сесилия вдруг прерывает свой рассказ на полуслове, бросает грустный взгляд на Фрэнсиса Младшего, но все же ухитряется справиться с собой и продолжает дальше с оборванной фразы. Бойль забрасывает пять чистых с кончика носа. Я хлопаю газировку без перерыва: перед глазами все плывет; Бойль не отстает от меня с разбавленным виски. Берни Куни говорит, вновь обращаясь к Фрэнсису Младшему: *Даже если бы мне и приходилось по работе частенько наведываться к чужим людям, я бы ни за что не позволил себе заходить в дом ни под каким предлогом. А ты?* Фрэнсис Младший говорит ему: *Я не совсем понимаю, к чему ты клонишь.* А Донна Куни говорит: *Да, он прав, Берни, ты выпил лишнего. Несешь не пойми что.* Теперь мы с Бойлем, как, бля, два настоящих профессионала, попадаем каждый с первого раза и глушим из стаканов почем зря под восторженные аплодисменты Бобби и Гарри. Сесилии нет за столом. Бля, куда она делась? О господи, вот она, идет прямиком к Фрэнсису Младшему. *Извини,* говорит Берни Куни. *И правда несу чушь какую-то. А клоню я, собственно, вот к чему. Постой, вон идет твоя жена. Вот у нее-то обо всем и спросим. Сесилия, вы ведь с Донной сегодня весь день друг на дружку смотрели так, будто убить одна другую готовы. Вот и скажи мне: это правда, что твой муж трахает мою жену?* Фрэнсис Младший обхватывает голову руками. Сесилия сначала долго и с ненавистью смотрит на Донну, потом совершенно спокойно переводит взгляд на Берни и кладет руки на плечи Фрэнсису Младшему.

— Сам посуди, зачем ему так поступать, если у него есть я? — отвечает она вопросом на вопрос.

У Берни Куни от изумления отвисает челюсть. Он в шоке от такого ответа. Наверное, ему даже как-то неловко. Ральф Куни снова походя пихает Стивена в спину. Стивен хватает его за горло и приподнимает над стойкой. Через стойку наклоняется Пол Донохью и своими ручищами хватает обоих: и Стивена, и Ральфа, у которого к куртке сзади прилипли опилки.

— Оставь, Пол, дальше я сам разберусь, — говорит Берни Куни.

Он выволакивает Ральфа из бара вслед за собой и начинает лупить его при открытой двери, чтобы все видели. Ральф кричит сквозь слезы: *Не надо, пап, хватит.* Как только Берни и впрямь решает, что хватит, Ральф вырывается и убегает куда-то вниз по улице Святого Патрика. С раскрасневшейся рожей Берни Куни возвращается в бар, хватает жену за руку и волочет ее к столу, за которым она сидела до этого. Фрэнсис Младший непонимающе смотрит на Сесилию.

— Почему ты ради меня так поступила? — спрашивает он у нее.

— Иди ты! Ради тебя... Вон, ради них, — говорит она, указывая на нас с братом. — И еще ради Сес.

С этими словами она возвращается к себе за стол, откуда на нее смотрят Сес и Грейс, и продолжает рассказывать анекдот с того места, где остановилась, — так, будто ничего не произошло. Фрэнсис Младший остается сидеть на месте и смотреть в зеркало за бутылками с бухлом. Поскольку свет тусклый, в зеркале почти не видно, насколько густо он покраснел.

После разборки наши все сидят как пришибленные. Бобби Джеймс покачивается из стороны в сторону, но продолжает пить "Будвайзер", Гарри потягивает из стакана свою "Кровавую Мэри для девственниц", параллельно оба играют в "Войну" порнушной колодой Пола Донохью. Стивен пьет и пихает четвертаки в автомат с покером. Я причесываюсь перед зеркалом и не могу не то что закрыть, даже моргнуть глазами от такого количества выпитой колы, но, бля, все равно упорно продолжаю лакать из стакана. В "Четвертак" уже никто не играет. Бойль поднимается на подламывающихся ногах.

— Что-то по времени еще рано, а я уже набрался, — говорит он и чуть не падает, но в последний момент успевает схватиться за стойку. — Видал, какое самообладание, Генри? — улыбается он и направляется к мишени для игры в дартс: вдруг кто захочет с ним покидаться. Сзади щелкают по доске фишки для шаффлборда. Автомат играет "Good Vibrations". В одном телевизоре Майк Шмидт отправляет крученый за пределы поля. По этому поводу кто-то из глубины бара в две глотки издает восторженный вопль. В другом Пенсильванский университет прерывает передачу противника и переходит в контратаку. Народ выражает бурную радость и стучит кружками по столам. Подошедшая сзади миссис Макклейн кладет мне руку на плечо и садится на соседний табурет, который только что освободил Бойль.

— Ну, Генри, рассказывай, как дела? — спрашивает она.

— Отлично, как у вас? — отвечаю я.

— У меня-то все в порядке, — она улыбается уголками рта: губами, собранными в кучку, она держит сигарету и прикуривает ее, — а вот насчет тебя не уверена. По-моему, кто-то у нас скис порядком. Редко тебя таким увидишь.

— Нет, правда, все нормально, — говорю я. — Наверное, просто задумался.

— О чем, если не секрет?

— А вы все так же сильно переживаете из-за мистера Макклейна?

Она с улыбкой смотрит куда-то мне за спину, потом переводит взгляд на меня:

— Да.

— А на свадьбах, наверное, еще сильней? — спрашиваю я.

— Мне его одинаково не хватает всегда и везде. В пятницу будет пять лет, как он погиб.

— А, — только и могу выдавить я в ответ, потому как не знаю точно, что в таких случаях принято говорить.

— Смотри, как сразу замялся, — смеется она. — Да расслабься ты, я совершенно спокойно могу говорить о мистере Макклейне, — и я понимаю, что это она отнюдь не из вежливости — в ее голосе звучит настойчивое требование.

— Расскажите мне о чем-нибудь таком, за что вы его особенно любили, — говорю я.

— Только это тебе и хочется услышать?

— Тогда расскажите обо всем, что *вам* хочется.

— Ну, так мы тут с тобой на весь день застрянем. Он всегда громко выкрикивал неправильные ответы, когда смотрел телевикторины. Хоть бы раз угадал. Причем не важно, что за тема, что за вопрос. Всегда мимо.

— Да ладно, — смеюсь я, — не может такого быть, чтобы вообще ни разу.

— Не-а. Ни разу, — уже хихикая, говорит она.

— А если вопрос был проще некуда, например, кто был первым президентом США?

— Все равно, он ляпнул бы: Макклейн. Или Тухи. Что угодно, кроме Вашингтона, — смеется она.

Вдруг мы с ней, не сговариваясь, оба притихаем безо всякой на то причины.

— Что произошло той ночью, когда он погиб? — спрашиваю я.

— Господи, — говорит она, — спроси лучше, чего *не произошло* той ночью. Ты уверен, что хочешь об этом знать?

— Да, если расскажете.

— Ладно, расскажу, — говорит она. — В Фэйрхилле в Северной Фили, где он работал, загорелась двухэтажка. У них там одни сплошные наркоманы. В час по пять пожаров. Мистер Макклейн к тому времени проработал пожарником уже достаточно долго, мог выбирать и менее опасные вызовы, но он по-настоящему любил бороться с пожарами. А главное — *людей* очень любил.

— Да, я помню, — говорю я. — Когда мы были маленькими, он еще, бывало, часто звал нас к вам на веранду. Обычно показывал этот фокус, когда правой рукой будто бы сам себе откручиваешь большой палец с левой. Мы правда ему верили и очень пугались, но все равно очень его любили.

— Да, ему подурачиться только волю дай, — соглашается она. — В общем, дело было так: копался он себе в клумбе — в той самой, которую по-

завчера вечером вытоптал Бобби Джеймс, — а тут звонят и сообщают, что там огромной силы пожар и нужно срочно ехать. Ну, он, конечно, все бросил и поехал. Напоследок крепко поцеловал нас с Грейс и сказал, чтобы я присмотрела за цветами, пока он не вернется. Так я и делаю до сих пор.

— А что случилось на пожаре? — спрашиваю я.

— Как раз собиралась рассказать, — говорит она. — Там внутри осталась целая семья. Мать и трое детей. Все были без сознания и выбраться никак не могли. Сосед сказал мистеру Макклейну и остальным пожарным, что детей в доме четверо. Понимаешь, дело в том, что к ней часто приходил еще племянник. Ну так и вот, мистер Макклейн спас ее и троих детей. Кстати, я до сих пор с ними общаюсь. Хорошие люди. Они теперь живут в гораздо лучшем районе, — тут она с гордостью улыбается. — Но как я уже сказала, пожарным внушили, что в доме остался еще один ребенок, — продолжает она, и ее улыбка моментально сходит на нет. — А его там не было. А мистер Макклейн до последнего оставался в доме и искал там ребенка и своего хорошего друга Фрэнки Пинджитори. Оба были наверху, когда весь второй этаж разом обрушился. И тот и другой погибли мгновенно.

— Я очень вам сочувствую, — говорю я ей, и в это время музыкальный автомат начинает играть "Heart of Gold" Нила Янга.

— Не стоит, — говорит она, и при этом на лице ее читается скорее решимость, нежели печаль. — У меня хватает сил это пережить.

— А с Грейс они, наверное, тоже здорово ладили? — спрашиваю я.

— Просто чистое золото, а не отец был, — вспоминает она. — Он очень сильно ее любил.

— Как и я, — не удержавшись, выпаливаю я: мою душу переполняют эмоции пополам с кофеином. Я подзываю к себе Донохью и прошу налить мне еще колы. Трясу вверх-вниз коленкой и барабаню пальцами по стойке.

— Знаю, — улыбается она. — И я тоже. Она ведь особенная.

Сзади нас из ниоткуда появляется Грейс, дает нам обоим по затылку, пинает автомат с сигаретами и обзывает его ублюдком до тех пор, пока тот, наконец, не выплевывает ей пачку сигарет. Затем она еще раз отвешивает нам по подзатыльнику, после чего возвращается к себе за стол. Кто-то на кого-то плещет из стакана в другом конце барной стойки. Двое ругаются. Мне в стакан попадает четвертак. Гарри немедленно выуживает его оттуда.

— О чем опять задумался, Генри? — спрашивает миссис Макклейн.

— Хочу жениться на Грейс, — снова пробалтываюсь я, поскольку голова моя продолжает свое плавание в море колы, грусти и любви.

Все в баре начинает происходить в черепашьем темпе. Я вообще ничего не слышу. Донохью идет вдоль стойки с бутылкой какого-то пойла, которое светится у него в руках, как лава. Он разливает лаву по бриллиантовым рюмкам всем сидящим у стойки. Рюмки полны лавой, и теперь все дружно пьют их до дна. Сердца толпы разрастаются, их яркий блеск начинает пробиваться сквозь грудные клетки. Телевизор выхватывает концовку рекламного ролика "У Пола Донохью", где двадцать пять парней, включая Стивена и Бобби Джеймса, поднимают кружки и, задрав головы, улыбаются камере. Потом опять включается футбол. Сердца те-

ряют свой блеск, по крайней мере для невооруженного глаза. В баре снова включается шум.

— Ты отличный парень, Генри, — говорит она мне. — Уверена, ты станешь отличным мужем.

Тут я, к немалому удивлению миссис Макклейн, обнимаю ее.

— Спасибо. Ваше благословение — это для меня все. Я буду беречь Грейс так, как будто она из фарфора. Я дам ей столько любви, сколько не было еще ни у одной жены на свете. Я ни за что не стану с ней драться. Ни единой ссоры. Вообще ни одной. Ноль. Я буду всегда ей верен и даже не подумаю изменять с телкой из дома на углу или ни за что ни про что бить нашего сына. Нет, бля, это не про меня, фигушки. Там что, кто-то поставил на автомате Боба Сигера с его "Silver Bullet Band"? Точно, так и есть. Никуда не уходите. Я сейчас вернусь.

"Old Rock & Roll" орет на весь бар. Я подхожу к автомату и дергаю за рычаг. Песня обрывается. Все поворачиваются ко мне. В баре наступает полная тишина, если не считать звука работающих телевизоров. Долбоеб Майк Шмидт успевает вернуться к себе на базу, но никто ему не хлопает.

— Заколебал уже ваш Боб Сигер, — говорю я. — Кто-нибудь имеет что-нибудь против?

Никто даже не пытается ничего вякнуть в ответ. Молчите, уроды? Правильно молчите. Я возвращаю рычаг в исходное положение, достаю из кармана четвертак, сую его в автомат и шарашу кулаком по кнопке с песней "Rumble" Линка Рэя. Вот вам, долбошлепы, нормальная музыка. Теперь можно вернуться к миссис Макклейн.

— Извините, — говорю ей я. — Другого выхода не было.

Она наблюдает за тем, как я опрокидываю очередной стакан колы.

— По-моему, с тебя уже хватит. Дай-ка я лучше закажу тебе пива, — предлагает она, после чего бегло окидывает меня тревожным взглядом и знаком просит Донохью принести мне пива. По меньшей мере двадцать человек одновременно с ней, не сговариваясь, делают то же самое.

Один промах по мячу, и ты выбываешь до конца раунда — никуда не денешься, в стикболе такие правила. Смазал два раза — получай страйк-аут[1]. Если заработал страйк-аут — значит, ты сука, если только твое имя не Грейс. Попробуй, назови ее сукой за страйк-аут, и она надерет тебе задницу. Но я не сильно парюсь по этому поводу, потому что у Грейс страйк-аутов не бывает. Битой служит палка от метлы. На базы никто не бегает. Любой мяч, коснувшийся земли перед подающим, считается за аут как чисто подобранный. Флай-аут[2] остается флай-аутом, как в бейсболе. Играется не по три, как обычно, а всего по два аута за период. Если попадешь мячом за линию, на которой стоит подающий, и никто из другой команды не успеет его перехватить — это бингл, то есть по-бейсбольному сингл[3]. Если за аутфилдеров[4] — тогда дубль[5]. Если в за-

1. В бейсболе и подобных ему играх — удаление игрока с поля за несколько неудачных ударов подряд.
2. Слишком сильный удар по мячу, отправляющий его далеко за пределы поля.
3. В бейсболе (и стикболе) — сильный удар по мячу, который позволяет бьющему перебежать на первую базу.
4. Игроки, находящиеся на наиболее удаленной от бьющего части поля.
5. Удар по мячу, позволяющий бьющему добежать до второй базы.

бор, то это тройной[1]. Через забор — хоумран[2]. Но через забор Тэк-парка (а именно там мы играем) никто не бьет, чтобы не нарушить спор между Стивеном и Бойлем. Джонни Бойль, которому лет двадцать тому назад довелось поиграть в запасе у "Филлиз", утверждает, что в свои лучшие годы мог, бывало, отбить мяч за забор не меньше трех раз подряд. А Стивен считает, что это полное фуфло. В баре они поспорили на пятьдесят баксов, а перед игрой подняли ставки еще на полтинник. И вот мы здесь, стоим в выходной одежде под палящим солнцем на спортплощадке и ждем начала игры.

Команды Бойль со Стивеном выбирали себе сами. За нас помимо меня играет Стивен, Бобби Джеймс, Гарри, Грейс и Арчи. В команду Бойля, кроме него самого, входят еще четыре жирных мужика и большая красная сумка-холодильник для пива, которую они приволокли с собой. У нас все шансы выиграть. В отличие от них, мы все худые и меньше потеем, и нам плевать на то, что жарко, равно как и на нашу парадную одежду. Больше всех потеет Арчи, но это только потому, что обе команды используют его в качестве вешалки для пиджаков и курток. Однако иногда ему удается поймать мяч за площадкой отбивающего, к тому же он помогает нам знаками, когда мы отбиваем.

Делаем первые подборы. Подает Бойль. Сложных ударов, судя по всему, опасаться не следует, потому что его команда гораздо охотнее пьет пиво, нежели прыгает за мячами. Бобби Джеймс начинает игру. Он целует золотой крестик у себя на шее и принимается бить копытом в землю, которой здесь нет. Арчи одной рукой оттягивает вниз левую мочку уха, другой хватается за яйца, что в переводе означает "отбивай крученым". Бобби Джеймс отправляет мяч влево и зарабатывает бингл. Теперь отбиваю я. Арчи дает мне зеленый свет на страйк-аут, но при первой подаче я вспоминаю о том, что нельзя нарушать условия спора. Бойль без труда справляется с моим мячом, который я отбиваю прямо в него на уровне не выше пояса.

— Ну же, Генри, это не удар, — дразнится Бойль.

Но я не ведусь на это его дерьмо и на второй бингл что есть силы отправляю второй мяч прямехонько ему между ног. Следом за мной отбивает Грейс, у которой удар как из пушки. Она подбирает юбку и занимает позицию на площадке. Да, член, чую, ты снова встал. Арчи оттягивает мочки на обоих ушах, затем хватается за яйца, имея в виду, что нужно бить прямой. Грейс отвечает ему плевком. Все остальные хором кричат: *Девчонка на поле – пиши пропало.* Грейс обзывает их тупыми ослами и шарашит дублем поверх голов. 1 : 0, никто не выбыл, вторая, третья зоны. Стивен следующий: мяч попадает в забор и отлетает на центр, не очень слабо, но и не очень сильно. У Гарри страйк-аут. Грейс обзывает его юбкой, сама тем временем разглаживает свою. Гарри хнычет, пока Бобби Джеймс не отвешивает ему пощечину.

Отбивают жирные придурки. Грейс встает на подачу, предварительно нацепив свою счастливую кепку "Филз", истрепанную и рваную — в точности как надо. Арчи катается туда-сюда за площадкой отбивающего. Все ос-

1. Удар по мячу, позволяющий бьющему добежать до третьей базы.
2. Удар по мячу, позволяющий бьющему обежать все четыре базы.

тальные стоят в ауте. Сразу же, двумя подачами, Грейс обеспечивает два страйк-аута первому отбивающему, затем та же история повторяется и со вторым, и с третьим. Мы пасуем друг другу мяч по углам площадки: Арчи — мне, я — Гарри, Гарри — Бобби Джеймсу, Бобби Джеймс — Стивену, Стивен — обратно Грейс. После страйк-аута все должны подержаться за мяч. Игра на время становится скучной и однообразной. Пробежек больше никто не зарабатывает. Единственные результативные игроки — мы с Бобби Джеймсом, поскольку что он, что я стабильно выбиваем бинглы. У Гарри одни сплошные страйк-ауты. Грейс, Стивен и Бойль все время целят в забор, поэтому все время вылетают. У остальных тоже страйк-ауты. Солнце палит нещадно. Плюются искрами проползающие мимо Тэк-парка троллейбусы. В пятом раунде Грейс отправляет в пятую зону десятифунтовый не берущийся, чем вызывает бурные жалобы толстячков по поводу чрезмерной силы и хирургической точности ее ударов. Стивен с Бойлем треплются про вчерашнюю драку. Гарри тут же сообщает, что ему страшно и не пора ли всем дружно убраться со спортплощадки подобру-поздорову, на что Бойль советует ему лишний раз не ссать. Расти без разборок на спортплощадках тоже нельзя. Что ж поделать — в этом возрасте всем достается. Только надо этому радоваться. Детьми-то бываем всего раз в жизни.

Судя по всему, жара крепчает. Бойль утирает пот с лица, стоя на подаче.

— Черт, жарко, — говорит он. — Спорим, жениху сейчас приходится еще жарче нашего.

Его приятели дружно смеются.

— А какого хрена ты имеешь что-то против брака? — злобно спрашиваю я.

— Что я имею против брака? — переспрашивает он меня. — Спроси лучше, чего я *не* имею против брака. Я, конечно, все понимаю: кто-то из вас, ребята, наверняка думает, что я не женат потому, что у меня башка пустая и вдобавок еще много пью. А вот и нет. Женщины меня любят. Знаете, сколько раз за жизнь я делал предложение? Пять раз. Да, целых пять. Первый раз я предложил выйти за меня замуж одной моей школьной зазнобе по имени Даниэль, когда мне было всего семнадцать. Тогда все у нас рухнуло потому, что в один прекрасный день я рухнул с крыши, когда подрабатывал кровельщиком. Я потом целый год и имени-то своего вспомнить не мог, чего уж тут удивляться, если я напрочь забыл, кто она такая. А ее это так взбесило, что она, сука, взяла и меня бросила. Второй раз был с медсестрой, которая за мной ухаживала. Ее звали Дот. Она была толстая, уродливая и, насколько я помню, намного меня старше, но мы все равно влюбились друг в дружку. Еще бы, столько времени она кормила меня с ложечки и заново учила читать. Черт возьми, она так ангельски напевала мне алфавит. Но все закончилось вместе с курсом лечения. Дама номер три появилась в моей жизни только спустя шесть или семь месяцев, потому что все это время я еще продолжал находиться под неусыпным наблюдением врачей, а Дот, понятное дело, уже исчезла с горизонта. Вечно забываю, как ее звали. В общем, шары у нее все равно были что надо, и трахалась она, как крольчиха. Я надеюсь, ребята, вы уже достаточно взрослые, чтобы слушать такое, да?

Мы утвердительно киваем.

— В общем, весь юмор в том, что она ушла от меня к парню, который работал в зоопарке. Я до сих пор их обоих ненавижу, думаю, попадись они мне, убил бы непременно. Но, как я уже сказал, ее имя и лицо я ни в жизнь не могу вспомнить, наверное, это их до сих пор и спасает. По крайней мере пока я не опознаю ее по сиськам. Потому что мне хоть целый грузовик сисек навали — я и там их запросто отыщу. Как бы то ни было, хер с ними, с этими ее классными сиськами. Невесту номер четыре я помню очень смутно, потому что в то время жил в Вегасе и все три года пил не просыхая. По-моему, она была родом из Техаса и ходила в блестючих сапогах и широких платьях. Кажется, у меня на заднице есть татуировка с ее именем, но только вот делать мне больше нечего, кроме как самому смотреть или просить посмотреть кого-нибудь еще. Все равно она для меня давно уже ничего не значит.

Он снимает с руки бейсбольную перчатку и снова утирает себе лицо.

— Единственная из них из всех, которая на самом деле для меня что-то значила, была невеста номер пять. Криста, балерина. Я любил ее. Мы познакомились в баре. Или нет — на бейсбольном матче. Нет, вру, все-таки в баре. Мы *смотрели* бейсбол. В тот же вечер я сделал ей предложение. Хватило наглости. Она сказала "да". И мы тут же рванули в Атлантик-Сити, чтоб не откладывать, бля. Это же была любовь, ребята. Господи, до чего она была хороша. Черные волосы, голубые глаза, ноги — обалдеть. Но в самый ответственный момент мы с ней подрались, и такая пошла неразволочня, что в итоге остановить нас смог только солдат национальной гвардии. Я совершил одну роковую ошибку: когда мы оба стояли на одной ноге и пытались пальцем попасть себе в нос, черт меня дернул брякнуть, что то же самое кольцо, которое я незадолго до того ей вручил, я предлагал всем четырем моим предыдущим несостоявшимся женам. А что? Мне оно было дорого как память. Если уж на то пошло, мамаши ведь часто отдают сыновьям свои обручальные кольца, так почему же мне нельзя было воспользоваться тем же кольцом, что и четыре предыдущих раза? Вам бы оно тоже понравилось. И оно было дорого мне не только из-за прошлых помолвок. За него потом пришлось судиться аж с тремя этими суками. Посмотрел бы я на того, кто после такого не полюбил бы это кольцо, как я. А вот Криста не полюбила, это факт. Она швырнула мне им в рожу и потребовала, чтобы нас везли в вытрезвитель в разных машинах, и с тех пор, если не считать той полсекунды, когда ее вели по коридору, а у меня снимали отпечатки пальцев, я ее больше никогда не видел. Ну как, у кого-нибудь еще остались вопросы по поводу того, что́ я имею против брака? Нет? Так я и думал. Пять помолвок, одна татушка, одно кольцо и одно любящее сердце, которому в придачу суждено было разбиться целых пять раз подряд. Да, блядь, насчет брака мне есть что возразить. Дураки пусть себе женятся, но только не я. Дайте минутку дух перевести.

Спустя пять раундов и целый час времени, Бойль стоит на подаче с мячом в руках и готов вот-вот заплакать. Но только мы переключаем все внимание на него, как он поднимает глаза и начинает смеяться.

— А вы, дебилы, мне и поверили.

— Не может быть, — изумляется Гарри. — Так, значит, ты никогда и ни с кем не был помолвлен?

— Нет, вся байда, что рассказал, — правда. Просто мне на все это глубоко насрать.

И Бойль заходится смехом минут на пять, а дальше уже все молчат. Его приятели планомерно пополняют ряды пустых банок в центре поля. Чем сильнее они косеют, тем больше концентрируются на наших подачах. После целого ряда успешных подборов в восьмом раунде они уже серьезно настроены на то, чтобы выровнять счет. Бойль делает два мощных отбоя: один в седьмую зону, другой — в восьмую; оба мяча летят далеко, но приземляются, чуть-чуть не долетев до забора. Стивен со смехом ловит их к себе в задний карман. В восьмом раунде Арчи решает навестить Грейс на позиции подающего после того, как та выдает далекий флай-аут и сразу за ним — два результативных мяча. Она раскручивает Арчи в кресле, ногой откатывает его обратно за площадку отбивающего и тут же вслед за этим вешает еще одну соплю.

Конец девятого раунда, счет по-прежнему 1 : 0 в нашу пользу. Команда старших, пользуясь последними минутами, оставшимися у них на подбор, требуют показать им кепку Грейс, которая в ответ пытается изображать полные непонятки, и это при том, что смазки у нее там спрятано не меньше фунта. Время уже давно за полдень, и народ постепенно начинает переползать через Ав и загружаться в "Манджоли" на свадебный банкет. Мимо нас, горланя "Забери меня на матч", проходят двое изрядно выпивших папаш. Мне еще нужно успеть забежать домой, чтобы переодеться в костюм. Возможно, даже залезу в душ, хотя, бля, нет, это, конечно, вряд ли.

— Смотри-ка — вазелин, — говорит Бойль, поднимая вверх кепку Грейс. — Да она мухлюет.

— Верни кепку, придурок, — со злостью кричит ему она и прыгает, пытаясь вырвать кепку у него из рук.

— Нет уж, — говорит он. — Пока у себя оставлю. А ты у нас до конца игры будешь подавать другим мячом. О'кей?

— Ладно, — говорит она. — Хочешь, бля, вообще себе забери, если так понравилась. Мне без разницы, каким мячом подавать — все равно всем вам по страйк-ауту.

Старшие кидают ей другой мяч из коробки, которую мы принесли с собой.

— Йоу, Стивен, — окликает его Бойль, — ты готов посмотреть, как я запущу мячом через забор?

— С самого обеда жду не дождусь, — говорит ему Стивен. — Разбуди меня, если не дай бог и впрямь такое случится.

В ответ Бойль смеется и готовится принять подачу. Грейс подает свой первый честный мяч за всю игру. Он отбивает его, как пушинку. Стивен сначала немного медлит, затем резко срывается с места и бежит вслед за мячом. Подпрыгивает и в прыжке ловит его у самой верхушки забора. Мы кричим в восторге. Стивен танцует жигу. Бойль окончательно выходит из себя и в сердцах мечет свою биту через все поле, словно дротик. *Блядство*, — вопит он в ярости. *Нет, ты только погляди, что за блядство такое? Только не засрите мне подборы, вы, жирные ублюдки, мне нужен еще удар*, — гремит он, обращаясь к своим товарищам по команде. Один из них приносит ему биту. Каким-то образом им все же удается выровнять счет после четырех безответных синглов. Арчи выезжает на

площадку для подающего. Грейс швыряет в него бычком. Бойль возвращается на позицию, чтобы испробовать свой второй шанс, разминаясь, поводит плечами и поднимает глаза к небу.

— Господь всемогущий, — начинает молиться он. — Кто я такой, чтобы просить тебя о многом. Знаю, ты знаешь, что я лентяй и много пью. И встаю поздно. И, блядь, ничего-то я в своей взрослой жизни не смог добиться. Запорол пять помолвок и полжизни провел в вытрезвителях. Если ты всего этого не одобряешь, то давай поговорим на эту тему позже. Ты же знаешь, что я не хуже любого другого могу запустить теннисный мяч, Господи. Ты же видел сам, как в детстве я тыщу раз перебрасывал его через забор. А вот у этого придурка здесь уж не знаю, как язык только поворачивается говорить мне, что я ни за что в жизни так не смог бы. Нет, ну надо же, что несет! Так вот, я молю тебя всего об одном последнем хоумране, после которого, клянусь, я запихаю свою биту этому уроду в задницу и никогда больше не стану играть в стикбол вплоть до самой смерти. Надеюсь, ты все усек, Господи?

Закончив молитву, он опускает руки.

— Подавай, — одними губами командует он Грейс.

Она подает. Он отбивает. Мяч отлетает от биты. Чисто перелетает через забор, затем и через Ав тоже. И со скоростью ракеты несется по направлению к церкви, к огромному круглому мозаичному стеклу над входом. Дзинь. Вот это, бля, хоумран. Окно разбилось. Вот это, бля, мы попали. Мы замираем и только переглядываемся. Первый звук, который следует за звоном разбитого стекла, — это звук биты, падающей на асфальт. И тут же кто-то кричит *Бежим.* Пожалуй, я предпочту дернуть к дому, чтобы переодеться. Остальные придурки уже что есть духу несутся к Манджоли. На бегу я успеваю один раз обернуться. Грейс возглавляет их группу. Парни бегом толкают перед собой инвалидное кресло с Арчи, заставляя толпу на тротуаре испуганно расступаться. Разъяренные водители, вынужденные сдавать назад, провожают бегущих истошными сигналами, но даже они не в силах заглушить Бобби Джеймса, который на всю улицу отчаянно визжит "Богородицу". Я исчезаю среди улиц с типовыми домами, перехожу на кошачью трусцу и спокойно принимаюсь расчесывать волосы, стараясь не встречаться ни с кем взглядом, но также ни от кого и не прятаться. Не обращайте на меня внимания. Я простой городской церковный служка, спешу домой, чтобы переодеться в костюм, чтоб потом спеть в нем песенку, разве я похож на вандала, который только что разбил в церкви окно и теперь спешит скрыться с места преступления, дабы остаться безнаказанным?

Гарри Карран меряет шагами пятачок перед входом в "У Манджоли" и, в нервном ожидании чего-то, поминутно смотрит на часы. К нему подхожу я в кипенно белом костюме и таких же туфлях. Увидев меня, он расплывается в улыбке.

— Ты только посмотри, а, Тухи, — говорит он. — Здорово выглядишь.

— Спасибо, — говорю я. — И настроение здоровское.

— Нервничаешь?

— Вот еще, — улыбаюсь я. — Все будет хорошо и никак иначе. Все будет просто *здорово.*

С этими словами я хватаюсь за дверную ручку. Я готов зажигать. Но Карран меня останавливает.

— Подожди, — говорит он. — Я заплатил диджею двадцать баксов сверху, чтобы он всем объявил о твоем появлении.

— Что, правда? — смеюсь я.

— Правда, — гордо заявляет мне он. — Стой пока здесь. Я должен дать ему отмашку, что́ ты пришел.

Он приоткрывает дверь и проскальзывает внутрь, откуда доносится гомон и орет фоновая музыка. Дверь за ним закрывается, отгораживая все звуки, несущиеся изнутри банкетного зала. Музыка пропадает.

— Леди и джентльмены, прошу минуточку внимания, — слышится приглушенный голос диджея. — Если вы будете так любезны и ненадолго обратите ваше внимание на вход в зал "У Манджоли", то я смогу с радостью представить вам человека, не нуждающегося в представлении, человека, которого привело сюда чувство огромной любви, человека с гениальной шевелюрой, человека, которого все мы очень хорошо знаем и любим, Генри Тухи!

Гарри распахивает передо мной дверь. В зале гаснут все огни, кроме светового пятна прожектора, в котором оказываемся мы с Гарри.

— Текст я сам написал, — шепчет мне он. — Давай, заходи.

Покатываясь со смеху и приветственно потрясая поднятыми руками, я вхожу в зал. Вокруг царит гробовая тишина, пока Гарри не начинает громко хлопать у меня за спиной. Народ подхватывает аплодисменты, и вскоре они становятся всеобщими. Уверен, никто понятия не имеет, что́ происходит, но уговаривать хлопать никого долго не приходится, потому что все здесь меня и впрямь знают да к тому же еще и порядком выпили, поэтому заранее готовы к любым сюрпризам. Ничего толком не соображая, я иду по направлению к танцполу, искоса глядя на луч прожектора, пока Гарри не хватает меня за руку и не оттаскивает к столу, за которым в полном составе уже сидят Карраны, О'Дрейны и Тухи, последние за исключением Стивена (он, конечно, тоже в зале, но при исполнении) и Фрэнсиса Младшего (этот вообще не пойми куда делся). Аплодисменты стихают, и в зале снова зажигается свет. Все за столом выжидающе на меня смотрят.

— Отличный выход, Генри, — со смехом говорит мне Сесилия. — По какому такому случаю?

— А, это сегодня еще далеко не последний, детка, — сообщаю я ей. — Впереди длинный вечер. Добрый вечер, Грейс, — говорю я и целую ей руку.

В ответ она смеется и усиленно пытается зажечь сигарету. Я сажусь рядом с ней.

— Ну, девочки, что у вас новенького? — говорю я, обращаясь к Сес с Арчи, которые оба глядят на меня разинув рты.

— Ты прямо как тот парень на торте, — смеется Сес.

— Это точно, — отвечаю я. — Есть что добавить, Арчибальд?

— Я Арчи, осел, — презрительно фыркает он мне в ответ. — Весь в белом, что ли?

— Да, весь в белом. Какие-то проблемы?

— Нет, пока никаких, — говорит он, — вот когда подадут шоколадный десерт — тогда будут.

— Значит, буду есть осторожно. А вот тебе волноваться уже не о чем. Все, что можно было испортить, ты себе уже испортил, — сообщаю ему я и провожу пальцем по четким колеям от колес инвалидного кресла у него на костюме. Крыть нечем, поэтому для дальнейшего обсуждения десерта Арчи отворачивается к Сес. Грейс выдувает пару колец сигаретного дыма и смотрит на меня, приподняв бровь.

— Хэнк, это что, тот самый костюм, который ты надевал на первое причастие? — спрашивает она.

— Дорогая, первое причастие у нас прошло еще в третьем классе, — замечаю я.

— Так это не тот костюм?

— Нет, милая, не тот.

— Значит, решил заняться продажей мороженого? — интересуется она. — Мне, пожалуйста, пару шариков эскимо.

— Тебе что — не нравится, как я одет? — спрашиваю я и уже начинаю всерьез беспокоиться. — Разве мне не идет?

— Я не сказала, что тебе не классно, — улыбается она.

— И хорошо, потому что иначе я бы сказал, что тебе не мешает купить очки, — говорю ей я. — С толстыми стеклами.

Мы глядим друг на друга и смеемся. Лампочки под потолком сияют, будто звезды вблизи. Над залом несется легкая обеденная музыка — не поймешь, то ли Генри Манчини, то ли Рэймонд Скотт: в общем, кто-то из рафинированных. Народ в основном с улицы Святого Патрика — кое-кто из других кварталов, но таких немного. Болтают, смеются, в руках бокалы. Одеты элегантно. Кругом пахнет едой и шампанским, духами и туалетной водой. Улыбки сверкают так же ярко, как браслеты и ожерелья. Да, лучше дня, чем сегодня, не придумаешь. *Генри, я хочу пить. Эй, осел, ты меня слышишь, я пить хочу. Щелк, щелк, щелк. Земля вызывает Тухи.*

— Что? — спрашиваю я.

Грейс щелкает пальцами у меня перед носом и говорит:

— Твоя сестра просит, чтобы ты налил ей попить, Хэнк.

— Которая сестра? — Я в недоумении.

— Которая Сес. Я у тебя, вообще-то, единственная.

— Постой, а Фрэнни — он мальчик или девочка? — в шутку спрашиваю я.

Сес смеется:

— Какой ты злой, Генри Тухи. Налей мне какао.

— Вряд ли у них найдется, — говорю я. — Может, хочешь чего-нибудь другого?

— Тогда какао, — улыбается она, показывая мне язык через дырку между зубами.

— О'кей, значит колу, — заключаю я. — Народ, я иду к бару. Кому-нибудь чего-нибудь принести?

Обновить содержимое бокалов хочется всем, поэтому мы отправляемся к бару вдвоем с Гарри. Бар — на самом деле не бар, а простой чулан, где какой-то паренек смешивает для всех коктейли и краем глаза наблюдает, как переполняется коробка с чаевыми. Мы встаем в очередь. Перед нами четверо ребят постарше. Слева у стойки стоит, пошатываясь, отец Альминде на пару с Джонни Бойлем и тычет ему пальцем в грудь.

— Какие-то подлые ублюдки только что мячом разбили мне стекло в церкви, — говорит он.

— Во, бля, пидоры, — говорит Бойль. — Прошу прощения за "пидоров", святой отец.

— Нет, бля, пидоры они и в Африке пидоры. Поймаю сучат — всем яйца на хер поотрываю.

— Так и надо с ними. Всем яйца поотрывать, — говорит Бойль и в эту минуту замечает нас с Гарри. — Тут дело такое, святой отец, никогда нельзя сказать наверняка: вполне возможно, что злоумышленники преспокойно разгуливают сейчас здесь, в этом самом зале.

— Да уж, вот была бы удача, — говорит святой отец и оглядывается по сторонам. — Нет, кругом ни одного подозреваемого. Вон только разве что Карран с Тухи, так ведь они у нас пай-мальчики.

Оба смеются. Святой отец через рясу чешет себе яйца.

У стойки справа Фрэнсис Младший общается с Берни Куни. Оба в соплю.

— Послушай, Фрэн, мне правда жаль, что я поспешил с выводами, — говорит мистер Куни. — Но сам посуди. Сижу я в церкви. Твоя мечет искры на мою. Моя смотрит то на нее, то на тебя. Сын вас со Стивеном терпеть не может. И тут вдруг мне показалось, что у меня за спиной между вами творится эта фигня, а вы все мне просто голову морочите. Я ведь не выношу свою жену. Я эту суку на дух не переваривaю. Хочет крутить с кем-то — пожалуйста, мне-то что? С другой стороны, не могу же я позволить, чтобы кто-нибудь вот так просто, от нечего делать, заходил ко мне в дом и трахал мою жену, понимаешь, о чем я? В общем, я хотел показать, что не на того ты напал.

— Да всё, забыли уже, — бросает ему Фрэнсис Младший, ерзая на стуле и глядя прямо перед собой.

— Так ты не знаешь, чего там наши с тобой парни не поделили? — спрашивает мистер Куни.

— Понятия не имею, — отвечает Фрэнсис Младший. — Мой со мной вообще не разговаривает.

— Понимаю тебя. Сам терпеть не могу подростков. Если кого с катушек срывает — тут только один разговор может быть: по морде — и дело с концом.

— Как-как ты сказал? — переспрашивает Фрэнсис Младший.

— Я говорю, надо ему врезать хорошенько — и все, — говорит мистер Куни. — Вот, например, как я своему сегодня. Сейчас небось сидит дома и ревет в три ручья, зато впредь будет знать.

— Слушай, мне пора к своим за стол, — говорит ему Фрэнсис Младший, порядком подустав от этого разговора, а может, и от себя самого, ведь у них с Берни столько всего общего.

— Да, конечно. В самом деле, чего это я тебя задерживаю. Еще раз извини.

Куни протягивает ему руку, Фрэнсис Младший секунду медлит, потом все-таки отвечает на пожатие, но при этом только скользит по его лицу коротким, беглым взглядом. Затем он разворачивается и, не замечая меня, отходит от бара. Куни наблюдает, как Фрэнсис Младший по пути чуть не сталкивается с миссис Куни — оба не обмениваются ни сло-

вом, — опускает глаза в стакан, встряхивает кубики льда на дне и заказывает себе еще выпить. *Генри. Генри. Йоу.*

— Что? — спрашиваю я.

— Смотри, — говорит Гарри и показывает мне на Бобби Джеймса и Марджи, которые стоят и целуются, прижавшись к стене, на глазах у целого стола обалдевших взрослых. К Джеймси подходит его лилипутских размеров бабушка, отвешивает подзатыльник ему и Марджи и принимается, размахивая пальцем в воздухе, кричать на них. Бобби Джеймс незамедлительно лезет к себе в карман за дымным шариком, *пуф* — шарик взрывается под ногами у бабушки. Бобби Джеймс хватает Марджи за руку и бегом тащит ее мимо закашлявшейся от дыма бабули Джеймс. Прорываясь к бару, он взрывает еще три дымных шарика, что позволяет ему успешно увернуться от пьяного одноногого дядюшки, мимоходом ущипнуть за щеку желтозубую двоюродную бабушку и стоящего рядом с ней уголовного вида троюродного брата (последний занят тем, что делает какие-то пометки в букмекерской книге на странице с таблицей забегов пони). Наконец они с Марджи протискиваются к нам.

— Как вы считаете, святой отец, мог он разбить окно? — спрашивает Бойль, указывая на Бобби Джеймса.

— Кто, Бобби Джеймс? — переспрашивает святой отец. — Кстати, не исключено, он еще тот говнюшонок. Давай, что ли, притащим его сюда и будем по очереди пинать по заднице. От чьего пинка он первым заплачет — тот и выиграл.

Бобби Джеймс только было полез в карман за новым шариком, как вдруг видит смеющихся над ним Бойля и святого отца.

— Патроны почти кончились, — говорит он. — Генри, возьми мне бутылку "Будвайзера".

К бару подходит миссис Джеймс.

— Бобби, вот ты где, — говорит она. — Пойдем, нужно еще сфотографироваться. И ты, Марджи, тоже пойдем, если хочешь. Только безо всяких поцелуев. *Пожалуйста*, больше никаких поцелуев.

Пуф! Пшш! Еще одно отступление под прикрытием дымовой завесы. Миссис Джеймс вопрошает, ни к кому конкретно не обращаясь, какого черта они опять куда-то делись. Пока я заказываю нам напитки, Гарри пихает пятерку в коробку для чаевых.

— Грейс сегодня выглядит просто здорово, Генри, — говорит он.

— Ты тоже так думаешь? — отвечаю я.

— Я бы и сам не прочь на такой жениться.

— Ты давай полегче на поворотах, приятель, — в шутку предостерегаю его я. — Спасибо. Как же мне все-таки с ней повезло.

— Ты в порядке? — спрашивает он.

— Что ты имеешь в виду? Почему сегодня все меня об этом спрашивают?

— Да просто вид у тебя какой-то потерянный.

— Все нормально, — говорю ему я. — Что у нас там насчет группы и катафалка?

— Всё зашибись. Все готовы.

— Чудненько.

Уже в тысячный раз за сегодняшний вечер я шарю по карманам, проверяя две очень важных вещи: 1) кольцо и 2) электрический вибро-

массажер Сесилии в форме банана. Всё на месте. Массажер нужен на тот случай, если мне вдруг не хватит духу петь в настоящий микрофон. Такое иногда случается. Тогда придется петь в него под фанеру, как в микрофон, а диджей просто поставит пластинку с песней. Почти как дома. Смысл в том, чтобы не выглядеть идиотом перед публикой, даже если я буду фальшивить.

— Гарри, большое спасибо тебе за все, — говорю я ему. — За деньги в особенности.

— Даже не думай, — говорит он. — Ты же мне друг.

— Нет, бля, это ты мне друг, — отвечаю я, ткнув пальцем ему в грудь.

— Да, наверное, так и есть, — говорит он. Пока мы с Гарри смеемся и обнимаемся, возле нас откуда ни возьмись вырастает Бобби Джеймс, обзывает нас юбками и снова куда-то исчезает. — Только, Генри, ты уж постарайся всех впечатлить. Всю свою душу вложи.

— Так и сделаю, ты же знаешь.

Все родители, не считая О'Дрейнов, которые ерзают и беспокойно озираются по сторонам, и Фрэнни, который не женат, весело балабонят на тему любви и обеда. Миссис Карран — у нее скучный второй номер — рассказывает, как мистер Карран (сейчас он уже давно ходит с нашлепкой на кумполе) нарезал по меньшей мере кругов двадцать вокруг их дома, спасаясь от ее разъяренного отца в тот день, когда сделал ей предложение. Ширли Макклейн задается риторическими вопросами: *Сколько лет Джинни и Эйсу – двадцать один, двадцать два? Разве не странно, до чего долго тянут с женитьбой нынешние дети?* Я громко хохочу, чем ненадолго привлекаю к себе всеобщее внимание. А Сесилия говорит: *Мы все выскочили в девятнадцать попросту потому, что* ***залетели*** *в девятнадцать.* По ее мнению, виноваты во всем монашки, которые неусыпно дежурили в аптеках у прилавков с контрацептивами. Фрэнсис Младший замечает на это, что *Дело тут не в монашках, девчонки сами к мужикам в штаны лезли.* Все за столом смеются, Сесилия наклоняется к Грейс, чтобы прикурить у нее от сигареты. Приятно видеть, когда родители сидят вот так, в нарядной одежде, весело общаются, травят байки и смеются.

Во главе стола отец Альминде с трудом продирается через молитву и обещает оторвать яйца тем, кто разбил окно в церкви. Свидетель невнятно мусолит длинный тост и завершает его громким выкриком *Иглз.* Мод Джеймс вырывает у него микрофон и говорит, обращаясь к Джинни, что она ее очень любит, а все мужики козлы, кроме ее отца и новоиспеченного зятя. Эйс и Джинни целуются каждый раз, как кто-нибудь за столом постучит по стенке стакана. Марджи Мерфи сидит на коленях у Бобби Джеймса: они кормят друг дружку с вилки.

Джинни и Эйс танцуют вдвоем под "Sunshine on My Shoulder". Они крепко прижались друг к другу и плавно кружатся в танце, не обращая внимания на толпу народу, который смотрит на них со всех сторон, улыбается, тычет пальцами, подбегает к ним с фотоаппаратами и каждые две секунды ослепляет вспышками. Постепенно к ним присоединяется вся свита. Бобби Джеймс сосется с Марджи Мерфи. Миссис Джеймс сначала дважды велит им прекратить, затем попросту оттаскивает Бобби Джеймса за руку.

Теперь Эйс танцует со своей мамашей под "We've Only Just Begun". Мамаша носит подплечники, у нее сиськи нулевого размера, вставная челюсть и лицо настолько вытянутое, что кажется, будто кончик подбородка отстоит от некачественной химзавивки не меньше чем на фут. В какой-то момент она случайно зацепляется вставной челюстью за лацкан его пиджака, с невозмутимым видом запихивает ее обратно в рот и продолжает танцевать, будто ничего не случилось. Вот это, бля, я понимаю, профи.

Мистер Джеймс танцует с Джинни под старую кантри-песенку (название вылетело у меня из головы). С люстр на пол плавно падает искрящийся дождь и блестящим ковром остается лежать у ног танцующих. Музыка замолкает: из колонок доносится один лишь звук бьющегося сердца. Джинни с отцом продолжают танцевать в этом ритме. Мистер О'Дрейн плачет за столом. Миссис О'Дрейн делает вид, что ничего не происходит, достает из сумочки пудреницу с зеркальцем и принимается исследовать свое лицо на предмет наличия на нем толстенного слоя румян, которыми она всегда штукатурится, чтобы скрыть шрамы. Грейс курит и пытается нацепить соответствующую сурово-невозмутимую мину. Из раненых сердец наружу торчат почти видимые стрелы. Сесилия жжет взглядом дырку на лице у Фрэнсиса Младшего, но тот все равно ее игнорирует. Он блуждает глазами по залу, раз его взгляд ненадолго задерживается на Донне Куни, сидящей за другим столом, а затем на Стивене, который тут же поворачивается к нему спиной и исчезает на кухне. На секунду меня разом охреначивает тоской по башке и по сердцу от всего, что я вижу. Люди застревают в дрянном, Богом забытом месте, постепенно перестают бороться и в конечном счете смиряются с тем, чего уже не в силах изменить. Они хоронят весь свет своей любви под грудой упущенных шансов, потерянного времени и тупого упрямства и не замечают, как понемногу утекает сквозь пальцы вся их жизнь. Но так дальше продолжаться не будет. Не будет так ни со мной, ни с теми, кого я люблю. Все это дерьмо прекратится сегодня раз и навсегда. Сегодня я хочу показать, хочу показать им всем: нужно говорить людям, которых любишь, что ты их любишь здесь и сейчас. И нельзя, бля, медлить ни секунды. И если они не поймут этого сегодня, то я обрушу тысячи геморроев на их рыхлые задницы. Вот он я, уже замер в нижней боевой стойке, готовый использовать всю мощь Косого Рубящего Удара Тухи против невежд и упрямцев.

Сели, встали. Танцевать несложно — главное, чтобы песня была хорошая. Поэтому под плохие мы не танцуем — все очень просто. Ради более эффективной борьбы с плохими песнями мы перетащили стулья поближе к танцполу, чтобы было где посидеть и остыть, пока играют что-нибудь стрёмное, а потом быстро вскочить и снова начать отрываться под настоящую музыку. В данный момент диджей гоняет "Hokey Pokey". Плохая песня, *очень плохая*. Так что можно спокойно сидеть и смотреть, как взрослые трясут жирными задницами: жирная задница вперед — жирная задница назад — жирная задница вперед — поворот — и все сначала. Следом ставят "Thriller" Майкла Джексона, и мы вскакиваем танцевать. "The Bristol Stomp" Довеллз снова усаживает нас на место. Потом "This Old Heart of Mine" братьев Айзли — мы опять вскакиваем.

"Rock This Town" Стрэй Кэтс — со стоном сели. "YMCA" Виллидж Пипл — встали. "Macho Man", те же самые Виллидж Пипл — сели. "Tears of a Clown" Смоуки Робинсона вместе с Миракл — встали.

Арчи с Сес танцуют брэйкданс. Они держатся за руки на отлете друг от друга, изображая волны. Затем она раскручивает его в кресле, а он тем временем делает механические движения руками и шеей, изображая робота. Гарри Карран демонстрирует нечто среднее между танцем и аэробикой: два касания ступней вытянутыми пальцами рук, одно круговое вращение тазобедренным поясом или просто жопой, два каратистских удара ногой, два вращения жопой, теперь два раза "марионетка" и три заключительных жоповращения; и дальше все по новой в том же порядке, причем все это не снимая болтающихся под брюками грузиков на лодыжках. В своих запотевших от духоты очках Гарри Карран — вылитый Джеймс Браун, только белый, очкастый, стригущий газоны и ссуживающий деньги, или, еще лучше, Ричард Симмонс без завивки — это уж, бля, как вам больше нравится. Бобби Джеймс с Марджи Мерфи танцуют танец под названием "Поцелуй меня взасос". Никогда не слышали о таком? Про них лучше вообще забыть; не удивлюсь, если она уже беременна. Мы с Грейс танцуем хоть и рядом, но не вместе, оставляя друг другу достаточно места, чтобы повыделываться. Грейс, которая ходит на балетные танцы в "Танцуй или умри", дала полную волю своему звериному инстинкту балерины, и теперь ее не может остановить даже диско. Она крутится юлой, снося окружающих, и ясно дает всем понять, что она здесь единственный грациозный лебедь, и если кто будет мешать ее танцу, того она сразу покалечит, так что все быстро от винта.

Что касается меня, то я волен творить на танцполе все, что душе угодно. Никакой официальной школы танца я не посещал. Учился танцевать на улицах. Мой стиль — комбинация из "Вестсайдской истории", "Лихорадки субботним вечером", "лунной походки" Майкла Джексона и Филли Фанатик. Также я заимствую некоторые движения из идущих по государственным каналам шоу этнических танцев. Двигать задницей — это все равно что удить рыбу на муху: заброс — подсечка — заброс — подсечка. Пам, пам, пам. Вот так, смотрите, девчонки. Парни, разойдись. Крути ею во все стороны, как последний кобель. Можно, как русские, пуститься вприсядку, или отчебучивать эфиопские буги-вуги, или топтаться, как Флинстоуны[1]. Бля, да все что угодно, лишь бы пёрло.

Взрослые в этом ничегошеньки не смыслят. У них плохо с координацией и их больше волнует, как бы не расплескать бухло из стакана. Они танцуют с кем угодно, только не со своими женами или мужьями. Две девчонки лет по двадцать зажали между собой мистера Каррана: он неумело дергается в танце с дурацкой ухмылкой на лице. Миссис Карран зажата между двух парней примерно того же возраста и тупо тычется своими сиськами (номер два, не больше) им в лицо. Фрэнсис Младший достаточно сообразителен, чтобы держаться подальше от Донны Куни, но в то же время достаточно глуп, чтобы зажигать с миссис Лири с ее маленькими отвисшими сиськами — ужас, бля, в двойном размере. Она то и дело задирает юбку и с улыбкой все норовит к нему прижать-

1. Персонажи одноименного американского мультфильма про древних людей.

ся. Сесилия очень откровенно отплясывает с Джонни О'Доннелом, который ровесник Стивену. Господи. Как танцуют взрослые на свадьбах — просто смотреть противно. Все пьяные, неуклюжие и вешаются на тех, на кого вешаться не стоит. В движениях не видно ни радости, ни любви. Они только потеют, плещут бухлом из стаканов и рюмок и неестественно улыбаются. То и дело нужно поглядывать на вторую половину, которая хрен знает с кем хрен знает чем занимается. Это настоящее соревнование. В стороне от всей этой фигни остаются лишь Фрэнни да Ширли Макклейн, которые сидят себе спокойно за столом, улыбаются и качают головой при виде того, что творит перед ними куча уродов на танцполе. Мы, дети, конечно, не в счет, потому что у нас-то все как надо. Нам по фигу взрослые с их детсадовскими играми. Мы отрываемся ради удовольствия и делаем это рядом с теми, кого по-настоящему любим. Мы, бля, отрываемся так, как хотим, и не чувствуем себя от этого глупо. Мы хохочем и показываем друг на друга пальцами. Все, что нам нужно, — это веселая компания и чтобы диджей почаще ставил "Glad All Over" группы Дэйв Кларк Файв. Со мной рядом мои лучшие друзья, и мы смеемся и орем во всю глотку *Я счастлив с ног до головы*, и жизнь прекрасна.

Спасения нет, мой член сейчас взорвется. Мы с Грейс танцуем медляк под "Always and Forever", ее руки лежат у меня на заднице (бля, богом клянусь). Мы тремся друг об дружку, и пот катится с меня так, будто я приподнимаю за бампер машину, чтобы спасти из-под нее котенка. Этот член меня просто убивает. Такое ощущение, что у меня в трусах полено. Господи. Не дай бог сейчас опять бухнусь в обморок. Впору покупать себе шлем и трусы из пробки. Чтобы отвлечься от мыслей о члене, я бегло оглядываю весь танцпол.

В паре футов от меня танцуют Сес с Арчи: Арчи медленно крутится на кресле, а Сес сидит у него на коленях и что-то ему поет. Бобби Джеймс и Марджи Мерфи сосутся, как две обезьяны, и при этом даже не делают вид, что танцуют. Фрэнни учтиво танцует с миссис Макклейн. Локти официально подняты до уровня плеч, тела не соприкасаются. Точно так же танцует и Гарри Карран со своей мамой, в то время как мистер Карран уже в доску пьяный лежит головой на столе после трех "Шипучих пупков" подряд, что ровно на три "Шипучих пупка" превышает его обычную норму. Фрэнсис Младший, который тоже, судя по всему, выпил уже немало, стоит с бутылкой пива в руках и что-то быстро и сердито говорит. На лбу налипшие пряди волос. Он смотрит в дальний угол зала, где Стивен тянет пиво в компании парней постарше. Фрэнсис Младший бросает какую-то невнятную фразу Сесилии, и она, то ли со злостью, то ли с тревогой, а может, и со всем вместе, что-то ему отвечает. Еще пятнадцатью футами дальше сидят Куни за столом у самой танцплощадки. Берни Куни смотрит пьяным взглядом в пространство, Донна Куни строит Фрэнсису Младшему глазки каждый раз, как тот повернется к ней лицом. *Йоу, Хэнк Тухи, ты, бля, здесь, со мной вообще, или как?*

— А, что? — переспрашиваю я.

— У тебя такой вид, будто ты танцуешь не со мной, а с кем-то другим, — говорит Грейс.

— Да не, все в порядке, — говорю я.

— Это хорошо, потому что мне уже совсем начало казаться, что ты снова принялся *думать*, — говорит она мне.

— Даже если — и что такого? — спрашиваю я.

— А такого, — говорит она, — что постоянно думать вредно. От этого начинаешь зависать. Вот поэтому я и не мыслитель. Пусть лучше за меня думают такие лузеры, как ты.

— Как бы не так. От чего-то же тебе все-таки стало грустно, когда невеста танцевала с отцом, разве нет?

— Да, потому что мой папа погиб, — отрывисто, но не зло говорит она. — Вы очень наблюдательны, Эйнштейн.

— Мы с твоей мамой сегодня о нем говорили, — сообщаю ей я.

— Да ну? — спрашивает она с удивлением. — И что она тебе про него рассказала?

— Что он был храбрым и любил пошутить. И что он был не отец, а чистое золото.

— Это правда, — говорит она серьезно и грустно, но тут же снова улыбается. — Таким он на самом деле и был. Когда мне было плохо, он всегда находил способ меня развеселить. Ты тоже так умеешь. Я это вижу. И благодаря тебе любовь кажется более настоящей, чем она есть на самом деле.

— Подожди, ты о чем? — перебиваю я ее. — Любовь, она ведь и *есть* настоящая. Какие тут могут быть сомнения?

— Ладно, — говорит Грейс, — настоящая так настоящая, но она всегда быстро проходит, и даже если нет, то все равно очень сильно ранит. Твои родители несчастливы вместе. Моя мама несчастна, потому что нет папы. И, готова поспорить, что если бы умер твой папа, а мой был бы жив, то твоя мама грустила бы точно так же, как сейчас грустит моя, а мои бы, бля, устраивали в доме точно такие же драки — сечешь, о чем я? А посмотри на О'Дрейнов. У них вообще в семье полный пиздец. А как насчет Стивена с твоим отцом? Как это все понимать? Планета ненормальных. И любовь на ней такая же ненормальная. Нет ничего постоянного, особенно если дело касается любви.

— Ты не имеешь права так говорить. — Мне почти больно.

— Ни хрена. Можешь доказать обратное?

— Могу и докажу.

— Слушай, давай-ка поменьше слов, — говорит Грейс. — Лучше прижми меня к себе покрепче.

И мы еще крепче сжимаем объятья. Теперь я губами почти касаюсь ее уха. Я начинаю всерьез опасаться, может, у меня, бля, и в самом деле лихорадка. Музыка звучит где-то очень далеко, как эхо под водой. Мимо мелькают неясные силуэты. Вот черт. Мой член перестал болеть. Теперь ему стало хорошо. Боже, как хорошо. Я спускаю руку Грейс на задницу. Посрать, если кто увидит. Шишки будем получать завтра. Мне хочется поцеловать ее прямо здесь. Что-то растет внутри меня. Чувствую, как оно поднимается от ступней вверх по ногам, вот уже пошло от коленей по бедрам, бедра начинают трястись. Вау. Дрожь поднимается все выше, выше. Грейс мягко и влажно целует меня в ухо. На помощь, дрожь проникает ко мне в трусы. Что за херня? О черт, теперь понял. Одним движением я вырываюсь из объятий Грейс и, сшибая стулья на ходу, сло-

мя голову несусь в туалет. Залетаю в кабинку и мигом спускаю штаны. ПРИВЕТ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, О, МАМОЧКИ, ТОРЖЕСТВЕННО КЛЯНУСЬ В ВЕРНОСТИ ФЛАГУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА, ГОРНИЕ ВЕРШИНЫ ВТОРЯТ ЗВУКАМ ГИМНА. Черт возьми. Настоящий мужской фейерверк. Вау, от это было да. Я чувствую себя на миллион долларов. Я, бля, петь готов, вот только сначала помоюсь. Так и знал, что белый костюм выручит.

Пятнадцать минут до моего выхода — а я спокоен как слон. С тем же успехом, что и петь для Грейс, я бы мог сейчас продавать цветы в аэропорту в дьюти-фри. Я стою в туалете перед зеркалом один и сияю, как начищенный медный таз. Еще бы, после такого счастливого происшествия. Я ухитрился не запачкать свой белый костюм, если не считать одного небольшого пятна, но его совсем не заметно. Заходит пьяный Фрэнни, говорит мне *Йоу* и проходит в кабинку, чтобы облегчиться. Сразу за ним заходит Стивен.

— Как дела, Генри? — спрашивает он аналогично пьяным голосом.

— Отлично, — говорю я, причесываясь перед зеркалом. — А у тебя?

— Тоже ничего.

— Йоу, Стивен, — доносится голос Фрэнни из кабинки.

— Фрэнни, ты, что ли?

— Да.

— Что — гадишь или просто решил поменять прокладку?

Фрэнни смеется.

— И то и другое, я же профессионал. Слушай, не принесешь мне еще выпить?

— Ничем не могу помочь, — отвечает ему Стивен. — Я больше не работаю на Жирного Мэтта.

— Что? — переспрашивает Фрэнни.

— Меня уволили, — поясняет Стивен.

— Почему?

— За пьянство. А все из-за этой *гребаной свадьбы*, — сетует Стивен.

— О господи, — говорит Фрэнни. — Папа ведь еще ничего не знает, так?

— Да, я прямо так сразу к нему подошел и выложил все как есть. Конечно, нет.

— А вдруг Мэтт сам ему скажет? — спрашивает Фрэнни.

— Не скажет, — говорит Стивен. — Он уволил меня по тихой и велел оставаться на свадьбе.

— Давно дело было? — спрашивает Фрэнни, выходя из кабинки весь красный и направляясь к раковине.

— Пару минут назад, — говорит Стивен. — После того, как я помог разгрузиться какой-то там группе.

— Они уже здесь? — спрашиваю я и с этими словами распахиваю дверь и выглядываю из кабинки.

— Генри, они что, как-то связаны с тобой, что ли? — спрашивает у меня Стивен.

— Охренительно прямо, — с улыбкой отвечаю я и поправляю ему галстук на шее.

— Каким образом?

— Они будут мне играть, а я — петь "Далеко за синим морем". А потом я подарю Грейс вот это кольцо и сделаю ей предложение.

И я протягиваю Стивену раскрытую коробочку с кольцом. Он смотрит на него, разинув рот и широко раскрыв глаза. Дыхание у меня перехватывает, и я замираю в напряжении. Подбородок у Стивена начинает трястись, он силится что-то сказать, но не находит слов, и по его щеке скатывается слеза. Он похож сейчас на рыбу, которая ест рыбий корм в аквариуме. Он переводит взгляд на Фрэнни, который, я уверен, понимает все, что я делаю и зачем это делаю. Еще мгновение — и у меня, бля, случится сердечный приступ, но тут Стивен улыбается и одновременно начинает плакать еще сильнее. Он пытается сесть на корзину с мусором, но в итоге чуть не падает, когда она из-под него вылетает. И Фрэнни тоже плачет. Не плачу только я один, потому что, во-первых, я не девчонка, а во-вторых, я всю эту байду не для того затеял, чтобы всем стало еще хуже, чем было.

— Ребята, я что, правда так сильно вас расстроил? — встревоженно спрашиваю я у братьев.

В ответ Стивен крепко обнимает меня дрожащими руками. За ним следом Фрэнни делает то же самое. Теперь, когда меня обнимают оба моих старших брата, я понимаю, почему они плачут. Наконец мы расцепляем объятья. Стивен с Фрэнни утирают глаза, им удается взять себя в руки.

— Генри, но ты ведь и петь-то толком не умеешь, — говорит мне Стивен.

— Еще как умею, — уверяю его я.

— Нет, совсем не умеешь, — говорит он.

— На крайний случай у меня есть запасной план, — говорю я.

— Запасной план? И какой же?

— Буду петь под фанеру в мамин вибромассажер, — поясняю я. — Тут есть еще один плюс: поскольку он без шнура, значит не будет связывать движения во время танца.

— Танца? — переспрашивает Стивен. — Подожди, мамин *кто?*

— Вибромассажер, — повторяю я и вынимаю его из кармана.

У Стивена с Фрэнни глаза лезут на лоб. Стивен говорит: *Ну-ка быстро отдал сюда, ты, блядь, дебил*, а Фрэнни говорит просто: *О господи.* Они вдвоем одновременно выхватывают вибромассажер у меня из рук. Тот начинает жужжать, а они все тянут его каждый в свою сторону и никак не выпустят. Тут в туалет заходит святой отец Альминде, на секунду замирает, в изумлении глядя на моих братьев и их жужжащего дружка, затем медленно пятится назад к выходу. Стивен вырывает у Фрэнни массажер и со смехом швыряет в мусорную корзину.

— Уж лучше так, чем если меня застукают, когда я буду класть его на место, — говорит он. — Мне нужно еще выпить. Похоже, Генри, придется тебе петь вживую. А теперь иди и завоюй ее сердце, приятель.

И он снова обнимает меня, затем выходит из туалета, оставляя нас с Фрэнни вдвоем. Пять секунд спустя в дверь заваливается пьяный в говно Фрэнсис Младший, бормочет *Йоу*, видимо, обращаясь к нам, и топает к писсуару.

— Генри, ты сегодня много общался со Стивеном? — спрашивает он.

— Нет, — отвечаю я.

— А ты не заметил — он что-нибудь пил?

— Нет.

— Готов поклясться, что минуту назад видел, как он пьет. Очень важно, чтобы ты сейчас сказал мне правду.

Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться, и ничего больше не говорю.

Фрэнсис Младший краснеет, застегивается и подходит к раковине. Он смотрит на меня в зеркало и начинает нести что-то вроде: *Понимаешь, мне нужно знать, не собирается ли Стивен выкинуть что-то такое, что может его опозорить и опозорить всю нашу семью. Мы с тобой должны быть друг с другом откровенны. Это все на благо семьи. Вообще-то я не такой уж и плохой. Что, один раз сделаешь чего-нибудь из эгоизма – и уже плохой, так, что ли, получается? Да чушь это все. Любой мужик на моем месте поступил бы так же. Ей нужен эгоист – хорошо, получит эгоиста. Все хотят, чтобы я отстал от Стивена, – да пожалуйста. Тогда пошел он на хер. Я умываю руки. Бла, бла, бла, блядь, бла, бла, бла.*

Пока он себе треплется и плюется в раковину, я придаю последние штрихи своей прическе и улыбаюсь зеркалу широкой и открытой улыбкой, точно так, как буду сейчас улыбаться со сцены Грейс, Тухи, вообще всем, кто там сидит. Во мне нет ничего, кроме любви. Поток всей этой хрени, которую он несет, иссякает минут через пять, ну максимум десять. Я улыбаюсь папе еще шире прежнего.

— Фрэнсис Тухи Младший, — говорю я, — всего через пару минут ты почувствуешь себя намного лучше.

— Что? — спрашивает он в недоумении. — Какого хрена ты так лыбишься?

Я обнимаю его. Будучи в полной растерянности, он не препятствует мне, но тут же быстро отстраняется и спрашивает, не пьян ли я случайно. Когда в ответ я покатываюсь со смеху, он случайно задевает ногой и опрокидывает мусорную корзину. Со дна доносится жужжание вибромассажера. Фрэнсис Младший как собака замирает на месте, прислушиваясь и наклонив голову, потом забивает и выходит, что-то бормоча себе под нос. Дверь за ним закрывается — и вот я снова один. Я бросаю на себя последний взгляд в зеркало и остаюсь очень доволен увиденным. Глубоко вдохнув, поправляю лацканы пиджака и громко произношу слово *любовь*. Предоставляя вибромассажеру и дальше лежать и вибрировать на дне корзины, я выхожу из туалета, задерживаюсь у нашего стола, чтобы сказать Сесилии (к ее вящему смущению и удивлению), что я люблю ее и горжусь тем, что я ее сын, а затем с огнем в груди направляюсь прямиком на сцену.

16

Гарри знакомит меня с ребятами из группы.

— Генри, вот, познакомься: на трубе у нас Мертвец Фрэдди, — говорит Гарри, — в свое время он играл в одном ансамбле с бывшим отчимом двоюродного брата Майлза Дэвиса.

— Иоу, Генри, — приветствует меня Мертвец Фрэдди. — Обломись, Гар, ошибочка. Это был бывший отчим двоюродного брата Пистона Ла-Функе.

— А вот Скелет Малхолик, он у нас сегодня на кларнете. У него ангина, но он все равно пришел.

— Как дела, бля? — здоровается Скелет. — Генри, етить твою налево, не слушай его, у меня геморрой, Гар, а никакая не ангина. А у вас часом подушечки под сиденье подложить не найдется?

— А это Пит Плисотрус, — продолжает знакомить меня Гарри. — Чувак так же хорошо гладит себе портки, как и играет на контрабасе.

— Видал, как сидят на мне, Генри? — хвастается Пит. — Такими складками можно мясо разделывать.

Гарри знакомит меня с последним чуваком — Пятерней Фингерти, — после чего я поворачиваюсь спиной к толпе и дергаю плечами и ногами, стараясь их как можно больше расслабить. Незачем даже оглядываться — и так можно понять по гулу из-за спины, что народ пришел в волнение. Оно и понятно: диджей остановил пластинку, зажегся свет, на сцене настраивает инструменты маленький джазовый оркестр, здесь же, спиной к зрителям, разминается Тухи-младший, здесь же с видом заправского продюсера бегает туда-сюда Карран-младший и хлопает в ладоши, отдавая какие-то распоряжения. Определенно что-то намечается. Кроме шуток.

Гарри тащит к сцене алюминиевый стул для Грейс и ставит его в двух футах от диджейского пульта. Оркестр расположился справа у стены. Музыканты пробуют инструменты. Я, разминая шею, трусцой бегу на свое место на сцене. Гул в зале усиливается. Диджей тем временем включает микрофон — *щелк* — и протягивает его стоящему рядом с ним Гарри. Тот проверяет его, стуча по нему пальцем. *Тук-тук-тук. Раз, раз, раз, раз, два.* Я мысленно говорю себе: *Сосредоточься, просто не отпускай из сердца любовь – и Грейс будет твоей. Ты миллион раз репетировал все движения, ничего, бля, страшного нет. Зато твои родители перестанут драться и снова полюбят друг друга, как раньше. Присесть, два, три, четыре. Руки вперед. Колени согнул. Еще, два, три, четыре. Грейс любит, Стивен весел. По́пой назад. Большая ферма. Деревья с шинами на веревках, чтоб кататься. Любовь и радость, никаких драк. Пчелы, деревья. Пошли руки, два, три, четыре. И назад, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Зелень. Трава. Благодать.*

— Добрый вечер всем, — говорит Гарри, — как настроение? Как вы все прекрасно знаете, меня зовут Гарри Карран, и я стригу газоны по самой низкой цене. Помните, впереди осталась всего пара теплых недель. Так что торопитесь, и если вам необходима помощь специалиста по ландшафту, то, пожалуйста, стучитесь не задумываясь в дверь моего дома рядом со статуей Святого Давида. Спасибо. Итак, сегодня мы приготовили специально для вас особое представление, так что усаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь. Леди и джентльмены, для меня большая честь представить вам уже во второй раз за сегодняшний вечер единственного и неповторимого Генри Тухи.

Я срываюсь с места и подбегаю к своему другу Гарри Каррану. Улыбочка. Я беру микрофон у него из рук, и мы с Гарри крепко обнимаемся. Затем он кладет мне руку на плечо и желает в левое ухо удачи. Зал встречает нас бурными и веселыми аплодисментами. Я ищу глазами Грейс и,

наконец, вижу в толпе лиц ее улыбку; как раз в этот момент свет в зале начинает гаснуть, и мое сердце распускается, как цветок, под косым лучом прожектора.

— Как дела, ребята? — спрашиваю я. — Лично у меня — отлично. Есть кто-нибудь в зале, у кого нет?

Бурные возгласы и аплодисменты. Мои глаза успевают привыкнуть к свету. Я бегло смотрю на наш стол. Грейс смеется. Сесилия с Сес тоже смеются. Фрэнни смеется. Бобби Джеймс и Марджи Мерфи стоят и сосутся сзади. Стивен хлопает в ладоши. Фрэнсис Младший затаскивает Донну Куни в гардероб и захлопывает дверь. Бля, начну, пожалуй, с парочки шуток, посмотрим, может, это заставит его вернуться в зал.

— Есть тут кто-нибудь, кто читает Библию? — спрашиваю я у публики. — Очень интересная книжка, хочу вам сказать. Одни Откровения чего стоят, а? Единственное откровение, которое я оттуда для себя вынес, так это то, что Иоанн Богослов частенько баловался травкой. Семиглавые чудовища, эпидемии, Страшный суд? Мой суд, Иоанн, вот какой: завязывай с травкой и переходи на пиво. У семиглавого чудовища сразу станет на шесть голов меньше. Ну ладно, положим, на пять.

Смех. Аплодисменты.

— И еще, — продолжаю я, — к вопросу о Жирном Мэтте. — Смех в зале. — Кто-нибудь еще слышал о том, что никакой он на самом деле не итальянец? Я тут на днях попросил его сделать бутерброд по-итальянски, так он мне сказал...

Тут на сцену выбегает сам Жирный Мэтт и выхватывает у меня микрофон.

— Не заставляй меня вырубать микрофон из сети, братишка. Лучше пой свою песню — и дело с концом, — говорит он и возвращает мне микрофон, и взмахом руки приветствует аплодирующую толпу зрителей.

— Мэтт прав, — говорю я. — Сегодня я стою здесь перед вами, чтобы спеть песню для девушки, которую я люблю. И по такому случаю прошу эту девушку подняться сюда ко мне на сцену.

Сес бежит из зала на сцену и прыгает ко мне на руки. Микрофон стукается об мою голову — несильно, но через усилители звук получается громкий. Она вспрыгивает ко мне на спину и принимается махать обеими руками в зал. Я спускаю ее с себя на стул.

— Конечно, я люблю тебя, Сес Тухи, — говорю ей я. — Но я имел в виду кое-кого другого. Другую девушку. Не догадываешься, о ком я?

— О маме? — спрашивает она в микрофон.

— Нет, не о маме.

— Тогда Фрэнни?

— Нет, и не Фрэнни тоже. Кто у нас тут выступает с шутками — ты или я? Ну, коль уж ты не можешь сама догадаться, тогда, так уж и быть, скажу. Грейс Макклейн, могу я попросить тебя выйти на сцену?

Грейс поднимается из-за стола. Она краснеет и вся в смущении дымит сигаретой.

— Ну же, Грейс, иди, — зову ее я. — Иди сюда, ко мне.

Публика хлопает ей. *Давай, Грейс* — слышится отовсюду. Аплодисменты нарастают. Когда они становятся совсем уж оглушительными, Грейс наконец улыбается и идет по направлению ко мне, к моей идеальной прическе, к моему белому костюму, к моим раскрытым объятьям и

распахнутому сердцу. Она протягивает мне руку, чтобы я ей помог. Но сначала я эту руку целую.

— Что ты задумал, Хэнк Тухи? — спрашивает она.

— Садись сюда и все увидишь, — отвечаю ей я.

Грейс садится, берет Сес к себе на колени и крепко ее обнимает. Обе они, девчонки, которых я люблю больше всего на свете, хихикают как ненормальные.

— Грейс Макклейн, — говорю я. — Я хочу, чтобы все здесь присутствующие сегодня узнали о том, как сильно я тебя люблю.

Лицо Грейс буквально горит под белым светом люстр от залившей его краски. Я никогда еще не видел таких больших зеленых глаз, но сейчас они, кажется, полны болью. На секунду я почти забываю обо всем, но снова встряхиваюсь, и настроение возвращается.

— О'кей, ребята. Песня Бобби Дэрина "Далеко за синим морем", — объявляю я. — Поехали, два, три, четыре.

Пошла музыка. Я хватаю Грейс за руку и запеваю первый куплет, текст вспоминаю по последнему слову в каждой строке: *воде, мне, стою, плыву*. Бум. Отлично. Я попадаю в ритм лучше, чем сам Бобби Дэрин. Теперь можно отпустить руку Грейс, поворот, и я иду к краю сцены, где веселятся и хлопают зрители. Тут еще раз поворачиваюсь, подмигиваю и показываю пальцем на Грейс. Теперь плавно обратно к Грейс. Пошел второй куплет. Главное не перепутать, Тухи: *синева, глядя на меня*. Я прикладываю ладонь ко лбу ковшиком, как будто плыву на лодке по морю и высматриваю впереди землю. Дайте хоть дух перевести; тебе Хабиб с Сашей ставили этот танец — давай, валяй, попробуй только подведи их. Следующая строчка, бум, я прыгаю к Сес на колени — делать нечего, раз уж она сидит на коленях у Грейс. *Хлоп*! — пошли духовые. Ребята играют как надо — громко и с драйвом, — один в один, как "Далеко за синим морем" у Сесилии на пластинке. Я спрыгиваю с Сес и приставным шагом двигаюсь по направлению к зрителям. Берни Куни встает и идет к двери в гардероб. Я сплетаю пальцы в замок у себя за головой и под громкие раскаты трубы три раза выбрасываю таз взад-вперед, прямо перед сидящей Грейс. *On! On! On!* Они с Сес отклоняются назад к спинке стула, и при этом обе визжат и громко хохочут. Помимо них несколько девчонок в зале тоже чуть не валятся в обморок от восторга. Я делаю еще шаг и поворачиваюсь лицом к толпе зрителей, чтобы посмотреть, что там творится на противоположном конце зала. Берни Куни рвет на себя дверь в гардероб. Сначала он вытаскивает оттуда свою жену и дает ей пощечину. Она падает. Вслед за ней он вытаскивает Фрэнсиса Младшего и бьет ему в лицо кулаком. Тот падает. К ним бежит Стивен, только что стоявший в стороне, футах в десяти оттуда. Сесилия тоже все видит и бежит туда же. За ней и Фрэнни.

Крадущейся походкой я подхожу к Грейс и Сес, у меня в глазах слезы, но сейчас плакать нельзя. Мы с Грейс держимся за руки. Она улыбается мне, уже спокойно. Мне хочется просто так вот стоять с ней, держась за руки, и дальше, но впереди еще важная часть танца, где нужно делать много всяких выкрутасов ногами. *Бумс, бумс, бумс, бумс, бумс, бац*! Гремят ударные. Я начинаю прыгать, как в жопу долбанный Фрэд Астер, и таким манером пересекаю всю сцену, пока не добираюсь до ударника и духовых, где на полу стоит и ждет меня бутылка из-под скотча с нали-

тым в нее холодным чаем. Я тянусь за бутылкой, быстро ее открываю, запрокидываю голову и принимаюсь хлестать из горла. В зале смеются. Одним духом я приканчиваю бутылку, шатаясь, поворачиваюсь лицом к публике, рыгаю в микрофон (случайно) и падаю (специально). Толпа в зале ревет.

Начинают стучать барабаны — и вот я снова вскакиваю и скольжу по сцене в сторону сидящей на стуле Грейс. В ритм с оркестром попадаю просто идеально. Стивен бьет Берни Куни кулаком в лицо, и тот отлетает к стене. Сесилия тоже метит в него отчаянным хуком, но промахивается и попадает по Донне, которая все еще лежит на полу. Стивен проводит еще один удар и на этот раз отправляет противника на пол в полный нокаут. Поднимается Фрэнсис Младший и оттаскивает Сесилию от Донны Куни. Фрэнни умоляет всех прекратить, но даже не пытается удержать никого из дерущихся. Пот катится с меня градом. Грейс смотрит мне в глаза и улыбается. Сес тоже смотрит на меня, а не на придурков сзади, и скандирует *Генри, Генри.*

Последняя строка — и я закончил. Всё. Я целую Грейс руку и смотрю на нее так нежно и проникновенно, как никогда раньше. Она улыбается, словно королева. Я кручу последний поворот и замираю с широко расставленными ногами и поднятой вверх правой рукой. У Грейс и Сес на лицах сияющие улыбки. Зрители, которые пока из-за громкой музыки не слышат, что творится у них за спиной, буквально ревут от восторга. Фрэнсис Младший поднимает Сесилию и швыряет на пол, не потому, что хочет сделать ей больно, а чтобы в драку больше не лезла. Стивен хватает его за грудки. Фрэнни умоляет прекратить. Куни валяются на полу: Донна пришла в себя и плачет, Берни — на спине в отключке. Сес кричит мне, перекрывая ревущую в зале толпу: *Генри, ты был потрясный!* Я подхожу к Грейс, а сам в панике шарю по карманам в поисках коробочки с кольцом. Несколько человек замечают, что позади них Стивен и Фрэнсис Младший схватили друг друга за шиворот, и спешат их разнять. Кончики пальцев натыкаются на коробочку в кармане, я хватаю ее за обитые бархатом стенки. Кровь у меня в жилах леденеет от страха. Я опускаюсь на одно колено и подмигиваю Сес. Она подмигивает мне в ответ. Я делаю Грейс предложение, не убирая микрофон ото рта, чтобы вся толпа услышала и разделила с нами нашу любовь.

— Грейс Макклейн, я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты стала моей женой.

Я открываю коробочку и протягиваю ей кольцо. Грейс с минуту смотрит на него не отрываясь, потом начинает плакать.

— Нет, — рыдая, выдавливает она из себя.

Как раз в этот момент Сесилия сжимает кулак покрепче и целит во Фрэнсиса Младшего, но кто-то успевает его оттащить. Удар достается Стивену и сбивает его с ног. Он моментально вскакивает, глотая слезы и рукой держась за разбитый нос, и бросается к двери на улицу. Сесилия рвется за ним, но ее останавливают. Она кричит, плачет и сыплет вокруг себя ударами, но никак не может вырваться из захвата. У меня подгибаются колени. Половина присутствующих смотрит вперед на меня, другая половина — назад на мою семью. Кругом сплошные Тухи, и все выставляют себя полнейшими идиотами. Подбородок трясется. Не плакать, приказываю я себе, не будь бабой, столько людей на тебя смотрит.

— Нет? Но почему? — шепотом спрашиваю я у Грейс.

— Мы же дети, Генри, — говорит она. — Мы все еще дети.

Грейс с грустью глядит мне в глаза, и на секунду мне кажется, что я ее ненавижу. Я дышу так часто и тяжело, что плечи ходят ходуном. Меня тянет за руку Сес.

— Генри, а что там такое сзади стряслось?

— Не знаю. У тех уродов надо спросить, не у меня.

Я стою, уставившись на толпу, которая с интересом наблюдает за мной и за моей семьей. Сес все еще держит меня за руку, но я больше не желаю здесь находиться. Здесь уже никому ничем не поможешь. Я хочу быть рядом со Стивеном, он единственный, кто меня поймет. Я вырываю свою руку из руки Сес, иду к двери и выскакиваю наружу, где прохлада и на углу стоит и работает вхолостую катафалк. В кабине, навалившись на руль, храпит мистер Макфадден. Где-то в стороне Тэк-парка в воздухе раздается сильный, резкий хлопок. Я в ужасе подпрыгиваю на месте и бегом устремляюсь на звук через опустевшую к вечеру Ав.

17

Стивен истекает кровью. Блядь, похоже его подстрелили. Какие-то пацаны бегут прочь, к машине, которая визжит истертыми шинами по асфальту где-то поблизости, а я бросаюсь к Стивену, чтобы держать, держать его плечи и голову у себя на коленях. У него из живота на землю течет кровь. Нужно не дать ей вылиться, и я ловлю ее руками и запихиваю обратно ему в живот. О господи.

— Стивен, смотри на меня, — говорю я. — Смотри сюда. Это я, твой брат Генри. Кто-нибудь вызовите "скорую", — что есть силы кричу я. — Пожалуйста, кто-нибудь, вызовите гребаную "скорую помощь"!

О черт, я вскочил и сдвинул ему голову. Я чуть не уронил его на землю. Какой я дурак. Нужно собраться. Господи, у него глаза закрываются. Блядь.

— Стивен, не закрывай глаза. Слышишь ты, говнюк, не смей закрывать глаза. Кто-нибудь, пожалуйста, блядь, хоть кто-нибудь помогите, — кричу я. Ветер свистит и кусает меня сзади за шею, по Ав туда-сюда тащатся сонные машины, и никто меня не слышит, никто не остановится. Где мама с папой? Или хотя бы Фрэнни? Вы так нужны здесь.

Он закашливается и отхаркивает что-то изо рта. О господи, что это — кровь? Не пойму. Сирены. Где-то очень далеко, в миллионе кварталов отсюда. Слишком медленно ползут, гораздо медленней, чем теплая, даже горячая кровь из живота Стивена у меня между пальцев.

— Стивен, ты меня слышишь? — исступленно кричу я. — Это я, Генри. "Скорая" уже едет, приятель. Слышишь, братишка? Слышишь сирены? Это за нами. А теперь главное не закрывай глаза и все время меня слушай.

— Генри? Мэган? — борясь с кашлем, бормочет он.

О господи. Он смотрит на меня, а у меня за спиной на стене портрет Мэган. Или он уже умирает и правда видит ее? Боже, у него опять изо рта пошла эта дрянь. Лицо белое, губы багровые. Мимо по Ав проносится машина и сшибает пивную банку. Я слышу, как грузовой автопоезд

въезжает в город где-то чуть дальше пересечения Ав и 95-й в десяти кварталах к востоку. Мне с трудом удается глотать холодный воздух, словно я задыхаюсь, словно я в панике. Без паники, говорю себе я. Нельзя, держись, ради Стивена. Не плачь и вообще не подавай виду, а не то он может сдаться и умереть.

— Не сдавайся, не умирай, Стивен, — внушаю ему я. — Еще раз повтори мое имя.

— Генри, — говорит он.

— Правильно, — говорю я, — твой брат Генри. Я здесь, с тобой.

О господи, сколько крови. И льется и льется дальше на асфальт. И на мой белый костюм тоже. Все, нет костюма, мама будет в ярости. Я держу ему голову и обнимаю его, но нельзя слишком сильно. Нельзя, чтобы кровь текла еще быстрее. Сирены визжат уже совсем близко.

— Я, блядь, не пойму — это что, обязательно, чтобы сирены орали так громко? — кричу я. — Заткните, блядь, свои сирены!

— Стивен, не оставляй меня здесь одного, — умоляю я.

Он не отвечает. Глаза закрыты, но он все еще дышит. Похож на младенца. Такие приятные на ощупь, мягкие волосы. Слышно, как распахивается дверь "У Манджоли", щелкает зажигалка, мужской голос вскрикивает *Черт возьми*. Потом *бум*, дверь закрылась, *бум*, снова открылась, вываливаются тонны людей, что-то взволнованно спрашивают, шлепая ногами по бетону, бегут ко мне, машина визжит тормозами, водитель материт толпу, текущую через улицу. Уже куча людей окружила нас. Первым я вижу Фрэнни, потом маму с папой.

— Боже мой, Фрэн, там же Стивен и Генри, — вскрикивает Сесилия и бежит к нам.

— Господи помилуй, — произносит Фрэнсис, замирая на месте как вкопанный.

— Боже ты мой, — кричит кто-то вместе с ним.

Некоторые начинают вслух молиться.

— Генри, что здесь случилось? — спрашивает меня Фрэнни, который теперь тоже держит Стивена вместе со мной и мамой.

— В него стреляли, — сухо констатирует мама, но тут же начинает плакать.

— О господи, — только и может сказать папа, который по-прежнему стоит в стороне, не двигаясь с места.

— Стивена Тухи застрелили, — вопит кто-то на улице.

Мама плачет. *О господи* продолжает твердить папа. Люди из толпы зовут на помощь. Машины начали съезжать на обочину и останавливаться: из них, стуча дверями, вылезают все новые и новые люди, спрашивают у кого-то поблизости "что случилось?", кто-то отвечает им "парня подстрелили", и так до бесконечности, и все это на фоне обращенной к Богу непрекращающейся молитвенной истерики.

— Где Сес? — спрашивает мама, все еще держа Стивена на руках и неистово озираясь.

— Сильно его не тряси, Генри, — резко и отрывисто, как помешанный, бросает мне Фрэнни.

— Кто трясет — я? — огрызаюсь я; еще одно слово, и я кинусь драться.

— Он еще дышит? — спрашивает мама.

— Думаю, еще дышит, — говорю ей я. — Думаю, да.

— Фрэн! — кричит мама, поворачиваясь к папе.

— О господи, — отвечает ей он.

— Фрэн, очнись, — рявкает она на него. — Иди помоги нам.

Он подчиняется, подбегает и втискивается между нами на коленях, как будто и не было никакого ступора.

— Стивен, — произносит он с каменным лицом и кладет руку ему на щеку.

Стивен открывает глаза и смотрит прямо на него.

— Папа? — неуверенно спрашивает он.

— Да, это я, твой папа, — говорит папа, шаря глазами по лицу Стивена.

— Прости меня, — шепчет ему Стивен.

— Тебе не за что просить прощения, — отвечает он тоже шепотом. — Это ты меня прости.

Они улыбаются настолько, насколько это сейчас возможно, глядя друг другу в глаза. Но тут, *бум*, посторонний.

— Так, с дороги, парень, с дороги, — кричит какой-то ублюдок в белом и прет прямо на нашу семью, прямо на меня.

— Не толкайся, — ору я на него. — Ты еще, блядь, кто такой, откуда взялся? Тут мой брат. Еще раз толкнешь — в морду получишь, слышал?

— Не мешай нам работать, — говорит ублюдок. — Отойди парень, мы хотим помочь.

— Пошел на хер, — говорю я и замахиваюсь.

Фрэнни с папой валят меня на землю.

— Ублюдки, убью, — кричу я и рвусь из рук у папы и Фрэнни — только бы добраться до этих уродов из "скорой помощи": я размахиваю руками и ногами, а уроды тем временем кладут Стивена на носилки и перекидывают друг другу пакеты с каким-то прозрачным дерьмом внутри и с кучей каких-то трубок и проводов. Мама сквозь слезы просит меня успокоиться, но я все равно продолжаю молотить ногами по воздуху и махать кулаками. В перерывах между собственными воплями я слышу позади себя встревоженные голоса, слышу, как хрипит Стивен, как трещит голос по рации, слышу умножившийся хор воющих сирен. Красные всполохи загораются на лицах через каждые полсекунды. Я вижу дыру, которую мы пробили в круглом окне церкви. Она скалится на меня двумя рядами острых осколков, словно чудовищная пасть с клыками.

— Я его отец, — говорит папа и отпускает меня. — Я поеду с ним.

— Я тоже, — говорит мама, борясь с душащими ее рыданиями.

— Загружайте его, нужно ехать, — говорит один ублюдок в белом другому такому же.

— У него сильное кровотечение, — говорит этот, второй. — Если вы с нами, поторопитесь, нужно ехать прямо сейчас, скорее.

Мама с папой запрыгивают к Стивену в "скорую помощь".

— Фрэнни, возьми машину, встретишь нас там, — говорит папа.

— Генри, найди сестру, — говорит мама, — и отведи ее домой. Мы позвоним.

— Все разговоры потом, мэм, — встревает ублюдок в белом, — нам пора ехать.

Шварк. Врумм. "Скорая помощь" уносится прочь по Ав, увозя с собой маму, папу и умирающего брата. Какого хрена так громко орут сирены?

Вот, заткнулись, наконец. Самое, бля, время. Я поворачиваюсь посмотреть, что за ослы стоят там сзади меня и чешут языками. Парк забит народом. Две сотни идиотов субботним вечером сгрудились на залитой кровью спортплощадке. В этом, бля, даже есть что-то забавное. Я уже почти готов рассмеяться, но тут вдруг слышу чей-то плач. Это Ральф Куни — сидит на скамейке, опустив голову, и трясется. В руке пушка. Никто не видит его, кроме меня. Я срываюсь с места и прыгаю на него, сейчас я зубами выгрызу ему кадык. *Бам.* Пушка отлетает по бетону в сторону, Ральф падает, я сверху. Неистово молочу его кулаками по лицу и одновременно плююсь, плююсь в него. Разжимаю кулаки и вцепляюсь ему в лицо, он плачет и старается оттолкнуть меня ногами. Чьи-то руки пытаются меня оттащить, кругом слышны крики: "Остынь, Генри", — это мужские, и женские: "Боже мой, пистолет". Меня оттаскивают всё дальше, но я еще могу дотянуться ему до лица. Я хочу содрать с него кожу, чтобы обнажить прячущийся под ней уродливый череп.

— Я с тебя шкуру спущу, — истошно кричу я.

Все-таки меня отволокли от Ральфа. Теперь он лежит, скорчившись на земле, и плачет. Пушка валяется в десяти футах у него за спиной, никто не смеет к ней прикоснуться. Появляются машины полиции. Распахиваются дверцы, на площадку высыпает толпа жирных копов и бежит к нам, шурша черными ботинками по шершавому бетону.

— Спокойно, Генри, — говорит мистер Джеймс: он стоит за мной и держит меня за руки. — Ребята, оружие вон там, — мистер Джеймс кивком указывает копам на валяющийся рядом пистолет. — Стрелял вон тот парень, что лежит на земле.

При слове *стрелял* я снова начинаю вырываться, не говоря ни слова и ничего вокруг себя не слыша, пока мистер Джеймс не заламывает мне руки так, что их начинает колоть, как булавками. Я вижу перед собой Бобби Джеймса и по его губам читаю то единственное, что он твердит мне: *Сес.*

Сес.

Когда я перехожу через улицу, в моей голове все еще звучат сирены, и чем больше я ускоряю шаг, тем медленнее иду вперед. Уличные фонари жужжат громко, как надземное метро. Гудки клаксонов и визг тормозов в двадцати кварталах отсюда отдаются в ушах с мощью реактивных двигателей. Я захожу к Манджоли, все взгляды, включая Грейс и Гарри, моментально устремляются на меня и на мой костюм. Грейс идет ко мне и хочет что-то сказать. Я хватаю ее за плечи и усаживаю задницей на стул. *Сядь,* — говорю ей я. *Не трогай меня.* Я беру плачущую Сес за руку и веду ее обратно на улицу Святого Патрика. Всю дорогу мы не произносим ни слова, Сес ревет, совсем как маленькая, и сыплет всхлипами, как из пулемета. Грейс и миссис Макклейн идут за нами и смотрят нам вслед, но тоже молчат и сильно к нам не приближаются. Кровь начинает засыхать у меня на белом костюме. В коротких перерывах между рыданиями Сес ноет, что мы идем слишком быстро. Макклейны следуют за нами все время, пока я волоку Сес за собой к дому, как тряпичную куклу. На пороге я поворачиваюсь на каблуках и вижу стоящих перед нами Макклейнов.

— Послушай, Генри, — говорит мне миссис Макклейн, — вам лучше не оставаться сегодня одним на ночь.

— Все нормально, — с безразличием в голосе говорю я. — Нас же двое.

— Ну хорошо, — говорит она, — но если что — непременно звоните нам, и мы тут же придем, ладно?

Я чувствую на себе взгляд Грейс, но ответить на него сейчас не могу. Вместо этого я молча киваю миссис Макклейн, затем снова поворачиваюсь к ней спиной, открываю дверь и пропускаю вперед Сес. Первое, что я делаю, когда захожу в дом вслед за ней, — это бросаю взгляд на телефон, в надежде, что Сесилия позвонит с новостями о Стивене, в надежде, что кровь перестала хлестать у него из живота.

18

В доме Тухи тихо и пахнет порошком для чистки ковров, полиролью и жидкостью для мытья стекол. Две лампы по краям стола излучают мягкий свет. Храпят собаки. На полу чисто и ничего не валяется. Все это действует на меня настолько умиротворяюще, что, кажется, еще чуть-чуть, и я усну прямо стоя. Два-три раза в год Сесилия устраивает в доме генеральную уборку и перемывает все сверху донизу перед тем, как выйти в свет по какому-нибудь особенному поводу. По ее словам, самое приятное — это возвращаться потом в чистый дом, где все убрано, в свой собственный чистый дом, где они с мужем Фрэнсисом вырастили четверых детей. Фрэнсис с Сесилией возвращаются вечером после подобных выходов в свет нарядные, в самом что ни на есть хорошем расположении духа и с приятной тяжестью в животах от всего съеденного и выпитого за ужином. Вместе они садятся на диван. Он ослабляет галстук и швыряет куртку на стул. Она сбрасывает туфли и кладет ему ноги на колени. Он принимается их разминать. Они болтают и играют в "мешки". Если это, конечно, можно так назвать. *Дай мне все свои восьмерки*, — говорит Сесилия. Фрэнсис Младший показывает ей все свои карты, она передумывает и требует у него валетов, девятки — словом, любые из тех карт, что у него на руках, какие ей больше нужны. Они обводят глазами комнату и смеются, глядя на фотографии своих четверых детей в разном возрасте с крупными и кривыми, точно воротнички на наших рубашках, молочными зубами, стоящих, опираясь на огромные колеса телеги, с дурацкими прическами на голове (разумеется, у всех, кроме меня). Сесилия говорит Фрэну: *Стивен с Фрэнни – прямо все в тебя.* Он смеется и замечает, что *это потому, что оба вечно хмурятся, оттого мы с ними и похожи.* Сесилия возражает ему, что *ничего они не хмурятся, а просто оба будут посерьезнее, чем ты.* Фрэн отвечает, что *в таком случае двое младших – вылитая ты, Сесилия. Только посмотри на их улыбки. И с юмором у них все в порядке. Вылитая ты, все в точности как у тебя, Сесилия. Они покоммуникабельней, что ли, да? – Первые двое – из тех детей, которые букашек собирают*, — говорит Сесилия. *А эти, наоборот, из тех, что их едят*, — добавляет Фрэнсис, а Сесилия смеется и говорит ему: *Вот видишь, можешь ведь, когда хочешь. Ты просто не даешь выхода своему юмору.* Тут они замолкают и смотрят друг на друга, на чистую гостиную, в которой приятно пахнет и всё на своих местах, по крайней мере до завтрашнего дня. Тикают часы на стене. Собаки попукивают во сне, на миг просыпаются

от звука, затем снова засыпают. Фрэнсис и Сесилия сходятся на том, что *все о'кей. У нас четверо прекрасных детей. Фрэнни – примерный сын. Стивен – тот, возможно, слишком много о себе понимает, но тем не менее. Гэнри? Со странностями, конечно, но все равно очень славный. А Сес – ну она у нас вообще одна и самая замечательная.*

Сес. Стоит рядом и плачет – тихо и с опаской, наверняка боится, как бы меня снова не понесло.

– Гэнри, ты злишься на меня? – спрашивает она, прерывисто всхлипывая.

Я становлюсь на колени, чтобы быть к ней ближе.

– Нет, что ты, – успокаиваю ее я.

– А вид у тебя такой, как будто злишься, – заикаясь, между всхлипами выдавливает она.

Я достаю из кармана платок и проверяю, нет ли на нем крови – нет; затем я утираю ей лицо от слез – так, как обычно вытирают лобовое стекло машины на автомойке.

– Сесилия, – говорю я, – пожалуйста, прекрати плакать, а не то своими слезами испортишь коврики для ног.

Она смеется сквозь слезы, потому что коврикам для ног в нашем доме уже давно ничего не страшно.

– Гэнри, а можно мы послушаем наверху пластинки? – спрашивает она.

– Конечно, можно.

– Круто. А принесешь мне поесть?

– О'кей. Чего тебе хочется?

– Если не трудно, то какао и сыр, – говорит она. – Две ложки какао. Четыре кусочка сыру. Молоко с пенкой. Спасибо тебе, братишка.

Она идет наверх в своем летнем сарафане и сережках из искусственного жемчуга – наряд в точности такой же, как у мамы сегодня на свадьбе. Остановившись на полпути, оборачивается и смотрит на меня взглядом настолько взрослым, что я вскакиваю.

– Гэнри, скажи: в Стивена стреляли из пистолета?

– Да, – невольно отвечаю я, не в силах соврать ей здесь и сейчас.

– Он умер? – снова спрашивает она.

– Нет, – отвечаю я. – Нет. Пока нет.

– Он умрет?

– Не знаю.

Она смотрит на мой костюм, затем обводит взглядом комнату.

– Ты скоро ко мне поднимешься?

– Да, сейчас, скоро поднимусь.

– Здорово. Только побыстрее, ладно? – с этими словами она скрывается наверху.

Я спешу на кухню. Две ложки какао в молоко с пенкой. Пять кусков сыру, потому что она всегда просит еще один после того, как съест свои четыре. Я ставлю телефон у нижней ступеньки лестницы, взбегаю наверх, отдаю еду Сес и иду за пластинками. Сгребаю в кучу штук тридцать и тащу их в ее комнату. Сверху оказывается "Альбом 1700" Питера, Пола и Мэри. Я кладу пластинку на диск проигрывателя, включаю его и сажусь на краешек кровати Сес, чтобы удобней было общаться с ней, си-

дящей напротив на маленьком стульчике. Комната наполняется музыкой. Сес жует сыр, держа кусок обеими руками, как белка орех.

– Какой вкусный сыр, – говорит она.

– Могу представить, – отвечаю я.

– Хочешь кусочек?

– Я не голодный.

– Тебе нужно есть больше сыра, – говорит она, – а то ты такой худенький. А сыр тебе поможет. У меня вон, видишь, даже складки появились. Думаю, это все от сыра.

– Да нет, я правда не голодный, – настаиваю я.

– Ты не хочешь есть из-за Грейс?

– Не знаю. Может быть, – честно отвечаю ей я.

– А они с мамой придут к нам? – спрашивает она.

– Нет.

– Это хорошо, – говорит она. – Сейчас я хочу просто побыть с тобой.

– Да, малышка, и я тоже, – говорю я и обнимаю ее, а она рыгает, правда, тихо.

– Это что было – благородная отрыжка? – интересуюсь я.

– Ты должен слышать телефон, когда позвонит мама, – говорит мне Сес.

– Бля, точно.

Питер, Пол и Мэри уносятся за горизонт на реактивном самолете и бог весть когда еще вернутся. Тишина в комнате отдается тяжелыми пульсирующими ударами, как головная боль, как биение сердца. Мы сидим и смотрим в пространство.

– Генри, помнишь ту ферму с коровами, про которую ты мне рассказывал вчера вечером?

– Конечно, помню, – говорю я. – А что?

– Сколько лет еще ждать, пока мы туда переедем? – спрашивает она.

– Ну, я думаю, где-то лет через семь, а если повезет, то и через шесть. А что?

– Не хочу так долго ждать. Хочу сейчас.

Сес снова плачет, а я снова ее обнимаю. От нее пахнет сахаром. Она трется носом о мой испачканный кровью костюм. Я протягиваю ей платок, и она громко в него высмаркивается – ну просто туманный горн.

– Придется подождать, – говорю я. – Семь лет – это ерунда. Тебе сейчас уже целых восемь. А посмотри, как быстро годы пролетели.

– И правда, быстро, – соглашается она. – Я помню садик, как будто еще вчера туда ходила.

– Вот именно, – говорю я. – А следующие восемь лет пролетят и того быстрее. Посмотри на меня: мне тринадцать. Мужик уже.

– Ну, это ты сильно загнул, приятель, – прыскает она, все еще продолжая плакать, но уже не так сильно.

– Я только хочу сказать, что тебе просто нужно стиснуть зубы и ждать. Все, что нам с тобой нужно, – это стиснуть зубы и ждать. Вместе.

– Все равно было бы здорово, если б мы уезжали туда уже завтра, – говорит Сес. – Даже не могу себе представить, как это – жить на ферме, где вокруг столько деревьев.

— Еще как можешь, — уверяю ее я. — А знаешь что? Давай до тех пор, пока не переедем на ферму, будем понарошку считать, будто мы живем в лесу. Прямо завтра и начнем. Как тебе?

— Не знаю, Генри, — говорит она. — Иногда мне кажется, что у тебя не все дома.

Я сигаю с кровати через ее голову, а она сидит, вжавшись в стульчик, и визжит.

— Ты что, хочешь сказать, я ненормальный, Сесилия, ты это хочешь сказать? Если да, то так оно и есть, — соглашаюсь я. — *Уууу ууууу ахххх ууууу ууууу ахххх ахххх.*

Я кричу, изображая обезьяну, прыгаю по комнате и чешу себе подмышки. Сес смеется, а это как свежая кровь для давно засевшего у меня в заднице юмориста.

— Обезьяны. Не понимаю, почему на то, чтобы эволюционировать из обезьяны, человечеству потребовались миллионы лет? Да просто возьми ты эту обезьяну, нацепи на нее куртку "Филлиз" и рабочие ботинки — вот и готов твой собственный портрет. Вылитый современный отец семейства. Я что-то не пойму: где здесь эволюция? Видела когда-нибудь, какие у папы на спине заросли? А голым его никогда не видела? Господи. Всякий раз, как он расхаживает в белых трусах по дому, я только и жду, что вот-вот из-за цветочного горшка высунется Элмер Фадд и пристрелит его из слоновьего ружья. Что за чухня у нас до сих пор стоит на проигрывателе? Неужели все те же Питер, Пол и Мэри? Пора сменить пластинку.

Пластинки следуют одна за одной: Айрн Баттерфлай, Конуэй Твитти, Лайтнинг Хопкинс, Литтл Ричард, Руфь Браун, Брюс Спрингстин, Чикаго, Бостон, Канзас, братья Айзли, Файв Сэйнтс, Рай Кудер, Кэрол Кинг, Тодд Рундгрен. Летят песни, летят шутки.

Кинкс.

— Покажите мне священника, и я покажу вам его счет в швейцарском банке и жену в штате Юта.

Тертлз.

— Даже мне становится неловко, когда тренеры в профессиональном спорте то и дело хлопают своих спортсменов по заднице. А это еще что за сборище голых Барби, Сес? Не иначе решила основать здесь колонию для нудистов?

Сес смеется над всеми моими шутками, хотя больше половины из них не понимает. Я ловлю себя на том, что все время, пока травлю байки и шутки и меняю пластинки, не могу оторвать взгляд от залитых кровью рукавов пиджака и все пытаюсь куда-нибудь спрятать руки. Я представляю себе Стивена лежащим на столе в операционной, заполненной безразличным пиканьем приборов, дух покидает его тело, тело кладут в яму и присыпают землей, теперь их с Мэган разделяют всего каких-то десять рядов могильных плит, Фрэнсис с Сесилией кричат от горя, Сесилия прыгает в могилу вслед за гробом, Фрэнсис Младший вытаскивает ее, они сидят друг напротив друга за длинным столом, каждому адвокат что-то шепчет на ухо, нас с Сес расселяют по разным домам, ни там, ни там нет Стивена. Я не перестаю отгонять эти образы, то и дело возникающие у меня в голове. Любовь, что у меня внутри, помогает мне побороть все плохое. Чаще сыпь шутками, больше громких песен, ты, дву-

рукая, двуногая, начиненная любовью бомба в запачканном кровью белом костюме; ты, что заставляешь корчиться со смеху свою сестру, пока врачи черт-те что творят с твоим умирающим братом. В этом и заключается моя миссия сегодня, сейчас, завтра, вчера, каждый, бля, божий день, потому что я нужен Сес так же сильно, как и мне нужно, чтобы ей был нужен я.

Дело заканчивается тем, что Сес катается по кровати, держась за живот от смеха, и умоляет меня прекратить, а я скачу по комнате среди разбросанных повсюду пластинок, большинство из которых мы уже успели послушать. Кроме одной: "Эбби-роуд" Битлз. Я понятия не имею, сколько времени мы уже сидим дома. Час, может быть, два?

— Что это там у тебя, Генри, — "Эбби-роуд", что ли? — спрашивает у меня Сес, когда я поднимаю пластинку с пола. — Да ну, не люблю ее.

— Смеешься надо мной? — говорю я. Ни хрена себе новости.

— Не, серьезно, — говорит она. — Мне нравится, где они все в одинаковых костюмах и поют "она тебя любит, йе, йе, йе", ну и всякое такое.

Я смеюсь ей в ответ, даже несмотря на то, что наши, бля, с ней мнения на этот счет совершенно не совпадают, и прислоняюсь спиной к двери, чтобы слышать телефон. Пожалуйста, зазвони. Пожалуйста, не звони.

— Ну или поставь хотя бы "Here Comes the Sun", — предлагает она. — Эта мне по крайней мере нравится.

— О'кей, — отвечаю я.

Мы вместе слушаем песню, улыбаемся друг дружке и тихо-тихо подпеваем. Как только песня заканчивается, внизу раздается телефонный звонок. Я спрыгиваю с кровати и несусь вниз по лестнице, чтобы ответить; когда я подбегаю и снимаю трубку, мой голос срывается.

— Генри? Это мама, — говорит Сесилия голосом настолько измученным, что по нему ей дашь не меньше восьмидесяти. Она сообщает мне новости. Я вешаю трубку и возвращаюсь наверх к Сес, которая лежит на кровати, натянув на себя одеяло аж до глаз.

— Он жив.

Она скидывает с себя одеяло и разводит руки, чтобы обняться. И я обнимаю ее крепко-крепко.

— Спать будешь? — спрашиваю я.

— Да, — говорит она. — А ты можешь поспать на полу рядом с моей кроватью?

— Хорошо. Только сгоняю за одеялом и подушкой. Сейчас вернусь.

— Круто. А можешь еще свет выключить?

— Конечно.

Я целую ее в лоб и тушу свет в комнате. Она уже почти спит. Ее детское лицо похоже на лицо Стивена на спортплощадке, когда я держал его, истекающего кровью, на руках. Я спускаюсь вниз и выглядываю за дверь на улицу. На веранде дома Макклейнов стоит Грейс, курит и смотрит в наши окна. Я плавно и бесшумно закрываю и запираю дверь и поднимаюсь в ванную посмотреть на себя в зеркало. По всему костюму пятна крови. Прическа ни к черту. Я отодвигаю занавеску и в первый раз за несколько дней залезаю в ванну. Снова и снова я слышу, как Грейс отвечает мне "нет", вижу, как Стивен лежит весь в крови и как дерутся родители. Они даже не взглянули на меня, как я пою. Вода потоком льется на

мой окровавленный белый костюм. Просачивается сквозь ткань на спине, стекает по ногам и утекает в слив. Я открываю кран еще сильнее, чтобы шум воды мог заглушить мои рыдания, от которых плечи содрогаются все равно что, бля, от кашля.

19

Йоу. С добрым утром. Как дела, придурок?

Ральф Куни выстрелил моему брату Стивену — который все еще не приходил в себя и продолжает оставаться в критическом состоянии — из пистолета в живот, когда две машины, битком набитые фиштаунскими, подрулили к спортплощадке, чтобы поквитаться за своих. Никто из них не имел никакого отношения к тем пятерым чувакам, которых здесь избили. Они не были их братьями, или друзьями, или хотя бы дальними родственниками. Скорее всего, такие же отморозки, как и те, что избивали тех пятерых.

Ральф сидел на спортплощадке весь вечер. Про пушку он никому ни слова не сказал, но говорил всем, кто к нему подходил, что в случае чего на него можно рассчитывать. Стивен появился в Тэк-парке одновременно с машинами. Он встал между Ральфом с его пушкой и десятком парней с бейсбольными битами. Ральф нажал на курок. Попал в Стивена, и тот упал. Фиштаунские побежали назад к машинам. С того момента Ральф не сказал никому ни слова, и теперь он сидит там, куда, бля, обычно сажают таких пидоров, как он. В общем, хватит о нем. И без того есть чем заняться.

Я сижу у себя наверху на нашей со Стивеном двухъярусной кровати в белых трусах и выгляжу просто охренеть как сексуально. Я проснулся не так давно и в данный момент занят тем, что щеткой для пыли смахиваю с постера с Майком Шмидтом налипшие бумажные шарики. Покончив с этим, я снимаю постер со стены, сворачиваю его в трубочку и прихватываю сверху резинкой. Я не собираюсь его у себя оставлять, но у меня также нет никакого желания рвать его в клочья или сжигать, равно как и производить над ним любые другие церемониальные действа. Это будет все равно что плеваться бумажными шариками. У нас с Майком Шмидтом больше нет никаких косяков. Косяки с игроком третьей базы — это для детишек. А я мужчина. Мой член выстрелил, я сам получил выстрел в сердце и держал на руках раненного выстрелом в живот брата — и все это за один-единственный вечер. Долго ли теперь ждать, когда яйца обрастут? Я так не думаю.

Когда мне в 1978 году было семь лет, Майк Шмидт отказался дать нам со Стивеном и Бобби Джеймсом автограф. Фрэнсис Младший тогда достал нам всем билеты на воскресную игру, где обещали раздачу личных вещей каждого спортсмена. Сначала он повез нас на машине в игрушечный магазин и покупал там все, чего мы только у него ни просили. В то время он был еще другой, счастливый. Мы втроем со Стивеном и Бобби Джеймсом настояли на том, чтобы отправиться на стадион как можно раньше, а то вдруг не успеем на раздачу. Чего они хотели там раздавать: бейсбольные перчатки, футболки, повязки на запястье, часы, гольфы, постеры, — не важно, главное, чтобы на всем на этом были ко-

ричнево-белые цвета "Филлиз" и личные автографы наших героев. В тот день мы, равно как и все остальные, пришли на стадион за два часа до первой подачи. Мы были полностью одеты под игроков "Филлиз", ну может, за исключением бандан. Хотя нет, по-моему, Бобби Джеймс и ее нацепил на голову. Не помню уже. Давно дело было.

Шмидт упражнялся с приемом подачи вдвоем с какой-то загорелой телкой с шарами как волейбольные мячи. Нас с ним разделяли от силы десять футов. И никого больше на всем стадионе. Мы подошли. Стивен вежливо обратился к нему "мистер Шмидт" и попросил поставить автографы нам в программки. Шмидт даже не взглянул в нашу сторону. Просто сказал "нет" и как швырял туда-сюда мяч с этой своей телкой, так и продолжал швырять. Жутко униженные, удалились мы на свои места и больше за всю игру не обменялись ни словом. Молчали и всю дорогу домой. Я поднялся к себе в комнату и бросился рыдать в подушку, так же сильно и безутешно, как вчера. Я поклялся ненавидеть Майка Шмидта всю оставшуюся жизнь. Бобби Джеймса я тоже привлек к себе в союзники. Но хватит. К черту. Я прощаю тебя, Майк Шмидт. Усики-то у тебя все равно дурацкие, но в остальном все ништяк.

Я выхожу из комнаты в коридор. Сесилия стоит в коротком зеленом платье и соломенной шляпке — так она всегда наряжается, когда идет воскресным утром в церковь, если на улице тепло. Вид у нее изможденный, но все равно выглядит офигенно. Она с иронией оглядывает меня в моем нехитром наряде, состоящем из одних только трусов.

— Йоу, — говорит она. — Прямо так в церковь и пойдешь?

— Нет, могу еще галстук нацепить. Что, не нравятся мои трусы? Так ведь сама же и покупала.

Она смеется.

— Давай быстрей решай, в чем пойдешь. Яхве никого ждать не будет.

Сес выходит из своей комнаты, одетая точь-в-точь как Сесилия и с альбомом "Abbey Road" в руках.

— А я бы прямо так и пошла, Генри, — говорит мне она. — Всё веселее будет.

— Эй, — разочарованно вздыхает Сесилия. — А я думала, вы полюбили ходить на мессу с тех пор, как там начали петь эти девчонки с гитарами.

— Они, конечно, лучше, чем "Эбби-роуд", — говорит Сес, — но все равно не сказать, чтобы мне очень нравилось. Так и так слушать священника — скука смертная.

— Постой, ты сказала, тебе не нравится "Эбби-роуд"? — переспрашивает Сесилия.

— "Знакомьтесь, Битлз" все равно лучше.

— Согласна, — говорит Сесилия. — Ну что, ребята, как насчет послушать по-быстрому одну песню оттуда? Пластинка же где-то тут, насколько я понимаю? — спрашивает она, указывая на дверь своей спальни.

— Третий ряд на стене слева, — возбужденно докладываю я.

— Ага, вот она, — говорит Сесилия и целует пластинку. — Споем что-нибудь?

— Что, как будто мы группа, прямо как у меня в комнате? — с восторгом спрашивает Сес.

— Да, прямо так и споем, — говорит Сесилия под наши с сестрой радостные вопли. — Какую песню?

— Как насчет "All My Loving"? — предлагаю я.

— Я не против, — отвечает Сесилия. — Но тогда — чур, я Джон.

— Я Пол, — говорю я.

— А я Ринго. И Джордж! — со смехом добавляет Сес.

Сесилия запускает песню с пластинки и берет вместо микрофона красную щетку. Я хватаю палку для штор в качестве гитары. Сес сворачивает в трубочки два каталога одежды — готовы импровизированные барабанные палочки. Начинается песня; мы поем в большой красный микрофон, играем на инструментах и прыгаем по комнате (я — в своих белых трусах, они — в летних платьях и соломенных шляпках), — и все это не изображая ровным счетом никого, кроме самих себя. И нам не нужно представлять, что мы поем где-то еще, кроме как здесь, в спальне у Сесилии Тухи, в доме Тухи номер 4017 по улице Святого Патрика, город Филадельфия, штат Пенсильвания, США, планета Земля, мать ее. Бум. Песня заканчивается так же быстро, как и началась. Мы тяжело отдуваемся, хлопаем друг другу и обнимаемся.

— Вот это было здорово, — говорит Сесилия, широко улыбаясь. — Потом как-нибудь нужно будет обязательно еще раз так спеть. Иди одевайся, Генри.

— Что — уже? — хнычу я в ответ. — Мне еще в душ надо.

— В душ? Это что еще за новости? — как бы возмущается Сесилия. — Бегом, у тебя есть пять минут.

Одной рукой она швыряет пластинку Битлз к себе на кровать, а другой хватает Сес под мышку.

— С дороги, белотрус, — кричит она, отпихивает меня локтем и бежит вниз по лестнице, а Сес визжит, зажатая у нее под мышкой, словно любимый футбольный мяч.

Я ополаскиваюсь под душем, вылезаю из ванны и в темпе вытираюсь. Рукой приглаживаю волосы набок: геля и одеколона не надо. Прическа и так до сих пор чертовски здорово смотрится. Затем хватаю рубашку из стивеновой половины шкафа, зеленую, из которой он вырос, без всяких там лосей, быков, бизонов и даже без носорогов. Обыкновенная чистая зеленая рубашка с воротничком. Завершаю свой гардероб, прибавив еще широкие серые брюки, темные носки и туфли к ним в тон, и в таком виде спускаюсь в гостиную.

— Ни фига себе, — удивляется Сесилия.

— Йоу, Генри. Здорово выглядишь, — говорит Фрэнни (у самого у него вид отнюдь не здоровский), — классная прическа.

— Йоу, Фрэнни. Спасибо, — отвечаю я. — А ты вот — нет, и прическа у тебя так себе.

— Что? — переспрашивает он и бросает критический взгляд на свое отражение в рамке со стеклом, где стоит его фотография во втором классе.

На кухне звонит телефон. Мы с Фрэнни бросаемся к нему, кто быстрее успеет. Я первый.

— Алло?

— Генри, это папа, — говорит голос Фрэнсиса в трубке. — Как дела?

— Йоу. В порядке. А у тебя?

— Тоже нормально, — говорит он. — Слушай, твой брат очнулся пару минут назад.

— Он сейчас в сознании? — спрашиваю я, и голос у меня удивленный и счастливый.

— Нет, он тут же снова отключился, но главное, что в сознание все-таки пришел, и врачи сказали, что он пойдет на поправку. Вот, так что передай маме, что он приходил в себя.

— Понял. Ага, сейчас, только...

— Генри, подожди. Скажи маме... скажи, что я ее люблю, хорошо? Можешь сказать, пока я еще на проводе? Скажи ей про Стивена и что я ее люблю, пока я еще здесь.

— О'кей. Йоу, мам, — зову ее я.

— Йоу, — откликается она.

— Утром Стивен приходил в сознание. И папа говорит, что любит тебя.

Она переводит взгляд с меня на Сес и снова на меня, и на лице ее появляется улыбка.

— Скажи ему, что это хорошие новости.

— Мама говорит — это хорошие новости, — сообщаю я в трубку Фрэнсису Младшему.

— Замечательно, — говорит он. — Увидимся в больнице.

— Заметано, приятель. — Я дожидаюсь, пока он положит трубку, потом поворачиваюсь ко всем остальным Тухи и говорю: — Ну что, шоу продолжим, думаю, уже по дороге.

Мы выходим из дома. Улица Святого Патрика обрушивает на нас солнечную симфонию звуков: скрипят велосипеды, шипят поливалки на газонах, жужжат электрические газонокосилки, ругаются родители, пивные банки трещат под каблуками, — и всем этим дирижируют безжизненные истуканы святых. Сесилия отправляет себе в рот жвачку.

— Ты видела, Сес? Мама жует жвачку, — говорю я.

— Как ты сказал? Что мама?

— Она жует жвачку меньше чем за час до причастия. Это ведь нарушение церковных правил, разве нет?

— А фиг его знает, — отвечает Сес, забираясь ко мне на плечи.

Мы переходим на тротуар, ведущий к церкви. Рядом с церковью останавливается троллейбус, который идет до надземки и на котором мы скоро поедем в больницу, где лежит мой старший брат Стивен, и его сердце гонит по жилам хорошую, новую кровь вместо того старого дерьма, что было в нем раньше. Рядом с ним на виниловом кресле, обняв руками колени, сидит Фрэнсис Младший и, роняя слезы на пол, клянется себе, что дальше все будет только хорошо и все будут друг друга любить так сильно, как должны, так сильно, как только могут. Так и будет. Все хорошо. Солнце светит, и даже если пойдет дождь, то после дождя солнце всегда выходит снова... Если только не ночью, когда 10000 других солнц мигают на небе.

Через полквартала я вижу Грейс, стоящую у себя на веранде с зажженной сигаретой в зубах, и останавливаюсь.

— Йоу, чувак, в чем дело, почему стоим? — спрашивает Сес.

— Подожди, я на пять сек, — говорю я и подхожу к веранде Макклейнов.

– Эй, Хэнк, – тихим, мягким голосом говорит мне Грейс. – Я слышала, твой брат отлично держится.

– Похоже на то, – отвечаю я, хладнокровно и искоса глядя на нее.

– Ты еще злишься на меня за то, что я вчера отказалась выйти за тебя замуж, да?

– Нет, у нас всё зашибись, – говорю я.

– Может, тебе стоит снова попытаться лет так через семь-восемь?

– Может, и стоит, – говорю я. – Но никаких гарантий давать не буду. К тому времени спрос на меня может резко подскочить.

– Просто если что – имей меня в виду. А пока – ты не против, если мы с тобой сегодня вечером еще раз поцелуемся?

Хьюстон, как слышно? – у нас тут член резко скакнул вверх (и продолжает подниматься).

– Ну Генри, пойдем уже, – недовольно ноет Сес.

– О'кей, забились на свидание, – говорю я.

– На свидание с кем? – переспрашивает сбитая с толку Грейс.

Я показываю на Сес, сидящую у меня на шее:

– Сначала с ней, а уже потом с тобой. Определенно, с тобой потом.

– Круто, – говорит Грейс, улыбается и затаптывает ногой бычок. Она скрывается за дверью, а я думаю про себя, на хрен восемь, попытаюсь еще раз через семь.

– Генри, давай будем представлять, что мы в лесу, как ты вчера говорил, – просит Сес.

– О'кей, Сес, – соглашаюсь я и удобнее усаживаю ее у себя на плечах, – ты готова?

– Да, черт возьми, – говорит она. – Уже давно. С первого дня как родилась. Ну что, поехали?

Видишь однотипные дома по обеим сторонам улицы? – говорю я ей. – *Теперь это уже не дома, а скалы. Можно нырять с них прямо в воду. Да, в точности как Тарзан, только я хотел бы посмотреть на того человека, который заставит меня нацепить набедренную повязку. Что значит – а где река? Река – это вся улица. До свидания, улица Святого Патрика. Ух ты. Чуть в воду не влезли. Нужно быть осторожней: вода холодная и течение очень быстрое. Смотри, газонов больше нет: теперь это деревья с густыми кронами, свисающими до самой воды. Их так много, что и не сосчитать. Ветви гнутся под тяжестью яблок, каждое из которых размером с надувной мяч. Давай, побежали скорей. Хватайся за меня покрепче. Нам ни в коем случае нельзя свалиться в реку. Не, это не скейтборд, а плот. На нем мы перепрыгнем на тот берег. Не бойся. Не упадем. Только посмотри, как красиво вокруг: река, деревья. Ты же видишь их, правда? Это потому, что в твоем сердце живет любовь. У тебя очень большое сердце, и от этого мне тяжело тебя нести, но я все равно ни за что на свете не уроню тебя. Тяжеловато тащить на себе столько любви, но не бойся, я не отпущу. Ну вот, мы уже и на том берегу, как я и сказал. Давай, побежали дальше. Посмотрим, кто быстрее – мы или эта древняя река...*

– Генри Тобиас и Сесилия Реджина Тухи! – кричит нам сзади Сесилия. – Ну-ка притормозите! Нельзя явиться в церковь грязными и потными!

Мы останавливаемся.

– Ну что, Сес, будем ее слушаться? – спрашиваю я.

– Нет, – говорит она. – Заводи моторы, чувак.

Я издаю звук, подражая взлетающему самолету, и начинаю вертеться на месте так быстро, как только могу. Сес визжит.

– Хэнк, прекрати вертеть сестру и перестань ее смешить. У нее голова закружится.

Так я и поступаю. Я прекращаю вертеться, но и только. Смешить ее я не перестану никогда. Меня зовут Генри Тухи. У меня сердце в двадцать футов шириной и двадцать тысяч футов глубиной. Мы взлетаем вместе, я и Сес, и по прямой, не меняя направления, несемся к Ав, к церкви, к больнице, к папе, к нашему брату, к жизни, по пути обгоняя речные быстрины. С двух сторон красно-зелеными силуэтами нас обступают яблони, похожие на Рождество, похожие на счастье, покуда мы, наконец, полностью не растворяемся в них, словно в любви.

Кристоф Рансмайр
Признания туриста

Допрос

Перевод с немецкого Н. Федоровой

> Я человек самого мирного склада. Вот чего я хотел бы: скромная хижина, соломенная кровля, но хорошая постель, хорошая пища, очень свежие молоко и масло, перед окном цветы, перед дверью несколько прекрасных деревьев, и, если Господь захочет вполне осчастливить мня, Он пошлет мне радость — на этих деревьях будут повешены этак шесть или семь моих врагов[1].
>
> Генрих Гейне *Мысли, заметки, импровизации*

ЧТО-ЧТО? Не туговат ли я на ухо? Да, изредка. Хотя нет, довольно часто. Меня мучает звон в ушах, даже когда вокруг тишина, полная тишина. Порой он усиливается, на протяжении многих дней, усиливается настолько, что в конце концов перекрывает рев машин, шум города, а тем паче шорох листьев, голоса, музыку, ветер, даже рокот прибоя, который в более тихие времена меня успокаивает. Тогда этот треклятый звук внушает ужас. Грозит свести с ума. Не слушать. Не слушать! Замолчи! Замолчи наконец!

Порой он похож на легкий стеклянный перезвон, в правом ухе погромче, в левом потише, но тоже вполне внятно. Что? Да, знаю: tinnitus[2], так говорят врачи. Мне хорошо знаком и постоянно растущий список безуспешных способов лечения. Tinnitus, одна из так называемых социальных болезней, особенно широко распространен в высокоиндустриальных обществах, но совершенно безобиден — исключение составляют те немногие люди, кого этот беспрестанный звон и накрепко с ним спаянная, столь же изнурительная, сколь и тщетная, жажда тишины толкают к самоубийству. Вы верно говорите: безобиден, как жизнь, порождающая подобные звуки.

С каких пор? Пожалуй, с Новой Зеландии. По крайней мере, я хорошо помню тот снежный август на Южном острове Новой Зеландии и мно-

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2004
© Н. Федорова. Перевод, 2008

1. Перевод Е. Лундберга. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Шум в ушах (*лат.*).

гочасовой путь по склонам горы Кука, где ледниковые языки стекают прямо в леса древовидных папоротников на побережье. Льды! Высоченные, с дом, ледяные стены посреди самой что ни на есть буйной зелени. Ледяной отсвет, мерцающий сквозь листву кустов и деревьев, казался мне тогда сиянием возникшего в джунглях стеклянного города. Проводник-маори вел меня через густые заросли, по осыпям, а потом сквозь черные скальные ворота круто вниз, в глубину одной из червоточин — узких пещер, зияющих в новозеландских горах и весьма привлекательных для туристов, только вот расположенных подчас очень далеко и по сей день труднодоступных.

Во мраке этих пещер водятся мухи, личинки которых целых девять месяцев яркими светлячками лепятся к каменному потолку и стенам, ожидая метаморфоза и освобождения, когда обретут способность летать, а до поры до времени незримыми лесками, липкой паутиной, выуживают из потемок добычу — стеклянистых жучков, крохотных мошек, занесенных сквозняком в глубину. Обманчивое свечение, которому надлежит прельщать, заманивать, — мириады и мириады сверкающих точек во мраке — создает в недрах горы образ неба и зачаровывает черные пещеры, превращая их в мнимо беспредельное пространство, пронизанное звездными скоплениями, спиральными туманностями и пересекающимися галактиками. Но муха, которая спустя девять месяцев выбирается из этого свечения, выползает из личиночной оболочки, улетает навстречу голодной смерти: она рождается на свет без органов пищеварения и поедания; слепому, безротому существу только и хватает сил продолжить в кромешном мраке свой род и тем обеспечить дальнейшее существование подземного небосвода. Ведь после первого и последнего слепого соития — да-да, можно спокойно назвать его *актом любви* — и откладывания яиц ждет одна только смерть.

При каждом шаге под ногами у нас хрустел тогда толстый ковер из дохлых мух. Порой утопая в нем по щиколотку, мы добрались до подземного озера и нашли у берега зачаленную лодку; проводник маори отвязал ее и, отталкиваясь веслом, повел к другому берегу, тоже погруженному в непроглядную тьму. Мне он посоветовал лечь во время переправы на дно лодки и смотреть в вышину. Вот так я и плыл, парил под спиральными туманностями и звездными скоплениями. Когда перевозчик в конце концов осторожно извлек весло из воды, осторожно опустил его в лодку и выключил фонарик на каске; под безымянными созвездиями, сокрытыми в недрах земли, стало так тихо, что я услышал, как в голове звенит кровь.

Я не встревожился, нет, на первых порах только удивился, когда этот певучий звук, который я слыхал и раньше, в тишине соляных штолен и в огромных, обледенелых альпийских пещерах, не пожелал умолкать. Даже спустя несколько часов, выйдя в сияние глетчеров, в буйную зелень, на ветер, под шумный дождь, я слышал все тот же звон. Если память мне не изменяет, это и было начало, самый первый раз, когда моя голова на много дней и ночей, на многие недели забыла о тишине, а я еще не знал, как все это называется.

Писатель? Поэт? Сочинитель? Нет, я на такие звания не претендую. Рассказчик? Называйте меня, как хотите.

Признаться, в формулярах я простоты ради иногда пишу *автор*, но таковым может быть и составитель инструкций по использованию тех или иных вещей. В формулярах мне больше всего по душе пункты, где можно назваться просто *туристом*, ведь, пожалуй, рассказ тоже предполагает непритязательность, умение удивляться, легкий багаж, любознательность или хотя бы готовность не просто судить о мире, но и познать его, исходить пешком, а если угодно, обойти под парусом, излазить, исплавать и даже выстрадать. Но как долго человеку необходимо просто наблюдать мир, толковать (правильно или превратно) его призывы, знаки и жесты, при этом зачастую впадать в заблуждения и распоряжаться всего-навсего глазами и слухом, но не голосом, не речью — чтобы в конце концов он мог собраться с духом и произнести нечто удивительное и необыкновенное, нечто вроде *однажды случилось так*, чтобы с полным правом заявить: однажды случилось так.

Нет, я отрекаюсь от весьма почетных званий отнюдь не из скромности, просто эти слова: *писатель*, *поэт* или *сочинитель* — постоянно напоминают о том, что ни одна работа в моей жизни не давалась мне труднее, чем писательство. Никакая другая работа не доводила меня до таких исступленных самобичеваний, не заставляла так сомневаться в себе, напрочь лишая сна и покоя; ничто и никогда не казалось мне более изнурительным, более невыносимым.

Рассказывать устно! Ах, устно я столь же легко, сколь и увлеченно могу рассказать самому себе и своим слушателям или друзьям любую историю; в речи допустимы недоговоренные фразы, обрывки, длинные, сбивающие с толку паузы — допустимо всё; можно начать какое-нибудь высказывание сначала и повторять снова и снова, а вот на письме... Рассказывая историю, стараясь хотя бы приблизительно, пусть и с запинкой передать ее содержание, автор никак не освобождает себя от решающего и зачастую мучительного вопроса: как же все-таки прозвучит ее первая, безотменно записанная фраза? Как прозвучит необходимое выражение, единственно возможная фраза в едва ли не бесконечной череде других фраз?

Вперед, и куда подальше! — эти слова вполне могли бы как растяжка или траурная лента украшать мои письменные столы, развеваться флажками на клавиатурах моих ноутбуков; вперед, и куда подальше! — нет, не в попытке бежать от пустого, чистого листа, но от листа почти сплошь черного, испещренного письменами, буквами, словами, от листа, требующего исправлений, уточнений, решений, новых и новых версий и вариантов... Прочь, и как можно скорее! Ни секундой дольше не задерживаться в отсвете потемневшего от множества строчек экрана, где одна фраза теснит другую, вверх и за рамку, выталкивает в небытие, в ничто, чтобы обеспечить место для следующей версии, которая тоже будет оттеснена вверх, отвергнута, отправлена в небытие, переписана раз, другой и третий и порой доведена переписыванием до бессмысленного лепета...

Но едва только таким манером, несмотря на все увертки и неудачи, фраза, история худо-бедно доводится до конца, я слышу сквозь звенящий шум в голове вопросы вроде: *А дальше? Как будет дальше? И где? Какова будет следующая фраза? И та, что за нею?* — вопросы, неумолимо тре-

бующие вернуться к началу, на десять, на сто полей назад! На периферию бесконечных белых пятен на глобусе, который можно заполнить в лучшем случае фрагментами, участками побережий, островками, скалами, меж тем как целые континенты, подводные, скрытые океанами горы, огромные города, пустыни — исполинский остаток! — наколотые на незримую ось меж недостижимыми полюсами, неизмеренные, неописанные, нерассказанные плывут мимо, уходят у меня из-под ног в бесконечном своем круженье.

Нет! Не надо мне воды. Я уже успокоился. Что? Ну конечно, кому вы все это говорите! Разумеется, даже фрагментарное картографирование, волшебство, способное если не *всё*, то хотя бы *кое-что* наделить даром речи, обратить в речь, связано... да, и со счастьем тоже. Ничто иное не в силах вывести меня так далеко, полностью за пределы экрана, стола, бумаги, в пространство, где я определяю высоту гор, глубину морей, продолжительность жизни или целой эпохи. Я определяю, когда восходит и заходит солнце, а равно созвездия и луна. Ведь когда люди вкупе с домами, нивами, полями сражений, дворцами, бункерами, памятниками — и небесами! — превращаются в слова, то чисто виртуальное, даже райское, небесное может разом, в стаккато нескольких придаточных предложений, стать *реальным*, тогда как монументальное, казалось бы нерушимое, непобедимое, непреходящее с неменьшей легкостью, играючи исчезает, через посредство других слов.

Только в голове, говорите? *Только* в воображении рассказчика и его слушателей? Да, конечно. Где же еще? В конце концов лишь там мир обретает полноту, лишь в пространстве повествования возможное (по крайней мере, сбыточное) и необходимое, фактическое, — *словом, все, что имеет место*, — находятся бок о бок, отделенные друг от друга не более чем тончайшими, осциллирующими мембранами. То, чего нет, может возникнуть немного погодя или прямо сейчас — в этом пространстве, как нигде; не подлежит сомнению и такое: то, что есть, остаться не может. Какое счастье и одновременно — коли это касается самых для нас дорогих и самого дорогого — как печально.

Вы не понимаете? А разве, по-вашему, не печально, что — скажем, через несколько десятков лет, считая от сегодняшнего дня, от этой минуты, или, для верности, через девяносто-сто лет — многое будет таким же, как сейчас: то же небо, почти безоблачное на западе и еще пасмурное на востоке... за окном овечий выгон с островками утесника, дальше обрывистый берег, несколько морских чаек над широким зонтиком шотландской сосны, во дворе лающий сеттер с длинной шелковистой шерстью... всё как сейчас, нет только нас — нас и самых дорогих нам людей. И то, чему мы радовались, над чем иной раз даже чересчур громко смеялись, — оставленная на кухонном столе записка, а на ней схематический человечек с букетом цветов в когтях, список покупок и накарябанное в конце название фильма, на который мы уговорились с кем-то пойти, — всё в прошлом, всё забыто.

Конечно же и успешное превращение чего-то в слова, в язык не может ничего удержать по-настоящему, не может сохранить, но хотя бы избав-

ляет меня от мучительных вопросов, даже — на миг — и от вопроса о следующей фразе. Успокаивает. Миг тишины. Чудесно.

В этот миг, такой быстротечный, я способен на многое из того, что обыкновенно пребывает в недостижимой дали, — на терпение, кротость, сдержанность, даже на утешение... И тогда на протяжении нескольких ударов сердца сам могу предоставить то самое, что порой нахожу в историях рассказчиков или писателей, которых слушаю или читаю, — не развлечение, не дурман, но утешение, не отвергающее уход в небытие, а повествующее о нем и потому делающее его вполне сносным.

Вам доводилось слышать о способе погребения, бытующем в некоторых местах Тибетского нагорья? Покойников там оставляют на верхних площадках *башен молчания*, на съедение стервятникам, чтобы те, налетая шумными стаями, наподобие ангелов, так сказать, по кускам разнесли на все четыре стороны изношенную оболочку странницы-души. При этом башенные сторожа — прислужники, одурманенные алкоголем или иными наркотическими средствами, — обязаны на глазах у провожающих расчленить тело на куски, удобные для птиц. Перед окаменевшими от горя свидетелями — женами, мужьями, сыновьями, дочерьми — сторожа берутся за топоры, за большие ножи и разрубают, разрезают опустевшее тело любимого человека, разбивают дубиной голову, крупные кости, колени, пока куски не станут достаточно мелкими, достаточно легкими, чтобы поднять их в небо, в облака, в вышину.

А на подмогу плачущим, иной раз даже голосящим участникам похорон, тем, кто — покамест — еще жив, еще цел и невредим, приходят аскеты-утешители, почитаемые как святые; единственная их задача — поддержать горюющих и не просто их утешить, но вызвать улыбку. Они заключают скорбящих в объятия, выслушивают их, молчат вместе с ними, рассказывают истории о запутанных странствиях души, остаются рядом, не покидают их — до тех пор, пока они не улыбнутся.

Вы отмахиваетесь? Не хотите слушать эти эзотерические байки? Ну, я же вовсе не берусь утверждать, что сам как рассказчик, благополучно добравшийся до конца истории, вправду почувствовал бы себя способным и на это... н-да, вероятно, я бы потерпел неудачу с таким утешением, но попытаться попытался бы. Потому что в конце истории, точнее в ее недрах, я, как никогда в жизни, убежден: все человеческие усилия имеют смысл.

Мания величия, говорите? Возможно, вы правы. Но разве всякое притязание дать чему-то имя, разговорить не имеет касательства к этой мании и не может кончиться как всякая мания — падением в бездну? Ведь — увы, *увы!* — если попытка терпит неудачу, и язык оборачивается против тебя самого, и ни одна фраза, ни одно описание не желают принимать форму, если все сплошь неудачно и требует переделки, снова и снова, то меня самого охватывает такое смятение, такая растерянность, что я нуждаюсь в утешении ничуть не меньше какого-нибудь скорбящего на площадке тибетской башни.

Ах, вам это знакомо? Знакомо, стало быть.

И вы спрашиваете зачем? Зачем вся эта каббалистика? Зачем литература, зачем рассказы? И спрашиваете именно меня? Не говоря уже о том, что любая история, нашедшая хотя бы *один* голос и *одно* ухо, наверняка плюет на оправдания, — едва ли можно независимо от времени и места сказать, какова будет первоочередная реакция на рассказ: ясность? успокоение, утешение, веселость? политические отставки?

Продекламируйте какое-нибудь стихотворение или прозаический отрывок (если угодно, хоть прокричите, почему бы и нет?) на ближайшем углу, потом по эту и по ту сторону какой-нибудь границы, укрепленной колючей проволокой и минными полями, потом в мечети, в паломнической церкви, в театре либо на так называемом партийном съезде — и протест, ярость, скука или восторг проявятся совершенно по-разному. Воздействие, производимое повествовательной или поэтической работой в разных общественных и исторических сферах, сам ее автор — за исключением единичных скандальных случаев — ни предусмотреть, ни тем паче предопределить не в состоянии.

Рассказчик, писатель, поэт может только следовать своим замыслам — художественным, всепоглощающим, а если угодно, и воспитательным, и политическим, — но что получится из результата его труда, тем более по окончании его собственной жизненной истории, не поддается планированию. На что способна литература, что́ на нее *возложено*, какие просветительские, эстетические или же чисто развлекательные задачи она может выполнять, раз и навсегда, по-видимому, установить нельзя, все это непрерывно меняется — с каждой границей, с каждым языковым пространством, страной, захолустьем и во все времена.

Вы спрашиваете о предназначении поэта? Разве мы тут на бирже труда? Меня покуда никогда не интересовало распределение обязанностей и задач. И я не думаю, что рассеянную по всему миру группу людей, которых вряд ли связывает нечто большее, чем плохо поддающаяся дефинициям писательская работа, можно заставить принести какую-либо клятву — скажем, обязаться занять от имени читателей некую позицию, которую в принципе нельзя делегировать, а именно позицию вполне миролюбивого, гуманного индивида. Господи боже мой, не спешите! Не путайте своих рассказчиков и поэтов с высоконравственными героями духа! Ведь литературно-историческая галерея предков далеко не галерея героев, зачастую она куда больше смахивает на ночлежку и приют невротиков, жаждущих любви и признания.

Коль скоро ход истории вправду представляет собой *прогресс в осознании свободы* — ведь данный тезис отстаивал даже такой философ, как Георг Фридрих Гегель, весьма скудно информированный о мире и его культуре, — то для развития этого осознания просто рассказ может быть, по крайней мере, столь же подходящим средством, сколь проповедь, миссионерская деятельность или один из тех пылких призывов, которые быстро оборачиваются стукотней по клавишам идеологического фразерства. Если с ораторской трибуны, с плакатов и транспарантов клеймят, например, варварство расизма, авторитарной власти или колониалистов-сверхчеловеков, то просветительская задача рассказчика, вполне возможно, заключается в изображении этого варварства — его ужасов и глупости — в совершенно конкретных, индивидуальных фор-

мах, изображении не обобщенном, а предметно-точном и лаконичном. Ведь кто хоть раз, скажем читая какую-нибудь, может статься сентиментальную, историю о любви и войне, попробовал представить себе — только *представить себе!* — внутренние и внешние опустошения, произведенные авторитарным варварством, тот, пожалуй, станет чуточку менее восприимчив к соблазну рукоплескать любой шумихе, где бы она ни происходила — в пивных павильонах, в "хрустальные ночи" или в кафе для партийных собраний.

Рассказывание требует творческого воображения, сопереживания, в том числе от читателей и от слушателей, а жестокость, догматизм, политическая или религиозная глупость отчасти суть именно ужасающий дефицит воображения, дефицит представлений о реальной жизни, о счастье и несчастье одиночки. Рассказчик способен помочь своей публике приобрести иммунитет к шумихе, а то и заставить ее посмеяться над глупостью варварства. Ведь варвары не только ужасны, они всегда еще и смешны.

Помню вечер в Вене, когда актер и писатель Хельмут Квальтингер[1] читал в Большой университетской аудитории отрывки из "Майн кампф" Гитлера. Редко мне доводилось слышать такой громовой хохот. А ведь Квальтингер читал оригинальный текст, слово в слово. Для диктаторской натуры нет ничего убийственнее — а для ее противников ничего упоительнее, — чем смех над тоталитарными амбициями! Скверно, очень скверно для любого властителя, когда его, восседающего на троне, попросту осмеивают. Вы еще не забыли запечатленные телекамерами умоляющие, а под конец совершенно сумбурные знаки, которые делал своему народу великий кондукатор Чаушеску, когда во время последней в его жизни речи *этот народ* вдруг начал хором ему возражать, а потом и вовсе захохотал?

Я не перестаю удивляться, что по меньшей мере некоторых представителей публики весьма интересует, как писатель выглядит, как говорит, как живет, как одевается и что́ способен экспромтом сказать о Боге и мире. Лично я не мастер с ходу выдавать комментарии по поводу текущих событий. То, что мне хочется сказать, я пишу. А это прежде всего требует времени. Стремительность актуальных событий не моя стихия. Перед микрофоном или телекамерой — когда, к примеру, спрашивают моего мнения о неком президенте и лидере так называемого "свободного мира", о человеке, который вдобавок гордится, что в бытность свою губернатором Техаса подписал более ста смертных приговоров, — я чувствую себя ничуть не сообразительнее любого прохожего; у меня, растерянного туриста, нет и ответа на вопрос, как можно практиковать пытку многих десятилетий одиночного заключения с последующей казнью и называть это *правосудием*; я не знаю и как можно вместо переговорщиков и послов посылать наемных убийц и бомбардировщики, а бойню, спланированную с точностью до доли дуговой секунды, называть *внешней политикой* и *политикой безопасности*. Бороться с терроризмом террористическими же инструментами и методами? Обеспечивать безопас-

1. Хельмут Квальтингер (р. 1928) — австрийский писатель, известный актер театра и кино.

ность не поддающимися никакому контролю системами вооружения — химического, биохимического, ядерного? Со всеми почестями, гимнами и красными ковровыми дорожками прямо на взлетной полосе встречать идеолога кампаний возмездия и смертной казни? Пожимать руку палачу? Это как? Ох, простите, вопросы здесь задаете вы.

Какая метаморфоза: в пространстве, где я как рассказчик, к примеру, заставил некую историю подать голос, вот только что были возможны ясность, уверенность и даже спокойствие. Но в ту самую секунду, когда я, покинув это пространство, начинаю, к примеру, *говорить* в пояснение, я порой опять становлюсь просто-напросто взбудораженным недоумком, который, заставь его высказаться на ближайшем углу или в каком-нибудь закоулке, где журналисты охотятся за суждениями, несет ахинею, запинается, потеет.

Не отрицаю, как проповедник, моралист, а тем паче пророк я слабоват, способностей не хватает. Да и о чем, собственно, проповедовать? О том, что существующее не может сохраниться навсегда? Так это ясно и без пророчеств. Беспрестанно каркать memento mori[1] — в лучшем случае смехотворно. А более-менее благородных пессимистов от культуры и без того пруд пруди. Вдобавок некоторые аспекты прогресса иной раз приводят меня в немалое восхищение. Просто верить, что губительный поток промышленного развития катится все дальше и использует все более изощренные средства генной инженерии и нанотехнологий, в общем-то удовольствие весьма скромное. Однако вера в *прогресс в осознании свободы* затрагивает кое-что существенное — невзирая на все разрушительные и смущающие побочные явления в истории цивилизации. Что ни говори, бесспорно прибавилось и хороших перспектив, а не только видов на конец света. Конечно, как и прежде, не обходится без борцов за Бога и отечество, инженеров от пыток, инквизиторов и всемирных полицейских, но эта зловещая камарилья уже не властвует мировыми событиями в одиночку... то есть уже не безраздельно... надеюсь.

Вот видите: как оратор я наверняка слишком медлителен, чтобы выступать с международно-политическими или культурно-философскими комментариями; решающие фразы по главным темам публичного опроса, а тем более открытой дискуссии обычно приходят мне на ум, только когда я вновь остаюсь один, а возможные слушатели успели разбежаться... Однако ж так или иначе важно, чтобы все то, что вообще необходимо сказать, высказывалось или писалось разными ораторами и рассказчиками на разных уровнях — эссеистическом, поэтическом, нарративном, а по мне, хоть бы и в форме погромных речей и памфлетов. Или поэтам и писателям до́лжно всякий раз выступать этаким хором? Всем сразу, стриженным под одну гребенку, согласно общепризнанному тематическому канону, в один голос и с одинаково благими намерениями?

Лично я оставляю за собой право пребывать в растерянности и лишь в процессе письма мало-помалу уяснять себе, что́ именно хочу сказать. Но как только история дописана до конца, особо ретивым предста-

1. Помни о смерти (*лат.*).

вителям публики не терпится услышать написанное, всенепременно еще раз и всенепременно изустно, а главное — в других словах. В других словах! Пусть-ка он себя покажет, *писатель* этот. Пусть говорит, а не только пишет...

Не возникает ли и у вас порой ощущения, будто сей ритуал нужен опять-таки затем, чтобы лишить литературную работу загадочности, отстраненности, а может быть, и завершенности? Нет ли здесь стремления вернуть назад, в *реальную* жизнь, диковинную птицу, дерзнувшую притязать на собственный мир, более того — осмелившуюся его придумать, не пожалевшую на это времени и даже изобретшую собственный язык? Вернуть ее в ту клетку, где в конечном счете и поэты начинают запинаться.

Что? Вам было бы достаточно *заявления*, нескольких дискуссионных *высказываний*? Тогда, наверно, под вашей лампой сидит не тот человек. Я всегда верил, что осознание, уяснение так же индивидуальны, как постижение или раскаяние. Ведь разъяснение, уяснение происходит прежде всего в голове индивида, разве нет? И разве не тщетна в таком случае любая попытка облечь этот процесс постижения мук или возможного и утраченного человеческого счастья в некую программу, выстроив которую непременно обретешь полную *ясность*?

Ведь и страх, и желание навсегда его превозмочь по-настоящему уясняются только через историю одиночки. Если вообще возможна позиция, отвечающая рассказу, то, безусловно, это позиция одиночки. Разве при рассказывании дело не идет именно о том, чтобы на единичном примере изобразить неповторимое, уникальное и, быть может, как раз таким образом сделать его наглядным примером? Ведь мир состоит не из безликих масс, работающих, марширующих или устремляющихся на отдых, а из людей с именами, с чувствами, с днями рождения и смерти, с биографиями. Вот это и есть моя тема, только об этом я могу рассказывать и трачу на это столько времени, сколько нужно. Итогом подобных усилий может оказаться роман или просто историческая зарисовка, повествование, в лучшем случае являющие собой нечто вроде музея ярких мгновений, накопленных за долгие годы. Но так ли уж много у человека ярких мгновений!

Конечно, иной раз и тщеславный недоумок в образе поэта или рассказчика способен на толковые высказывания — в одно из упомянутых ярких мгновений, в одной из своих историй. Даже о счастье и бедах вполне можно писать, причем самому автору отнюдь не обязательно их испытывать. Ведь как-никак он владеет не только языком, прежде всего у него есть глаза и уши, с помощью которых он может следить за жизнью других, а затем рассказать о ней так, чтобы хоть один из слушателей или читателей узнал в этом рассказе собственное счастье, собственные беды.

Нет, в *такое* заблуждение я никогда не впадал — не мнил себя рассказчиком для всех. Вокруг историй и их авторов обычно складывается как бы подобие семей, больших или малых, которые — во всяком случае, насколько мне известно по миру книг — иной раз с насмешливым пренебрежением, даже с презрением показывают пальцем на *других*: *Что-о? Им нравится вот это?* Конечно, порой поднимают на щит и не менее де-

спотичный величественный образ: *один* пусть говорит, а *все* слушают... Однако сие чудо, пожалуй, ознаменовало бы не просто конец многоголосия, но конец литературы.

Много лет назад, по пути из северной Сахары через Высокий Атлас на равнину Хауз, я провел пять ноябрьских дней в Марракеше и там ощутил то нарастающую, то убывающую силу историй как медленное круженье хоровода, как танец, фигуры которого сравнимы с теми изменчивыми узорами, что возникают из железных опилок под воздействием источников магнетизма.

В те дни я нередко часами сидел за мятным чаем с печеньем на плоской крыше над Джемаа-эль-Фна, площадью Мертвых, где некогда выставляли насаженные на колья черепа казненных. Но просторная эта площадь в центре самого маленького из королевских городов Марокко давным-давно вновь принадлежит только живым. Сверху, от моего чайного столика, Джемаа-эль-Фна даже виделась мне аллегорией жизни. Ее пространство, затененное лишь быстролетными облаками и минаретом мечети Кутубия, на севере ограниченное закрытыми, сумрачными лавками базара, напоминало озеро, куда множеством притоков вливались путаные улочки медины[1]: новая и новая публика выплескивалась из пропитанных всеми ароматами Аравии лавок торговцев пряностями, шелками и коврами, из лавок корзинщиков, гончаров, кожевников, медников, ламповщиков и красильщиков, и там, на Джемаа-эль-Фна, эта публика преображалась из прохожих, торговцев и покупателей в зрителей, в слушателей, обступала десятки забавников, показывающих под открытым небом свое искусство, — огнеглотателей, дрессировщиков с обезьянками, барабанщиков и музыкантов, играющих на у́де[2], предсказателей, жонглеров, каллиграфов и знахарей, канатоходцев, заклинателей змей... а в первую очередь рассказчиков, сказителей.

В берберских деревнях Высокого Атласа, на родине многих сказителей с Джемаа-эль-Фна, я видел сверкающие в лучах ноябрьского солнца букеты французских спутниковых антенн — металлические дебри, которые ловят в догорающем предвечернем небе мыльные оперы и доставляют их в глинобитные домишки, к по-прежнему открытому огню очагов. Здесь же, на площади Мертвых, эти рассказчики стояли так, будто само время застыло без движения с тех пор, как была написана история, приведшая меня в Марракеш. Маленький томик лежал в моем багаже.

"Больше всего народу собирают рассказчики", — читал я в книжке, на сей раз она, открытая, была передо мной, между чайными стаканами. Элиас Канетти. "Голоса Марракеша". "Больше всего народу собирают рассказчики. Люди обступают их плотным кольцом и подолгу не расходятся. <...> В наших краях я редко хорошо себя чувствовал среди тех, кто живет литературой. Я презирал их, потому что презираю кое-что в самом себе, и это кое-что, по-моему, бумага. Здесь же я вдруг очутился среди поэтов, на которых мог смотреть снизу вверх, потому что ни единого их слова никогда нельзя было *прочитать* на бумаге".

Что именно эти поэты, невзирая на пучки антенн в их родных деревнях, невзирая на оцифрованные мыльные оперы и скулеж электрон-

1. Медина — старая, центральная часть североафриканских городов.
2. Уд — восточный щипковый струнный инструмент, предшественник европейской лютни.

ных шлягеров, доносящийся из базарных лавок, — что именно они рассказывали толпам восторженных слушателей, я все равно понять не мог, хотя спустился с крыши и вместе с многими другими пробился поближе. Но, вернувшись к своему столику, я видел, как в течение одного-единственного вечера хоровод слушателей кружил вокруг то одного десятка, то двух с лишним десятков рассказчиков, видел, как круги этого хоровода в одних местах густели, уплотнялись, как бы устремлялись к центру, а в иных местах, где история потеряла силу, отступила перед другой или просто закончилась, расходились и исчезали, поглощенные другими кругами.

Рассказчики — многие из них неграмотные, как и преобладающее большинство подданных Королевства Марокко, — не имели ничего, кроме голоса; ни костюмов у них не было, ни реквизита, ни письменного текста, и все же на Джемаа-эль-Фна круги их публики держались много дольше всех остальных. И опять-таки только рассказчики оставались на площади почти дотемна, когда заклинателей змей, фокусников и прочих комедиантов мало-помалу сменили хозяева ресторанчиков, и там, где совсем недавно ликованием, смехом или вздохами встречали кунштюки фокусников и дрессировщиков, теперь разжигали жаровни и газовые плитки, накрывали столики и при свете свечей и факелов начинали готовить ужин для ежедневной клиентуры, для тысяч гостей.

И если кто-нибудь из рассказчиков все-таки умолкал, присаживался к одному из изящных плетеных столиков, превращаясь в посетителя передвижного ресторана, или исчезал в толпе, на том месте, где он вел рассказ, оставалась пустота, и заполнялась она словно бы медленнее, чем пустоты, оставшиеся после комедиантов, как будто реальная жизнь медлила возвращаться в пространство, которое занимала просто история.

Отчего бы просто-напросто не пойти дальше? — порой спрашиваю я себя. Быть может, качая головой или заскучав, но все же пойти *дальше*, к следующему рассказчику, к следующему кружку, к следующему семейству, коли уж там, где ты вот только что стоял, ничто тебя не удерживает — ни слушать, ни читать более нечего... К чему, например, бесконечные яростные свары из-за того или иного рассказа, из-за той или иной книги, разыгрывающиеся в литературных приложениях и разделах, которые, что ни говори, претендуют называться культурной частью газеты?

Как вы сказали? Живая дискуссия? Полемика о литературе? Аргументированные споры?.. Тот, кто выступает перед общественностью, публично произносит речи, рассказывает, *печатается*, должен, по-вашему, учитывать и возможность публичной критики по своему адресу?

Ну разумеется! Разумеется, с этим я согласен, а еще признаю, что не очень люблю читать газеты и касательно книг и всего прочего предпочитаю руководствоваться рекомендациями близких друзей и знакомых, а не так называемыми приложениями, поэтому, наверно, я не особенно хорошо информирован о положении вещей, но если говорить о дискуссионной культуре, то даже в кругах книжников, как мне известно по собственному опыту, слышен гвалт потасовок — да такой, будто в нелюбимом рассказчике, писателе или поэте надлежит не просто раскритиковать автора литературного опуса, а еще и наказать кое-кого!

Не рассказчика, а ужасного злодея, который не только оскорбил тонкий вкус того или иного критика, но вдобавок искалечил его сына, изнасиловал его жену и дочь да еще и устроил на месте преступления пожар и теперь в наказание должен быть *уничтожен.*

Ладно, соглашусь с вами и здесь: разумеется, вполне возможно, что эти взрывы ярости и ненависти обусловлены определенными сложностями выражения, и, может статься, критик ничего такого *в виду не имел,* просто у него так *написалось*... В самом деле, иные из этих поношений чуть ли не трогательно беспомощны — будто накаляканы бревном или толстенным пастельным мелком, а уж никак не пером, не карандашом или иной из письменных принадлежностей. Разумеется, оправдан и ваш вопрос, почему бы как раз в когорте критиков должно быть меньше середнячков, чем среди рассказчиков, музыкантов, художников.

С точки зрения статистики заурядное, посредственное, беспомощное и неудачное, пожалуй, повсюду скорее правило, не в пример *крупной удаче.* Так почему же именно в критике мастерство должно встречаться чаще, нежели в иных жизненных сферах, — жаль только, иной раз думаю я, что люди, вполне одаренные талантами и способностями для работы, скажем, на колбасной фабрике, на скотобойне или в качестве помощника прозектора — ведь на колбасных фабриках и в анатомических театрах тоже выполняется необходимая, даже неизбежная работа, — что, стало быть, эти люди, которых по ошибке занесло в литературный отдел газеты, растрачивают свои подлинные таланты именно в критике. Ведь совершенно естественно, что такой заблудший человек чувствует себя обиженным, даже оскорбленным, когда вместо некой особенной колбасы или трупа ему — опять! — подсовывают книгу либо какой-нибудь иной продукт, который в его глазах представляет собою сущее дерьмо.

Вы качаете головой? По-вашему, я преувеличиваю? Говорите, для таких формулировок вам бы хотелось услышать примеры, доказательства? Ну что ж, как уже сказано, я не большой любитель читать газеты: возможно, поэтому одна мюнхенская приятельница осенью 2001 года прислала мне в Ирландию экземпляр образцового возмущения некоего франкфуртского театрального критика, с припиской: *радуйся, что ты еще жив.*

Поначалу я не совсем понял ее ремарку (но об этом позже) и стал читать, как означенный франкфуртец страдал на мюнхенском спектакле по бюхнеровской "Смерти Дантона" и в конце концов до того вознегодовал, что под заголовком "Справедливость и мерзость" сложил хвалебную песнь гильотине. Истерзанный спектаклем критик, правда, оговорился, что уничтоженным их же собственной революцией Дантону, Робеспьеру, Сен-Жюсту и многим "другим прекраснодушным организаторам массовых убийств даже задним числом не стоит желать смерти", но тотчас решительно потребовал снести голову хотя бы режиссеру, художнику или актерам — не говоря уже о "публике, изрядно утратившей самоуважение", — ведь после столь убогого театрального спектакля "гильотина будет поистине благословением".

Но, сударь, — можно бы успокоительно пробормотать и в этом случае, — нам наверняка не надобны ножи и секиры, а тем паче гильотины... Однако в тот раз я лишь черкнул мюнхенской приятельнице от-

крытку с вопросом: стало быть, в политически высококорректной Германии наконец-то опять разрешено пользоваться несколько просторечными формулировками и урезонивать виновников скверного театрального спектакля издавна привычным, лапидарным окриком "*тыкву долой!*" и не вызвать при этом ни единого слова в защиту, ни единого протеста? Кстати, открытка изображала южноирландское побережье за моим окном, Хорс-айленд, мирный холмистый ландшафт, поросший соснами, арековыми пальмами, рододендронами, идиллию, взрастившую, однако, людей вроде Майкла Коллинза и других основателей Ирландской республиканской армии, но это так, к слову. Моя открытка с прекрасным видом — между прочим, опять-таки к слову, где-то здесь, среди моря холмов, Майкл Коллинз позднее был застрелен своими же людьми — вернулась ко мне обратной почтой, с небольшой поправкой мюнхенской приятельницы: она убрала знак вопроса.

Разрешено?

Разрешено.

Ах, я хорошо понимаю, что не в меру ретивый театрал, видимо, счел восхваление гильотины весьма яркой, даже соблазнительной находкой, коль скоро на сцене и без того царили Дантон и иже с ним. Опять-таки и острота́, в том числе острота критики, издавна увязывается с лезвиями, секирами и ножами, так что идея остроумная, ведь в конце концов у эшафотов на парижских площадях наверняка тоже здорово смеялись, когда какой-нибудь разносчик с лотком пирожков и сушеных фруктов, поскользнувшись в луже возле эшафота, грохался наземь и вставал весь липкий от полусвернувшейся крови, похожий на кровавый кусок жарко́го... Но потом, весьма тревожась за явно до крайности возбужденного франкфуртского гражданина, я спросил себя, не нашлось ли в его окружении, в редакции или вообще среди благожелательных соседей хоть одного свидетеля этого приступа — свидетеля, который мог бы его успокоить. Ведь в голове у бедняги не иначе как случился пожар, дымился там, полыхал ярким пламенем и тщетно ждал, когда его потушат.

Ну вот, теперь вы сомневаетесь? По-вашему, за моими столь много в себе скрывающими наблюдениями наверняка таится еще какая-то задняя мысль, какая-то подспудная колкость? Или я открыто свожу счеты с поклонником гильотины? Может, сей кровожадный франкфуртец успел и мне тоже пригрозить не просто поркой, а сразу гильотиной?

Вы чуткий слушатель. Снимаю шляпу. Но вы ошибаетесь: признаться, этот человек привлек мое внимание совершенно случайно, как один из самых голосистых в том хоре, который вступает после премьер и запретительных сроков, однако я ему даже обязан! И это лишь осложняет дело. Покамест скажу вам только: к "Смерти Дантона" я никакого отношения не имел. Вдобавок я покамест никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах не отбивался от критиков публично, не прекословил даже тому, который был не в состоянии правильно воспроизвести ни мое имя, ни название одного из моих романов, не говоря уже о сути. Никаких протестов. Никаких комментариев.

Ведь прежде чем первый критик брал слово, я уже неизменно успевал высказаться; то, что мне хотелось сказать, уже существовало в виде

книги, в виде рассказа. Конечно, странновато, дойдя до конца истории, умолкнуть, как раз когда многие другие поднимают голос. Но тому, кто рассказал свою историю до конца, остается лишь довериться ей и отдать ее в распоряжение слушателей или читателей. Любая попытка сопроводить написанное комментариями, разъяснениями, дабы предупредить совсем уж ложное толкование, безнадежна и смехотворна.

Даже тот, кто изо всех сил старается отбить хотя бы самые грубые нападки и исправить недоразумения или просто опечатки, очень скоро приобретает сходство со смешным персонажем незатейливых кинокомедий, который тщетно пытается оторвать от штанины, ботинка или рукава надоедливый клочок клейкой ленты: этот клочок или бумажка, на которой, глядишь, еще и написано какое-нибудь бранное или глумливое словцо, немедля цепляется к другому рукаву, к другой штанине, к другому ботинку, а то и ко лбу; в ходе гротескного танца, каким мало-помалу оборачиваются безуспешные попытки избавиться от него, путешествует по всему телу персонажа, а тот на вершине смехотворности, глядишь, еще и теряет равновесие, умудряется угодить в кучу наметенных ветром точно таких же наклеек, клочьев клейкой ленты и бумажонок с аналогичными надписями, падает, встает с головы до ног облепленный шелестящим мусором и, покорившись судьбе, ковыляет прочь.

Все, о чем рассказывает история, нигде не раскрывается яснее и не впечатляет сильнее, чем внутри самого рассказа. Вам нужны факты? Как подсчитали статистики моего издательства, истории, написанные мною на родном языке, переведены уже на три десятка других языков. Сопровождать эти истории пояснениями означало бы не писать более ничего нового, а только надзирать за уже написанным, комментировать, быть может, и защищать. Причем переводы *на иностранные языки* еще не самая большая проблема, ведь и на родном языке все, что я пишу, переводится в умы и сердца отдельных читателей, и одна книга, одна-единственная, превращается в воображаемую библиотеку, которая даже при сравнительно малом тираже может стать больше Александрийской.

У каждого читателя иная, *собственная* версия моей истории, и в конечном счете сам рассказчик с его прочтением — всего лишь один из многих пересказчиков, отличающийся от множества других только тем, что именно он создал исходный текст этой игры в передачу и преображение. Но и ему в разные периоды жизни, в счастливые или несчастливые времена, одна и та же история предстает то как врата в преисподнюю, то как путь к свободе, чуть ли не в райские кущи.

И еще: если уж говорить, если уж искать диалога со слушателями, читателями и критиками, то рассказчику не след только жаловаться, не мешает и поблагодарить, опять-таки публично: спасибо вам за внимание. Спасибо за терпение. Спасибо, что последовали за мной. Ведь такое тоже встречалось и встречается по сей день — поистине загадочная увлеченность и скромность, с какою критики или критичные читатели готовы порой выслушать рассказ, а затем еще и сесть за письменный стол, чтобы послужить этому рассказу, рекомендовать его, распространять по свету. В конце концов в критике тоже существует этакий горя-

чий, заразительный энтузиазм, благоприятствующий передаче и пересказу, а тем самым расширяющий пространство повествования.

Примечательно, однако, что в той же мере, в какой неприятие иной раз вырождается в линчевательский призыв "тыкву долой!", одобрение вырастает до дифирамба. И порой именно дифирамбы опять-таки провоцируют протест: чем больше похвала, тем громче звучат после торжества голоса протеста — весьма избитый антагонизм. Ясное дело, кому охота становиться пятидесятым или восемьдесят вторым в очередь поздравителей с букетами, коль скоро наверняка сорвешь аплодисменты и благодарность уже заскучавших участников праздника, если попросту ткнешь в физиономию виновнику или виновнице торжества таким вот громадным, уже привядшим букетом да еще и слегка повозишь им, будто веником. Чем разнузданней, тем веселей! *Поставили на место*, говорят тогда порой на балконах литературных наблюдателей; *умыли*, открыли глаза, умерили пыл, выразили сомнения... Да что я вам рассказываю, вы сами все это знаете.

Нет, я не исключение и, вероятно, так же легко обижаюсь и так же падок на соблазн, а от похвал способен вконец размякнуть, как и любой другой, однако смею утверждать, что, по крайней мере изредка и на пробу, не доверял дифирамбам точно так же, как и хулам, — защитная реакция.

Возможно, уже тогда, из самозащиты, я, автор репортажей, все равно не любил читать газеты. Порой не прикасался к ним неделями, даже месяцами, куда охотнее отдаваясь исключительно чтению книг. На Яве, в Восточном Тибете, в пустынях северной Индии или на каком-нибудь индонезийском острове, а тем паче в некоторых местах юго-западного побережья Ирландии сама попытка достать литературные страницы немецкоязычной газеты выглядит сущей авантюрой, а online — ведь теперь интернет-кафе есть даже в дождевых лесах и среди глетчеров высокогорных долин, — online я читаю только информацию и свежие новости, но не комментарии и не проповеди. Весьма затруднительно, скажем, в тамильской деревне на восточном побережье Шри-Ланки, или где-нибудь в Амазонии, или в Папуа — Новой Гвинее отрекомендоваться хозяевам дома или армейскому наряду на КПП знаменитым писателем, но не менее затруднительна и попытка в точности объяснить, к примеру, погонщику, который аккурат отдает команды рабочему слону на тиковой плантации, — объяснить, как скверно с тобой обошлись в "Гессенской пекарской газете" либо в "Венском журнале морских свинок" за минувший вторник или, чего доброго, в субботнем приложении. Ах, как скверно. В субботнем литературном приложении.

Ну хорошо, иногда в самом деле трудновато сбросить охранительный кокон рассказа, вновь выйти из истории наружу и оставить всех ее персонажей — без комментариев, без защиты — на произвол понимания или непонимания, персонажей, которые, может статься, сопровождали тебя годами и которых ты с помощью всех доступных тебе средств наделил даром речи. Ведь в конечном счете нередко оказываешься окружен, защищен или осажден персонажами собственной фантазии прямо как людьми из плоти и крови, каковые тоже большей частью витают в

моей голове, в памяти, в мечтах или гневе — во всяком случае, отнюдь не в физической близости от меня.

Со многим — в том числе и с этим сонмом знакомых лиц — расстаешься, найдя выход, конец истории. И тогда вдобавок теряешь голос! Говорить начинают все остальные, а я, я теряю голос, потому что именно я не в силах теперь ничего более сделать для своих персонажей, я и сам превращаюсь в победоносного и жалкого персонажа историй, которые начинают рассказывать о моих способностях или неспособностях на литературных страницах газет, на кафедрах и в семинарах. Я свою историю поведал. Что мне теперь еще говорить? Смешно даже представить себе, как, например, кто-нибудь из рассказчиков на Джемаа-эль-Фна, закончив свою повесть, бежит вдогонку за уходящими слушателями, чтобы проверить, правильно ли они все поняли, а затем преследует этих бедолаг по базарным лавчонкам, донимая их докладами, защитительными речами, похвалами и порицаниями, преследует их до самого дома, до родных горных деревень...

И все же не только для самочувствия рассказчика, но и для его способности продолжать рассказ очень многое зависит от того, как он умеет обходиться с одобрением или поношением, аплодисментами или возмущением, которые ждут его в конце рассказа. Жажда похвал, пожалуй, вредит этой способности не меньше, чем страх перед возможными протестами и, как ни странно, по-прежнему распространенными возгласами *фу!*, которые для меня — по крайней мере, в детских воспоминаниях — куда больше ассоциировались с пуканьем, чем с выражением некого суждения. В моем детстве этим словечком называли соответствующий звук: запрещенный стишок, который мы, хихикая, нашептывали друг другу, монах-капуцин, учитель Закона Божьего, даже включил в список мелких грехов, в каких надлежало исповедаться.

Соломон Премудрый рек:
Громко "фу!" кричать не грех.
А вот коли из штанишек
Тихий вылезет излишек,
От вонючей полосы
Все зажмут себе носы.

Я испытывал прямо-таки безумный восторг, когда во время легендарных радиотрансляций из Линцского земельного театра или с Зальцбургского фестиваля, которые мой отец слушал лежа на кухонном диване, мне разрешалось представлять, безнаказанно представлять, как празднично одетые люди — мужчины в вечерних костюмах или фраках, с пластроном и при бабочке, дамы в умопомрачительно декольтированных платьях — по окончании спектакля превращаются в отвратительных хулиганов: округляют свои благоухающие рты наподобие заднего прохода и завывают: *фу! фу!*

Как *я* поступаю с протестами, с возмущением? Ухожу куда подальше. Вам этого мало? Ну, не считая бегства внутрь новой истории или просто в ту самую голубую даль, куда никак не захватишь с собой местную значимость и важность, ведь там все это погоды не делает; я с годами на-

шел вполне приятный способ глотать любые гадости. Название этого незапатентованного метода, который никому не возбраняется взять на вооружение, — *календарь-лилипут. Фукающий* уже по чисто психогигиеническим причинам и согласно правилам моего детского воодушевления заносится в перечень под заголовком *календарь-лилипут.* А дело тут вот в чем.

Среди множества замечательных подарков, какие я в течение церковного года получал от моей непревзойденной бабушки Терезии Допф, урожденной Мосхаммер, был и такой вот календарь-лилипут, с нетерпением ожидаемый к Рождеству: синяя книжица размером с нагрудный карман, полная картинок и историй. В них передо мною представал тот мир, который я считал миром взрослых, реальный, подлинный, важный мир, только уменьшенный до лилипутских размеров: короли, канцлеры, полководцы, воины и непонятые изобретатели, великие философы, люди искусства, профессора — все в образе мышей, принцев-лягушек, лесных духов или говорящих сосисок. Так называемые трудности жизни, а с ними много такого, что мне еще предстояло постепенно узнать, выглядели в этом календаре вполне обозримыми, так как были уменьшены до размеров мха, гальки или до еще более мелкого формата, и свидетельствовали, что практически все-все на свете может быть *также и* типично лилипутским, исчезающе маленьким и оттого порой смехотворным.

Вы никогда не слыхали про такие календари? А между прочим, новые их издания, модифицированные, но еще вполне узнаваемые как преемники, продаются поныне! В автомате венской Церкви капуцинов, да-да, прямо возле спуска в Императорскую усыпальницу — в "Склеп капуцинов" Йозефа Рота! — к гробам Марии Терезии, императора Франца Иосифа и Зиты, последней европейской императрицы... Да, конечно, можете проверить! Два евро за штуку.

Правда, в стародавней темно-синей, архаичной форме этот календарь веду только я, причем втайне, как черновик исключительно для личного пользования. Своего рода тотем, надежно оберегающий от безумных фантазий и прочих яростных порывов... Ведь тем, кто мне навязывается, хочет поживиться за мой счет и пытается приклеить на мою книгу свое имя вкупе с каким-нибудь бранным словом или так называемой уничтожающей критикой, я нисколько не возражаю, не борюсь с ними, не бранюсь в ответ, а просто отправляю их в архив лилипутского календаря, где они, сосланные в гномье царство, хотя бы изрядно уменьшаются в размерах. Вы совершенно правы: кто станет злиться на крошку гнома?

Нет-нет! Я говорю здесь вовсе не о людях, которые просто заскучали над моими рассказами и романами, одолели разве что первые страницы да и к ним толком не сумели подступиться, — повторяю: я никогда не питал иллюзии, будто пишу для всех, — нет, я говорю о тех, кто своими воплями норовит помешать другим, не дать им пройти по Джемаа-эль-Фна хотя бы до того места, где стою или сижу я, рассказывая свою историю.

Однако у меня в календаре самые страшные соглядатаи и любители разложить всех и вся по полочкам выглядят совсем маленькими и выступают, кстати говоря, не в своей рабочей одежде, не в какой-нибудь безо-

бразной униформе и тем паче не в загадочных привиденческих костюмах, а в воскресных нарядах, в том, что нравится им больше всего, что они любят и восхваляют, — а что́ судье может нравиться больше, чем собственный его приговор, собственное его *произведение*? Иначе говоря, я одеваю своих гномов в изысканно красивые одежды из собственного их гардероба.

Ребячливость, говорите? Самооборона?

Да, конечно, своего рода самооборона, но если вспомнить другие формы самообороны, то моя, как-никак, вполне бескровна, чуть ли не идиллически далека от эшафота и гильотины и в целом весьма доброжелательна к людям, а соответственно, и к гномам, вы не находите?

Примеры? Вам нужны примеры?

Свой календарь-лилипут я предпочитаю листать в одиночестве, но, думаю, вы с подобными предпочтениями так просто не согласитесь... ну, если вы не настаиваете на упоминании имен... откройте любую страницу... вот, например, этот с совсем чуточку перекошенной физиономией, в шляпке от польского гриба, венский сочинитель, которого я подверг уменьшению много лет назад.

Неимоверная память? Вы приписываете мне неимоверную память? Конечно, память у меня острая, ведь каждый, кто занимается рассказыванием историй, прибегает к такого рода памяти.

Я ухожу от темы?

Ладно, вернемся к этому, в шляпке от польского гриба: подобно многим из венской пишущей братии сей венский сочинитель как-то раз тоже воспользовался часто и охотно цитируемым словцом Карла Крауса и таким манером через газету, окрашенную в веселенький розовый цвет пуншевых пышек (дело в том, что бабушка неизменно вручала мне означенные календари вместе с коллекцией стопроцентно безалкогольных пуншевых пышек), сообщил мне, что мой, увы, прескверно написанный роман "Болезнь Китахары" сперва надо "перевести на немецкий язык".

Доставленные мне посредством отдельного розового оттиска образчики перевода на немецкий язык, вышедшие из-под пера оного сочинителя, произвели на меня тогда немалое впечатление, я готов был уже принять его предложение, но прежде — заранее радуясь — хотел выяснить, как примерно будет звучать решительно улучшенная версия моего романа. Лучше всего, думал я тогда, обратиться к хрестоматии или учебнику, куда обыкновенно включают лишь образцово-показательные фразы. И действительно, с помощью младшего брата — он учитель, а заодно опекает публичную библиотеку на Траунзее в Верхней Австрии — обнаружил в учебном пособии с подзаголовком "Австрийская хрестоматия" отрывок из творения этого сочинителя, продемонстрировавший мне, как мог бы прозвучать мой роман в его переводе. Музыка! Ведь в опусе, озаглавленном "Яблоко", уже первая фраза являла собой языковое диво, равных которому еще поискать.

"Поскольку речь, и для меня тоже, идет о яблоке, яблоко со всех сторон вещь круглая, которая так вдоволь вращается вокруг себя самой, а стало быть, и своего предмета, что, пожалуй, плодотворно удалась в собственном своем смысле соку, как ни назови, восхитительна".

Уловили? Меня сей — как бы это выразиться? — блистательно туманный немецкий язык привел в восторг, сходный с тем, какой я испыты-

вал во времена легендарных радиотрансляций хоровых "фу!" из фестивального Зальцбурга. Но как же я был разочарован, когда прочел в литературном разделе все той же "Франкфуртер альгемайне цайтунг", что сочинитель переадресовал свое предложение и перевел "на немецкий" не мой роман, а сонеты Шекспира, тем самым отказав мне в оригинальности возможной кооперации.

Конечно, я не поверил статейке, которая объявила его перевод "наихудшим в мире", я ведь знал цену подобным суждениям: зависть, одна только зависть, кто-то позавидовал, что венскому сочинителю пришла мысль перевести английского поэта на туманный немецкий. Но с нашим проектом было покончено. Я остался при пиковом интересе. Мне ли тягаться с Шекспиром. Что я мог сделать, кроме как нарядить этого человека в самые красивые его фразы и определить в мой календарь?

Как?.. Вот этот... он тоже кажется вам знакомым?

Который?.. Только не запачкайте мне страничку. Кого вы имеете в виду? Ах, этого...

Что в нем кажется вам знакомым? А-а, рыжая головенка. Возбужденность.

Насчет рыжего вы правильно догадались. Это действительно уменьшенный франкфуртский поклонник гильотины. Что-что? Нет, поверьте: к той мюнхенской постановке Бюхнера, которую господин из Франкфурта усиленно рекомендовал палачу, я вправду касательства не имел, история про "тыкву долой" вспомнилась мне, когда я случайно воспользовался разрекламированным в газете предложением и отправился самолетом из Лондона в Берлин...

Гм... Ладно, не стану больше скрывать, что господин из Франкфурта злобствовал не только по поводу "Смерти Дантона", но также по поводу моей персоны и написанной мною "Тирады", премьера которой в режиссуре Клауса Паймана[1], экс-директора "Бургтеатра", состоялась в рамках Зальцбургского фестиваля, — причем злобствовал изрядно и хотя палачом не грозил, но требовал, чтобы я убрался из театра, зато текст, режиссера, актеров, автора, декорации да и аплодирующую дурупублику, а тем паче тупоумное жюри, кавовое в итоге еще и присудило этому барахлу премию за драматургию, — словом, всё-всё в этом наглом зальцбургском выпаде объявил "театральной катастрофой".

Что ж, господин из Франкфурта как-никак располагал наилучшей, как говорится секретной, информацией. Знал даже историю возникновения этой галиматьи, которую я назвал "Невидимка. Тирада на трех берегах", более того, знал — да-да, уверяю вас! — каждое слово беседы, состоявшейся между мною и экс-директором "Бургтеатра", и в этакой стенограмме продемонстрировал читателям своей газеты, что способен превратить эту предысторию в веселую пьеску. Во время похода, который мы с театральным экс-директором предприняли сообща — критику об этом было известно, — Пайман якобы, "раскрасневшись и с трудом переводя дух, то и дело восклицал: 'Напишите пьесу, Рансмайр!" А когда мы "сидели на спиленной сосне и поедали припасенные булоч-

1. Клаус Пайман (р. 1937) — известный немецкий режиссер, работавший в театрах Франкфурта-на-Майне, Штутгарта, Бохума, Вены и др.

ки с ромадурским сыром", я рассуждал о некой греческой царице, а именно об "Алкионе из Овидиевых 'Метаморфоз'": "Знаете, Пайман, я уже полностью исчерпал ее в романе 'Последний мир'" <...> "Ошеломленный Пайман вскричал: 'Напишите же пьесу, Рансмайр!'" И пьеса, "увы, в самом деле была написана".

Я вправду огорчился. Что же такое я сварганил, раз он твердит, что лучше бы этого вовсе не писать, лучше бы сразу поскорее забыть, вычеркнуть, уничтожить. Господин из Франкфурта выдал свою рекомендацию опять-таки совершенно бескорыстно, ведь после уничтожения, после гильотинирования всего неугодного на театре ему тоже останется только произносить дифирамбы. Но кому охота непрерывно слушать похвалы? Выходит, сей господин готов был скорее пожертвовать собой и своим заработком критика – да-да, остаться без куска хлеба, – чем сызнова отсиживать на бесплатных местах для прессы этакую жуткую пытку. Ведь сущее бесчестие: знойным летом 2001 года наш добрый малый выехал из Франкфурта, чтобы увидеть премьеру "Невидимки", – и на́ тебе... В свое оправдание могу только сказать, что нашего путешественника *наверняка* разозлило не иначе как стечение многих несчастливых обстоятельств. Уже в самом начале возникло недоразумение. А дело было вот как.

В поездках, даже в немецкоязычную заграницу, иной раз вдруг начисто забываешь значение какого-нибудь слова и тщетно стараешься его вспомнить. В данном случае господин из Франкфурта никак не мог вспомнить, что, собственно, значит слово "тирада". В конце концов он каким-то образом пришел к выводу, что "тирада" непременно имеет отношение к ненависти и отчаянию, а потому ожидал услышать на премьере "большой гневный монолог" и, естественно, вознегодовал, что его так грубо разочаровали. "Там следовало бы, – писал он на другой день, – там следовало бы чувствовать бездонную ненависть, исступленное отчаяние... каждый звук – как удар".

Но в тот злополучный вечер ничего такого не было. Что бы ему захватить с собою словарь! И совсем необязательно тяжеленный, многотомный гриммовский, ведь как в нем, так и в любом поменьше, вплоть до тонюсенького школьного справочника по немецкому языку, толкование слова "тирада" отнюдь не связывается с *ненавистью* и *отчаянием*. Ненависть всегда оговаривается особо: *ненавистные тирады* существовали и, наверно, существуют до сих пор. Но без дополнительных, уточняющих эпитетов тирада всегда была попросту словесным потоком, словоизвержением, чуточку недовольным и *агрессивным*, о чем напоминает исходное французское слово tirer[1], но ненависть и отчаяние звучат иначе.

Хватит, говорите? Буквоедство, говорите? Прошу прощения. Я всего лишь подумал... подумал, что писательство, а тем паче писание заголовков и, конечно, подзаголовков неизменно связано с точным значением слов. Не судите меня слишком строго.

Затянуто? Длинно и затянуто? Знаю, но я же пытаюсь разобраться с катастрофой, преодолеть ее и прошу снисходительно отнестись к неизбежно резкому торможению повествовательного темпа. Скорость разъ-

1. Тащить, тянуть, дергать (*франц.*).

яснений всегда очень невелика, можно сказать, они ползут как черепахи. Разве я виноват?

Противоречие? Я ведь говорил, что в долгу у этого господина из Франкфурта, что кое-чем ему обязан? Ну да, это правда. Я обязан ему, к примеру, жизненным правилом, которое гласит, что, обожая гильотину, легко потерять голову; обязан и куда более скромными премудростями вроде той, что нужно всегда иметь при себе словарь, в том числе родного языка, по возможности не терять его и во весь голос рассуждать лишь о таких вокабулах, смысл которых знаешь абсолютно точно. Кстати, насчет назидания: мне вспоминается урок латыни у бенедиктинцев, в Ламбахском монастыре, когда кто-то из одноклассников перевел Dominus vobiscum[1] как *Господь в отписке.* Звучало в общем-то похоже, но добряк учитель не поставил ему ни "плохо", ни "хорошо", не вынес вообще никакой оценки, только черкнул на полях: "Вне конкуренции по причине большой увеселительной ценности".

Зальцбург. Ну да, три берега, тирада Невидимки... как я уже сказал, стечение несчастливых обстоятельств, но я вас спрашиваю: что мне оставалось, кроме как уменьшить франкфуртского гостя в размерах? А раз уж он очутился в моем календаре, то, само собой, и принарядить его надо было соответственно — в выходные шмотки из собственного его гардероба. О чем, спросил я себя, о чем, собственно, вел речь этот господин, когда писал? Он ведь писал! Вправду сам писал книги. Например, одна из них вышла под заголовком "Театр мечты. Сорок четыре любимые пьесы". Главный труд. Каким же объемистым, озабоченно спросил я себя, должно быть сердце, чтобы разом вместить в себя сорок четыре любимые вещи. Не грозит ли это, чего доброго, недомоганием? Аритмией? Инфарктом? Но отвлекаясь от того, что сердечная широта — здесь я, пожалуй, вправе так сказать! — *моего* франкфуртца, может статься, как бы уравновешивает периодические приступы ненависти и отчаяния, его большое сердце обнаруживает и тайные желания.

Вы уж не сердитесь, по-другому у меня никак не выходит: хотя постоянно живу в Ирландии, я не в состоянии полностью вытеснить свои отношения с Веной, свои венские годы, а значит, и психоаналитические порывы. Ведь что, кроме сокровенного желания, придет на ум, если прямо в начале сорока четырех любимых пьес написано: "Поэт выглядит не так, как мы. Но если б мы выглядели не так, как выглядим, то хотели бы выглядеть, как он". И что придет на ум, если в конце означенного главного труда, в самом последнем абзаце мы натыкаемся на пророчество (опять-таки посвященное Поэту!): "Женщины никогда его не покинут, будут вечно слушать его, страдать вместе с ним и вместе с ним наслаждаться. Ах".

Не смейтесь. Я говорю о великой мечте. Если вам хочется немножко облегчить душу, тогда уж, по мне, в той сфере, где господин — простите, Поэт! — из Франкфурта искал синонимы для таких будничных слов, как *введение, эпиграф, предисловие* и проч. Ведь эти поиски, вероятно

1. Господь с вами (*лат.*).

предпринятые опять-таки без словаря, даже терминологического, привели к искрометной идее – "предуслада".

ПРЕДУСЛАДА!

А под этой предусладой красовалась программная фраза, цитата, частью приспособленная к главному труду: "В своем воображении я строю исполинский театр". Естественно, без строительного шума тут не обойдешься. "Снаружи воют пилы, грохочут топоры". И, естественно, само строительство всенепременно происходит среди в высшей степени театрально-драматического ландшафта: "черные, причудливо застывшие массы лавы, похожие на расползающихся по земле ядовитых каменных змей".

По-вашему, это не забавно? Должен вам признаться, что уже слово *предуслада* – я и тут не сумел обуздать свое деревенское происхождение и пристрастие к неприличным шуткам – вызвало у меня перед глазами прямо-таки сладострастный образ: гномик с уже подтекающим, "черным, причудливо застывшим" членом стоит, изнемогая от похоти, перед "исполинским театром" – голой великаншей с гороподобной грудью.

Ах, вот как, вы и этого тоже знаете? Малыша в короне и узконосых ботинках? Верно, он живет и работает в Мюнхене, городе императоров и королей – король Людвиг, император Франц, – поистине метрополии имперской знати. Коронованный гном, опять же много лет назад, так рассвирепел по поводу моего романа "Последний мир", что на языке добрых старых великогерманских лазаретов разоблачил мои литературные потуги как "симуляцию гениальности". Сразу разглядел, что литературные салоны найдут во мне не писателя, а в лучшем случае симулянта.

Но я, в ту пору такой молодой, был еще не столь благоразумен и терпим, а потому огорчился. Ведь в конечном счете господин из Мюнхена выстроил свой приговор на одном слове из моего романа, которое значилось в приложенном списке *замеченных опечаток*. Знаю-знаю, кто же в состоянии прочесть все, что стоит в книге, особенно если попал в цейтнот и незадолго до подписания номера в печать должен настрочить еще и про этот опус. Прочесть всё! Включая листок с перечнем опечаток. Впрочем, опечатка доказывала, что я уже тогда был кем угодно, только не писателем, и, вероятно, умел что угодно, только не писать. Но кому приятно выслушивать подобные истины? Прошу о снисхождении. Да, действительно было время – признаюсь и в этом, – когда я охотно, куда охотнее, чем заурядным туристом, стал бы писателем, тоже писателем! Злой и тяжко обиженный, я решил при первом удобном случае привлечь этого типа к ответу, может статься даже дать ему пощечину, ведь, как сказано выше, я был еще молод и охвачен неутолимой тягой к поэзии. Но в Мюнхен я заезжал редко. А потом неожиданно встретил этого врага на дне рождения.

Как он был любезен! Вежливо представился и тотчас обезоружил меня, фактически разжал мой кулак, первым делом сказав, что я, наверно, не стану с ним разговаривать. Однако ж нет, я все-таки заговорил, потому что хотел этого. Вот и сказал: нет-нет, что вы! – причем отнюдь не соврал и даже настолько увлекся, что позволил себе возразить ему, когда он в великодушно-говорливом настроении, озаренный трепет-

ным светом шестидесяти юбилейных свечей, зажженных в честь нашего общего друга, вознамерился смягчить свой письменный приговор.

Была ли причиной тому неизменно умиротворяющая близость друга-юбиляра? Или что-то другое, еще более загадочное? Здесь и сейчас я уже не могу сказать, что́, собственно говоря, нейтрализовало и разом отключило все мои безумные фантазии и жажду мести, но мне до сих пор кажется, что связано это было с ботинками моего мнимого врага, да-да, с ботинками!

Дело в том, что я тогда, вернувшись из поездки по Японии, прямо на Мюнхенском аэродроме взял такси и, как был, в кроссовках для длительных перелетов, заявился во дворец, где праздновали юбилей, а потому, наверно, подсознательно искал среди гостей, одетых в черные вечерние костюмы, родственно небрежный гардероб. Наверно, только по этой причине мне тотчас бросилось в глаза, что мой убийца, мой смертельный враг был в кремовых ботинках на микропорке — модель без шнурков, так называемые мокасины, какие я до тех пор иной раз видел в интернатах для престарелых, мягкие, прочные, но скрипучие полуортопедические ботинки; печальные старики бродили в них по длинным коридорам, пропитанным застоявшимися запахами кухни и больницы, *скри-и!*, мимо окон, обрамлявших в лучшем случае парковые идиллии или асфальтированные участки для прогулок, *скри-и!*, каждый шаг, каждый жалобный писк подошвы — воспоминание об утраченном времени. Не скрою, я растрогался. Клеветник, которого я хотел призвать к ответу, унизить, поколотить, обругать, носил кремовые мокасины на микропорке и настолько обезоружил меня этими ботинками, что с того вечера я испытывал к нему лишь слегка меланхолическую симпатию.

Какое облегчение, скажу я вам, какое облегчение, когда ненависть и драчливость оборачиваются подобием сочувствия. И какое облегчение иной раз просто-напросто забыть не только имена агрессоров и клеветников, но и названия их газет или заголовок, под которым читал оскорбление, — забыть все и наконец-то получить возможность обратиться к новой истории, хотя бы и из жизни интерната для престарелых.

Опубликовать? Нет, что вы, я никогда не опубликую ни листочка из календаря-лилипута!

Календарь у меня толстый, весьма объемистый? Естественно, он толстый, ведь и я уже не самый юный. Видели бы вы мою книгу хвалебных гимнов... нет, я пошутил, ни в коем случае: дифирамбы — мой тайный порок и останутся скрыты от посторонних глаз.

Не природа ли запустила тот механизм, посредством которого не только жесткошерстная такса, но и философ, турист или поэт обороняется в первую очередь от нападающих, а не от панегиристов? Похвала или хотя бы учтивое молчание, как полагают и величайшие из мыслителей, все равно причитаются им по праву, после столь многих лет раздумий и писаний.

Что?! Повторите-ка еще раз. Календарь-лилипут — выгодная задачка для душеприказчика? Омерзительная идея... вы не ослышались, отвратительная! Календарь или дневник, письма, черновики, заметки — всё, что служит или служило мне для самопонимания и только для личного

пользования, никогда, тем более после моей смерти, не станет достоянием общественности, понятно? Ничто из того, что я сам не писал для публикации и не отдал в печать, не будет напечатано никогда! А если кто вздумает нарушить эту мою волю, каковую вы вполне можете считать первой и последней, пусть у него отсохнут руки, которые он хотел нагреть за мой счет.

Если человек рассказывает, то лишь *он* волен различать и лишь он один волен решать, что́ хочет сказать только себе самому, а что — слушателям и читателям.

По-вашему, я напускаю на себя непомерную важность? Помилуйте, дело-то вовсе не в важности, не в *значимости*. Если вы когда-нибудь с любопытством заглядывали в историю литературы, то наверняка знаете, что не только поэты, но и туристы вроде меня, да-да, буквально каждый, кто способен написать хоть одну мало-мальски правильную фразу, самое позднее после смерти, а тем самым по завершении своего творчества становится объектом так называемого исследования. Лишь творчество покойника, столь соблазнительно завершенное, столь законченное, столь светски определенное, превращается в подлинный соблазн даже для самого целомудренного семинариста.

Как ни досадно, нынче взяли моду все, когда-либо написанное рассказчиком, в том числе сугубо личное, черновое, набросанное для пробы, после его смерти возводить в ранг сочинений и таким образом косвенно требовать от покамест живых рассказчиков, чтобы они вели себя так, будто в ближайшую секунду их хватит удар, и потому необходимо — причем поскорее! — собственноручно уничтожить все, что нежелательно оставлять потомкам. То, что я использую для себя, в сугубо личных целях, для самопонимания, не дает никому из кустарей и любителей домашних обысков никакого права просто так копаться в моем оставшемся на этом свете багаже или читать мои непристойные письма.

Нет, отнюдь! Вы ошибаетесь: как волшебная пауза, несколько мгновений тишины, способствует возникновению музыки, мелодии, ритма, так и опущенное, обойденное молчанием, ненаписанное определяют ценность и характер опубликованного, а равно и рассказанного изустно. Разговаривая сам с собою, чтоб проверить и выправить будущий рассказ, человек, естественно, вправе запинаться, бормотать, горланить, но тот, кто намерен обнародовать каждый вздох или хрюк, возвести его в ранг творчества и сварить на куче мусора свой супчик, был и останется мразью, даже когда я или мои бренные останки давным-давно дымом улетят в трубу крематория.

Я хочу, чтобы в свое время меня сожгли! Можете так сразу и записать. Лучше всего под открытым небом, как в храмовой части Катманду сжигают мертвых на кострах, устроенных на *гхатах*[1] у реки Багхмати; хранители огня осыпают горящие тела гималайскими травами, чтобы дым милостиво укрыл ужасы распада. Однако, если в тот день исчезновение под открытым небом здесь или в ином месте будет по-прежнему противоречить предписаниям насчет загрязнения воздуха и оттого останется под запретом, сойдет и первый попавшийся крематорий. Да,

1. Гхаты — в Индии и Непале спуски к воде священных рек и озер, часто ступенчатые, украшенные изображениями божеств, святых, мемориальными комплексами (чхаттри).

вот еще что, запишите: если на моей урне, в объявлении о смерти, на надгробной плите или ином камне, который сохранится чуть дольше меня самого, — если там нужно что-нибудь написать, то пусть под двумя датами и моим именем стоит *Вперед, и куда подальше*, а более ничего.

Но довольно о будущем и о тех, надеюсь, еще далеких днях, довольно и о гномах. Что? Спасибо, живем помаленьку. И с удовольствием. Иногда — пожалуй, это уже связано с возрастом — я немножко тоскую по оригиналам моих лилипутских календарей, которые, увы, исчезли из моей жизни, как и непревзойденная Терезия Допф, урожденная Москхаммер, ее книжки сказок и рассказы. От этой доброй женщины, которой пришлось схоронить мужа и сына-первенца, когда она сама была еще молода и (свидетельством тому пачка фотографий с фигурным обрезом) хороша собой, мне достались красный бархатный альбом со стихами и барометр, уже при ее жизни неизменно показывавший *бурю*. Порой она костяшкой указательного пальца стучала по стеклу прибора — привычка с тех времен, когда он исправно действовал, — но до самой ее кончины единственным, всегдашним и упорным прогнозом была *буря*, только буря!

Вы спрашиваете, что же вообще *останется?* К примеру, от множества стихов, романов, рассказов, от литературы? Вам правда интересно знать? Отвлекаясь от того, что подобные вопросы беспредметны, поскольку лишены временно́й — астрономической, культурно-исторической, геологической? — соотнесенности, ответить легко: ничего, не останется конечно же ничего, хотя бы и в такой узкой и недолговечной системе соотнесенности, как, например, культурно-историческая.

О чем бы ни шла речь в рассказах, сохранить их на все времена было невозможно, однако их пересказывали, передавали из уст в уста, претворяли — и в конце концов забывали. Каждой истории отведено свое время. С меня достаточно, если то, что я могу во все горло прокричать на Джемаа-эль-Фна собравшимся вокруг современникам, будет в общем и целом понятно. За пределами продуктового магазина сроки годности для меня значения не имеют. *Жить дальше* в своих рассказах пока никому не удавалось. Помните, как по-человечески Вуди Аллен — клоун с Манхэттена, штат Нью-Йорк, актер и режиссер столь многих фильмов — ответил на вопрос, утешит ли его, если он, хотя бы в своем *творчестве*, еще некоторое время после смерти останется на этом свете, будет *жить дальше?* Он сказал вот что: ах, вы знаете, я бы предпочел жить дальше в своей квартире.

Именно как одержимый читатель и увлеченный слушатель я могу сказать вам только одно: в рассказах, даже в самых давних воспоминаниях речь идет о живых, а не о мертвых. Чудесно, разумеется чудесно, если несколько фраз способны перекинуть мост через века и тысячелетия, как, например, строки, какими пропавший в черноморской ссылке поэт Овидий описывает расставание с Римом, расставание с женой: последнее объятие, невероятное усилие, чтобы высвободиться из этого объятия, шагнуть к порогу, к двери и оттуда вновь вернуться — в ее объятия, — еще раз осушить ее слезы, ощутить тепло ее щек и так вновь и вновь, подобно Сизифу, поневоле испытывать муку расставания... разумеется, чудесно, если такое описание, пусть уложенное в гекзаметры,

способно и спустя две тысячи лет опечалить читателя. Но воздействие все же величина не абсолютная. Оно подчиняется иным законам, непохожим на законы тяготения, и всегда, всегда зависит от живых.

Лишь бы предание достаточно четко сохранило образ, тогда и облитая алым закатным светом парусная лодка, и седобородый Вседержитель с лучезарным оком Троицы, а заодно и любой другой китчевый знак или слово способны на протяжении поколений трогать какого-нибудь заблудшего адресата, коль скоро ему этого захочется. Продолжительность таких воздействий не обязательно свидетельствует о качестве и никоим образом не может продлить жизнь усопшего автора в пределах пространственно-временных координат. Как именно воздействует стихотворение, музыкальный звук, акварель, определяем мы, живущие, но и мы — лишь до того дня, когда нас отнесут к могиле, в крематорий, мавзолей, на костер под открытым небом или, снабдив грузом, опустят в морские волны.

Канон? Вам нужен канон непреходящего? Канон? Господи Боже мой. Я всегда недолюбливал всяких там миссионеров, которые с миной коммивояжера и сундуком книг ждут у дверей. Конечно, я понимаю, миссионеры и коммивояжеры тоже хотят жить, но, сталкиваясь с ними, я неизменно испытывал ощущение, что им не терпится войти и сразу же прикинуть, как их любимые книжные корешки смотрятся на полках чужих гостиных: *Мои книги! Мои книги во всех гостиных! Мое доброе, прекрасное, истинное в каждом Божием углу!* Я провел чудесные дни в библиотеках, где не было ни единого так называемого классика, и однако же эти библиотеки всю жизнь занимали и развлекали своих владельцев.

Ах, вам бы хотелось иметь канон, по крайней мере, на национальных языках? Список немецких, французских, английских, русских книг, потому что молодежи надо познакомиться с родными поэтами и философами? Но разве литература — проблема национальная? Зачем читать давно усопшего зануду из числа тех или иных национальных классиков, если современный рассказчик — из Йемена, из Пернамбуку, с западного побережья Гренландии — делает свое дело лучше, куда лучше, по крайней мере для меня, по крайней мере для одного из нас, живых? Ведь никогда еще не было такого множества переводов и такого множества переводчиков, как в наши дни, и *литература*, которую действительно можно считать *мировой*, без переводчиков осталась бы, наверно, чистейшей утопией даже в те якобы золотые времена, когда каждый образованный человек говорил на пяти, шести, семи языках.

Нет, увольте меня от ваших канонов, они годятся разве что для людей, которые, покупая книжные шкафы, не прочь получить en bloc[1] книжные корешки или муляжи — от торговца мебелью, да от кого угодно, лишь бы полки не пустовали.

Так вот, если коммивояжер стучит в дверь и намеревается на пробу распаковать свои книги и расставить их в вашей квартире, спокойно предложите ему кофе с пирогом, похвалите немножко его самого, его начитанность, украшения на его сундуке, ведь это всякому приятно, но

1. *Зд.*: заодно (*франц.*).

потом, ради всего святого, попросите его уйти, вместе с сундуком, и сами отыщите для себя священные писания.

Не сомневайтесь, вы имеете полное право в одиночку определять, какая история вас увлекает, заставляет скучать или воодушевляет, и сами решайте, сто́ит ли вам, как бывало, прослезиться от двух-трех строчек совершенно идиотской колыбельной, поскольку в дурацком стишке оживает голос человека, которого вам недостает... И какова бы ни была единственная книга, когда-либо прочитанная вами от корки до корки — "Тысяча и одна ночь" или "Сокровище Серебряного озера"[1], — читайте ее снова и снова и возьмите другую, только когда эта история уже не сможет перенести вас на иную звезду. Ведь и вам, поди, куда симпатичнее читатели с одной-двумя приключенческими книжками на ночном столике, чем ослепленный молниями канонов или иными всполохами любитель интерьеров, который извлекает из своих цитатников и шкафов, подобранных под стать дивану, несколько обрывков Джойса, Музиля, Гомера или Овидия, а затем восторженно рассуждает об "Улиссе", "Человеке без свойств" или "Метаморфозах", чье волшебство едва-едва знакомо ему понаслышке.

Мой книжный сундук?

У меня его нет. В моих дорожных сумках лежит то одно, то другое. Ничто в дорожном багаже не весит так мало и одновременно так много, как книга. Единственная библиотека, вправду находящаяся в моем распоряжении, — воспоминание, живое и действенное вот в этот самый миг воспоминание о нескольких прочитанных абзацах, строфах, строчках. Бедняк? Конечно, я не особенно образован и в целом беднее, чем вы думаете. Но читаю я в принципе лишь то, что хочу прочитать, добровольно — понимаете? — не по обязанности, не из маниакальной тяги к образованию; а то, что меня не трогает, без зазрения совести откладываю в сторону. Однако каждой книге дан второй шанс и даже третий — как своего рода мера предосторожности, которая, пожалуй, спасает меня от серьезных упущений. Разве с вами так не бывало: несколько месяцев или несколько лет назад вы совершенно равнодушно, с досадой или скукой отложили некое произведение, и вдруг происходит необъяснимое — в один прекрасный день оно же завораживает вас от первой до последней страницы, не дает вам сомкнуть глаз?

Гм. Конечно-конечно, ваш довод меня убеждает: во всяком случае, второй шанс вполне убедительная причина, чтобы устраивать запасы — маленькие, хаотичные, удивительные и вполне оригинальные библиотеки.

Для этого нужно постоянное место жительства? А почему бы не устраивать кладовые по методу грызунов — в разных местах? И в случае локальной катастрофы иметь возможность обратиться к какому-нибудь другому спасительному резерву? При этом вполне достаточно знать только адрес библиотеки, где можно сесть за стол, с наступлением сумерек включить свет и перенестись в любую точку Вселенной, достижи-

1. Приключенческий роман немецкого писателя Карла Мая (1842–1912).

мую для фраз, букв, слов. А такой возможностью располагает даже читатель без постоянного места жительства.

Ах, вы имеете в виду *мое* постоянное место жительства?

По-прежнему Ирландия, Западный Корк. Ирландия — совершенно особенное место для человека, живущего ради того, чтобы рассказывать истории, добираться до их сути, и таким образом зарабатывающего на хлеб. Ведь не много найдется стран, столь обозримых, а при том обладающих такими уединенными, безлюдными уголками, такой нетронутой природой и столь близких к остальному обитаемому миру: в Ирландии почти у каждого есть родичи и друзья где-нибудь в Америке, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, потому что после катастрофического голода, не раз постигавшего страну в XIX веке, великое множество ирландцев хлынуло в чужие края, и в первую очередь на западе острова, на атлантическом побережье от Корка до Донегола, обезлюдели целые регионы, где остались только развалины пустых деревень. Вот почему даже обитатель самого уединенного хутора где-нибудь в верховых болотах Керри, Голуэя или Коннемары не так-то легко впадает в иллюзию, которую старательно культивируют провинциалы во многих внутриконтинентальных странах, свято верящие, что живут в центре мира. Ирландцу достаточно бросить взгляд на видовую открытку на стене или стеклянной дверце посудного шкафа, и эта открытка, присланная, к примеру, кузеном с американского Восточного побережья, тотчас напомнит, что у деревенской околицы или дальше, у моря, мир не кончается, а только начинается.

За минувшие годы я объездил все графства Республики Ирландии и Ольстера, по обыкновению много странствовал пешком и слышал истории про Бирму и Новую Зеландию, про Австралию и чикагские скотобойни, где ирландским переселенцам приходилось работать в ужасных условиях, как этаким вольным рабам. Я собирал такие истории в графствах Керри и Корк, скажем в горах полуострова Бэра и, разумеется, в Макгилликаддиз-Рикс, где воздвиглись высочайшие вершины острова, самая высокая, правда, едва более тысячи метров, хотя нередко и скрыта низкими облаками. Однако ж, как и к началу любой истории, в том числе истории развития, ко всякой здешней вершине до́лжно подступать от основы основ — от уровня моря. А для туриста-середнячка и высоты в тысячу метров покамест достаточно, вы не находите?

Кто хочет забраться повыше или вымотать себя, тот и здесь может как-никак, побродить по горным кряжам. Если из бухты у ирландского побережья подняться совсем на небольшую высоту, скоро так или иначе окажешься выше границы лесов, среди своеобразного высокогорного ландшафта. Одновременная близость моря и гор — идеальное окружение для человека вроде меня, который любит бродить пешком, а при этом, конечно, снова и снова идет вверх, в гору, вовсе не желая отклоняться от горизонтали, базисной линии любого рельефа.

Ах, вот *о чем* вы спрашивали! Ландшафтные аспекты для вас чересчур романтичны? Вас интересуют налоговые льготы, предоставляемые в Ирландии искусству? Что ж вы сразу-то не сказали. Такие льготы здесь действительно имеются. Но мечтания об ирландских привилегиях для деятелей искусства, в первую очередь для писателей, порой вводят в за-

блуждение, поскольку тотчас вызывают мысль о родстве с монегасками — облепленными рекламой автогонщиками или футболистами — либо с жителями какого-нибудь заморского налогового рая. Здесь же речь идет не о том, чтобы сколотить капитал, — из каких, собственно, средств? — а о том, может ли писатель продолжать работу своими силами, не испытывая необходимости писать просительные письма, чтобы вновь получить стипендию, или вторую, третью, четвертую поощрительную премию, или еще какую-нибудь подачку.

Тот, кто, как я, пишет медленно и от силы раз в шесть-семь лет публикует новый роман, платит в остальных странах Европы более высокие налоги, чем любой другой гражданин, да-да, более высокие, чем даже биржевой спекулянт или нажившийся на войне поставщик, так как не может распределить полученный за многолетнюю работу гонорар на все фактическое время писания, а должен задекларировать его в один-единственный год и выплатить налоги, вдобавок не имея никакого права заявить претензию, что не только несколько лет не получал доходов, но, опять-таки на несколько лет, останется без таковых... По причине уравниловки. Ну да хватит подсчетов.

По сути, все зависит от самосознания страны, от того, видит ли она в культуре главным образом систему консервирующих либо пережевывающих институтов — оперных и драматических театров, музеев — или результат творческих усилий, иными словами, что́ для общества предпочтительнее: тратить огромные суммы на репродуцирующие фабрики и системы администрирования искусства или же поддерживать персонал, который обеспечивает все эти оперные и драматические театры, художественные салоны и фестивальные залы своими партитурами, рукописями, картинами.

Разумеется, никакой стране не предпишешь, где ей до́лжно искать своих представителей — на сценических подмостках, в библиотеках, в концертных залах или на лыжнях, беговых дорожках, теннисных кортах и футбольных полях. Австрийцы — это лишь пример — по всей видимости, очень любят и ценят горнолыжников, а потому предоставляли и предоставляют оным налоговые льготы, что очень даже похвально. Лыжники в этой стране очень и очень к месту.

Что? Моцарт? Музиль? Оставьте Моцарта и Музиля в покое — первого австрийцы превратили в шоколадный шарик с начинкой, второго в пучок перьев на шляпе. Нет, тут вы на ложном пути, ни Моцарт, ни Музиль не могут свидетельствовать об австрийской культуре, а тем паче представлять ее. Поверьте, подлинные тамошние герои — лыжники, да-да, лыжники, ведь в конце концов именно ради них и с всеобщего одобрения строятся буксировочные канатные дороги и подъемники, ведущие в снега высокогорья, опустошаются целые горные массивы, чтобы и нехуденькие лыжники могли добраться наверх и великолепными зигзагами вихрем скатиться вниз, в долину. Почему бы и нет? Хотя этот горный центральноевропейский район кое-где по-прежнему живописно-великолепен и многие из живущих там людей весьма любезны, все же этот край отнюдь не настолько уникален, чтобы придавать значение тому, перед кем там благоговеют — перед атомными физиками, композиторами, тяжелоатлетами, Девой Марией или лыжниками, я вас умоляю!

Но, как уроженец Верхней Австрии и влюбленный в горы *и* морские побережья турист, я, конечно, скажу: и мне, и другим, кто не особенно ловко и быстро катается на лыжах, а пишет очень медленно, лучше искать для работы иные регионы мира, где они смогут с куда меньшими сложностями — читай: *дольше* — трудиться над своими путевыми дневниками, журналами, рассказами. Ведь для медленного рассказчика деньги интересны исключительно как время — время, которое остается у него для работы над историями. И в Ирландии это время продолжительнее, чем где бы то ни было. А возможно, ирландцы вдобавок считают, что добрая слава так называемой *культурной нации*, возникающая благодаря живым деятелям искусства, впечатляет больше, чем блеск, который исходит от какого-нибудь оркестра, трижды или десятижды с шумным успехом объехавшего весь мир, или от восемьдесят третьей новой постановки некоего фарса о нибелунгах.

Кстати говоря, доброе впечатление, возникающее благодаря многократным ссылкам на Ирландию в каталогах, программных брошюрах, текстах на клапанах суперобложек и в речах по случаю присуждения премий, обходится, пожалуй, много дешевле *рекламных* кампаний, фестивалей и газетных объявлений, какими иные нации стремятся заявить о своей культурности. И не забывайте: ирландцы хорошо помнят, что такие писатели, как Беккет и Джойс, уехали из страны и больше не вернулись, и, может быть, хотят на будущее несколько уменьшить вероятность подобных потерь. Симпатия и уважение, выказываемые писателям в Ирландии даже в кафе, за столиком завсегдатаев (здесь это, как правило, не столик, а стойка), действительно весьма примечательны. *One for sorrow, two for joy*, гласит детская считалка про *magpies*, про сорóк, что поодиночке, парами, а то и целыми выводками трещат на здешних пастбищах и по обочинам дорог:

One for sorrow
Two for joy
Three for a girl
Four for a boy
Five for silver
Six for gold
But seven for a story
Which was never told[1].

Пассажирские кресла в самолетах национальной авиакомпании "Эр-Лингус" и те украшены ткаными автографами знаменитых ирландских писателей, а рыбацкие суда носят имена героев Йейтса и Синга. Конечно, какой-нибудь миссионер — не боящийся ни кухонных кастрюль, ни пыточного столба — мог бы под флагом искусства попытаться слегка облагородить и самосознание других обществ, скажем увлеченных тяжелоатлетами или мастерами скоростного поедания клецок. Только зачем?

1. Раз — всем бедам / Два — всему веселью в мире / Три — девчонке / Ну а мальчику — четыре / Пять — сребру / А злату — шесть / Семь же — рассказу / Покамест не звучавшему ни разу (*англ.*).

Итак, вместо того чтобы тратить силы на безнадежные потасовки, я расплатился со своей горно-лесной австрийской родиной за все оказанные мне государственной властью благодеяния, в частности образование, асфальтирование дорог и здравоохранение, а равно великодушное позволение провести восемь месяцев моей жизни на альтернативной службе или в самое тяжелое для отца время навещать его в следственной тюрьме, — да-да, расплатился, погасив и предельно высокие проценты, внушительным налогом и солидной долей тантьем за самый издательски успешный мой роман и переехал в тихий дом на атлантическом побережье юго-западной Ирландии, чтобы там продолжать свое медленное, очень медленное писательство.

Из окна, возле которого стоит мой письменный стол, я вижу за шотландскими соснами и кордилинами Атлантический океан, необитаемые скалистые островки, Хай- и Лоу-Айлендс, в пене прибоя. А дальше водный горизонт, в зимние месяцы зачастую неровный, из-за могучего волнения. Когда кроны тех немногих деревьев, что не принадлежат к числу вечнозеленых, теряют листву, сквозь черные ветви мне видны даже заросшие плющом развалины прибрежной церкви. Там, внизу, расположено и Каслхейвенское кладбище, куда покойников порой привозят на лодках через залив, а потом несут хоронить, пересекая серую полосу гладкой, обкатанной прибоем гальки. Хоронят здесь только тех, кто жил у этого залива. Если отвлечься от печали, неизменно сопровождающей воспоминания о таких прощаниях, меня мало пугает (по крайней мере, в долгие летние вечера, когда огромные листья *Gunnera mannicata* у полуразрушенной кладбищенской стены — не листья, а целые простыни! — отгоняют свет побережья в море и навевают медленно, почти незаметно густеющие сумерки) мысль о том, чтобы однажды, впредь до полного исчезновения всех останков, найти в этой глухомани под одним из покосившихся от ветра надгробий немножко места для промежуточной остановки, хотя бы и в виде горстки пепла в урне. Над моим прахом — легкая как перышко надпись ВПЕРЕД, И КУДА ПОДАЛЬШЕ или же общепринятое здесь DEPARTED THIS LIFE[1]. Ведь лучшая tombstone inscription[2] Ирландии уже навсегда отдана:

CAST A COLD EYE
ON LIFE
ON DEATH
HORSEMAN PASS BY[3]

Только без сантиментов, говорите? Мне ведь повезло, чертовски повезло, и вдобавок я еще жив!

Так разве я это отрицаю? Только не хлопайте меня по плечу. Не прикасайтесь ко мне! Что значит "сантименты"?

Каждый, кто занимается рассказыванием или просто чтением историй, неизбежно натыкается на конец. История, не желающая знать о своем конце, не заслуживает такого названия, остается в плену сиюми-

1. УШЕЛ ИЗ ЭТОЙ ЖИЗНИ (*англ.*).
2. Надгробная надпись, эпитафия (*англ.*).
3. ХОЛОДНЫМ ВЗГЛЯДОМ ПОСМОТРИ / НА ЖИЗНЬ / НА СМЕРТЬ / И МИМО, ВСАДНИК, ПРОЕЗЖАЙ (*англ.*). Эпитафия, которую еще при жизни написал для себя ирландский поэт У. Б. Йейтс.

нутных параметров, а потому неподвижна, закована внутри секунды. Движение, динамика возникает лишь благодаря тому, что в повествовании изначально присутствует конец — пусть и без апокалиптического пафоса.

Разве так называемый *хеппи-энд* не есть столь же произвольный, сколь и вполне понятный обрыв рассказа, который вопросы вроде *а потом, что будет потом, что было потом?* торопят все дальше и дальше. Ну давайте, скажите мне: что слышится после свадебных колоколов? что происходит после осыпанного рисом отъезда в медовый месяц? и на следующий день? на будущий год? как же выглядит счастливая пара через десять, через двадцать лет? как выглядят их мало-помалу ветшающие спальни, комнаты, где они болеют и умирают? И какой дождь, или наводнение, или пьяный тракторист в итоге сровняет с землей даже их могилы? Или откуда дует ветер — с востока? с юго-востока? — который бросит в лицо провожающим высыпанный из урны пепел другого счастливца? Ну же, рассказывайте! Как бишь звали наследника, в конце концов построившего на приморском участке, который даже как погост давным-давно впал в забвение, лодочный сарай, хотя за всю жизнь не накопил денег на лодку?

Я ошибаюсь, или на сей раз у вас слегка вытянулось лицо? Только без сантиментов. Согласен, мне повезло. Три написанных мною романа, кое для кого явно смертельно скучные, снова и снова переводились на другие языки, пересказывались как бы по версии вавилонского чуда, пока из одной, двух, трех книг не возникла целая библиотека, а она в первую очередь и обеспечила мне роскошь неспешности, позволила уйти подальше, распрощаться, чтоб просто рассматривать все, что можно увидеть по пути или из окна какой-нибудь комнаты в Ирландии или в другом месте.

Когда я смог таким манером исчезнуть и начать полукочевую жизнь, мало-помалу — уже в силу растущей удаленности — по логике вещей стали редеть и литературные твердыни и обители, где я совсем недавно был гостем, восхваляемым, порицаемым, прославляемым, иной раз, как вы установили, критикуемым, а иной раз попросту таким, кого лишь снисходительно терпят.

Конечно, маршруты, которые надлежало преодолевать пешком либо исключительно пароходами и самолетами, тоже не всегда были простыми, но по сути они являли собой всего-навсего линии перспективы, линии *схода* жизни, каковая и раньше, много раньше и в совершенно других обстоятельствах, уже была весьма подвижной — хотя тогдашнее бродяжничество отражало всего лишь ту живость, с какой мне, как и любому из моего окружения, приходилось гоняться за средствами выживания, за деньгами.

Подобно большинству моих друзей и современников я тоже на первых порах упражнялся в этой гонке отнюдь не за письменным столом — в поле, у конвейера, на подсобных работах в строительных котлованах и в мастерских, то бишь использовал возможности, доступные для деревенского парня, который в летние и зимние каникулы хотел достаточно подзаработать, чтобы освободиться на весь оставшийся год, месяцами сидеть на лекциях в университете и писать — там же или в мрачноватом, плохо натопленном жилище без душа и горячей воды.

Кстати, в ту пору я порядком завидовал самодовольной гордости, с какой счастливчики, уже явно перекочевавшие в несколько более комфортные условия, перечисляли в автобиографических справках на книжных обложках или в каталогах личины своих прежних занятий: лесорубы, дорожные рабочие, матросы (конечно же они были матросами!), шахтеры, бармены, сталевары, санитары в морге и прочая, — пока им не удалось преображение, бегство в искусство и литературу, а то и в кинематографические кулисы; сплошь суровые *пред*истории, словно, хотя бы задним числом, надлежит подчеркнуть, что бытие художника на самом деле некогда тоже имело прочную связь с реальной жизнью, с жизнью большинства, с моей жизнью.

Когда же я летним вечером опять сидел за спиной у приятеля — на счастье, у него был мотоцикл, — направляясь к ночной смене на бумажную фабрику, расположенную выше по реке, в десяти километрах от моей родной деревни, и видел над головой окаймленное черным лесом звездное небо, лентой конвейера убегавшее в то самое открытое кафе, откуда мы, вздыхая и чертыхаясь, вот только что ушли, ничто не казалось мне более утопичным, более желанным и одновременно более недостижимым, чем зарабатывание на жизнь *писательством*, кудреватой прозой и беспомощными стихами, которые я кропал на так называемой бумаге для черновиков — пачки ее ежемесячно выдавали на фабрике.

Потом, когда случайные заработки по все более широким виткам спирали повлекли меня прочь, когда я как руководитель туристических поездок заучивал наизусть планы европейских городов, как шофер-сезонник перегонял в Сирию лимузины и, наконец, как независимый — даже чересчур независимый, потому что денег мне не платили, — корреспондент начал писать о тех или иных путях на просторы природы, а в итоге рассказывать, сочинять истории, я иной раз чувствовал себя так, будто угодил из огня да в полымя: ночи за письменным столом, дни за письменным столом, а в результате ни гроша гонорара и обанкротившийся журнал... В годы работы над первым романом, для которого выбрал знаменательное название "Ужасы льдов и мрака", я время от времени даже разговаривал по телефону с кадровиками той электрокомпании, для которой не одно лето киркой и лопатой рыл ямы под опоры мачт высокого напряжения, — звонки были панические, просьбы дать возможность уйти от бездоходного писательства и вернуться к ручному труду. Свидетели? Да, есть и свидетели.

Различные формы странствий — сухопутные, воздушные, водные или пешие пути, остановки, даже совсем короткие, промежуточные, — стали для меня образом жизни, но мучительные формы скитаний, вроде бегства, эмиграции, спасения от беды, знакомы мне, к счастью, лишь в самых мягких, безобидных вариантах. Хотя должен признаться: частенько я удираю. Однако, удирая, не только оставляешь что-то позади, но и обретаешь новые перспективы, ракурсы, порой новые проблемы, ведь куда бы ты ни поехал и ни бежал, куда бы ни прибыл — на время или навсегда, — попадаешь не в пустоту, не в вакуум, там всегда что-то уже есть. И тем не менее с отъездом зачастую связано большое облегчение: все, что вот сию минуту казалось таким трудным, важным, обременительным, в том числе собственная работа, остается позади, съежива-

ется, теряет весомость и масштаб. Выходя из самолета в Бомбее, в Лхасе или Пномпене, конечно же чувствуешь, конечно же чуешь, что оставил кое-что позади, не самые важные вещи в своей жизни, но все-таки многое имеющее значение только (только!) там, откуда ты приехал, — в сказочном краю, где даже титаны могут измельчать и в конце концов сделаться невидимками.

Смехотворно ведь на заснеженном сычуаньском перевале твердить о том, что в другом дальнем закоулке этого мира ты, стоя на сцене или на помосте, под аплодисменты собравшихся принимал значительную премию или орден на ленте. До чего отрезвляющее, а с другой стороны, упоительное ощущение — отказаться от многого, что возвышает тебя или защищает и все-таки, в совершенно не поддающихся планированию, может статься, даже счастливых обстоятельствах и даже в падении, ощущать, что не только в знакомом окружении, но и там, где, как ты думал еще перед самым отъездом, ждет лишь опасное, чужое, неведомое, тебя наверняка встретят люди, обнимут, поддержат.

По-вашему, все это вопрос денег?

Повторю: первые свои путешествия, на Ближний Восток, я совершил как шофер-сезонник, перегонял лимузины богачей на автостоянку, которая здорово смахивала на участок пустыни, была обнесена электрической изгородью с колючей проволокой и охранялась вооруженными сторожами, потом задешево перепродавал обратные авиабилеты, забронированные сирийскими заказчиками, и автостопом, а порой и пешком, как отбившийся от группы паломник, возвращался в Центральную Европу. Позднее, став репортером, я тоже путешествовал исключительно своими силами. По крайней мере, так я ни разу не поддался соблазну спутать какое-либо реальное свое путешествие с пригрезившимся. Конечно, в дороге мне обычно снятся более яркие и драматичные сны, нежели в любом защищенном месте, но уж тут я лучше, чем где бы то ни было, различаю границы меж грезой и реальностью, а заодно, хоть и скрепя сердце, изучаю приемы расставания. Ведь расставание с дорогими людьми или даже просто с хозяевами дома конечно же зачастую наводит печаль, и именно науку расставания дóлжно в дороге усвоить первым делом. Кто не умеет прощаться, тот никогда и ничего не осилит, никогда не отыщет дорогу и никуда не доберется.

Что я беру с собой? Что привожу обратно из этих и прочих странствий и всегда вновь беру с собой? Пожалуй, определенный иммунитет к вере в иерархичность культур и народов, а еще определенный иммунитет к идеологиям и всяческим догмам. Понимание, что существующее не может остаться навсегда и что главное — осмыслить, в каких условиях и по каким непрерывно меняющимся законам совершаются перемены.

В самом благоприятном случае до счастливого возвращения к письменному столу можно сберечь и сознание того, как сильно и как бурно меняешься сам, когда преодолеваешь инерцию и робость и из своей самоуверенности отправляешься туда, где встретишь много совершенно иного, нового, где тебя уже не понимают и ты сам ничего не понимаешь, а оттого поначалу ходишь как чужак среди чужаков, причем не только в дальней дали вроде гор Японии или на Суматре, в Восточном Тибете либо в Амазонии, но уже в ближайших, хотя и не слишком лег-

кодоступных высокогорных долинах Западных Альп или в глухой деревушке Паннонской низменности, — безъязыкий дурак, который не может ни над шуткой посмеяться, ни что-нибудь рассказать, а места, где останавливается, осваивает лишь с помощью собственной памяти, глаз и ушей.

Много ли я хожу пешком? Да, много. Как способ передвижения ходьба более всего отвечает моей натуре. Но я не открыватель и уж тем паче не покоритель. Почти все уже обмеряно, снято, нанесено на карты, однако по-прежнему во многом неведомо, что́ раскрывается в самом человеке, когда он шагает среди грандиозного, величественного ландшафта. Я не знаю способа передвижения, который бы так способствовал размышлениям, беседам, а в конечном счете и писательству. Ведь пешему пути свойственны еще и медленное, постепенное изменение перспективы, остановки и созерцание. Только благодаря этому возникает нечто вроде многослойной картины мира, материал для историй, рассказов. Красная нить, линия, ведущая сквозь все изменения темпа и перспективы рассказа, всегда представляется мне маршрутом пешехода.

Чтобы вообще добраться до отдаленных мест, какие я позднее отчасти описал, зачастую, разумеется, требовались катапульты, самолеты — "Туин-оттеры" непальских или новозеландских авиалиний... судно на воздушной подушке до Макау... — ведь пешеход тоже отнюдь не ортодокс, иной раз он позволяет метнуть себя из одного места в другое и лишь далеко в глуши вновь полагается на собственные силы и где-нибудь на архипелаге в южной части Тихого океана, в высокогорной долине Гималаев возвращается к привычному пешему ритму. Берет рюкзак. Шагает вперед. Рассказывает.

Что? Прочтите, пожалуйста, еще раз... Да, правильно. Точная цитата: *Йозеф Мадзини часто странствовал в одиночку и, как правило, пешком. В пеших походах мир для него не уменьшался, а, наоборот, увеличивался и стал наконец таким огромным, что поглотил его.* Первая фраза "Ужасов льдов и мрака". Ясное дело, я до сих пор помню наизусть всю страницу. Хотите проверить? Я могу по памяти процитировать вам десятки страниц из моих книг. Неудивительно, при таком режиме работы, который, как это ни глупо, заставляет меня снова и снова повторять какую-нибудь фразу, какой-нибудь абзац, пока они не обретут окончательную форму, готовые спокойно кануть в забвение, да вот беда: по причине огромного количества версий они успевают накрепко врезаться мне в память.

Родство между Мадзини и мной?

Мы оба пешеходы, верно... однако же Йозеф Мадзини только персонаж моего романа, и тем, что мы оба пешеходы, сходство между нами исчерпывается. В остальном его жизнь выдумана — как и путешествие к исчезновению, путь в паковые льды высокоширотной Арктики. Погребенные под ледниками острова Земли Франца-Иосифа, история открытия которой тоже излагается в этом романе, я впервые увидел через двадцать с лишним лет после того, как была написана последняя фраза "Ужасов", летом 2003 года, с борта русского ледокола.

Тем летом я вместе с...

Что?

Правильно... вместе с моим другом Райнхольдом Месснером спустился по забортному трапу, а потом зашагал через паковый лед к берегам этих островов и оттуда, так сказать, в глубь истории, рассказанной десятки лет назад: столовые горы, свободная от снега седловина, где ископаемое дерево напоминало о том, что некогда эта укрытая льдами земля была субтропическим садом, может статься тем самым раем, о котором грезили ее открыватели... все было как в моем рассказе, знакомое и опять-таки несказанно другое. Странное чувство — из вымысла, из истории перейти в реальность, а не наоборот. Такое чувство я испытал и когда, к примеру, обнаружил в витрине оружейного магазина *коллекционный экземпляр* — снайперскую винтовку "Энфилд"; я никогда не держал ее в руках, но описал ее механику в романе "Болезнь Китахары": в перекрестье прицела этого смертоносного оружия Лили, *бразильянка*, один из главных персонажей романа, ловит свою добычу и убивает с расстояния в несколько сотен метров...

Порой у меня действительно возникало ощущение, будто из собственных историй на меня того и гляди вывалится что-нибудь этакое, вроде еще кровоточащего фазана, граната или убитого зайца с фламандского натюрморта... Каково, к примеру, узнать, что перевод моего романа "Последний мир", где затронута и судьба сосланного на Черное море несчастного поэта Овидия, в Румынии диктатора Чаушеску оказался под запретом: цензура усмотрела — в некотором смысле вполне оправданно — в римском императоре Августе намек на всемогущего (но в конце концов вновь возвращенного на землю расстрельной командой) *великого кондукатора* Чаушеску.

Конечно, "Последний мир" не был ни историческим, ни тем более постмодернистским романом и рассказывал не о римском поэте и не о каком-то конкретном обществе, однако в числе многих метаморфоз содержал и версию стародавней истории об искусстве и власти. Среди многого другого там говорится о бессмысленном, слепом в тоталитарных системах, скажем о поспешной верноподданнической покорности, которая способна истолковать небрежный жест сонного императора как приговор — к смерти или к ссылке... Варварство, жестокость, зверство лютуют не только в пыточных камерах и на полях сражений, но прежде всего в коридорах власти, за письменными столами, в канцеляриях и конторах, где реальная или мнимая господская воля комментируется, записывается и превращается в распоряжения, параграфы и всяческие легальные предпосылки для жестокой расправы...

Инцидент с румынской цензурой, конечно, смехотворен и мелок, но тогда я испытал прямо-таки ребячливое удовлетворение от того, что хотя бы один цензор распознал в оснащенной телефонами, телетайпами и множеством куда более броских анахронизмов античности моего пропавшего в ссылке Овидия свое настоящее, свою современность. Ведь в этом "Последнем мире" речь шла вовсе *не* о том, чтобы просто играть анахронизмами в духе довольно-таки унылой постмодернистской произвольности, но о том, чтобы с помощью сетки временны́х трещинок создать безвременье, всевременье — нарративное, а не историческое пространство, — и уже из него вести рассказ, используя все средства, служащие отчетливости и убедительности.

Современность? По-моему, я всегда писал только о современности, даже когда, как в "Последнем мире", речь шла о ссыльном античном поэте или, как в другом романе, "Болезнь Китахары", о нищем, обреченном воспоминаниям и искуплению захолустном поселке в послевоенной Европе, которая в таком обличье никогда не существовала. Но когда живешь полукочевником и работаешь в разных местах, так или иначе встает вопрос: каковы же на самом деле актуальные политические события, ведь мы смотрим на них с очень разных точек зрения? Какие это события? *Здешние? Тамошние?* Происходящие в западном Корке? В Зальцкаммергуте? На лаосском берегу Меконга? В бразильском Пернамбуку?

Современность... Во время последней на сегодняшний день войны в Афганистане меня, например, куда больше, чем мировые новости и стереотипные военные сводки с множеством стереотипных же, прошедших армейскую цензуру фотографий, интересовал устроенный в Ирландии спектакль, посвященный вечно живому прошлому. В Дублине перезахоронили останки десяти борцов ИРА, казненных более восьмидесяти лет назад. Во дворе дублинской тюрьмы "Маунтджой" произвели эксгумацию, поместили останки в новые гробы, которые огромная траурная процессия — при участии президента и премьер-министра — пронесла через весь Дублин, и вновь с почестями предали земле. Конечно, в те дни ирландские газеты тоже много писали о войне в Афганистане, но на первых полосах повсюду — повсюду! — красовались десять гробов, покрытых ирландским триколором.

Нет, я сам себе противоречу. И это, и прочие местные события не уводят от так называемых *международных событий*, наоборот, порой подводят к их важным проблемам — проблемам воспоминаний, вины, памяти. Я и теперь еще слышу рукоплескания, вспыхнувшие в ту минуту, когда эти десять гробов миновали ворота тюрьмы, под транспарантами с надписью "Free at last"[1], и новые рукоплескания — поистине шквальные, — когда похоронная процессия двигалась мимо Central Post Office[2], легендарной арены боев ирландской войны за независимость.

В январе 2000 года — в ту пору грамотная часть мировой общественности в виде исключения соизволила обратить внимание на мою родину, Австрию, на ее жуткое недавнее прошлое и сомнительное настоящее, даже на некую новую правительственную коалицию в Вене — я находился на севере Индии, в пустыне Тар. В районе Пхалоди, города в штате Раджастхан, как раз когда я только-только приехал, исламские (вернее, пожалуй, исламистские) фанатики до смерти забили топорами местного индуса-полицейского, потому что он по религиозным причинам хотел заблокировать транспортировку убойной скотины, то бишь не пропустить в Бомбей состав с крупным рогатым скотом: коровы сопровождали человека на его пути из безбожной, звериной дикости в мир прямохождения и потому священны... Армия и полиция готовились подавить ожидаемый погром.

1. "Наконец-то свободны" (*англ.*).
2. Центральный почтамт (*англ.*).

Несколько дней спустя в джайсалмерской гостинице один из ирландских друзей сказал мне по телефону, что мирные переговоры между ИРА и столь же твердолобыми ольстерскими унионистами зашли в тупик и он опасается, что многотысячный список жертв ирландской гражданской войны, увы, продолжится. Ну да, а потом в "Таймс оф Индия" появились и сообщения из Австрии.

Когда я лечу из Корка в Вену через Амстердам или Лондон и на последнем этапе авиаэстафеты мне предлагают австрийскую прессу, где на первых полосах комментируются бородатые шутки какого-нибудь провинциального австрийского чиновника, я, не разворачивая, откладываю эти газеты в сторону. Подобные заголовки прокламируют карикатурный дремучий провинциализм, отнюдь не вызывающий у меня горячего интереса, пока слышны другие голоса или хотя бы привычный шум в ушах.

Исследуя, на что способен человек, вполне можно уразуметь, что изведано еще далеко не все — причем это касается не только страшного и ужасного, но и избавительного. Боюсь, общества, которое не подвержено варварству, по-прежнему не существует. И в путешествиях, конечно, сталкиваешься с этим фактом.

Авантюрная жизнь? Полная приключений?

Я? Искатель приключений? Романтические же у вас представления. Руал Амундсен, к которому ваши оценочные категории, пожалуй, куда более приложимы, и тот говорил о приключении как о "нежелательном нарушении серьезной работы", "злополучном доказательстве, что никто не может учесть всех возможностей..." С авантюрностью путешествий я всегда мирился лишь по необходимости и лишь затем, чтобы достигнуть некой цели, по разным причинам особенно дорогой для меня и важной. *Щекотку нервов*, которую якобы обеспечивает прыжок в пропасть или головоломный путь по нависающим стенам, ледяным или песчаным пустыням, я всегда считал отражением жизненной скуки.

Нет, вы и тут ошибаетесь: мой друг Меснер, альпинист, покоритель восьмитысячников, бродяга, полярник, писатель, выбирайте любое название, ему они наверняка менее важны, чем вам, — мой друг Меснер вполне со мной согласен. Конечно, отдаленность, труднодостижимость, опасность разнообразных внутренних и внешних целей порой требуют идти через заоблачные горные хребты или высокие широты, во всяком случае через множество неожиданностей, но сам по себе уровень сложности не есть ни причина, ни цель путешествия, совсем наоборот, по мне, чем больше комфорта, тем лучше. Кстати, благодаря Меснеру я узнал не только пути во льды и в горные выси, но и несколько гостиниц из числа самых комфортабельных и расположенных в на редкость живописных местах, самых живописных, где мне доводилось останавливаться. Наша дружба имеет касательство к приключениям лишь в амундсеновском смысле. Началась она с недоразумения: прочитав мой роман "Ужасы льдов и мрака", Меснер решил, что я бывал во льдах, может даже ходил к полюсу, и пригласил меня в экспедицию к южной стене Лхоцзе[1].

1. Лхоцзе — вершина (8545 м) в Больших Гималаях, на границе Непала и Китая.

Сперва, стало быть, пришлось объяснить, что я рассказываю не только о собственном опыте и собственной жизни, но и о жизнях, высотах и безднах, знакомых мне лишь с чужих слов, по воспоминаниям и му́кам других людей. Разъяснение этой путаницы вправду открыло затем новые пути, точнее, воссоединило меня с собственным прошлым: благодаря Меснеру ко мне вернулось многое из того, с чем я в общем-то успел распроститься, — высокогорье, безлюдные девственные ландшафты, кулисы всевозможных путешествий во времени. Ведь нынешнему туристу горизонт высокогорья является совершенно таким же, каким он виделся охотнику эпохи неолита, — лишь взгляд в глубину возвращает в сегодняшний день.

Я часто ходил с отцом в горы, поднимался на Хёлленгебирге и Тотес-Гебирге[1], труднопроходимые высокогорные плато в верхнеавстрийских Известняковых Альпах. И когда раз-другой побывал у Меснера на Бург-Юваль, горы опять устремились ко мне, словно огромная волна скал, бездонных пропастей, но прежде всего воспоминаний, — и только потом, так сказать за ними, возникли более отдаленные края, куда я в одиночку или без меснеровского ободрения, наверно, никогда бы и не отправился: скажем, высокогорные долины Страны Кхам в Восточном Тибете, зимняя Долпо в западных Гималаях, джунгли Лаоса или столовые горы Земли Франца-Иосифа, паковые льды высокоширотной Арктики. Так я стал приближаться к картинам, о которых раньше только слышал или читал, например, к стаям бабочек в Тибете: вертикальные потоки теплого воздуха заносят их на огромную высоту, где они погибают, а потом заиндевелыми безжизненными хлопьями, кружась, падают на ледники.

Конечно, в походах и путешествиях с Меснером я порой оказывался на пределе сил, но одышка не была ни самоцелью, ни расплатой за бездумные спортивные амбиции, она просто-напросто сопутствовала моему любопытству, жажде образов, историй, заманчивому желанию добраться до верховьев долины, до высокогорного плато или до развалин древнего города, которых иначе не достичь, — добраться своими силами и в том замедляющемся, замирающем и в конце концов поворачивающем вспять времени, какое знакомо лишь пешему путнику.

Вертолеты? Вы говорите, вертолеты? На вертолетах, особенно армейских, можно, конечно, долететь почти до любого места (правда, при условии, что оно лежит не выше шести тысяч метров над уровнем моря). Но я не служу в армии и спасать меня покамест не было нужды, однако что правда, то правда: путники минувших столетий даже подумать не могли о подобных — и сегодня тоже зачастую сугубо теоретических — возможностях спасения. В исходных условиях, понятно, есть разница, но заблудившемуся-то по-прежнему безразлично, опоздает ли спасение на два дня, два года или два века. Магическое, притягательное маршрутов в далекие края заключается не в их опасности, а в том, что,

1. Хёлленгебирге (Адские горы) — горная гряда в Зальцкаммергуте между озерами Траунзее и Аттерзее, название связано с их мрачным видом; Тотес-Гебирге (Мертвые горы) — высокогорное альпийское плато, чье название связано с отсутствием растительности на обширных его участках.

находясь в пути, ты остаешься наедине с собой, со своим временем, с тем, что́ ты есть, был или еще можешь стать.

По-вашему, это звучит слишком театрально? Гм... И мне теперь тоже так кажется. В подобных странствиях я вообще-то не просто открываю много нового, но в первую очередь многое открываю *заново* — картины собственной истории, порой удивительно похожие на то, что видишь в непальской, бразильской, тибетской деревне. Тогда меня охватывает ощущение, будто я очутился не только в дальней дали и на чужбине, но одновременно в странной защищенности, а вдобавок в собственной истории, и оттого я некоторым образом сохраняю присутствие духа, остаюсь самим собой — что за пределами этих дорог удается мне, пожалуй, лишь когда я пишу.

Имея выбор, я, конечно, даже в высокогорье и в пустынях по-прежнему предпочитаю карабканью и пробежкам неспешные переходы. Для восхождений на высокие пики и для странствий через пустыни у меня слишком слабо развита готовность к добровольным страданиям, да и уединенность на больших высотах и в знойных пустынях скорее мучает меня, нежели влечет. Скажем, мысль о том, чтобы в одиночку, как Месснер, подняться на Нангапарбат[1] или на все четырнадцать так называемых восьмитысячников, повергает меня в ужас. А вот мысль рассказать о таком восхождении, наоборот, притягивает словно магнит.

А как с вами? Вам нужно все испытывать на себе? Ведь мы оба, в том числе здесь и сейчас, занимаемся примерно одним и тем же — задаем вопросы. Кто долго задавал вопросы, долго слушал, тот способен рассказать о мирах, где никогда не бывал и не будет.

Конечно, собственный опыт иной раз облегчает описание определенных деталей. К примеру, когда нужно рассказать, как на борту трехмачтового ба́рка койка полярника — от сконденсированной и замерзшей влаги его же дыхания — превращается в ледяную пещеру, весьма полезно самому испытать, как после ночевки в палатке (зимой или высоко в горах) твое дыхание инеем сыплется с брезента. Однако опасность собственного опыта, в том числе выстраданного, порой заключена для рассказчика именно в том, что напряжение, боль либо эйфория мешают ему видеть свою историю... Пока он заворожен, а может, и потрясен недавними опасностями и мучениями или упоен счастьем, он вполне в состоянии — хотя, пожалуй, опять-таки слегка взахлеб, впопыхах — дать отчет о событиях, но не *рассказать* о них.

Пустыня? безлюдье? даже апокалипсис? По-вашему, это *моя* тема? Ну что вы, я ничуть не зациклен на ландшафтах гибели и распада. Представление о том, как мог бы выглядеть мир без людей, или о странном безлюдном покое, когда все уже решено и подписано, все в прошлом, никогда не было для меня самоцелью. Но мир без людей вполне сообразуется с обстоятельствами, какие долее всего господствовали на этой планете и в грядущем, по астрономическим меркам, вновь станут определяющими. Взгляд в далекое прошлое открывает совершенно такие же картины, как и взгляд в будущее: людей нет.

1. Вершина (8126 м) в Гималаях.

Безлюдье не кошмар, а нормальное состояние Вселенной и даже в истории Земли перспектива реалистичная, лишь изредка ужасная. Решив подкрепить цивилизационно- и культурно-исторический аспект своего мирописания, допустим, аспектом естественно-историческим, рассказчик ощущает резкое изменение скорости. Развитие в *историческом* пространстве вдруг предстает стремительно быстрым — вихревым! — по сравнению с темпами, например, геологических, а тем более астрономических процессов. Порой повествование может обернуться попыткой взаимосоотнести эти скорости во всем их невообразимом различии. Ведь это не значит объявить исторические масштабы несущественными, со ссылкой на некую математическую, физическую или метафизическую бесконечность, наоборот: судьба и жизнь одиночки именно в пустом пространстве видятся, как нигде, бесценными.

Меня часто удивляло, что, если просвещенные, начитанные люди, неравнодушные к человечности и социальной истории, позволяют себе бросить взгляд в *доисторическое* или в еще более отдаленные пространства, их нередко укоряют в мечтательности, в безобидной оторванности от жизни. Я никогда не понимал, как можно попросту *не* замечать столь приметную механику — восход и заход созвездий, бледные пятна галактик, удаленных на миллионы световых лет, и другие, более яркие световые послания, которые даже в наших ночных городах можно различить в бинокль, а то и невооруженным глазом. Вечно стоять спиной к огромному окну, за которым открывается потрясающий или чудесный вид, — нет, я бы такого не вынес. Смотреть в пространство отнюдь не означает, что ты отворачиваешься от исторических, политических или еще более мимолетных проблем, нет, ты как раз ищешь для них контекст. Конечно, масштабы, с какими сталкивается наблюдатель, просиживающий ночи напролет за телескопом — в Ирландии, в Мертвых горах или под менее замутненным небом Южного полушария, — порой внушают ужас, но ведь они никуда не денутся, не исчезнут оттого, что я повернусь к ним спиной или уткнусь лицом в подушку либо в документы торговых и политических предприятий.

Доведись мне выбирать инструмент, который, на мой взгляд, более всего необходим для меня: телескоп или телевизор, радио либо еще какое-нибудь средство информации, — я без колебаний отдам предпочтение простому рефрактору или шмидт-кассгреновскому телескопу. В ясные ночи этот вопрос для меня давным-давно решен, к тому же я неделями прекрасно обхожусь без радио, телевизора и газет — в конце концов, большей частью поблизости есть люди, которые опять же рассказывают новости из своего окружения: таким способом тоже узнаёшь кое-что о современности.

Роскошь? Конечно, это роскошь. Для меня нет большей роскоши, чем полностью располагать своим временем и, по возможности, подольше и без помех оставаться наедине, допустим, с работой рассказчика и многообразием ее перспектив. В городах я годами был только гостем и очень редко испытывал потребность, а тем паче стремился в битком набитые, предельно расползшиеся ввысь и вглубь жизненные пространства. Моя тема — человек-одиночка. И в чем бы ни заключалась его история, она куда отчетливее видится мне в более свободных

пространствах, да-да, в том числе и в мнимых пустынях, нежели на переполненных площадях.

Хорошо помню холодный день ранней осени, когда я вместе с писателем Эйнаром Каурасоном бродил по каменистой исландской земле. Полнейшее одиночество, озаренное ледяным отсветом материкового глетчера, до такой степени возбуждало фантазию, что, когда мы сделали привал на голой седловине и вдруг увидели, как глубоко внизу возникли смерчи — десяток, а то и больше огромных, двадцати-тридцатиметровых пылевых вихрей, которые в пьяном, сумбурном танце кружили по охряно-желтой равнине, — я конечно же углядел *жизнь*, углядел в этих мечущихся столбах тучи насекомых, призрачные в ледяном отблеске, а не только пыль. И рассказанная Каурасоном исландская сага об изгое, история о человеке вне закона, о преступнике, который разрушил каменный путевой знак, в наказание за это лишился одной ноги и мог передвигаться, лишь кувыркаясь колесом, однако продолжал преследовать, догонять и убивать свои жертвы, путников в безлюдье... — на фоне таких декораций эта история показалась мне весьма прозаической.

В пустыне, в безлюдье всякая жизнь, как нигде, видится чудом. Вот и в горах тоже фантазия, воображение прямо-таки разгорается, и чем дольше находишься в подобных краях, тем сильнее потребность заполнить пустые места, белые пятна историями, образами. Так и ночи, которые я провожу за телескопом, принадлежат историям — волны света, миллионы, даже миллиарды лет странствующие в пространстве, проникают в окуляры телескопа, падают на мою сетчатку и сообщают мне элементарные сведения о температурах, об эволюционно-исторических условиях в безмерных космических далях, каких можно достичь разве что мыслью. И как соблазнительно, а порой и тягостно представить себе, что эти несомые волнами истории отправлены, переданы, *рассказаны* еще тогда, когда в том месте, где их наконец принимают, прочитывают, расшифровывают, не существовало даже прототуманности, была абсолютная пустота, а теперь, когда эти сообщения наконец добрались до нас, в их изначальных координатах, возможно, давным-давно опять господствует пустота, может статься, лишь кое-где попадаются остатки сверхновой, клочья туманности, остаточное излучение: так промежуток от возникновения до конца истории может стать бесконечным, а путь ее передачи, путь сквозь пространство — единственным ее *местонахождением.*

Подолгу ли я путешествую каждый год? Трудно сказать, все зависит от погодных условий и от целей, но, во всяком случае, месяцами. Год от года мне все труднее от полукочевой жизни слушателя, наблюдателя, туриста возвращаться к оседлости — когда же насмотришься и наслушаешься достаточно, чтобы самому поднять голос, *взять* слово? Письменный стол, где бы он ни стоял — в Ирландии, в Бразилии, в свайном доме на Яве или в guest house[1] на берегу Меконга, — всегда означает оседлость, ведь внезапно двигаешься только в одном пространстве — в единственной комнате, в единственном пространстве рассказа, где необхо-

1. Дом для приезжих (*англ.*).

димо отвлечься от многих историй, в том числе от собственной и от историй друзей, и целиком обратиться к той *единственной*, какую нужно поведать. Вопросы касательно этой одной, исключающей столь многое другое истории, в которой, бывает, надолго остаешься наедине с собой, иной раз мучительны. При том что сама экспедиция, хоть в романе, хоть во всем практическом опыте, лежащем в его основе, до сих пор неизменно была для меня возвращением — от самого отдаленного и чуждого к самому что ни на есть привычному, возвращением к людям.

Мрачные, говорите? Рассказы у меня мрачные? Ну что вы. Истории *по природе своей* — позвольте мне один-единственный раз прибегнуть к этому выражению — никак не могут быть мрачнее реальности. Я никогда не стремился привязать историю цивилизации к пессимистическим доктринам, согласно которым все якобы и так мчит-летит во мрак, в бездну, к исчезновению и гибели. К тому же кой-какие аспекты технического прогресса меня прямо-таки восхищают... методы лечения, смягчение болей, мобильность, связь, ноутбуки — с ума сойти! — ноутбуки, чьи жесткие диски позволяют щелчком мыши сохранять и считывать информацию громадных энциклопедий, да что там, целых библиотек! И конечно же слово *прогресс* приводит на ум изысканно-горький шоколад, телескопы с компьютерным управлением и легкое как перышко снаряжение — нет-нет, само собой жутко увлекательны даже иные аспекты нанотехнологии, которая способна создавать свои системы, виртуозно имитируя самоорганизацию материи, воспроизводя прямо-таки причудливый хороводный танец молекулярных образований в лабиринтах раскаленных кристаллических подмостков...

Что? Говорите, *гено́м* тоже успели расшифровать? Вы уж простите мне легкую непочтительность, но в этой трескотне про геном мне частенько слышалось всего-навсего: *Геном расшифрован! Геном расшифрован!* — и на ум опять приходил этакий истеричный недомерок. В поездках и во время продолжительных рабочих фаз в западном Корке газетные дебаты большей частью проходят мимо меня. Ну разумеется, о чем разговор: вероятно, науке и на самых горячих ее танцплощадках опять предстоят так называемые *новые начала*, и исследователи — в обнимку с заказчиками, не обращая ни малейшего внимания на возможные протесты богословов, философов и проповедников, — будут шаг за шагом осуществлять осуществимое. Человечек с тремя головами, двумя членами и врожденным лавровым венком? Очень мило, вскоре возможна поставка.

Конечно, с генной инженерией связаны и кой-какие, например медицинские, надежды, способные смягчить кошмары и даже подарить утешение. Но я бы предпочел, с вашего позволения, удовольствоваться тем, что живу в *мое* время, а не попозже. Нет у меня ни малейшего желания сражаться за место под солнцем в классовых и кастовых обществах манящего будущего, где голопятые природные красавцы, отчаявшиеся калеки и набитые эрзац-органами или пышущие запрограммированным здоровьем зомби-биржевики, долголетием не уступающие морским черепахам, бьются за изменение новейшего пенсионного законодательства.

Правда, уже сейчас иные ученые мужи в лабораториях, похоже, путают мыслимое и осуществимое. Но как простой бродячий рассказчик я в принципе и всегда имею дело сразу *и* с реальным, *и* с возможным, хотя в первую очередь, пожалуй, с возможным: играю ракурсами и выте-

кающими из них обстоятельствами, а также, разумеется, и отказом от всего возможного...

А бедняги лаборанты! Высунув язык, они кидаются от одной реализации к другой: возможное *необходимо* — кровь из носу, необходимо! — сей минут осуществить. Вечная и однообразная история с продолжениями, вы не находите? Ну конечно же: кто хочет ее прочесть, пусть читает — десять, сто, тысячу страниц штрихкодов! А в конце, всегда вре́менном, овечка-клон по имени Долли. С ума сойти.

Может статься, когда-нибудь и рассказчики будут формулировать свои истории в штрихкодах и не только читать в линиях спектрального анализа, но и писать, однако покамест *писать* означает для меня жить в нарративном пространстве, которое со временем мало-помалу становится неотличимо от реальных жизненных обстоятельств: я встаю вместе с персонажами моих историй, провожу с ними день, недели, месяцы, годы и в итоге, по мере углубления языковой разработки, делаю их почти такими же реальными, как физически живые люди. А когда история наконец рассказана до конца и опубликована, я покидаю не только хорошо знакомое пространство, но и всех этих хорошо знакомых вымышленных персонажей. Неудивительно, что такие расставания зачастую связаны с растерянностью, страхами перед жизнью, а порой и с чувством одиночества, верно?

Однако о чем бы мы ни говорили — о штрихкодах, о лаконичной лирической или эпической прозе, главным вопросом остается, можно ли обеспечить вымышленному, сугубо гипотетическому персонажу, преобразив его в язык, некую реальность и станет ли он тогда, в рамках истории, убедительным, достоверным для одного или нескольких слушателей либо читателей. Ведь совершенно не важно, сколь ирреально, анахронично или фантастично все то, чего рассказчик требует от своих персонажей, — коль скоро в пределах нарративного пространства, которое определяет он один, они выглядят убедительно, а тогда возможны не только любая биография и любая судьба, но придумывание реальности.

Отклонения? Вам хочется знать, насколько меня привлекают иные задачи и сценические формы рассказа, например театр? Драматических амбиций я не имел и не имею. Когда представлялся случай изобразить что-нибудь на сцене, я и там рассказывал истории, либо позволял Невидимке, суфлерше, если можно так выразиться, *рассказом вывести* моих персонажей на сцену, а вовсе не — как вы это называете? — *ставил спектакль*. К большой досаде, как вам уже известно, иных заархивированных в моем лилипутском календаре театральных аргусов, которые на своей территории в принципе не терпят рассказов, приветствуя исключительно прямых, непосредственных ораторов. Но это их полное и совершенно естественное право — почему драки за территорию должны происходить лишь между дикими кабанами, обезьянами-хануманами или рыбами-иглобрюхами?

Что же касается посещения театра в качестве проезжающего автора, то, наверно, дело так бы и кончилось листанием проспектов, если бы летом 2000 года я не очутился в Зальцбурге. К моему удивлению и даже замешательству, мне в тот год предложили исполнить на фестивале,

который происходит в этой, с позволения сказать, цитадели туризма, роль *писателя-гостя*. Подобно многим туристам плоховато знакомый с местными обычаями, я уже через восемь дней нерешительности и раздумий принял приглашение, после чего выставил руководству кой-какие беззастенчивые предложения, и в итоге, опять-таки вопреки ожиданиям, мне предстояло в течение семи — семи! — дней в семи разных местах — от огромной, вырубленной в скалах школы верховой езды до сверкающего люстрами Земельного театра, а вдобавок в большущем *черном ящике* объемом в тысячи кубометров, исключительно для моих целей обитом черным сукном, и даже в роскошном, превращенном в амфитеатр дворе архиепископской резиденции — демонстрировать (разыгрывать! — это ваши слова) сценические формы рассказывания, под девизом "На пути в Вавилон".

Но на сей раз я не был, как обычно, наедине с моими персонажами, на сей раз мне помогал многочисленный и постоянно растущий отряд, который вначале состоял из осветителей, рабочих сцены и звукотехников, затем к ним добавились восемь-девять звезд национального театра, виртуозы-скрипачи и пианисты, оперная певица — исполнительница музыки барокко в изумительном серебристо-белом платье, вкупе со столь же многоязыким, сколь и многоголосым хором, прославленные по обе стороны Атлантики художники и скульпторы, идолы джаза, даже ансамбль альпийских рожков и мастер игры на у́де, арабской лютне, а еще, конечно, присоединились друзья, в том числе опять-таки Райнхольд Месснер, который у пылающего костра, на фоне огромных — с дом! — фотографий, некогда спасенных перед самой гибелью экспедиционного судна "Эндъюранс" и теперь спроецированных на скальную стену школы верховой езды, рассказывал о *выживании*. Нет, я не преувеличиваю. Обо всем об этом вы можете прочитать в программной брошюре, а она потолще иных моих книг.

На зальцбургском пути в Вавилон я прошел семь этапов — от безмолвия, просто слушания и созерцания, каковые непременно предшествуют всякому рассказыванию, к описанию фактов и от простого описания к придумыванию мира, как это происходит, например, в романе, от романа же перешел к языку образов, а оттуда через обычные и архаические формы повествования вернулся в реальность, которая, безучастная ко всей литературе, выплескивается за ее пределы. На счастье, под конец уже не держали речей, не пели и не рассказывали, а только музицировали — в джазовом концерте под открытым небом, который позволил мне на несколько часов забыть о постоянном звоне в ушах и по сей день иной раз чудесно звучит в голове.

Для меня, в ту пору чрезвычайно счастливого туриста, далекий путь в Вавилон показывал следующее: все, что бы ни рассказывалось, публика переводит на язык собственной культуры или хоть на язык собственного сердца. Мы видели, как из одного-единственного голоса возникает хор, а из одной-единственной книги — библиотека, и имен для этого чуда преображения найдено много, очень много, Вавилон лишь одно из них. Но обо всех семи вечерах, как и о рассказах вообще, справедливо сказать, что они неповторимы: всему происходившему в эти вечера суждено было произойти только раз и больше никогда и сохраниться так лишь в рассказах, в воспоминаниях.

Вы, конечно, можете себе представить, что *пьеса*, которую под названием "Невидимка" сперва включили в программу как одну из сценических форм рассказывания, а затем, по финансовым соображениям, решили давать на протяжении *нескольких* вечеров, то есть повторять, помешала бы моим планам. Стало быть, на лето 2000 года пьесу следовало отменить и если уж не отказываться от нее совершенно, то хотя бы отодвинуть на будущее лето. Что и было сделано.

Сейчас я уже не скажу вам, откуда задувал тот особенный попутный ветер, который я постоянно ощущал в Зальцбурге, но мне кажется, он связан с тем, что я, пусть на кратком этапе работы и в рамках предприятия, свидетельствующего чуть ли не о мании величия, не оставался совершенно наедине с самим собой.

Образцы? Вы спрашиваете про образцы? Понятия не имею. Это не моя проблема. Когда говоришь, рассказываешь, пишешь — обо всем, что в памяти и речи людей стало историями, — невольно затрагиваешь по меньшей мере содержание, а порой и форму всех трудов, которые в разное время обращались к сходным темам. В результате любая новая история на самых разных уровнях связана практически чуть ли не со всеми своими предшественницами. Но сконструировать такие связи нельзя. Они возникают сами собой, столь же естественно, как все прочие родственные связи между тем, что было, и тем, что есть или еще только предстоит.

А что задним числом подобными связями манипулируют, подправляют их, подчищают, тоже вполне естественно. И с неменьшей естественностью при этом снова и снова случаются забавные курьезы. К примеру, мне вспоминается гордый опус некой ученой германистки, которая уже в названии моего романа "Последний мир" усмотрела подкупающую параллель с "Другой стороной" Альфреда Кубина. В пространной и наверняка тщательно проработанной статье она снова и снова писала о *другом* мире и *другой* стороне, ни единого разу не заметив, что между *последним* и *другим* — миром ли, стороной ли — существует различие, очевидное даже для первоклашек.

Ах да, вероятно, вы и тут правы, и подобные анекдоты столь же бесплодны, сколь и любая другая ветеранская болтовня. В свое оправдание могу лишь напомнить, что и писатель Назон, бедный ссыльный поэт в моем "Последнем мире", был кем угодно, только не героем: моему Назону, отображенному, не историческому, в итоге приписывают еще и страсть к роскоши и успеху. Поэт как человек, который в тени зонтика проводит долгие послеполуденные часы поблизости от больших стадионов и упорно прислушивается к всплескам аплодисментов и ликования, более того, воспринимает этот шум как музыку и от восторга снова и снова как бы становится участником овации, представляя себе, что эти рукоплескания, это огромное признание предназначены ему, именно ему!

Но разве же правда и величие его — и вообще любого — поэтического творения не оказываются превыше тщеславия автора, ребячливого, безмерного тщеславия? Вы по-прежнему считаете, что хороший рассказчик или поэт непременно должен быть и хорошим человеком? Та-

ким, кто не сдается, *ни перед чем?* Н-да. Кто я такой, чтобы присвоить себе право препятствовать вашей вере?

Что? Вам хочется спасти рассказ хотя бы как целительное средство? Как наглядный процесс оздоровления разума? Рассказ как лекарство? Неужели вы полагаете, что самое худшее в человеческой истории вправду уже позади и рассказчикам, как и их публике, остается только ждать лучших времен?

Давайте-ка простоты ради говорить лишь о недавнем прошлом и ближайшем будущем. По-моему, надеяться, что время лечит, чистая иллюзия. Время заметает события, уходит, но не лечит, порой оно даже и не уходит — словно комета, которая как будто бы удаляется, но на деле описывает более или менее эллиптическую траекторию и однажды вернется... И внезапно все снова горит огнем, как горят плечевые суставы прошедшего через лагерные пытки Амбраса, персонажа "Болезни Китахары". С воспоминанием возвращается и боль, причем становится все сильнее. Кстати, это вполне совпадает с медицинскими фактами: когда скелет стареет, многие деформации и давние травмы опять начинают причинять лютую боль.

В наше время — вы разве не слыхали? — тоже есть му́ка, которая никогда не перестает, и печаль, которой нет конца: су́дьбы, подобные той, что выпала лагерному узнику и рассказчику Жану Амери или лагерному узнику и рассказчику Примо Леви. Через десятки лет *после* освобождения оба погибли от того, что им довелось пережить. В итоге самоубийство показалось обоим единственным путем к свободе.

Возможно ли — возможно ли! — чтобы один говорил: Хватит об этом, забудем! — меж тем как другой по-прежнему страдает от пыток, от шрамов, от горящих лютой болью плечевых суставов, которые пыточных дел мастера вырвали из суставной впадины? Ведь неправда, что, скажем в 1945 году, распахнулись все лагерные ворота и эта история, по крайней мере для уцелевших, закончилась *благополучно.* Это не вся правда. По-прежнему есть люди, которые с тех пор живут в безвременье, где все времена — прошлое, настоящее, будущее — неразрывно соединяются в одно-единственное безымянное время отчаяния. Люди, обреченные жить в этом безвременье и снова и снова возвращаться туда, откуда их некогда все же освободили. Освободили? Боли в их суставах с годами усиливаются. Все больше усиливаются.

В путешествиях и в писательстве я снова и снова на собственном опыте убеждался в неожиданной и жуткой близости ужаса и всего того, на что *мы* способны под нажимом смертельного страха, голода, алчности или просто глупости. При этом даже туристу вовсе незачем посещать районы военных действий или трущобы больших городов вроде Сан-Паулу, Бомбея, Дели или Мехико, чтобы понять, что относительный, благоустроенный покой нашей жизни в глобальном масштабе представляет собой непостижимое исключение. Если смотреть на нашу жизнь из трущоб, *извне,* она наверняка кажется совершенно нереальной, куда более далекой от реальности, чем любой даже самый дерзкий нарративный проект.

Потому-то я утверждаю, что слияние времен в моих историях вовсе не анахроничная игра, а попытка, изнурительная попытка приблизиться к реальности. Как я ненавижу, да-да, *ненавижу* это фамильярное согла-

сие с читателем: 1938-й... 1945-й — вам, милейшие гости кукольного театра, хорошо известно, что́ это означает. И все театральные зрители кивают. Правда? Неужели еще до того, как прозвучит первое слово истории, все вправду знают, о чем речь?

То, чего мне, туристу или рассказчику, хочется достичь в самом счастливом случае, конечно же недостижимо, — рассказ, вроде как лишенный предпосылки. Прежде чем прозвучит первое слово истории, никто не *обязан* знать, что́ имеется в виду, когда произносится слово *война* или *лагерь*. Лишь тот, кто следит за рассказом, узна́ет значение этих и других слов. Простите мне взволнованность, но к своим персонажам, коль скоро они уже появились, я отношусь почти так же, как к людям из плоти и крови. И на разных этапах моей жизни и в разных ситуациях те или иные люди мне тоже близки по-разному.

Работая над "Болезнью Китахары", я порой был чуть ли не влюблен в героиню, в Лили. А не то погружался в безысходную печаль по некоему Амбрасу, *Собачьему Королю* из этой истории. Но, придумывая всех трех главных героев, в том числе Беринга, Телохранителя и *Моорского Крикуна*, я непременно рассчитывал на возможность отождествления со всеми тремя персонажами. Не только со страдающим, но и с тем, кто причиняет другому боль и обиду. Тут злодей, там жертва, а я как читатель или рассказчик всегда на стороне доброго, истинного, на стороне просвещения — нет, мир отнюдь не столь идиотски примитивен. И реальный мир, и рассказанный.

Побудительные стимулы? Конечно, каменоломни в концлагерях Эбензее и Маутхаузен некоторым образом побудили меня к написанию романа. Да, в Маутхаузене есть и каменная лестница. А еще в лагере Маутхаузен на стеклянной доске в музее выгравирована скопированная из множества писем лагерной почты, почерком множества разных людей, та единственная — немецкая! — фраза, которую *надлежало* вставлять во все личные весточки, уходившие из этого ада в Италию, Польшу, Венгрию: *Я здоров, все у меня в порядке.*

Я здоров, все у меня в порядке. Для меня эта фраза — одно из самых потрясающих свидетельств варварства: насильственная невозможность пользоваться единственным еще оставшимся утешением — родным языком, — чтобы рассказать любимому, близкому человеку о своих страданиях, страхе, одиночестве, и насильственная же необходимость прибегать к формуле, ко лжи, ничего чудовищнее которой в таких обстоятельствах даже помыслить нельзя и которая вдобавок сформулирована в лексиконе палачей, и тем самым отрекаться от себя и от остатка своей жизни. Я процитировал эту фразу в романе. Придумывать не было нужды.

Вы не находите, что названия вроде Маутхаузен или Освенцим слишком часто фигурируют в процессе благонамеренного просвещения и хорошо организованной памяти просто как сокращения, как знаки? Однако простой призыв помнить не заменит картину кошмара и одинаково мало способен воскресить в сознании как образ кошмара, так и лица людей. Если кому и дана такая способность, то лишь рассказчику.

Вы говорите, *дословно* вам вспоминается только посвящение на форзаце "Болезни Китахары"?

Фреду Ротблатту
и памяти моего отца
Карла Рихарда Рансмайра

Совершенно верно. Оно звучало именно так. Изначально я думал посвятить эту книгу только моему другу Фреду, которому удалось в последнюю минуту бежать из Вены в Англию с так называемыми *детскими транспортами*. Его мать погибла в Освенциме. Я подолгу разговаривал с ним и как-то раз спросил позволения посвятить ему книгу, если когда-нибудь сумею в своем романе обратиться к тому времени и тому миру, каких мне самому увидеть не пришлось. Потом, на пятом и последнем году работы над "Болезнью Китахары", скончался мой отец. Ему этот роман тоже обязан многим. И Фред Ротблатт, который, исполняя волю своего отца, после войны на новой родине, в Нью-Йорке, называл себя только *Джордан* — кстати сказать, в США это имя носят преимущественно *черные*, — Джордан, потому что его отец не желал более иметь ничего общего ни с одним *немецким* словом, пусть даже со словом Ротблатт, — Фред согласился разделить, так сказать, располовинить посвящение. Все, что мне известно о самых мрачных временах минувшего столетия, я во многом узнал от Фреда и от моего отца, — я говорю здесь о страхе, скорби, боли воспоминания, а не о статистических фактах.

Угрожающее, мрачное в человеческих проявлениях?

С этой темой я столкнулся очень рано: в школу я ходил на одном берегу Траунзее, а на другом берегу находилась каменоломня Эбензее, бывший внешний лагерь Маутхаузена. Как министрант я нес ритуальные сосуды для *соборования*, когда в моей родной деревне жандармы прямо через закрытую дверь застрелили пьяного дебошира. Я был молодым избирателем, когда некий хваленый глава австрийского правительства расшаркивался перед бывшим эсэсовским офицером, а ныне политическим партнером и на все протесты отвечал клеветническими выпадами. Как корреспондент я писал о концлагере Ораниенбург и о гибели поэта Юры Зойфера в Бухенвальде. Писал о подневольном труде, использованном при закладке плотины в Капруне, и о колоннах заключенных, которых гнали через нижнеавстрийский Мостфиртель. Я жил с выносимыми собственными *и* невыносимыми чужими воспоминаниями — о приозерной каменоломне, обо всем, что там происходило. Конечно, я бы предпочел, чтобы, скажем, действие романа "Болезнь Китахары", истории телохранителя, у которого затмевается взгляд, происходило в более светлой обстановке. Но потом, встретившись в Нью-Йорке с уцелевшим, с эмигрантом из Вены — Фредом Ротблаттом, иначе Джорданом, — благодаря ему усвоил, что можно выдержать *все* воспоминания, в том числе если ты рассказчик.

Ладно, подумал я, один-единственный раз возьму материал романа из подвалов собственной жизни. Разумеется, меня занимала и вопиющая несправедливость — ведущиеся снова и снова разговоры о подведении черты, о забвении и прощении, меж тем как среди этих ораторов, заклинателей и успокоителей жили и до сих пор живут люди, у которых нет такого выбора, которые просто не могут забыть, подвести черту и

засыпать окопы, потому что до сих пор страдают от последствий лагерных времен, от пыток и порой лишь теперь, в *наши* дни, гибнут от того, что́ с ними сделали.

Мне вспоминается доклад историка Дэна Дайнера под названием "Освенцим как феномен будущего". В Зальцкаммергуте, в Эбензее, в Маутхаузене, находясь в обстановке моей собственной истории, я не могу не думать об угрозе прошлого *и* возможной угрозе будущего. Но, к счастью, существует разница — разница между выстраданной другими, документированной историей и ее рассказыванием. Меня эти документы потрясают; книги записи смертей, одни только фамилии и номера, материалы дел, запротоколированные показания — все это в годы работы над "Болезнью Китахары" иной раз становилось для меня кошмарным сном. И все же в начале этого нарративного предприятия был вовсе не просветительский, не миссионерский импульс, а лишь необходимость понять, из какого мира и из какого времени родом я сам.

Но когда эта история была рассказана до конца... нет, когда *некая* история наконец-то рассказана до конца, надо оставить ее и примириться с тем, что одному она покажется трогательной, а другому, быть может, ненавистно скучной. Я не хочу и не могу ни охранять свои истории, ни брать их под защиту, могу лишь уповать на то, что они переживут и самое ужасное непонимание. Печально, разумеется, печально для любого рассказчика, когда его история тонет в непонимании, но история литературы, как и мировая история, по-видимому, отнюдь не обитель справедливости.

Природа? Ощущение природы как источник успокоения? О чем вы? Ощущение мирной, идиллической природы — чистая фикция. Даже тот, кто разводит розы, мог бы это подтвердить. Конечно, идиллическое легче всего спроецировать на безъязыкую природу, но ведь вопрос в том, хочешь ли ты оглушить себя, утешить, успокоить — или что-нибудь узнать о мире. Все, что меня волнует, непременно связано с людьми. Даже замыслы возможных историй обступают меня словно люди. И те и другие порой совсем рядом, совсем реальны, но большей частью — только мысли. И однажды, под воздействием зачастую иррациональных факторов, я вдруг обращаюсь к единственной истории, в точности как к человеку — влюбляюсь! — и своеобразное, чудесное тут заключается в том, что одна эта история начинает сопровождать меня повсюду, куда бы я ни пошел, и становится этаким ключом к остальному миру.

И в этом смысле меня опять-таки нисколько не пугает представление о том, чтобы когда-нибудь навсегда уйти в работу над одной-единственной историей, провести остаток дней с одной-единственной книгой. Ведь все, что наш брат может сделать, есть то, что он должен и может сказать, всеми силами и всеми имеющимися у него средствами поведать от начала и до конца. Поймут ли это чудовищное усилие и отнесутся к нему с уважением, проклянут или встретят рукоплесканиями, связано в какой-то мере с удобством или неудобством моих жизненных обстоятельств. Но не с писанием и не с рассказыванием.

Человек человеку волк — по-вашему, *таков* мой принцип? Вы по-прежнему думаете, что под вашей лампой сидит пессимист? Думайте, как вам

угодно. Конечно, иногда, размышляя о том, на что человек способен, целесообразно исходить из волчьей натуры, по крайней мере из вошедшей в поговорку — жизнь настоящих волков решительно опровергает все и всяческие поговорки. Но вера в дурную поговорку хотя бы помогает избежать отрезвления, настигающего утопистов, которые считают человека хорошим и добрым от природы, а воспитание целых народов к более высокой разумности — вполне осуществимой программой. Однако даже пресловутая волчья натура, например в моем "Последнем мире", это всего-навсего слух — слух! — авторство которого некая мелочна́я торговка приписывает ссыльному поэту Назону, кстати говоря приписывает ошибочно. А позднее обитатели *железного* города Томы насмехаются над фрисландцем Дитом, возводящим этот слух в ранг жизненного девиза.

Иные воспитатели человечества, ожесто́ченные жизненным опытом, вместо того чтобы пересмотреть собственные завышенные программы, разочарованно отворачиваются от *человека*: он-де их недостоин, он противится миссионерству. И с тою же страстью, с какой, бывало, стремились освободить угнетенных, принимаются утверждать обратное — говорить о низменности, уродливости человеческой натуры.

Как бы там ни было, лично мне радетели обоего толка заслоняют взгляд на мир. Если что-то и способно укрепить нашу веру в светлые возможности человека, так это, пожалуй, взгляд на одиночку. Отвернувшись от абстрактного понятия "человечество" и обратившись к индивиду, всегда можно обрести надежду.

И все-таки, говорите вы, неужели все мои герои исчезнут? Да, конечно. Ведь это единственная, безусловная непреложность *нашей*, реальной жизни. Но растворение во всеобъемлющем, исчезновение одиночки не есть повествовательный принцип, предназначенный загонять индивида в заброшенность и в ничто. Ведь речь всегда идет еще и о том, чтобы вернуть одиночке его значение, и пока я рассказываю, его исчезновение даже замедляется. Когда-нибудь — да-да, в этом сомневаться не приходится — не останется более никого, кто бы мог проецировать на мир умозрительную модель. Когда-нибудь этот мир опять станет таким, каким был дольше всего, — безлюдным. Не мешало бы, пожалуй, задуматься, как жить с таким сознанием и одновременно испытывать, к примеру, радость и даже восторг.

Вот именно. Я тоже так считаю: человеческое существование, очевидно, не единственная и величайшая задача мироздания. Любое место, которое философские, политические, религиозные иерархии отводят ему во Вселенной, есть чистейшая идеология и в общем-то всегда лишь одна из несчетных мыслимых возможностей. То, что как будто бы формирует и деформирует нас согласно некоей культурной, религиозной или политической доктрине, всегда имеет альтернативу. Ведь можно сменить и угол зрения. Чтобы понять направление нашей жизни, очень даже имело бы смысл, например, установить соотношение между историей и естествознанием. В конечном счете временно́й промежуток, в ходе которого мы ведем войны и заключаем мирные договоры, строим и разрушаем культуры, отнюдь не единственный критерий развития. Весьма полезно хоть иногда бросить взгляд в пространство пошире, скажем в астрономическое или хоть геологическое, посмотреть

в необозримые дали, а затем перевести чуть изменившийся взгляд на собственную жизнь.

По-вашему, такая смена перспективы — всего-навсего вариант игры во *вперед, и куда подальше?* Хорошо, но тогда я скажу, что всякое бегство опять-таки соответствует движению, каким обращаешься к новым и новым историям, жизненным пространствам и пытаешься принять, что всякая история имеет конец.

Ностальгия? Тоска по бессмертию? По детству? Думаю, в основе своей это фантомная боль, потому что связана она с образами памяти, которые в таком или похожем облике, быть может, никогда и не существовали. В верхнеавстрийском Зальцкаммергуте, например, в том гористом, отражавшемся в волшебных озерах краю, в котором я вырос и в тихие, высокогорные уголки которого по сей день охотно возвращаюсь, с ландшафтом обращаются так, будто объявлена награда за его скорейшее и непрерывное опустошение: в интересах местных политиков и нуворишей-застройщиков вырубают просеки в горных лесах, чтобы обеспечить платежеспособным лыжникам все более широкие трассы в больницы "Скорой помощи", превращают целые горы в поистине дьявольские копии тех каменоломен, что снискали дурную славу как территории концлагерных работ, постепенно загрязняют чудесные горные озера вроде Траунзее промышленными отходами, чьи подводные горы едва ли не сравнялись высотой с береговыми холмами, что облеплены уродливыми, спесивыми особняками, — а в довершение этой опустошительной оргии запускают по озерам, где раньше ходили одни только плоскодонки, так называемые power boats[1], наполняющие округу до самого высокогорья ревом моторов, меж тем как привезенные на автобусах массы зрителей превращают узкие полоски прибрежных лугов в вязкую трясину. И словно памятник триумфу столь же тупоумной, сколь и хищнической алчности на возвышающемся над этим гротеском горном плато в Адских горах (такое весьма знаменательное название носит здешняя гряда Известняковых Альп) строится *каникулярная деревня*, чьи жуткие деревянные халупы опять-таки напоминают ряды бараков концлагеря, устроенного в годы войны на берегу озера. В итоге же вся долина единодушно ликует, ведь вся эта свистопляска привела к тому, что здешняя округа стала съемочной площадкой дурацкой мыльной оперы, успешно демонстрируемой в прайм-тайм национального телевидения.

Нет, вы уж поверьте, ме́ста, где ты вправду в безопасности и наедине с самим собой, не найти ни на одной карте; если оно и существует, то лишь в детских, едва ли не сказочных воспоминаниях. Да-да, спокойно можете кивнуть: благодаря этим воспоминаниям я везде и всюду остаюсь верхнеавстрийским деревенским жителем.

Любовь к горам? Я бы не назвал это любовью, но путь по вертикали внушает покой и утешение в том смысле, что там я рано или поздно достигаю точки, где продолжать движение невозможно, по той простой причине, что следующий шаг будет шагом в пустоту. Успокоение,

1. Моторные катера (*англ.*).

ожидающее в конце такого маршрута, обычно выпадает нам — или только мне? — весьма редко. Ведь зачастую мы не ведаем, всё ли сделали, что в наших силах, всего ли достигли. Когда работа вправду завершена? Когда мы вправду убедили себя или другого? В самом ли деле сказано все, что нужно? Где та грань, за которой любое новое усилие ведет лишь к извращению всех предшествующих стараний?

На пути по вертикали, в горы, эта граница абсолютна. Там на самом деле существует вершина, верхняя точка, откуда есть только одна дорога — назад. Но как раз на обратном пути знакомое опять-таки предстает в совершенно иной перспективе. Спускаться в глубину, к некой цели, — совсем не то, что подниматься в едва ли не фиолетовую синь небес: по дороге наверх сосредоточенность совершенно естественна, по дороге вниз ее приходится мобилизовывать снова и снова, в борьбе с изнеможением и неистребимым желанием уснуть, просто спать, отдыхать, почивать, хотя бы и вечным сном.

Поворачиваясь спиной к вершине или иной желанной цели — оттого ли, что к этому вынуждает изнеможение, оттого ли, что уже достиг, чего хотел, — человек поневоле констатирует, что действительно дошел до предела, к примеру исчерпал запасы продовольствия и собственные силы, и внезапно исходный пункт, место, где начался путь, самое родное, знакомое, близкое кажется самым что ни на есть далеким и недостижимым. Насколько я знаю, многие спуски кончаются гибелью, так как восходители забывают, что обратный путь в привычное, знакомое порой стоит бóльших страданий и требует много большего напряжения сил, чем путь ввысь, в мечту.

Что? Вы все еще верите в великую миссию писателя — пророка, мятежника или хотя бы возражателя? Это делает вам честь, хотя и согласно довольно-таки заплесневелому кодексу. Кто поневоле только слушает, смотрит — пялится! — только таращит глаза на экраны трехсот-четырехсот спутниковых телеканалов, чтобы хоть обрывочно узнать о ситуации в мире, тот пусть не ссылается на необходимость в связниках и проповедниках. Рассказчик может восполнить нехватку воображения, но не способен просто так выкрикивать команды вроде *Открыть глаза!* или *Сопротивляться!*

Мое "нет", чреватое наибольшими последствиями? К счастью, я никогда не бывал в ситуации, когда бы мне пришлось сказать "нет", возымевшее решающее значение. Например, я в жизни не стоял перед альтернативой принять физический ущерб, боль, голод, тюрьму и даже еще более ужасное или сдаться, спасовать. Боюсь, под угрозой пытки или смерти я бы вряд ли держался героем. Мне вспоминается отец, скромный, зачастую испуганно-озабоченный человек, который так легко чувствовал себя виноватым и считал, что обязан благодарить весь мир, ведь это общество, облаченное в национальные костюмы, мантии и мундиры, не отвергло его, внебрачного ребенка, в строго католической деревне, открыло ему, ученику из интерната для бедняков, дорогу в гимназию и к среднему образованию, дорогу, кстати говоря, в несколько километров, крутую и зимой заснеженную, дорогу из сырого домишки шлюзового смотрителя наверх, до ближайшей железнодорожной станции в лесу, а оттуда до конечной станции на Траунзее.

Я хорошо знаю эту дорогу: мы, мои родители и трое их детей, часто гуляли в воскресные дни по этой дороге, шли сверху вниз, что значит "шли"? Перепрыгивая со шпалы на шпалу, выскакивали из деревни в лес, а оттуда вниз к развалинам у реки, к родительскому, то бишь материнскому дому отца.

Однако именно этот человек, с детства обязанный членам общины и прихода — и *вообще* всем! — способный ученик, закончивший гимназию с отличием, поставил крест на весьма вероятной блестящей карьере, отказался от настоятельно рекомендованной покровителями офицерской специальности, позднее был призван на военную службу как простой резервист и переведен с гор к морю.

Оказавшись в плену, вместе со всей командой минного тральщика, действовавшего на Черном море, мой отец в итоге очутился на Крымском полуострове, неподалеку от Севастополя, научился читать в оригинале Гоголя, Горького и Достоевского и как переводчик стал настолько незаменим, что домой вернулся позже других, через много лет после войны. Я знаю, порой он уже подумывал остаться в Крыму навсегда, знаю и то, что сам с собой он неизменно говорил по-русски. Иногда я подслушивал эти разговоры, схоронившись в чулане за большой бельевой корзиной, и думал тогда, что этот непонятный, загадочный речитатив у взрослых вроде тайного языка и с годами достается каждому, как борода, седые волосы или лысина, — знак зрелости.

Мне вспоминается примечательная фраза, ответ на мой вопрос, почему он отказался от карьеры, отказался после всех гимназических успехов, после всех упорных стараний. И отец, человек уступчивый, неизменно стремившийся к согласию и добрым отношениям, но, несмотря ни на что, в конце концов погрузившийся в меланхолию, ответил: *Я никем не хотел быть в этом государстве, никем не хотел стать среди этих людей.*

Нет, мой отец, один из двух внебрачных детей толстухи, которая так и не вышла замуж, всю жизнь страдала от одиночества и рассталась со своими телесами, работая в кухонном цехе легочного санатория, отнюдь не был героем. Но, может статься, его решения оказалось достаточно, может статься, этого в самом деле достаточно и будет достаточно на все покуда оставшееся нам время, ведь это решение свидетельствует: в авторитарных, варварских обществах были люди, не желавшие безоговорочно кем-то стать, любой ценой занять какую-то должность, что-то из себя представлять. А тот, кто не хочет блистать средь варварства, содействует если и не спасению, то, по крайней мере, крохотному, легкому как пушинка улучшению, совершенствованию мира.

Александра Лешневская
Три "Гранде"

> Среди женщин Евгения Гранде станет, быть может, образом самоотверженных душ, ввергнутых в бурное житейское море и поглощенных им, подобно благородной греческой статуе, упавшей во время перевозки в морскую пучину, где она навеки пребудет неведомой[1].
>
> О. де Бальзак *Евгения Гранде*

Зачем Бальзак современному читателю? Может ли роман, написанный в 30-е годы XIX века, заинтересовать сегодня кого-нибудь, кроме студента филологического факультета, где произведения французского романиста входят в обязательную программу? По всей видимости, в быстро меняющейся России классическая литература отходит на второй план, а издатели вслед за читателями ищут новых ответов на злободневные вопросы. Неужели за почти 170 лет, прошедших со времени написания романа, человек настолько изменился, что некоторые ценности перестали считаться вечными?

Подводя итог майской конференции "Новые переводы старых книг"[2], поэт и переводчик Марина Бородицкая очень точно сформулировала проблему "порочного круга", в который попала сегодня классическая литература, а вместе с ней и ее новые переводы. В советской школе перевода доминировала идея "классического", "культового" перевода, сделанного раз и навсегда, не нуждающегося в пересмотре. Эта идея живет в умах и по сей день. Бережно охраняя святыни, мы к ним даже не притрагиваемся. Вот круг и замкнулся: читателю неинтересно, издателю невыгодно, переводчику страшно: святыня все-таки. А если рискнуть и заглянуть под обложку "Евгении Гранде"?

Для начала, несколько слов о самом романе. С момента выхода первопечатной редакции в 1833 году во Франции "Евгения Гранде" была признана шедевром романного жанра. Книга, к радости издательницы, госпожи Беше, раскупалась, как хлеб. Слава "Евгении", как считал Бальзак, затмила все его последующие произведения. Роман не оставил равнодушными ни читателей, ни переводчиков, ни исследователей. Последние пишут о таких его особенностях, как стройная композиция, продуманная система персонажей, образный язык, реалистичность и художественная сила описаний. Отдельного внимания заслуживают диалоги: в речи персонажей накал страстей порой достигает такой силы, что роман

© Александра Лешневская, 2008

Статья написана по материалам дипломной работы, защищенной в РГГУ 15 июня 2007. Научный руководитель В. А. Мильчина.

1. Послесловие к первому изданию / Перевод Я. Лесюка // О. Бальзак. Собр соч. в 24-х тт. Человеческая комедия. Этюды о нравах. Сцены провинциальной жизни. Т. 6. – М., 1960. С. 247.

2. Конференция по проблемам перевода проходила 14 мая 2007 года в РГГУ. Организаторы: Институт лингвистики РГГУ, журнал "Иностранная литература", Союз "Мастера литературного перевода".

начинает походить на драму. Эта особенность не ускользнула от театральных деятелей: "Евгения Гранде" выдержала большое количество сценических адаптаций как во Франции, так и за ее пределами, а в XX веке в свет вышло несколько экранизаций. В самом деле, история самоотверженной любви провинциальной девушки к столичному денди, не сумевшему по достоинству ее оценить, по силе воздействия и глубине содержания вполне сравнима со своим не менее легендарным русским полутезкой "Евгением Онегиным".

В России о романе заговорили почти сразу после публикации на родине. В 1834 году даже Сенковский[1], несмотря на его скептическое отношение к творчеству Бальзака, на страницах "Библиотеки для чтения" называл этот роман лучшим произведением писателя. Однако в течение десяти лет "Евгения" оставалась непереведенной и потому недоступной широкой публике. Первый русский перевод появился только в 1844 году, и сделал его не кто иной, как Федор Михайлович Достоевский, страстный ценитель творчества великого французского романиста. Перевод "Евгении Гранде", напечатанный в малоизвестном журнале "Репертуар и Пантеон" (причем без указания имени переводчика), стал первой публикацией начинающего литератора. О конгениальности великих писателей сказано и написано немало, но всегда особенно интересно, как они сами отзывались друг о друге. Так, много лет спустя после работы над переводом, Достоевский, отвечая на вопрос В. Микулич "Ну, а кого вы ставите выше, Бальзака или себя?", сказал: "Каждый из нас дорог только в той мере, в которой он принес в литературу что-нибудь свое, что-нибудь оригинальное. В этом все. А сравнивать нас я не могу. Думаю, что у каждого есть свои заслуги"[1].

Но вернемся к истории создания первого перевода, Достоевскому было тогда 22 года. Зимой 1843-го он только окончил ненавистное Инженерное училище, и потому с упоением принялся за перевод романа любимого писателя, а уже через две недели в письме брату Михаилу сообщил: "...на праздниках я перевел "Евгению Grandet" Бальзака (чудо! чудо!). Перевод бесподобный"[2]. Сегодня, полтора столетия спустя, даже взыскательный читатель вряд ли сочтет эту оценку завышенной. В "Евгении Гранде" Достоевского нет обычных для переводных текстов недостатков: не по-русски звучащих фраз, засилья иностранных слов, калек. Текст поражает цельностью и стилистической яркостью: переводчик смело и точно употребляет просторечные и диалектные выражения, высокую и устаревшую лексику. Характерная черта перевода — слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами, к которым Достоевский явно неравнодушен. Их источником, скорее всего, послужила переписка родителей Достоевского (например, обращение старика Гранде к дочери "ma fifille" передано "жизненочек мой" — именно так отец Достоевского обращался к жене). Причем Достоевскому как современнику Бальзака не приходилось искусственно "старить" текст — и это еще одно бесспорное достоинство первой русской "Евгении".

Все же придется и в этом случае вспомнить Гейне: "Перевод — как женщина: если верна, то некрасива, если красива, то неверна". Сопоставляя текст перевода с оригиналом, сразу замечаешь, какими жертвами досталась такая красота. В первом предложении вместо одного бальзаковского эпитета у Достоевского це-

1. Осип Иванович Сенковский (псевдонимы: барон Брамбеус, Белкин и др. 1800–1858) — публицист, редактор, критик, беллетрист, ученый, лингвист-востоковед, редактор журнала "Библиотека для чтения".

1. В. Микулич. Встречи с писателями. — Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1929. С. 155.
2. Из письма М. М. Достоевскому от января (вторая половина), 1844 г. Т. 28 (1) // Ф. М. Достоевский Полн. собр. соч. в 30-ти тт. — Л.: Наука, 1972–1991. С. 86.

лых три. Причем эта тенденция к повторению, позаимствованная у писателей натуральной школы, закрепляется и становится переводческим приемом: чуть ли не в каждом абзаце отыщется фраза, в которой Достоевский развивает синонимичный ряд определений, обстоятельств или сказуемых (например, там, где у Бальзака одно определение "les landes les plus ternes", у Достоевского целых три "сухие, бесплодные, обнаженные степи"). Особо трудные для перевода термины и некоторые реалии чаще всего заменяются более общими понятиями или опущены, что связано, скорее всего, с низким уровнем развития французско-русской лексикографии в середине XIX века (например, у Бальзака читаем: "Vous verrez *un marchand de merrain* assis à sa porte". Дословно это означает "Вы увидите: торговец дубовой клепкой сидит у своих дверей", где "клепка" — специальный бондарный термин, что важно как в контексте романа, ведь главный герой — бочар, так и в целом — для стилистики эрудита-Бальзака. У Достоевского же остались лишь общие слова: "Вы встречаете купца у дверей его дома"). Появляются в переводе и отсутствующие у Бальзака характеристики персонажей (например, если у Бальзака написано: "Tiens, dit Grandet", то у Достоевского можно прочитать: "Ну, — сказал *развеселившийся* бочар", при этом указаний на какой-либо эмоциональный подъем ни в самой реплике, ни в контексте не содержится). Перечисленные особенности перевода существенно искажают стиль Бальзака: сжатые, изящные французские фразы превращаются у Достоевского в протяжно-лиричные, почти гоголевские периоды.

В передаче внутреннего напряжения оригинала переводчику Достоевскому нет равных, однако он последовательно усиливает романтический компонент образов Евгении и старика Гранде. Если у Бальзака Гранде холоден, расчетлив и настолько виртуозен в обращении с деньгами, что его предпринимательское чутье по сей день ставят деловым людям в пример, то в переводе страсть героя к деньгам почти болезненная, а сам герой более эмоционален и сентиментален, чем в оригинале. (Когда у Бальзака Гранде называет Шарля "méchant mirliflor" — "гадкий франтишка", у Достоевского он кричит: "Этот тряпичник, лоскутник, дрянь"). Интересно, что если Достоевский, подбирая лексические соответствия, всячески подчеркивал скупость Гранде, то Бальзак проделывал обратную операцию: редактируя текст рукописи для первопечатного издания, он систематически заменял слово "l'avare" ("скупой"), которое в рукописи встречалось более 40 раз, другими: "le maître de la maison" ("хозяин дома"), "le bonhomme" ("добряк, простак"), "l'oncle" ("дядя"), "le tonnelier" ("бочар"), "le vigneron" ("виноградарь"), "l'homme" ("мужчина/человек") или же просто называл своего героя по имени. Французский писатель, по словам известного бальзаковеда П.-Ж. Кастека, хотел избежать сближения Гранде со "Скупым" Мольера, так как механическое уравнивание Гранде—скупой обеднило бы как сам персонаж, так и содержание романа.

Если образ старика Гранде в переводе последовательно огрубляется, то образ главной героини — идеализируется. Например, ночные размышления Евгении о Шарле, не лишенные сексуального подтекста у Бальзака, в переводе подчеркнуто целомудренны (что понятно, иначе николаевская цензура и вовсе не пропустила бы этот пассаж). Портрет Евгении в переводе наполнен выражениями, напоминающими о романтической школе: "какую-то *необъяснимую*, новую прелесть, новое наслаждение..." (в оригинале: "Des charmes tout nouveaux..."), "...с каким-то *странным*, невольным вниманием..." ("avec une attention particulière..."), "...взгляд, блиставший нежным, *неизъяснимым* чувством..." ("...un de ces regards brillants de bonté, de caresses...").

Почти за год до появления первого русского перевода во Франции вышла третья, каноническая редак-

ция "Евгении Гранде". Достоевский же, судя по его тексту, взял за основу первопечатную редакцию – в переводе сохранены такие ее формальные особенности, как деление на главы, более значительные цифры состояния Гранде. Однако есть и расхождения: выпущены песенки Гранде, все ругательства, так или иначе затрагивающие религиозные чувства, разговор Евгении со священником о том, можно ли сохранить девственность в браке, отсутствует предисловие и – самое существенное – сильно сжата концовка романа (она представляет собой краткий пересказ заключения), а из послесловия полностью сохранен только последний абзац (о греческой статуе[1]). Все же никакого вопиющего произвола, как, например, в случае с печально знаменитым переводом "Отца Горио" журналиста А. Н. Очкина (с легкой руки переводчика в романе было совершенно изменено окончание), в обращении с оригиналом в переводе Достоевского нет: суть финала передана без искажений, с подчеркнуто уважительным отношением к главной героине.

Прочитав напечатанный в "Репертуаре и Пантеоне" перевод, Достоевский, как пишет в воспоминаниях его друг Д. В. Григорович, деливший с ним квартиру в то время, был весьма опечален, так как в журнале текст сократили "чуть ли ни на треть". Исследовательница раннего творчества Достоевского В. С. Нечаева сопоставила опубликованный вариант с оригиналом и выяснила, что текст сокращен, конечно, не на треть, а примерно на 1/15 и сделано это было, по всей видимости, исключительно по цензурным соображениям[2]. По чьей инициативе сокращен финал, остается загадкой, так как рукопись перевода бесследно исчезла.

Одним словом, принципы перевода Достоевского типичны для XIX века, а саму "Евгению Гранде" можно соотнести с такими показательными для своего времени работами, как "Пиквикский клуб" И. Введенского или "Король Лир" А. В. Дружинина, принципиально важной установкой которых было произвести на русского читателя "то же впечатление, что и оригинал – на английского"[1]. Так стараниями переводчиков XIX века читатели познакомились с "русским Диккенсом", "русским Шекспиром", "русским Бальзаком". Бальзака французского открыли (или приоткрыли?) читателю переводчики XX века.

Вторая версия романа с транскрибированным названием "Эжени Гранде" появилась в 1927 году, когда между представителями "вольного" и "буквального" подходов к переводу велись самые горячие споры. Сделан был перевод Исаем Бенедиктовичем Мандельштамом (1885–1954), инженером-кораблестроителем по образованию и переводчиком по призванию. Литературное творчество помогало И. Б. Мандельштаму на всех этапах его нелегкого жизненного пути: и тогда, когда родители воспротивились актерской карьере и вместо театрального института пришлось поступать в Политехнический, и тогда, когда в "кировские дни" его без суда и следствия навсегда выслали из Ленинграда, и тогда, когда за ссылкой последовали бесконечные и беспричинные аресты, тюрьмы и лагеря, – он переводил Шекспира, Гейне, Гёте, цикл стихов Гюго "Страшный год", мысленно посвятив его осажденному Ленинграду. Когда запрещали иметь при себе книги и бумагу, переводил по памяти "Маленькие трагедии" Пушкина на немецкий язык. Лишь немногие "ссыльные" работы И. Б. Мандельштама стараниями самых близких друзей – профессора ЛГУ, историка перевода А. А. Смирнова и Б. М. Эйхенбаума – удавалось опубликовать, да и то под чужими именами.

Задачу переводчика, как пишет исследователь его творчества Л. И.

1. Именно этот абзац послужил эпиграфом к данной статье.
2. В. С. Нечаева. Ранний Достоевский: 1821–1849. – М.: Наука, 1979. С. 95–129.

1. Ю. Д. Левин. Русские переводчики XIX века и развитие художественного перевода. – Л.: Наука, 1985. С. 151.

Володарская, Мандельштам видел прежде всего в том, чтобы передать индивидуальные особенности подлинника: "У каждого автора, уже не раз переводившегося или впервые представлявшегося русскому читателю, свое совершенно определенно выраженное "я" — и длинноты А. Франса не спутать с нервозностью Перуца[1], завораживающий фатализм Цвейга с эпическим размахом Бальзака"[2].

Характеристика, данная Мандельштаму Володарской, как нельзя лучше подходит к "Эжени Гранде". Именно этот вариант перевода наиболее точно передает стилистические особенности романа. Переводчик бережно относится к оригинальному синтаксису: за счет верно расставленных акцентов сохранен трехчастный ритм бальзаковской фразы (например, знаменитое описание Сомюра в оригинале начинается так: "Il se trouve dans certaines villes de province des maisons dont la vue inspire une mélancolie égale à celle que provoquent *les cloîtres les plus sombres, les landes les plus ternes ou les ruines les plus tristes*". Мандельштам не изменил количество определений, причем последнюю часть повтора присоединил запятой, а не союзом (как у Бальзака), тем самым подчеркнув параллелизм: "В некоторых провинциальных городах встречаются дома, внушающие такую же грусть своим видом, как *самые мрачные монастыри, самые унылые степи, самые печальные руины*)". Внимателен переводчик и к лексике: имена героев транскрибируются (Эжени, Нанон), текст наполнен словами с иностранными корнями, за которыми каждый раз читается французский оригинал ("сентенциозный", "шарлатанство"). Вместе с тем поборники чистоты русского языка несомненно обвинят переводчика в чрезмерном увлечении галлицизмами, в сохранении нефункциональных для русского языка притяжательных и личных местоимений, и обвинения эти будут обоснованны. С другой стороны, галлицизмы, которые в первой половине XIX века были более распространены, чем сейчас, придают архаическую окраску тексту. Кроме того, стремясь подчеркнуть не только культурную, но и временную дистанцию между современным ему русским читателем и текстом оригинала, Мандельштам "старил" текст намеренно: например, такую реплику Гранде "Je ne puis rien conclure sans avoir consulté ma femme", он переводит "Я не могу ничего решить, не посоветовавшись с *женою*".

По скупым биографическим сведениям трудно судить о причинах, побудивших Мандельштама взяться за новый перевод "Евгении Гранде". Скорее всего, обращение к роману связано с тем, что в конце XIX века многие переводы бальзаковских произведений обновлялись, а "Евгения" так и осталась в переводе Достоевского. Судя по обилию переведенного из Бальзака — "Старик Горио", "Гобсек", "Красный трактир" (он же "Красная гостиница" в более известном переводе Н. Немчиновой), "Утраченные иллюзии", — французский романист не был безразличен переводчику.

"Эжени Гранде" вышла отдельной книгой в небольшом ленинградском издательстве "Прибой" и с тех пор больше никогда не переиздавалась. Между тем, этот вариант перевода представляет большой интерес. Дело в том, что особенности переводческой манеры Мандельштама позволяют предположить, что он разделял те принципы, которые выдвигали переводчики, причисленные их оппонентами к "буквалистам". Принципы эти были сформулированы Евгением Ланном, переводчиком "Посмертных записок Пиквикского клуба", которые заслу-

1. Лео Перуц (1882–1957) — классик австрийской прозы, признанный мастер экспрессионизма и "магического реализма". Его произведения отличают захватывающая фабула, детективный сюжет с иррациональной развязкой и повышенный интерес к психическим патологиям.
2. Л. И. Володарская. Эскиз к портрету переводчика // Альманах переводчика. — М.: Издательский центр РГГУ, 2001. С. 126.

женно считаются образцовым буквалистским переводом: "...мы категорически откажемся измышлять второй эпитет, если автор ограничился одним... мы категорически отвергнем такие синонимы в нашем родном языке, происхождение которых относится к эпохе более поздней, чем эпоха автора; мы категорически откажемся от истолкования (иначе – разжевывания) тех неясностей, какие могут встретиться в тексте; мы не допустим лексических русизмов в том случае, если местный их колорит вызывает ряд ассоциаций, извращающих (нередко с комическим оттенком) фразеологию и быт другого народа; мы не опустим ни одного слова и тогда, когда столкнемся у автора с явным плеоназмом, и повторим это слово столько раз, сколько оно встретится в подлиннике. Ибо мы знаем, что эти элементы... входят в состав стиля, а 'приемы точности' перевода должны быть ключом, которым переводчик открывает писательский стиль..."[1] Как известно, буквалистское инакомыслие было вытеснено "советской школой" перевода. Главный ее принцип – должно быть естественно по-русски – сближал "реалистический"[2] перевод с вольным, "романтическим", однако нельзя оставить без внимания важную дополнительную интенцию советского перевода – просветительскую, заложенную еще "Всемирной литературой". Последняя требовала от переводчика максимальной точности, научности в обращении с оригинальным текстом (культура комментирования перевода стремительно развивалась как раз в эту эпоху), что, скорее, является признаком перевода буквалистского. Гармоничное сочетание этих двух тенденций и позволило добиться выдающихся результатов: в области теории – выработки достаточно четких представлений о нормах художественного перевода, в области практики – появления плеяды талантливых, ярких переводчиков и переводов. А судьба Е. Ланна и многих других сторонников "порочной теории"[1] (как назвал ее К. Чуковский, представляя в данном случае официальную точку зрения) сложилась весьма трагично.

Вплоть до 70-х годов прошлого столетия все созданное в рамках буквалистских веяний в художественном переводе было предано забвению. И только в 1971 году выходит нашумевшая статья М. Гаспарова "Брюсов и буквализм"[2], в которой ученый, отталкиваясь от брюсовского перевода "Энеиды", доказывает, что "буквализм не бранное слово, а научное понятие". Гаспаров предлагает иную трактовку точного перевода, уподобив его фазе развития культуры вглубь, когда от читателя требуется усилие, чтобы понять "чужое" в тексте, в то время как вольные переводы соответствуют фазе вширь, когда перевод "сгибается до читателя".

Было бы соблазнительно связать опальное положение И. Б. Мандельштама с его буквалистскими взглядами на перевод, однако тяжелая судьба исчерпывающе объясняется иными причинами. Бесспорным представляется лишь сходство установок буквалистов и переводчика "Эжени Гранде".

Наконец третий, наиболее известный вариант перевода "Евгении Гранде" Юрия Никандровича Верховского (1878–1956) – активного участника литературной жизни первой трети XX века, друга Вячеслава Иванова, корреспондента Ремизова и Сологуба, автора замечательной антологии "Поэты пушкинской поры". Переводчика Верховского прежде всего интересовали близкие ему как поэту и как историку литературы жа-

1. Е. Ланн. Стиль раннего Диккенса и перевод "Посмертных записок Пиквикского клуба" // Лит. критик, 1939, № 1. С. 57–58.
2. Термин И. А. Кашкина, характеризующий концепцию советской школы перевода.

1. К. И. Чуковский. Высокое искусство. Т. 3 // К. И. Чуковский Собр. соч. в 6-ти тт. – М., 1966. С. 60.
2. М. Л. Гаспаров. Брюсов и буквализм // Поэтика перевода. – М.: Радуга, 1988. С. 29–62 (впервые статья появилась в сборнике "Мастерство перевода". – М.: Советский писатель, 1971).

нры: сонеты, идиллии, пасторали (Петрарка, Джованни Боккаччо, французские лирики XVI–XVII вв.). Его перевод "Фьезоланских нимф" Боккаччо по сей день считается непревзойденным.

"Евгения Гранде" (единственный прозаический опыт Верховского) была переведена для первого советского собрания сочинений Бальзака 1935 года, изданного ГИХЛом. В отличие от буквалиста Мандельштама, Верховский, если и не разделял, то по крайней мере учитывал принципы победившей школы перевода. После выхода в 1935 году в ГИХЛовском двадцатитомнике перевод "Евгении Гранде" Верховского стал считаться "каноническим": именно его воспроизводили во всех позднейших собраниях сочинений Бальзака, а также печатали отдельными изданиями. Вместе с тем, вопрос о явных преимуществах этого варианта перед другими никогда не ставился.

Третий перевод и в самом деле максимально точен в содержательном плане: термины, которыми насыщен бальзаковский текст, исторические и культурные реалии, диалектные слова и выражения, — лучше всего переданы именно здесь: например, для выпавшей у Достоевского "бочарной клепки" ("merrain"[1]) Верховский подобрал ближайшее синонимичное соответствие "дубовая доска", а не "тес", как у Мандельштама). С другой стороны, здесь же встречаются такие грубые смысловые ошибки, как дословный перевод фразеологизмов (например, "il y a dans cette affaire à boire et à manger", что значит "в этом деле есть свои плюсы и минусы", переведено как "нужно пить-есть все это время"). Тенденция архаизировать текст выражена слабее, чем в переводе Мандельштама, но все же уловить ее можно (в инверсии эпитетов, например: "монастыри самые мрачные, степи самые серые или развалины самые унылые"). Надо отметить, что в тексте "классического" перевода попадаются порой нелепые фразы и выражения, такие, как: "если бы вдруг не встретился он глазами с тусклым и холодным взглядом неподвижного существа, чья полумонашеская физиономия появилась над подоконником при звуке незнакомых шагов" или "по внешности Гранде был мужчина в пять футов ростом". Причем последняя фраза, звучащая в оригинале "Au physique, Grandet était un homme de cinq pieds...", решительно не давалась никому из переводчиков XX века. Вариант Мандельштама трудно признать более удачным: "С внешней стороны Гранде был ростом в пять футов" (так и напрашивается вопрос: "А с внутренней?"). Достоевский же употребил разговорное наречие и вышел из положения изящно: "С виду Гранде был футов пяти ростом".

У Верховского трудно отыскать чуждые русскому языку элементы (например, нефункциональные притяжательные местоимения), имена героев транслитерированы и склоняются согласно нормам русского языка. Особенно удачно переведены диалоги. Верховский мастерски использует стилистические возможности русского языка, подбирая яркие и точные соответствия устаревшим, просторечным и диалектным выражениям, которыми насыщена речь бальзаковских персонажей. Например, такие характерные реплики Гранде:

— Grande *bête*, lui dit son maître, est-ce que tu te *laisserais choir* comme une autre, toi?

— Vous ne savez pas, vous autres, mettre le pied dans le coin, à l'endroit où elle est encore solide.

— *C'te* pauvre Nanon! dit Grandet en lui versant le cassis

— Non! non! *ça me connaît*), répondit l'ancien tonnelier.

1. В комментариях Кастекса к "Евгении Гранде" поясняется: "merrain" — "дубовая доска, распиленная и разрубленная на планки, из которых делаются бочарные клепки". H. de Balzac Eugénie Grandet. — P.: Classique Garnier, 1972. P. 4.

Переданы у Верховского как:

– *Дурища*, – сказал ей хозяин, – неужто тебя *угораздило* свалиться? Я думал, ты ловчее других.

– *Нет у вас догадки ставить ногу в уголок*. Там ступенька еще крепка.

– *Бедняжка* Нанета, – сказал Гранде, наливая ей смородиновки.

– Нет, нет! *Дело привычное*, – отвечал бывший бочар.

Одним словом, доминирующей переводческой интенцией Верховского, безусловно, является стремление к "одомашниванию" французского текста, что особенно видно при сопоставлении с переводом Мандельштама, где переводческая установка принципиально другая – "очуждающая".

Сопоставляя разные переводы одного литературного памятника, убеждаешься в их несопоставимости: каждый по-своему ценен и отражает свою эпоху. Следовательно, называть один перевод "лучшим", а другой "худшим", в данном случае неуместно, так все три оригинальны, и если какой-то из них проигрывает в одном, то выигрывает в другом. Располагая тексты рядом, можно проследить за эволюцией переводческих принципов в сторону поиска "золотой середины" между вольностью и буквализмом: от вольности Достоевского через буквализм Мандельштама к компромиссу Верховского. Причем последние две тенденции существовали одновременно, а победила та, что была наиболее приемлема в сложившейся культурно-исторической ситуации: советскому читателю нужны были просветительские переводы, которые бы сделали мировую литературу достоянием масс, и они-то стали "единственно верными".

К сожалению, у современного редкого читателя Бальзака в России выбор невелик. Если с поиском "Евгении Гранде" в переводе Верховского проблем не возникнет: текст доступен как в печатном, так и в цифровом вариантах (в различных интернет-библиотеках)[1], то о существовании другого варианта перевода, "Эжени Гранде" Мандельштама, который после 1927 года ни разу не переиздавался и стал библиографической редкостью, вообще мало кому известно. Что касается переизданного недавно и пользующегося популярностью перевода Достоевского[2], читатель в данном случае введен в заблуждение, так как предлагаемый издательством "Азбука" текст на самом деле представляет собой контаминацию, выполненную для издания в 1935 году Л. П. Гроссманом[3]. Более того, на сегодняшний день ни один опубликованный текст перевода Достоевского не является аутентичным. Причем если издатели XIX века правили "вольности" Достоевского по незнанию, сверяя его перевод с канонической французской редакцией романа (в то время как Достоевский переводил по первопечатной), то в XX веке издательство "Academia" выпустило перевод (ту самую воспроизведенную "Азбукой" контаминацию) под редакцией Л. П. Гроссмана, который, как он сам пишет в прилагаемой к переводу статье, сознательно доносил до читателя "последнюю волю Бальзака" и потому дописывал к тексту Достоевского где слово, где полфразы, а где и целую страницу. Рукопись перевода Достоевского не сохранилась, и самым полным текстом на сегодняшний день остается первое издание перевода 1844 года.

Такая ситуация с переводами классических произведений много-

1. См. например: О. де Бальзак. Евгения Гранде [Электронный ресурс]: в рамках проекта Публичная библиотека – электрон. данные. – М., 2007. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BALZAK_Onore_de/_Bal'zak_O._de.html, свободный. – Загл. с экрана.
2. О. де Бальзак. Евгения Гранде / Перев. Ф. М. Достоевского. – СПб.: Азбука-классика, 2007. С. 272.
3. О. де Бальзак. Евгения Гранде / Перев. Ф. М. Достоевского; Ред. и комм. Л. П. Гроссмана; Вступит. статьи В. Гриба и Л. П. Гроссмана. – М.-Л.: Academia, 1935. LXXXVII, 309 с. (Франц. литература).

кратно усложняет положение "старых книг" в России, мешая становлению в читательской среде критического подхода к переводу художественного произведения. Конечно, попытки приобщить читателя к филологическому подходу к тексту, приоткрыть творческую лабораторию переводчика, уже неоднократно предпринимались в нашей стране. Больше всего в этом плане повезло малой форме – переводам поэзии, – которые в силу компактности легко умещаются под одной обложкой. Таковы, например, "Цветы зла" в "Литературных памятниках"[1] или двуязычные издания "Радуги" 1970-х годов, где вышли поэтические сборники Верлена, Уайльда, Кольриджа, лирика Байрона, Рильке, трагедия Гёте, сборники испанской, французской, итальянской поэзии, такова рубрика "Вглубь стихотворения" в "ИЛ". Крупной форме в этом смысле повезло меньше, хотя есть и исключения, доказывающие, что проблема перевода классической литературы в России имеет решение. Так, вышедшая недавно флоберовская "Легенда о Святом Юлиане Милостивом"[2] поистине пионерская, в том числе и с точки зрения отношения к современному читателю, потому как, во-первых, обрисовывает историко-литературный контекст, во-вторых, выносит на суд читателя несколько существующих вариантов перевода классического произведения, наконец, в-третьих, дает возможность ознакомиться с оригиналом французского текста. Одним словом, книга позволяет читателю самому решить, какой перевод считать "лучшим", а ведь только такое, субъективное, индивидуально-оценочное суждение и уместно, когда речь идет о переводе художественном.

В заключение хотелось бы вспомнить о замечательном переводчике Юлиане Яхниной, очень верно сказавшей: "Нет и не может быть двух одинаковых переводов даже тогда, когда они созданы в одну историко-литературную эпоху, в одной стране... За каждой интерпретацией оригинала стоит индивидуальность переводчика, его талант, его вкус, его литературный опыт и пристрастия, его критическое чутье и многое, многое другое, из чего складывается индивидуальность всякого художника"[1].

1. Ш. Бодлер. Цветы зла / Изд. подгот. Н. И. Балашов, И. С. Поступальский. – М.: Наука, 1970. 479 с. (Лит. памятники).
2. Г. Флобер. Легенда о Святом Юлиане Милостивом = La Légende de Saint-Julien Hospitalier / Сост. д. ф. н. И. С. Приходько. – М., 2007. С. 128.

1. Ю. Яхнина. Три Камю // Н. Галь. Слово живое и мертвое. – М.: София, 2003. С. 528.

О пользе различений

Умберто Эко *Полный назад! Горячие войны и популизм в СМИ* / Пер. с итальянского Елены Костюкович. – М.: "Эксмо", 2007

Умберто Эко стал одним из самых известных (во всяком случае, интервьюируемых) интеллектуалов нашего времени потому, что являет собой образчик гуманитария, не часто встречающийся в наши дни и живо воскрешающий в памяти своих великих предшественников-соотечественников, итальянских гуманистов Возрождения – широко образованных, владеющих пером, а главное – не утративших за своими классическими штудиями ни живого, прямо-таки детского любопытства ко всем новым явлениям жизни, ни вкуса к ней. Эко – не только признанный медиевист и семиотик, всемирно известный романист, но еще и профессиональный колумнист. Вот уже свыше двадцати лет он регулярно публикует в еженедельнике "Эспрессо" колонки о всякой всячине – от текущей политической ситуации до новейших культурных тенденций и даже смешных случаев, произошедших с ним и его знакомыми (что для Эко зачастую то же самое, что и новейшие тенденции). И каждые пять лет, по похвальной привычке профессионального сочинителя текстов, публикует их в виде отдельной книги – чтобы добро зря не пропадало.

В увесистом томе, озаглавленном в оригинале "Путем рака" (A passo di gambero) и получившем по-русски название "Полный назад!", собрана такая колумнистика – а также избранные предисловия и выступления на конференциях – за последнюю пятилетку, 2000–2005 годы. Несерьезное название книги, как всегда у Эко, объясняется вполне серьезно. По мысли автора, главная особенность переживаемой нами эпохи состоит в стремительном возврате в прошлое – в технологии, политике и общественных отношениях. Причем все глубже и глубже. Судите сами. Миниатюрные транзисторные приемники, предмет гордости модников 60-х, возродились в виде изящных "айподов". С появлением Сербии, Черногории и единой Германии карта Европы стала смахивать на атлас образца 1914 года. Исламский фундаментализм породил христианский консерватизм: оживилась законченная, казалось, еще в XIX веке дискуссия о правоте Дарвина и снова ожила риторика Крестовых походов. А в Европе тем временем опять завелась цветная прислуга (филиппинские и вьетнамские уборщицы) и варварские (то есть окраинные) племена снова идут в переселение, как в первые века нашей эры. Не говоря уж о том, что постоянная угроза терроризма не может не напомнить итальянцу "свинцовые годы" 1970-х, когда уличные взрывы и убийства стали в Италии обыденными явлениями.

Но и сами по себе, без исторических аллюзий, 2001–2005 годы, как мы помним, были интересными. На "отчетный период" пришлись 11 сентября, афганская и иракская кампании, "Страсти Христовы" и "Код да Винчи", а в самой Италии – премьерство напористого медиамагната Берлускони, вызывавшего у левых интеллектуалов (в том числе и у Эко) куда большие ярость и отвращение, чем Буш – у интеллек-

туалов американских. (Особенно если учесть итальянский темперамент.)

Именно полемике, нападкам и просто издевкам над Берлускони и его политикой посвящена значительная часть книги. Казалось бы — зачем переводить и издавать эти дрязги, к тому же утратившие актуальность еще до выхода книги? Но вот что там, например, говорится: "Любой человек, оказавшийся в роли фактического управителя всеми источниками информации в стране, даже если этот человек святой, не устоит перед соблазном: он начнет расставлять акценты согласно логике собственной системы. Даже если он станет изо всех сил сопротивляться соблазну, деспотизм устроят его сотрудники". Сформулировано так, что отнести это можно не только к конкретному моменту политической жизни Италии, не правда ли?

В этом и состоит особенность колумнистики Эко. Он не единственный, кто рассуждает о текущем моменте. Но благодаря широте горизонта, глубине эрудиции и, главное, системности подхода, он может не только хлестко сравнить беспардонного премьер-министра с развратным римским императором периода упадка, но и убедительно обосновать, почему именно это сравнение правомочно. Нашим публицистам, зачастую черпающим свои латинские изречения из "сборников умных мыслей", есть чему поучиться.

Но, конечно, книга посвящена не только внутренней политике. Эко рассуждает о роли ученого и шире — о роли интеллектуала в современном мире, о бен Ладене и войне в Ираке ("почему в Белом доме никто не удосужился, прежде чем начинать кампанию, почитать великолепные работы гарвардских арабистов?" — недоумевает он), об охватившей цивилизованный мир волне суеверий — порожденную во многом тем, что "компьютерный пользователь воспринимает компьютерную технологию как магию". Порою его рассуждения кажутся чересчур подробными, но — "единственный способ не лить воду на бен-ладенскую мельницу — это воздерживаться от каких бы то ни было черно-белых крайностей и заниматься только тем, что нам оставила в наследство европейская культура: отдельными и тонкими дистинкциями".

Памятуя о дистинкциях, то есть различениях, нужно сказать отдельно о русском издании книги. Она снабжена огромными постраничными примечаниями, что в данном случае совершенно уместно. Во-первых, мало кто способен, как сама переводчица Елена Костюкович, проследить отсылки из колумнистики Эко к его романам и обратно. А во-вторых, имена большинства упоминающихся в книге итальянских политиков и прочие реалии действительно ничего не говорят русскому читателю. Хотелось бы только, чтобы эти примечания всегда были точно сформулированы. В сноске о похищении Альдо Моро ни слова не сказано, что на момент похищения он был два года как *бывшим* премьер-министром, и создается впечатление, что "Красные бригады" выкрали *действующего* главу правительства, — согласитесь, есть разница. Кончается же эта сноска словами, что "Моро был казнен 9 мая того же года". Не *казнен*, а *убит террористами* — эту дистинкцию даже как-то неловко называть тонкой!

Вопреки русской издательской традиции, большинство названий английских книг, на которые ссылается автор, оставлены без перевода. В принципе это правильно: человек, интересующийся подобной литературой, уж как-нибудь в состоянии разобрать сам, что значит всплывшее в рассуждениях о террористах-

смертниках название книги Роберта Пэйпа "Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism". Но в таком случае совершенно непонятно, зачем нужны подробные сноски на Рафаэля и Фантомаса, "Хорошо темперированный клавир" и "земную жизнь пройдя до половины", санкюлотов и каудильо. Так и хочется, в стиле самого Эко, спросить русских издателей: вы что, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО думаете, что читатели, готовые купить книгу эссеистики более чем за 250 рублей, нуждаются в разъяснении, что "Уильям Гейтс (р. 1955) — американский предприниматель, разработчик ПО, создатель корпорации Microsoft"? Впрочем, думается, что это просто шутка в духе знаменитого путинского "Березовский? А кто это такой?" Что ж, наверно, сам Эко не возражал бы против такого обогащения его книги дополнительными смыслами.

Михаил Визель

Перевод как исповедь

Наталья Горбаневская. *И тогда я влюбилась в чужие стихи... Варшава–Краков: Избранные переводы из польской поэзии* / Библиотека журнала "Новая Польша", 2006

Наталья Горбаневская однажды назвала себя присяжным переводчиком, но прежде всего она, конечно же, хороший, самобытный русский поэт. Правда, ее стихи и переводы польской поэзии в течение нескольких десятилетий были у нас под строгим запретом и только в послесоветской России стали доступны любителям поэзии. А все потому, что она — ветеран советского правозащитного движения, основательница и редактор, в сущности, первого нашего самиздатовского периодического издания "Хроника текущих событий", участница демонстрации на Красной площади в 1968 году против советской "интернациональной помощи", которая задавила Пражскую весну. Расплачиваться за всё это ей пришлось арестом, психушкой, многолетним изгнанием.

Первое стихотворение Натальи Горбаневской увидело свет почти сорок лет назад в Париже, на страницах выходившей там по-польски "Культуры", которая во второй половине прошлого столетия была духовным центром и голосом не только польской, но практически всей восточноевропейской демократической эмиграции. Быть может, и поэтому тоже Польша, польский язык, польская поэзия стали жизненной и житейской судьбой советской правозащитницы и поэта. Сейчас Наталья Горбаневская (она уже несколько лет гражданка Польши) — ведущий член редколлегии варшавского журнала "Новая Польша"[1], который выпустил книгу ее переводов, естественно, не просто в знак уважения к своему заслуженному автору и редактору. Это — еще одно, скромное признание ее заслуг перед Польшей и польской культурой. Скромное, потому что общественная и литературная работа Натальи Горбаневской отмечена в Польше несколькими весомыми государственными и литературными наградами, а польский ПЕН-клуб удостоил ее своей премии, в частности, за перевод на русский язык "Поэтического трактата" нобелевского лауреата Чеслава Милоша.

1. Об этом журнале «Иностранная литература» подробно писала (2006, № 8). (*Прим. ред.*)

В книге, о которой пойдёт речь, представлены стихи 26 польских авторов. На первый взгляд, никакой особой "системой" при составлении сборника Наталья Горбаневская не руководствовалась, не стремилась превратить его в очередную антологию польской поэзии. Кажется, это всего лишь свободный выбор переводчицы, свидетельство ее поэтических предпочтений и симпатий, ее вкуса, ее взгляда на поэзию, наконец, ее стремления попробовать себя в самых разнообразных поэтических формах. Все так, но и не совсем. Да, в сборнике представлены польские поэты очень не похожие друг на друга, люди разных эпох, разных поэтических пристрастий и политических взглядов, однако трудно отделаться от впечатления, что перед нами вовсе не сборник, а, если так можно выразиться, книга с сюжетом, состав, композиция которой хорошо обдуманы. И "сюжет" ее не хронология (хотя поэты "разместились" здесь в хронологическом порядке), но отраженная в польской поэзии долгая и тяжелая история борьбы поляков за независимость и свободу.

Открывается сборник подборкой стихов Циприана Норвида, одного из самых крупных и своеобразных польских поэтов XIX века, практически не известного современникам и ими не разгаданного (его узнали и по-настоящему поняли лишь в начале XX столетия). Норвида-поэта очень непросто переложить на русский язык. Но именно "шершавость" его поразительно емкого стиха, столкновение "высокого и низкого стилей", написала в коротеньком послесловии к сборнику переводчица, привлекают ее к нему. И, на мой вкус, ей удалось в стихах Норвида, как выразился один польский критик, оценивая ее переводы, русские "фигуры речи" польским "фигурам мысли".

Норвид писал и очень популярные в Польше фрашки — короткие шутливые или язвительные стихотворения, близкие по духу тому, что мы называем эпиграммами (само это слово поляки взяли у итальянцев: frasca — вздор, безделица, пустячок). Горбаневская предлагает читателю одну, которая называется "Сила их". В ней говорится о том, что войска и тайная полиция плечом к плечу выступают "против нескольких мыслей...что не ново!.." А у Горбаневской это звучит чуть иначе: армия и полиция пошли войной "...попросту на слово, что, впрочем, и не ново". Переводчица вносит в свой перевод русский акцент, думается, вовсе не из-за трудностей версификации, а из собственного русского опыта середины XX века: власти СССР и его социалистических союзников боялись не только, порой даже не столько, мыслей, но и слов, причем слов, пожалуй, больше — они действительно казались им "страшнее пистолета". И советский новояз (интернациональное орудие пропаганды во всем социалистическом лагере) служил им надежной защитой от всяких посягательств и на их "правду", и на их "власть". Недаром же первыми признаками "оттепели" — и хрущевской, и польской, и венгерской, и чехословацкой, и, наконец, горбачевской — повсюду и неизменно было резкое изменение языка прессы, освобождение его от тяжеловесных и полуграмотных слов и оборотов речи. Такое трудно сегодня понять людям моложе тридцати, но в памяти и сердцах наших шестидесятников это засело крепко: все кампании преследований советских инакомыслящих начинались, как правило, с гонения на их нестандартное слово. И потому культ слова — прославление слова свободного, реквием по слову растоптанному, сострадание к слову гонимому, презрение

к слову угодливому, тоска по слову точному — пронизывает едва ли не каждое переведенное Натальей Горбаневской и включенное ею в сборник стихотворение. Вот, к примеру, что писал в 1995 году, уже в некоммунистической Польше, поэт иного, чем переводчица, поколения, Эрвин Крук ("Разбитое зеркало"):

Я за себя опасаюсь, за шепот
тихой речи —
Выдержит ли она безрассудную,
гулкую бурю?
Ждали свободы, воли.
И насладились вволю.
Потерялись значения, пропало
чувство меры.
<...>
Но кто возвратит миру, кто
любовью накормит
Доброту и красоту речи,
пораненные ложью?
Язык — это зеркало, глядящее
на нас.
И мало кто заметит, что зеркало
треснуло.

Как и это, все отобранные Натальей Горбаневской стихи отдают трагизмом, порой безысходностью — настроениями, которые обычно толкают людей, болезненно восприимчивых к несправедливости, боли, несчастьям других, на противостояние — противостояние часто неравное, обреченное на поражение. Подобные настроения Наталья Горбаневская чутко улавливает и в "поэтических отражениях" Второй мировой войны — отражениях совсем иных, чем в поэзии советской. Приведу только несколько строк из стихотворения "Дожди" Кшиштофа Камиля Бачинского, прекрасного поэта, который погиб в 1944 году в Варшавском восстании всего двадцати трех лет от роду. И эти строки, и всё стихотворение, как практически всё лучшее в польской поэзии военной поры, напоминают мартиролог всем уже павшим и тем, кому еще только предстояло отдать жизнь за свободу и независимость Польши:

И слышу в шелесте стеклянном,
как из-под ног земля сбегает.
Все милые в тумане канут,
под тяжестью креста сгибаясь,
одни за хлябью вод растают,
другие в вечном мраке сгинут,
за тем стеклом, что крепче стали,
неузнанные, минут, минут.

И тут же написанное годом раньше, в 1942 году в оккупированной Варшаве, стихотворение другого поэта военного поколения Владислава Шленгеля ("Окно на ту сторону"). Поэт, запертый в еврейском гетто, смотрит из окна "на ту сторону" — на "арийскую" часть Варшавы. Ему чудится, будто "арийская" Варшава отзывается ему шопеновским полонезом:

Взывают ко мне клавикорды
в тишине, среди мук занемелых,
плывут среди ночи аккорды
от клавиш смертельно-белых.
Конец, опускаю руки...
умолк полонез оборванный...
И я умолкаю и думаю:
зачем мне окно на ту сторону...

С этими страшными своею безысходностью строками перекликаются не менее страшные — из стихотворения Чеслава Милоша "Campo di Fiori" (так называется римская площадь, на которой сожгли Джордано Бруно), написанного годом позже — в 1943 году, на Пасху, в дни безжалостной расправы фашистов с участниками восстания в варшавском гетто. Поэт вспомнил о Campo di Fiori

В Варшаве, у карусели.
В погожий весенний вечер,
Под звуки польки лихой.
Залпы за стенами гетто
Глушила лихая полька.
И подлетали пары
В весеннюю теплую синь.
<...>

Мораль извлекая, скажут,
Что римляне ли, варшавяне
Торгуют, смеются, любят
Близ мученического костра.
Другие, возможно, скажут
О бренности мира людского,
О том, что забвенье приходит
Прежде, чем пламень угас.

Рискну, однако, утверждать, что и эти, и вообще все вошедшие в книгу стихи польских поэтов послужили переводчице прежде всего поводом, а вернее — поэтическим материалом, который позволил ей вновь и вновь возвращаться к пережитому, обдуманному, сделанному и не сделанному ею самой, еще и еще раз рассчитаться со своим, уже уходящим в историю, временем. В статье, впервые опубликованной в парижской газете "Русская мысль" больше десяти лет назад, Наталья Горбаневская признавалась, что с годами стала лучше видеть и слышать различие между русскими словами "дорога" и "путь". Поскольку, написала она, это "от нас зависит", станет ли слово путь не просто синонимом дороги, но и синонимом жизни — "жизни и истины. Об этом пути все чаще идет речь в моих стихах". Добавлю: в ее переводах польской поэзии — тоже. Поэтому, вероятно, книга, составленная из этих переводов, читается как поэтическая исповедь самой Натальи Горбаневской, которая отыскала в польской поэзии последних полутораста лет то, что было созвучно настроениям советского шестидесятничества, что было и остается созвучно собственным ее настроениям.

Иннокентий Анненский сто лет назад утверждал: поэзия приятна нам тем, что заставляет нас тоже быть немножко поэтами. Но тут же и задался вопросом — а что же такое поэзия? И честно ответил: "Этого я не знаю. Но если бы я и знал, что такое поэзия, <...> то не сумел бы выразить своего знания. <...> Вообще есть реальности, которые, по-видимому, лучше вовсе не определять". Об этом же и, в сущности, в тех же выражениях спустя несколько десятилетий написала нобелевская лауреатка, прекрасный польский поэт Вислава Шимборская. Вот небольшой отрывок из переведенного Натальей Горбаневской стихотворения "Некоторые любят поэзию":

Поэзию —
да что оно такое поэзия.
Сколько
неопределённых ответов
на этот вопрос уже давалось.
А я не знаю и не знаю
и на этом стою,
как на спасительных мостках.

Мне кажется, Наталья Горбаневская тоже могла бы посчитать "спасительными мостками" не поиски определений поэзии, а свою неизменную верность, свою безграничную преданность поэтическому слову. И, наверное, именно поэтому, утверждает польский критик Адам Поморский, многие переводы Натальи Горбаневской — это "попросту прекрасные русские стихи. Горбаневская, как правило, отображает польский текст верно и творчески, а инструментарий русской поэзии нередко окрыляет оригинал, который, казалось бы, превзойти трудно". На мой взгляд, так оно и есть. И главный секрет тут в том, что Наталья Горбаневская влюблена в польскую речь, которую она и превосходно знает, и глубоко чувствует. Об этом она сама пишет в открывающем сборник стихотворении, посвященном Чеславу Милошу: *И тогда я влюбилась в чужие стихи, / Шелестящие так, что иные кривились: "Шипенье..."*

Влюбилась, похоже, именно потому, что услышала в них не одно только "шипенье", дразнящее, непривычное к нему русское ухо, не чуждый ему строй и звучанье, а именно польскую по-

эзию, в которой, по ощущению Милоша, тонко переданному переводчицей, *...тайное волненье / И лёгкий вздох, укрытый в многоточьях.* Польский же язык, добавляет Горбаневская в упомянутом стихотворном посвящении нобелевскому лауреату, *любовному поверил признанью.* Без такой любви к "чужому слову", любви взаимной, счастливой, никакой талант, уверен, сам по себе успеха не принесет. И книга переводов Натальи Горбаневской, на мой взгляд, это только подтверждает. Впрочем, издатели предоставляют возможность согласиться с подобной оценкой или оспорить ее всем, кто владеет польским и русским языками, поскольку каждое стихотворение в сборнике публикуется дважды: на четной странице — польский оригинал, на нечетной — перевод. Но, разумеется, книга эта рассчитана прежде всего на любителей поэзии, которые находят радость и наслаждение в ней самой, а не в толкованиях "знатоков" и придирчивых искателей переводческих ошибок и просчетов. Думаю, истинные любители поэзии разочарованы не будут.

А. Ермонский

По материалам зарубежной прессы

NADINE GORDIMER *Beethoven Was One-sixteenth Black.* — Bloomsbury, 2007, 192 p.

Новая книга нобелевского лауреата Надин Гордимер — цикл из трех новелл, объединенных общей темой: поиском идентичности, стремлением определить себя. Этот мотив не впервые встречается в творчестве Гордимер, но в "Бетховене..." он получает современную трактовку: общество XXI века подчиняется идее политической корректности, равноправия классов, рас и народов. Для родины Гордимер — Южной Африки — прививка политкорректности оказалась необходимой, и последствия ее как раз и интересуют писательницу.

Герой заглавной новеллы, университетский преподаватель, белый, ищет свои корни в негритянской деревне. Толерантность уравняла всех: раньше черные хотели стать белыми, теперь белый хочет стать черным, думает он. Впрочем, и его поиски, и сходная коллизия из второй новеллы цикла заканчиваются ничем. Определить себя через общность с другими не удается.

По словам обозревателя английской "Гардиан" Джин Эдельстайн, новые рассказы Гордимер только подтверждают ее статус ведущего автора англоязычной короткой прозы, ничуть не уступая произведениям, за которые южноафриканская писательница удостоена Нобелевской премии.

PETER ACKROYD *Thames: Sacred River.* — Chatto & Windus, 2007, 490 p.

Очередное объемное исследование в серии, начатой "Лондоном" и "Альбионом", "Темза" Питера Акройда следует тем же принципам, что и две первые книги. Это полноценная "биография" реки. Британская газета "Обсервер" сравнивает метод Акройда с сетью, которой тот вылавливает из ила разнообразные занятные предметы и рассказывает о них истории.

В самом деле, среди всего того, что Акройд вместил в новую книгу, есть как уже знакомые по предыдущим томам рассуждения о "психогеографии", то есть влиянии конкретного места на культуру и на самый дух его обитателей, так и миниатюры из жизни речников, и цитаты из самых разнообразных литературных произведений — классических и современных, известных и забытых. Как указывает в "Обсервере" критик Рэйчел Редфорд, книга, как и сама Темза, подобна Протею — тому самому древнегреческому речному божку, что менял обличья каждый миг. Питер Акройд пишет изысканным слогом, соединяя в одно целое и облекая в изящную форму бесчисленное множество фактов из истории главной английской реки.

TORGNY LINDGREN *Norrlands akvavit.* — Norstedts, 2007, 222 s.

В романе "Норландский аквавит" известный шведский писатель Торгни Линдгрен обращается к теме, весьма распространенной в современной литературе скандинавских стран: возвращению в родные места. Герой романа, бывший проповедник Улоф Хельмерссон, в послевоенные годы властитель дум своей округи — нескольких сел в лесах северной провинции Вестерботтен, — возвращается домой в 2006 году. "С сорок седьмого по пятьдесят пятый" он "окрестил четыреста шестнадцать

душ в этих местах, кое-кого и два раза", а также ввел повсеместно чистку зубов по утрам и вечерам.

Но теперь герой прошлых дней изменился — он утратил веру. Улоф беседует с могилами старых приятелей о тщете всего сущего, включая религию. В его голосе звучит уже не страсть, а усталая ирония, и проповедует он атеизм, а не аскетическое скандинавское христианство. И все же роман не становится мрачным, возможно, благодаря целительной силе шведской водки — норландского аквавита.

"Одна из лучших вещей Линдгрена", — пишет газета "Свенска дагбладет"; стиль автора отличает сочетание печального и смешного, духовного и светского, которое литературная критика Швеции и признает главным достоинством романа.

ROLAND BARTHES *Les discours amoureux. Séminaire de l'Ecole pratique des hautes études. 1974–1976.* suivi de Fragments de discours amoureux / Avant-propos d'Eric Marty, présentation et édition de Claude Coste. — P.: Seuil, 2007, 745 p.

Лекции Ролана Барта продолжают публиковать, но в обратном хронологическом порядке. Сначала в свет вышел курс, читанный в Коллеж де Франс, где Барт преподавал с 1976-го по 1980-й, теперь настал черед семинарских занятий, которые философ-структуралист вел двумя годами ранее в Практической школе высших исследований, а по окончании написал ставшую бестселлером книгу "Фрагменты речи влюбленного" (Р. Барт. Фрагменты речи влюбленного / Перевод В. Лапицкого. — М.: Ад Маргинем, 1999). По словам Клода Коста, текстолога, подготовившего настоящее и предыдущее издание лекций, в Практической школе, в отличие от Коллежа, речь не записывалась на магнитную пленку, поэтому единственный сохранившийся источник — конспекты Барта. В текст рукописи не вносили никаких изменений, только расшифровали типичные для конспектов сокращения.

Семинар в Практической школе Барт открыл словами: "Любовь. Есть ли она нечто большее, чем речь влюбленного?", а затем добавил: "Цель наших занятий — не в том, чтобы описать некое общее понятие, некую абстракцию (речь влюбленного), но в том, чтобы обозначить пространство, поле языкового употребления, линию выработки языка (живого, почти обжигающего), то есть определить круг тем, к которым обращается говорящий, когда им движут желание и Воображение". Результатом совместного творческого поиска ученого и студентов стал вышеупомянутый бестселлер, а настоящее издание конспектов лекций и не вошедших в книгу фрагментов, по словам Клода Коста, позволяет проследить за тем, как жизнь превращается в речь, а речь — в книгу.

PASCAL QUIGNARD *La Nuit Sexuelle.* — Paris: Flammarion, 2007, 279 p.

Через тринадцать лет после эссе "Секс и страх" (П. Киньяр. Секс и страх / Перевод И. Волевич. — Спб.: Азбука-классика, 2004) Гонкуровский лауреат Паскаль Киньяр снова приглашает читателя прогуляться по "секретной галерее", картины для которой отобрал он сам. Автор анализирует различные графические изображения "примитивных сцен" (от Босха, Тициана, Дюрера, Рафаэля, Рембрандта, Рубенса и Ван дер Вейдена до японских эстампов), соединяя мифические образы с библейскими: среди описанных персонажей встречаются и дочери ветхозаветного Лота, опаивающие отца, чтобы заполучить его семя, и Гефест, застающий слившихся в экстазе любви Афродиту и Ареса. Но если "Секс и страх" посвящен античной сексуальности, то в новой книге историческая перспектива картин автора интересует меньше, чем вопрос об истоках. Киньяр размышляет о "невыразимом", о тайне той ночи, которая останется сокрытой навсегда: "В ночь, когда происходило зачатие, меня не было. Трудно

где-то присутствовать за день до собственного существования".

В интервью журналу "Артпресс" Паскаль Киньяр признался, что написал эту книгу исключительно по политическим причинам: "Два года назад я оказался в США, где как раз в это время приняли закон, запрещающий демонстрировать непристойные изображения (The Brodcoast Decency Enforcement Act). Зная, с какой скоростью пуританство пересекает Атлантику, я тут же принялся писать книгу обо всех непристойных картинах, которые коллекционирую с отрочества".

PIERRE MICHON *Le Roi Vient Quand Il Veut: Propos Sur La Litterature.* — P.: Editions Albin Michel, 2007, 371 p.

Известный французский прозаик Пьер Мишон свел воедино все интервью о литературе, которые давал в различные журналы и газеты за последние двадцать лет. "Я отобрал тридцать публикаций и, перечитывая их, понял, что, за вычетом неуловимой истины, среди строк можно отыскать переплетения воспоминаний о книгах, создавших меня как писателя". Сборник сгруппирован по трем темам: жизнь и творчество любимых авторов Мишона (таких, как Рембо, Бальзак, Флобер, Мелвилл, Фолкнер, Киньяр, Володин), воспоминания о былых временах — неисчерпаемом источнике образов романов Мишона — и рассуждение о собственной писательской работе как исследовании основных мифов, вокруг которых организуется наше общество.

По мнению издателя, "Беседы о литературе" Пьера Мишона непременно войдут в школьную и университетскую программу, ведь нечасто случается, чтобы прозаик, сам создающий литературу и обладающий энциклопедическими знаниями, писал о своем предмете так легко и остроумно.

Подготовили А. ЛЕШНЕВСКАЯ, И. МОКИН

Томас Гунциг
Thomas Gunzig
[р. 1970]. Бельгийский писатель. Лауреат премии Виктора Росселя [2001] и премии *Издателей Бельгии* [2003].

Автор романов *Смерть билингвы* [*Mort d'un parfait bilingue*, 2002; рус. перев. 2004], *10000 литров чистого ужаса* [*10000 litres d'horreur pure*, 2007] и нескольких сборников новелл, в том числе *Самый маленький на свете зоопарк* [*Le plus petit zoo du monde*, 2003; рус. перев. 2006].
Публикуемый роман печатается по изданию *Kuru* [Au Diable Vauvert, 2005].

Роберто Хуаррос
Roberto Juarros
[1925–1995]. Аргентинский поэт, эссеист и переводчик. Обладатель Большой почетной награды Аргентинского фонда поэзии [1984], премии Жана Мальре [Марсель, 1992], премии Международного биеннале поэзии [Льеж, Бельгия, 1992].

Автор стихотворных сборников *Вертикальная поэзия* [тт. 1–14, 1958–1997].
Публикуемые тексты взяты из книг *Poesía vertical 1958–1982* [Buenos Aires: Emece, 1993], *Poesía vertical 1983–1993* [Buenos Aires: Emece, 1993], *Decimocuarta Poesía vertical* [Buenos Aires: Emece, 1997].

Кристоф Рансмайр
Christoph Ransmayr
[р. 1954]. Австрийский писатель.

Автор романов *Последний мир* [*Die letzte Welt*, 1988], *Болезнь Китахары* [*Morbus Kitahara*, 1995], повести *Третий воздух, или Театр у моря* [*Die dritte Luft, oder Eine Bühne am Meer*, 1997], сборника репортажей и эссе *Дорога на Сурабаю* [*Der Weg nach Surabaya*, 1997]. В *ИЛ* напечатан его роман *Ужасы льдов и мрака* [2003, № 2].
Текст публикуется по изданию Geständnisse eines Touristen [Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag GmbH, 2004].

Александра Юрьевна Лешневская
Переводчик с французского и английского языков. Аспирант ИВГИ РГГУ.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Михаил Яковлевич Визель
[р. 1970]. Книжный обозреватель, музыкальный критик, колумнист, переводчик с итальянского.

Создатель интернет-проекта *Невидимые города on-line* по роману Итало Кальвино [calvino.lib.ru].
В его переводе вышли два романа Дж. Куликкьи и сборник колумнистики У. Эко.

Андрей Николаевич Ермонский
[р. 1936]. Литературный критик и переводчик с польского. Лауреат премии *ИЛ* [1991].

В его переводе вышла книга Я. Ивашкевича *Шопен*, романы Т. Брезы *Стены Иерихона*, А. Кусьневича *Состояние невесомости*, Р. Братного *Колумбы, год рождения 20-й*, В. Терлецкого *За зверей заплачено*, В. Гомбровича *Фердыдурке*, рассказы С. Лема, Б. Чешко и др.
Постоянно публикуется в *ИЛ*.

Переводчики

Игорь Викторович Мокин
[р. 1986]. Переводчик с английского и скандинавских языков, преподаватель. Аспирант филологического факультета МГУ.

В *ИЛ* опубликован его перевод рассказа Р. О. Фримена *Послание со дна моря* [2008, № 1].

Нина Осиповна Хотинская
Переводчик с французского.

В ее переводах выходили романы П. Брюкнера *Похитители красоты*, П. Модиано *Дора Брюдер*, М. Дюрас *Летний вечер, половина одиннадцатого*, П. Констан *Банановый парадиз* и *Откровенность за откровенность*, А. Вяземски *Горстка людей*, Ф. Аррабаля *Красная мадонна и Необычайный крестовый поход влюбленного кастрата*, рассказы М. Эме, Ф. Саган и др.
В *ИЛ* в ее переводе опубликована повесть М. Дюрас *Любовник* [1990, № 6], фрагменты книги П. Брюкнера *Искушение невинностью* [2003, № 6] и роман Н. Бисмют *Scrapbook* [совместно с Е. Клоковой; 2006, № 11—12].

Эсмира Серова
Переводчик с английского и испанского языков.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Нина Николаевна Федорова
Переводчик с немецкого, шведского, норвежского, нидерландского, английского и польского языков. Лауреат Австрийской государственной премии в области литературного перевода [1994], премии имени Жуковского [2004].

В ее переводе печатались произведения К. Вольф, Г. Гессе, Ф. Дюрренматта, А. Зегерс, К. Рансмайра, П. Низона, Й. Рота, А. Штифтера, И. Бергмана, Х. Мартинсона, Л. Густафсона, С. Дельбланка, Т. Линдгрена, Ё. Тунстрёма, рассказы М. Л. Кашниц и З. Ленца, драмы Р. Музиля и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО

- оптимальные условия подключения,
- бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ — В ЦЕНТРЕ ГОРОДА — В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины немецкого художника Тима Эйтеля [р. 1971] *Группа мальчиков* [2003].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва, Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести: в редакции или в киоске "Новой газеты", расположенном по адресу: Страстной бульвар, дом 4; в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино по адресу: Николоямская ул., д. 1.

Подписаться на журнал "Иностранная литература" можно во всех отделениях связи. Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.

Можно оформить льготную подписку в редакции по адресу: ул. Пятницкая, 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") Подписка оформляется в понедельник, вторник, среду, четверг с 12.00 до 17.30.

(Справки по тел. 953-51-47).

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.2.2008
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 454.
Тираж 9700 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

Информационная поддержка

[5] 2008

РОМАН МАРГАРЕТ МАХИ "ПРОСТРАНСТВО ПАМЯТИ" / ФРАНКФУРТСКИЕ ЛЕКЦИИ И РАССКАЗЫ ПЕТЕРА БИКСЕЛЯ / УОЛЛЕС СТИВЕНС В РУБРИКЕ "ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА" / ДРАМА "СОВРЕМЕННАЯ СМЕРТЬ: ЧЕЛОВЕК У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ" КАРЛА-ХЕННИНГА ВИЙКМАРКА / ПИСЬМА И ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ ИВЛИНА ВО В РУБРИКЕ "ЭПИСТОЛЯРИЙ"

(*роль*) **Ex** Each character was ~ed with so much race and art. Все роли были исполнены с большим изяществом и мастерством.

NEW!

sustainability [səˌsteɪnəˈbɪlətɪ] *n* устойчивость; устойчивое развитие; ecological / environmental ~ экологическая устойчивость, устойчивость окружающей среды (*предполагает поддержание экологической целостности и запасов природных ресурсов*); financial ~ финансовая устойчивость; the Royal Award for S. *брит* королевская премия за устойчивое развитие (*вручается предпринимателям*)

NEW!

sustainable [səˈsteɪnəbl] *adj* **1.** устойчивый; жизнеспособный; ~ development устойчивое развитие; ~ economic growth устойчивый экономический рост **2.** экологически рациональный; способный существовать, не нанося ущерба окружающей среде; «устойчивый»; ~ agriculture экологически рациональное сельское хозяйство, «устойчивое» сельское хозяйство; ~ forestry экологически рациональное лесопользование, «устойчивое» лесопользование; ~ use of natural resources рациональное использование природных ресурсов

sustained [səˈsteɪnd] *adj* **1.** длительный, продолжительный; непрерывный **Syn** long, protracted **2.** монотонный (*о звуке*)

sustaining [səˈsteɪnɪŋ] *adj* **1.** поддерживающий, подпирающий; ~ power стойкость, выносливость **2.** доказывающий, подтверждающий

NEW!

sustaining program *n амер радио* некоммерческая радиопрограмма

sustenance [ˈsʌstəns] *n* **1.** средства к существованию **2.** питание; пища **Syn** food, fare **3.** поддержание, поддержка, помощь **Syn** maintenance

sustention [səˈstenʃən] *n* поддержание (*в том же состоянии*)

sustentive [səˈstentɪv] *adj* поддерживающий; подкрепляющий

susurrant [suːˈsʌrənt] = susurrous

susurrate [ˈsuːsəreɪt] *v книжн* **1.** шептать **2.** издавать лёгкий шорох, шелест

susurration [ˌsuːsəˈreɪʃən] *n* **1.** шёпот **Syn** whisper **2.** лёгкий шорох, шелест

susurrous [suːˈsʌrəs] *adj* **1.** шепчущий **2.** шуршащий; шелестящий

susurrus [suːˈsʌrəs] = susurration

Susy [ˈsuːzɪ] *n уменьш от* Susan, Susannah Сюзи (*женское имя*)

Sutherland [ˈsʌðələnd] = Sutherlandshire

Sutherlandshire [ˈsʌðələndʃə] *n геогр* Сатерлендшир (*графство Шотландии*)

Sutlej [ˈsʌtlɪʤ] *n геогр* Сатледж (*река на территории Пакистана, Индии, Китая*)

sutler [ˈsʌtlə] *n* маркитант **Syn** canteen keeper

NEW!

дятся. **3.** нить для сшивания раны 4. сшивание, соединение

v мед накладывать шов, сшивать

SUV *сокр от* Sport Utility Vehicle внедорожник (*автомобиль повышенной проходимости, предназначенный для активного отдыха, чаще всего с приводом на все четыре колеса*)

Suva [ˈsuːvə] *n геогр* Сува (*столица государства Фиджи, юго-западная часть Тихого океана*)

suzerain [ˈsuːzəreɪn] *n* **1.** феодальный властитель, сюзерен **2.** сюзеренное государство; ~ lord правитель сюзеренного государства

suzerainty [ˈsuːzəreɪntɪ] *n* **1.** власть сюзерена **2.** сюзеренитет

SVC *буквенный код для* El Salvador colon сальвадорский колон (*денежная единица*)

svc. *сокр от* service **1.** обслуживание, сервис **2.** служба

NEW!

svelte [svelt] *adj* стройный, гибкий (*о женщине*) **Syn** thin

Sverdlovsk [ˌsveədˈlɒfsk] *n геогр, ист* Свердловск (*название г. Екатеринбург в период с 1924 по 1991 г.*), *см тж* Ekaterinburg

Sverdrup Islands [ˌsveədrʊp-] *n pl геогр* острова Свердруп (*группа острововв составе Канадского Арктического архипелага*)

SVO *сокр от* subject verb object *лингв* тип языка с характерным порядком слов: подлежащее - сказуемое - прямое дополнение (*как в русском, английском*), *см тж* SOV

SW[1] *сокр от* short waves короткие волны

SW[2] *сокр от* southwest юго-запад

Sw. *сокр от* Sweden Швеция

swab [swɒb] **I** *n* **1.** 1) швабра, щётка **Syn** mop 2) *воен* банник (*насадка типа щётки на шомпол*); шомпол 3) помазок **2.** *мед* 1) тампон 2) мазок **3.** *мор жарг* офицерский погон **4.** 1) *презр* салага 2) *разг* матрос, моряк **Syn** sailor, gob

II *v* **1.** (*тж ~ down*) мыть шваброй; подтирать шваброй **Ex** Every morning, the sailors had to ~ down the deck of the ship. Каждое утро матросы должны были швабрами драить палубу на корабле. **2.** *мед* смазывать, наносить тампоном **Ex** She ~ bed the wound with iodine. Она смазала рану йодом.

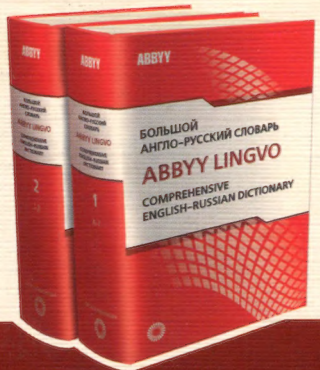
S

swabber [ˈswɒbə] *n* **1.** юнга, драящий палубу **2.** грубый, невоспитанный, подлый человек **3.** разг увалень **Syn** clodhopper, bumpkin **4.** швабра, веник, метла

Swabia [ˈsweɪbɪə] *n геогр, ист* Швабия (*историческая область в Германии*)

swaddle [ˈswɒdl] **I** *n* = swaddling clothes

II *v* **1.** пеленать, свивать (*младенца*) **2.** (*тж ~ up*) бинтовать, забинтовывать **3.** сдерживать



Словари ABBYY Lingvo

Современный язык

Академический подход

ABBYY SOFTWARE HOUSE www.ABBYY.ru

+7 (495) 783 3700

job@abbyy.com

Приглашаем на работу лингвистов и лексикографов

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2008, №4, 1-304